

Ярослав Гавличек

НЕВИДИМЫЙ





Невидимый

Ярослав Гавличек

Аннотация
Ярослав Гавличек. Невидимый
ЯРОСЛАВ ГАВЛИЧЕК И ЕГО «НЕВИДИМЫЙ»
НЕВИДИМЫЙ
1. ДЕСЯТЬ ЛЕТ
2. Я
3. СОНЯ
4. НЕВИДИМЫЙ
5. ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ
6. ДИНАМИТ ПОДЛОЖЕН
7. СМЕХ ИЗ БЕЗДНЫ
8. ФИТИЛЬ ПОДОЖЖЕН
9. ВЗРЫВ
10. РАНЕНАЯ
11. РАНЫ ГНОЯТСЯ
12. ПЛЯСКА НАД БЕЗДНОЙ
13. БЕЗДНА РАЗВЕРЗАЕТСЯ
14. КАТИ
15. ЗАВОД
16. У ФИНИША
17. ПЛАМЯ ПОД КОЛЫБЕЛЬЮ
18. ЗАНАВЕС ПАДАЕТ

19. ПЕТЯ
20. КТО ВИНОВАТ?

Аннотация

Ярослав Гавличек (1896–1943) — крупный чешский прозаик 30—40-х годов, мастер психологического портрета. Роман «Невидимый» (1937) — первое произведение писателя, выходящее на русском языке, — значительное социально-философское полотно, повествующее об истории распада и вырождения семьи фабриканта Хайна.

Ярослав Гавличек
Невидимый

ЯРОСЛАВ ГАВЛИЧЕК И ЕГО «НЕВИДИМЫЙ»



Чешский писатель Ярослав Гавличек (1896–1943) принадлежит к числу тех художников, чье творчество получило признание только после их смерти. Причины его запоздалой славы можно объяснить фактами биографическими и историко-литературными. Гавличек никогда не был профессиональным писателем. Участник первой мировой войны, он после демобилизации получил коммерческое образование и стал банковским служащим. Чиновничью лямку он тянул до самой смерти, занимался литературным трудом только в свободные часы, главным образом по ночам, много болел, вел уединенную и замкнутую жизнь. Хотя писатель жил в Праге, он не участвовал в жарких литературных схватках 20—30-х годов, когда возникали и быстро распадались литературные группировки, когда почти каждый сколько-нибудь заметный писатель обнажал копье на полях литературных сражений в защиту своей эстетики и способа творчества. Гавличек умер в глухую пору немецко-фашистской оккупации Чехословакии, когда литературная жизнь едва теплилась под ледяной корой вынужденного молчания.

Критика не сразу поняла подлинное значение Гавличка для чешской литературы: одним он

представлялся традиционалистом, далеким от новаторских исканий современности, другие видели в нем «модерниста», склонного к замкнутому в себе, болезненному психологизму. Не сразу была верно оценена и политическая позиция Гавличка. Хотя он не принимал активного участия в общественной жизни, его взгляды были прогрессивными и во многом приближались к коммунистическим. В этом смысле характерно, с одной стороны, его бескомпромиссно отрицательное отношение к империалистической войне и понимание ее сущности, а с другой — глубокий интерес к Советскому Союзу, с которым он связывал надежды на лучшее будущее человечества. Уже в 1936 году Гавличек, говоря об угрозе новой войны, предсказывает революционные перемены в ее результате и особую роль в этом неизбежном, по его мнению, историческом процессе Советского Союза: «Народы, которые не захотят вернуться к чреватому опасностями прошлому, найдут в его лице уже построенный, полностью готовый дом, по образу которого они смогут строить свое будущее». Книги Гавличка начали переиздаваться с конца 50-х годов и выдержали много изданий. «Второе рождение» писателя не сопровождалось каким-нибудь сенса-

ционным пересмотром его творческого наследия, просто он как-то совершенно естественно занял подобающее ему место в чешской литературе как один из выдающихся мастеров современной психологической прозы.

Гавличек начал публиковаться еще в 20-е годы, его перу принадлежат точные по рисунку психологические новеллы, но наиболее интересны его романы: в них-то и проявился незаурядный талант писателя. Первый роман Гавличка «Несбывшиеся мечты» (1935) незадолго до смерти был переработан писателем, а затем вышел посмертно под первоначально предлагавшимся автором и не принятым издателем заглавием «Керосиновые лампы». Автор задумал это произведение как часть цикла романов, посвященных критическому изображению жизни провинциального мещанства. Смерть помешала ему осуществить свое намерение. В этом романе уже проявилось умение писателя создавать рельефные картины действительности и живые, впечатляющие образы героев, которое и позволило чешским критикам называть его «чистой воды эпиком». Вторым романом Гавличка был «Невидимый» (1937), а за ним последовал роман «Та третья» (1939) — злое обличение мещанской

психологии и морали. Последний роман «Гелимадоэ» (1940) значительно отличается от всего ранее написанного Гавличком своей светлой поэтичностью. Сам автор писал, что он в этом произведении, «ступая по земле, устремляется к солнцу».

Чешская критика нередко применяет к «Невидимому» модный, хотя и не очень ясный термин — «черный роман». Этот термин, получивший некоторое распространение на Западе, подразумевает безысходно пессимистические представления о неких темных, непостижимых для человека, непреодолимых злых силах, окрашивающих все сущее в черные тона уныния и мрака. Поначалу кажется, что и Гавличек вводит своего читателя в сферу действия подобных анонимных черных сил. Опустевший дом, населенный какими-то страшными воспоминаниями, одинокий человек, живущий без цели и без надежды, восстанавливая в своей памяти все перипетии разбившей его жизнь трагедии, в которой ощущается что-то таинственное и роковое… В начале романа герой, Петр Швайцар, от чьего имени ведется повествование, предстает как трагический персонаж, вступивший в поединок с роком и потерпевший страшное поражение. Но чем глубже

раскрывается подлинный облик героя, тем яснее становится, что «Невидимый» имеет мало общего с «черным романом», погруженным в атмосферу ужаса и роковой предопределенности.

Повествование от первого лица вообще дает большие возможности для проникновения во внутренний мир героя-рассказчика, но эта форма, как правило, затрудняет выражение авторской точки зрения. Однако Гавличек проявил большое психологическое мастерство, и в воспоминаниях Швайцара образ этого незаурядного и страшного человека вырисовывается не таким, каким он видит себя, а в его подлинной сущности. Швайцар не очень-то снисходителен к себе в своих воспоминаниях, вернее, он бравирует своей почти циничной откровенностью, которую сам расценивает как отсутствие сентиментальности и считает выражением духовной силы. Поражает его непоколебимая уверенность в своей правоте, вообще в праве сильного безжалостно топтать людские судьбы, его презрение ко всяким проявлениям слабости, как он именует естественные человеческие чувства, доброту, любовь и жалость.

Сын бедного деревенского столяра, Петр Швайцар вырос в многодетной, недружной семье.

Счастливый случай в виде каприза старого богача позволил ему получить образование и стать инженером-химиком. Но он с ранней юности поставил перед собой цель — как можно выше подняться по социальной лестнице, и настоящая крупная игра начинается со знакомства с дочкой владельца мыловаренного завода Соней Хайновой. Нельзя сказать, чтобы Швайцар остался совсем равнодушен к очарованию юной, привлекательной и удивительно наивной девушки, но он разыграл свою атаку как шахматную партию, рассчитав ходы и исключив всякое чувство как ненужную помеху. В своем рассказе Швайцар даже как бы извиняется за те порывы искреннего чувства, которые им порой овладевали. И он добивается своего, сыграв на искренней влюбленности девушки и неспособности старого Хайна отказать в чем-либо своей избалованной наследнице. Впрочем, фабрикант быстро понял, что профессия будущего зятя, способного взять на себя управление заводом, сулит ему немалые выгоды, и это как-то уравновешивает в глазах Хайна низкое происхождение жениха дочери. Швайцар входит в семью фабриканта, и тут начинается драма. Семейная жизнь молодых сразу же после свадьбы превращается в ад из-за присутствия

в доме безумного брата хозяина Кирилла, воображающего себя невидимым для окружающих. Слабость и сентиментальность Хайна, его слепая покорность тетке, привыкшей самовластно править в семье и обожающей безумного племянника, мешают ему удалить Кирилла, хотя его присутствие действует на и без того слабую психику Сони так сильно, что и она теряет рассудок, вообразив себя возлюбленной «Невидимого».

Автор использует все возможности, которые дает избранный им прием изображения событий через призму восприятия героя: острый и недоверчивый взгляд плебея, попавшего в чуждую среду, позволяет бесстрастно фиксировать все слабости и пороки вырождающейся семьи, над которой как страшный рок нависло наследственное безумие. Швайцар искренне считает себя жертвой, и, конечно, он прав в своей уничижительной оценке изнеженного, не знающего забот, привыкшего жить за счет чужого труда буржуазного семейства Хайнов. Но как бы яростно сам герой ни оправдывался в своих воспоминаниях, как бы ни обвинял он других, читателю становится ясно, что если бы не его безоглядная жестокость и аморальность, обстоятельства могли бы сложиться иначе и Соня не погибла бы.

Эти же свойства Швайцар проявляет и в качестве директора завода, который вскоре переходит полностью в его руки. Герой цинично рассуждает: «Национализм, социализм — до всего этого мне не было никакого дела. Я понимал одно: собственное преуспеяние». Однако несомненно, что, несмотря на свою подчеркнутую асоциальность, Швайцар прочно связал себя с идеологией и практикой собственнического общества, приняв на вооружение его самые агрессивные и античеловеческие принципы. С нескрываемой похвальбой он рассказывает о том, как безжалостно искоренялись им те патриархальные нравы, которые господствовали на заводе до его появления, как постепенно вводилась та потогонная «рационализированная» система, которая так характерна для «передового» современного капитализма. С самоуверенной откровенностью Швайцар повествует о драконовых мерах, которые он применял, чтобы «извлечь из рабочих часов все, что только было возможно», как безжалостно выгонял ослабевших или неугодных ему рабочих и инженеров на улицу. Сцены на заводе, когда Швайцар начинает наводить там свои порядки, принадлежат к наиболее сильным в романе.

Критика не сразу отметила общественную

значительность образа Швайцара, в котором воплотились немаловажные тенденции, характерные для буржуазной Чехословакии, где усиленно распространялся демагогический лозунг «равенства возможностей» для всех граждан республики. Недаром пресса рекламировала в качестве примера его осуществления знаменитого обувного короля Батю, из бедности и безвестности поднявшегося к вершинам богатства и славы.

Личность Бати послужила прототипом для образов капиталистических хищников — Казмара в трилогии М. Пуймановой и Шефа в «Ботострое» Т. Сватоплука. Многие сходные черты просматриваются и в Швайцаре. Хотя Гавличек и не достигает остроты и точности социального анализа, свойственного Пуймановой и Сватоплуку, но и он неумолимо демонстрирует на примере судьбы своего героя, какая жестокость и поистине волчья хватка требуется для того, чтобы «неограниченные возможности» превратились в действительность. В образе Швайцара, особенно в его отношениях с Соней, можно усмотреть и полемику с фашистскими теориями и «права сильного» на уничтожение больных, слабых и вообще «неполноценных» людей.

Сюжет «Невидимого» первоначально был поло-

жен в основу новеллы, написанной Гавличком в 1931 году и оставшейся неопубликованной. В этой новелле на первом плане безумец Невидимый и связанная с ним психопатологическая проблематика, а фигура Швайцара где-то на втором плане. Только выдвижение этого героя на авансцену превратило новеллу в роман и позволило автору подняться до большого реалистического обобщения.

Как подлинный писатель-реалист, Гавличек не упрощает характер своего героя, — ему свойственна внутренняя сложность и противоречивость, несмотря на его демонстративное отвращение ко всяким «сантиментам» и проявлениям душевной тонкости. Он порой даже импонирует читателю недюжинностью своей натуры, своим упорством и своей выдержкой и, наконец, своей трезвой оценкой морального ничтожества той среды, в которую привела его судьба. И в то же время Швайцар рабски усвоил мораль собственнического эгоизма, и в его остром и безжалостном самоанализе содержится большая доля самообвинения.

Исполнены психологической сложности и другие образы романа. Слабая, избалованная, никудышная Соня, обманутая в своей нежной

доверчивости, потом окутанная мглой сгущающегося безумия, подавленная жестокой волей своего мужа, вызывает порой глубокое сочувствие. С большим мастерством раскрыт характер и отца Сони, фабриканта Хайна, также ставшего жертвой Швайцара. Хайн не обладает хищной, волчьей хваткой, свойственной его зятю. Он цепляется за иллюзии патриархальных, почти семейных, как ему кажется, отношений со своими рабочими, обожает свою дочь, но ничего не способен сделать, чтобы спасти ее, и в конце концов с бессильным отчаянием вынужден лишь наблюдать крушение всего, что ему дорого. Среди многих проникновенно раскрытых образов выделяется обаятельный образ полуслужанки-полувоспитанницы Кати, сохраняющей в тяжелой атмосфере дома Хайнов неунывающий юмор, доброту, жизненную силу, однако не способной противостоять губительному влиянию Швайцара, который ломает и ее жизнь.

Гавличек писал по поводу замысла своего романа: «Создать образ однозначно дурного человека — слишком простая задача. Это негуманно. Швайцар должен быть в чем-то прав по отношению к своему окружению… Но если бы он победил, конец романа выглядел бы дьявольской ухмыл-

кой. Это не входило в мои намерения. Потому что такая ухмылка бесчеловечна». В этих словах писателя заключена не только этическая, но и художественная программа.

В отличие от авторов «черного романа», Гавличек исходит из ясной моральной оценки изображенных персонажей и коллизий, которая у него в конечном итоге связана с социальной. С этой точки зрения важно понять смысл образа Невидимого, играющего в романе особую роль. В конкретно-сюжетном плане — это безумец Кирилл Хайн, мании которого потакают родственники, делая вид, будто верят в его невидимость. Вместе с тем Невидимый — это символ злых, темных сил, создающих мрачный колорит романа. Соня говорит своему мужу, что для нее в Невидимом воплощена сила вездесущего и всеведущего божества, неотступно наблюдающего за человеком, которому некуда скрыться от этого взора. А Швайцар, сначала насмехавшийся над страхами своей жены, постепенно начинает видеть в Невидимом воплощение фатальных сил, провоцирующих его на неравный бой, в котором ему в любом случае уготовано жалкое поражение. Он готов винить в своих несчастьях некоего ирреального «Любопытного наблюдателя», персо-

нифицирующего рок, завистливого и коварного врага, полного ненависти к нему, Швайцару, завидующего его успехам и стремящегося коварно из-за угла вредить ему. «Я не сомневаюсь, что его единственной целью было — как можно больнее унизить меня. И сколько коварства было в его плане! А почему все это? Потому что он мне завидовал…» Так думает Швайцар, но не автор. Поэтому на подобные полубезумные рассуждения героя отвечает случайно попавшееся ему на глаза и вызвавшее его крайнюю ярость народное изречение: «Человек — сам кузнец своего счастья». В ту атмосферу душевной фатальности, которую нагнетает в своих воспоминаниях герой, автор вносит рациональное аналитическое начало, возвращающее читателя к реальным событиям и их верному истолкованию, адресуя его также к социальному смыслу изображаемого. Недаром последний, самый страшный удар для Швайцара — хитроумное завещание старого Хайна, которое сводит на нет все его надежды на богатство и независимость.

Романы Гавличка принадлежат к выдающимся достижениям того направления в чешском психологическом романе 30—40-х годов, которое не пошло по пути замкнутого в себе психологизма,

а связывало изображение внутреннего мира человека с раскрытием значительной социальной и философской проблематики. Они занимают свое место рядом с такими произведениями, как философская трилогия К. Чапека («Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь») и его роман «Жизнь и творчество композитора Фолтына», и особенно близки романам В. Ржезача, написанным в 40-е годы («Черный свет», «Свидетель», «Рубеж»); как и Гавличек, Ржезач уделяет большое внимание обличению воинствующего мещанского аморализма; и примечательно, что в романе «Черный свет» повествование, как и в «Невидимом», ведется от имени героя, который невольно разоблачает свою «червивую душу».

Реалистическое раскрытие «механики зла» в романе Гавличка прежде всего позволяет определить его место не только в чешской, но и в современной европейской литературе, на уровне выдающихся достижений которой роман несомненно находится.

Тема наследственного безумия, вырождение буржуазного семейства — все это близко традиционной проблематике натурализма. И в чешской литературе было немало последователей Эмиля Золя, разрабатывавших эту проблематику, напри-

мер К.-М. Чапек-Ход, с которым чешская критика охотно сравнивала Гавличка. Но натурализм исходит из фатальной детерминированности человеческой судьбы социальными и прежде всего биологическими законами, а Гавличек ставит проблему по-иному, признавая моральную ответственность человека и осмысленность его активного участия в ходе мирских дел. Мелькало в чешской критике и сравнение Гавличка с Ф. Кафкой. Но для Кафки и близких к нему художников социально-бытовые моменты и вообще все конкретно-достоверное в произведении важно главным образом для того, чтобы подчеркнуть его несущественность перед лицом иных, первозданно-могущественных сил, необратимо коверкающих судьбу человека. Гавличек же, как истинный реалист, наполняет даже самые, казалось бы, абстрактные образы острым и значительным эмоциональным и психологическим содержанием, подчиняя их концепции человека, как существа не только обусловленного средой, но и творящего ее, способного к сопротивлению злу, смысл которого не представляет собой нечто непостижимое и может быть определен социальными параметрами. Роман «Невидимый» закономерно сопоставить со многими выдаю-

щимися явлениями критического реализма XX века в разных литературах. По своей структуре он напоминает, например, романы французского писателя Ф. Мориака, в которых тонкий психологический анализ и психопатологические моменты также подчинены глубокой социальной оценке и критике изнанки частной жизни буржуазного общества.

Гавличек прекрасно воспроизводит атмосферу ужаса и тайны, но для него чрезвычайно важно и достоверное, пластичное, многокрасочное изображение внешнего мира. Блестяще выписаны детали обстановки в старом доме Хайнов, начиненной, в представлении Швайцара, угрозой и злом. Столь же много живых, верно подмеченных деталей и в портретах персонажей. В то же время роман «Невидимый» свободен от громоздкой описательности, свойственной в известной мере первому роману Гавличка. В «Невидимом» автор подчиняет мастерское изображение внешнего мира, характеров и событий чрезвычайно драматично и увлекательно разворачивающемуся сюжету. Отточенное мастерство детали позволяет писателю поднимать ее до символа, сохраняя всю ее неповторимую характерность. Таково, например, сравнение ярко-красных губ Сони с

раной, которое раскрывает свой смысл в момент ее трагической гибели. Да и вообще цвета предметов нередко приобретают в романе не только живописный, но и символический смысл.

Автор вспоминает, как он стремился к лапидарности и драматизму, увлеченно работая над своим романом: «Ох, этот „Невидимый“, создававшийся в каком-то неиссякаемом опьянении, по двадцать — тридцать страниц ежедневно, после целого дня утомительной работы, шестьсот страниц первоначального текста, потом доведенных до четырехсот двадцати». Этими словами начинается автокомментарий к роману, знаменательно озаглавленный «Попытка создания образа человека в литературном произведении». Живые люди, действующие в предельно драматичных обстоятельствах, лаконичная, можно сказать, «сгущенная» манера письма — таковы несомненные достоинства Гавличка-художника. И в этом смысле Гавличек стоит на уровне лучших достижений реализма нашего века.

Известная чешская писательница Ярмила Глазарова так охарактеризовала роман Гавличка «Невидимый»: «Эта книга единственная в своем роде в чешской литературе. Мы, ее первые читатели, до сих пор потрясены ее сумрачной силой.

И так горько вспоминать, что она долго не могла найти издателя, что ее отвергали холодно и с полным непониманием».

Знакомство с романом одаренного писателя обогатит наши представления о талантливой, переливающейся многокрасочным спектром чешской литературе нашего века.

И. Бернштейн

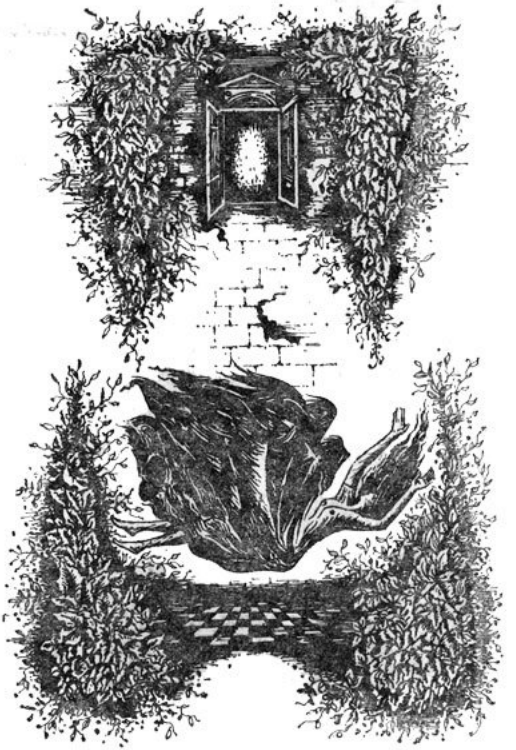


НЕВИДИМЫЙ



НЕВИДИМЫЙ





1
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Мане Краусовой[1]



Неполных три месяца назад я получил извещение о кончине Кирилла Хайна. Очень краткий и холодный текст, какие посылают в подобных случаях и при подобных обстоятельствах: «Извещаем Вас, что он умер вчера в половине девятого вечера вследствие воспаления легких. В случае каких-либо особых пожеланий касательно похорон просьба сообщить нам незамедлительно».

---

[1] notes: 1

Маня Краусова — жена писателя; в романе использовано многое из обстановки городка, где проходила юность М. Краусовой.

Печать и дата. Подпись, похожая на стенографический знак. Больше ничего.

Нет, у меня не было никаких «особых пожеланий касательно похорон», абсолютно никаких, однако весть эта произвела такой же эффект, как если бы на погасшее по видимости огнище плеснули ложку спирта: мертвый пепел вспыхивает тогда гудящим пламенем. Оно может слегка опалить вам брови или закоптить свежевыбеленную стену. Я все время носил это казенное письмо с собой, то и дело машинально вытаскивая его из кармана. Вот как — стало быть, умер! Умер! Все зло, которое причинил мне этот невинный виновник, всплывало передо мной четко и последовательно, что бы я ни делал — ел, работал, ложился спать. Не то, чтобы оно было уже забыто. Никогда, никогда не забыть мне его! Но теперь призраки поднялись из могил. Последние несколько лет моей жизни встали перед моим внутренним взором.

Не знаю, когда мне, собственно, пришла мысль описать свою историю. Скорее всего в тот момент, когда я впервые осознал, что невдолге исполнится ровно десять лет с тех пор, как я переступил порог этого дома.

Написать историю своей жизни… Звучит неве-

роятно возвышенно! Однако я вовсе не собираюсь как-то там увековечивать мои великие деяния. Да и не было в этой истории ничего красивого, такого, что стоило бы увековечить. Возможно, я просто почувствовал потребность доказать кое-что собственным сомнениям. А может быть, в извилистом русле моей судьбы затерялось что-то, и я надеялся найти его таким путем. Впрочем, нет! Не надо отрицать свою вину, когда я *знаю*, что ни в чем не виноват, не надо отыскивать поджигателя, он мне отлично известен! Тут скорее как бы испытание мужества… Мужества? — Ха-ха, конечно! Но об этом пока ни слова, об этом — после.

Начать день в день, минута в минуту, ровно через десять лет после того, как началось мое несчастье… Пусть сочтут меня сумасбродом за то, что я уцепился за числовую веху, не имеющую, в общем, никакого значения. Пусть думают что угодно, я заранее говорю: мне это абсолютно безразлично. Слишком уж соблазнительно, слишком глубоко волнует — приступить к делу в тот самый день, который имеет непосредственное отношение к событиям.

Как только мне стало ясно, что я *не могу не писать* свою историю, я начал готовиться к этому.

Не проходило дня, чтоб я не перебирал старые бумаги, не сидел над календарем, не делал заметок. Всеми силами старался я вырвать у забытых лет подробности, слова, лица. Оказалось, что для такой подготовки два месяца — вовсе не долгий срок. Десять лет! Попробуйте-ка вспомнить по возможности точно, что вы делали десять лет назад! Право, не так-то это просто, даже если те давние события неизгладимо запечатлелись в вашем мозгу.

Я усердно трудился, чтобы написать свою историю. Не забыл ничего, что могло бы подстегнуть мою память и помочь мне более полно припомнить прошлое. Потому-то и отдал я несколько странные распоряжения на сегодня. Странные? А почему бы и нет? Разве после всего, что произошло со мной, не обрел я право на кое-какие странности?

Наконец он наступил, этот особенный день, когда я, по собственному замыслу, прямо-таки упьюсь своим прошлым. Сегодня и помышления не было о том, чтобы пойти на завод. С раннего утра я тщательно изучал весь трудолюбиво собранный материал. Днем погулял в одиночестве, чтоб освежить голову. Не торопясь, шаг за шагом, по замерзшей дороге, к лесу и обратно. Потом

сидел дома, курил. Пленные воспоминания свои, одурманенные дымом сигары, держал под рукой. Разглядывал их — пристально, упорно, молчаливо. Видел, как они трепещут, как дрожат эти туманные тени, эти жалкие призраки!

Плотно поужинав, я заперся в своей комнате. И вот сижу, пишу первые строчки. Пишу внимательно, каллиграфически, чуть ли не как школьник. Но это только для разбега. Только для начала. Слева на моем письменном столе — коробка с сигарами, справа — бутылка вина и бокал.

Это — та самая комната, которую мне дали, когда я провел в этом доме первую ночь, та самая комната, в которой я жил до свадьбы. Тогда она была всего лишь гостевой. Я повысил ее в звании, сделал своим кабинетом, когда тесть переселился к своей тетке на первый этаж, предоставив нам, новобрачным, весь второй. Теперь здесь, конечно, все не так, как было тогда. Вместо старомодного умывальника с мраморной доской — простой американский письменный стол, кушетка вместо широкой дубовой кровати, этажерка с книгами по моей специальности вместо ночного столика. Все лишнее убрано на чердак.

Календарь над моей головой говорит со мной

знакомым голосом — голосом убегающего времени, сказал бы я. Третье февраля. Большая черная цифра «три» пригнула голову. Не кажется ли вам тройка похожей на подстерегающего, злобного зверя? Всмотритесь: острый клюв, коготь, нацеленный для удара… Тройка для меня — число злого рока. (Глупость?) Февраль очень неприятный месяц. Ни зима, ни весна, что-то на полдороге между ними. Февраль — и звучит-то неважно, по крайней мере для моего слуха. Никогда не знаешь, какая напасть ожидает тебя в феврале. Я убежден, что вошел в этот дом в неблагоприятный месяц и в скверный день.

Сегодня воскресенье — тогда был вторник. Сегодня тысяча девятьсот тридцать пятый год, тогда был двадцать пятый. Десять лет тому назад, в восемь часов вечера, заводской шофер подвез меня к воротам виллы Хайна.

Твердой рукой наливаю себе вина. Курю и неторопливо стряхиваю пепел в пепельницу. Только спокойно, только без спешки! Я один, а кажется мне, нас тут двое. Я — и напротив меня мое прежнее «я» моложе на десять лет. Тот, младший я, хорошо воспитан, он вежливо чокается со мной. Я тоже вежлив с этим господином, у которого много преимуществ передо мной. К тому же он

капризный гость. Еще обидится.

Около семи часов я встаю, надеваю пальто, сую в карман портсигар. Еще раз, напоследок, выпиваю бокал.

Последний смотр войскам перед битвой — так можно назвать мой обход дома: вверх по лестнице, потом вниз — и назад, к письменному столу. Все должны уже сидеть по своим комнатам, во всем доме должна царить абсолютная тишина. Так я приказал. Так значится в моей программе. Сначала зайду в Сонину комнату, потом поднимусь в мансарду (мансарда тоже очень важна, это объяснится позже), спущусь на первый этаж и выйду в сад. Во всех комнатах поверну выключатели, постою, подумаю, припомню некоторые подробности, обновлю в памяти кое-какие картины. Какую-нибудь давнюю сцену, поблекшее действие. От предмета к предмету, от окна к окну. Потом выйду. Оставлю свет. Комнату за комнатой. По всем помещениям. Медленно и вдумчиво. Из сада огляжу весь большой освещенный дом.

В восемь часов истекает предписанный мною час тишины. К тому времени я снова усядусь в своем кабинете, один на один с тетрадью и вином. Ровно в восемь сонная Берта выйдет из своей каморки в мансарде и пройдет по моим

следам, гася свет.

В девичью комнату Сони я вошел с некоторой робостью — так входим мы туда, где нам слишком часто давали понять, что мы нежеланны. Надо вести себя скромно, чтоб не раздражать враждебно настроенные стены, пугливую мебель, чуткие занавеси и покрывала. Я предпочел остановиться в дверях.

В этой комнате ничего не изменилось с тех пор, как Соня стала взрослой. Таково было ее желание. Ей хотелось, чтоб ее спаленка всегда напоминала ей о годах девичества. Комната должна была служить приютом воспоминаний, каких-то девичьих тайн. Н-да, нельзя сказать, чтоб сентиментальные представления Сони осуществились. Право, этого никак не скажешь!

Ох, этот хрупкий, молочно-белый письменный столик, эта сладостная, монастырская чистота стен! Филигранные формы, лебединая шея, стебли лилий — наивное изумление ночного столика… Незапятнанность! Девственность! Собственно, незапятнанности-то этой уже нет. То, что некогда разыгрывалось тут, давно уничтожило всякие иллюзии. Если забежать вперед, я сказал бы: *рассмотрите вместе со мною следы!* Посмотрите, нет, вы только посмотрите: на что

похож вид, открывающийся из окна? Вглядитесь: зачем так стыдливо плотны эти занавеси? *Видите?* Что-то проблескивает, обнаженное, трезвое, жесткое — видите? Узнаете? — Впрочем, не хочу забегать вперед.

Нет зрелища тягостнее, ничто не производит такого впечатления заброшенности, как рояль, которого никто не касался годами. Другой предмет, от которого веет холодом, — книжный шкаф, если в нем не роются уже беспечные руки. Если хотите устроить в доме траурный покой, поставьте там рояль, на котором никто не играет, положите книги, которые не читает никто, а для завершенности картины поставьте туда еще кровать, на которой никто не спит. Тогда будете входить сюда, как в комнату, где водятся привидения. Просто невероятно, до чего угнетают воображение предметы, предназначенные для того, чтобы звучать, выражать себя, быть теплыми, но которые мы обрекли на холод, молчание, бездействие.

В комнате Сони — рояль, книжный шкаф, узкая девичья кровать. Ровно уложенные перины покрыты розовым стеганым покрывалом. Туалетный столик с овальным зеркалом — на нем уже нет безделушек…

В моем настроении нужно было очень немногое, чтобы представить себе Соню — такой, какой я видел ее здесь в последнее перед свадьбой, беззаботное и приятное время. Она сидела за роялем — ей, скрытой большими нотами, приходилось изрядно вытягивать шею, чтобы видеть меня, — или на низеньком пуфике у окна. Нога на ногу, пальчик у подбородка, другая рука, с узеньким колечком на безымянном пальце, лежит на книге, подобная раскрытому вееру. Вот пытливо взглянула на меня исподлобья, нога соскользнула с ноги, книга захлопнулась.

Соня была миниатюрна. Тонкое лицо, серо-голубые — или, вернее, серо-зеленые глаза. На переносице и щеках такие густые веснушки, что лицо казалось смуглым. Волосы темные, почти черные. Маленький, очень красивый рот. Стройные ноги, маленькие, детские грудки. Не красавица — только хорошенькая.

В ее фигуре, во всем ее облике было что-то свежее и ясное. Губы у нее были такие алые и так они блестели, что походили порой на кровавую рану. Надеюсь, всякому ясно, что я пытаюсь вызвать образ Сони-девушки или хотя бы, скажем, Сони-возлюбленной, ибо такой я хочу увидеть ее десять лет спустя — точно такой, какой знал

ее тогда. Не собираюсь отрицать, что тогдашнее мое отношение к ней имело много общего с отношением других женихов к обрученным с ними девицам — то есть не лишенное некоторой влюбленности. *Влюбленность!* Сейчас я, конечно, цежу сквозь зубы это странное и непостижимое слово, цежу чуть ли не с враждебным чувством. Но единственное, к чему я стремлюсь, — это быть справедливым. И к себе, и к ней. К ней — в равной мере, как к себе.

Если б годы не завалили камнями вход в мое сердце, я, вероятно, мог бы сказать: *«Бедная Соня!»* — сказать почти просто и с жалостью. Но сейчас это стоит мне слишком большого труда, и слова эти, произнесенные вслух, сегодня смахивают на издевку.

Когда я впервые увидел ее — это было на вечере студентов и художников в Праге, в Виноградском Народном доме[2], — Соня была в светло-синем платье с глубоким вырезом. Во время танца платье немного сползло с плеча, открыв нежность и белизну кожи. Ее особая манера танцевать — отклоняя корпус от партнера и глядя ему в лицо преданным, восторженным взглядом, —

[2] notes: 2

Народный дом — клуб; Виноградский Народный дом в Праге — клуб художников.

волновала меня. Соне было тогда двадцать два года. Несомненная, но вызывающая чистота. Такую безмерно сладостно обнажать, мучить поцелуями… Задушить ее беспечный смех! Да, да — навсегда задушить ее печальный смех…

Она повесила на стенку нашу свадебную фотографию. Мне никогда не нравился этот снимок. Соня на нем — наивное, миниатюрное создание в традиционной фате, с букетом. Мне все казалось, что фотографический аппарат решил накинуть на Соню покров незначительности, меня же разоблачить до дна души. Нигде не выгляжу я таким жестоким, самовлюбленным, таким торжествующим, как на этом свадебном портрете.

Головка, склоненная к моему плечу, вся эта атмосфера, фата, белые розы — легко вообразить себе даже звуки органа. Идиллия. Но уже тогда, когда я стоял, подобный манекену, с головой словно зажатой в тиски, с глазами, глядящими туда, куда приказано, — на губах моих трепетало то чудовищное, насмешливое слово, которое позднее так часто и с такой неприятной настойчивостью просилось на язык: *комедия*. Конечно, нет никакого несчастья в том, что отрезвляешься от чар. Это естественный ход событий. Мы люди разумные, умеем приспособляться. Нам в совер-

шенстве известна игра в торги с судьбой: ты мне, я тебе. Мы не дураки: что созрело в душе, вовсе не обязательно выговаривать вслух. К чему сцены, к чему слезы? Многое можно скрыть за холодной, надменной улыбкой. Нас ожидало кое-что похуже. Не мещанская свадьба, не нежилая комната — другие ужасы сломили меня, другие картины погрузили в печаль.

С крыши виллы смотрят в сад два мансардных окна. За каждым из них — по комнатушке. Та, что влево от лестницы, принадлежала Невидимому, во второй жил Филип. Логово Невидимого осталось пустым — из пиетета. Пустует эта комнатушка и теперь, — я вижу хороший стиль в том, чтобы некоторые помещения в доме стояли запертыми. За этой дверью жила некогда гротескная тайна. Там стерегла свой час бездушная кукла, которую дергал за ниточки недобрый принципал — тоже Невидимый. (Подразумеваю того, на небе.) Ржавый пугач, воробьев гонять! Можно ли было предположить, что однажды чья-то рука поднесет огонь к этому остывшему пороху, и грянет выстрел, и попадет в цель?!

Комнатушку Филипа теперь занимает Берта. Испорченная женщина, с извращенными наклонностями — я это знаю, я мог бы представить

доказательства. Берта молода и невероятно ленива. Много горьких минут терпит от нее Кати. А меня забавляют страдания Кати. Впрочем, я ничего не имею против того, что под моей крышей живет насквозь циничное создание. Давая кров этому похотливому злу, я попираю прежние добродетельные законы дома, которые себя не оправдали. Всегда готовый кощунствовать, я поднимаю этот красный фонарь как издевку над добропорядочностью, которую предал бог.

Берта гуляет с шофером Криштофом, который вместе с Паржиком живет в полуподвале. То и дело тайные свидания в недавно построенном гараже, страстный шепот в саду, заговорщическое, многозначительное переглядывание! Криштоф — отъявленный плут с зеленой рожей и черными глазами. Трудно было бы найти вторую такую же гармоническую по распутству парочку!

Тащился я на самый верх не только для того, чтобы побыть в каморке Невидимого или убедиться, что Берта, как ей приказано, сидит одна при свете, да понюхать из-за двери запах ее сигареты; и не для того поднялся я сюда, чтоб повидаться с дружком моим, чье имя — прах, который царит над старым хламом в третьей, чердачной каморке, маленькие треугольные

окошки которой расположены по фасаду виллы. Целью моей было окно в коридорчике между этими комнатушками, окно, выходящее на дворик, который в свое время замостил Паржик; там теперь построен гараж.

У этого окна я стоял долго, очень долго. Отсюда, конечно, ничего не видно. Но я пришел не любоваться видами. В тусклом свете засиженной мухами лампочки я осматривал оконную раму, двигал заржавевшие шпингалеты, прислонялся лбом к ледяному стеклу. На этом месте претворилось в действие отчаяние одного очень сильного человека. С этого места чья-то заблудшая душа устремилась навстречу своей участи. Здесь были перерублены запутанные нити рока, но тот, кто балансировал на этом тонком канате, так или иначе должен был потерпеть фиаско, потому что за одним узлом возникал другой, и распутать их все было уже не под силу его воображению.

Пойдите на любой завод; если вы лицо уважаемое, если по каким-либо причинам вы там желанный гость, вас с удовольствием проведут повсюду, покажут оборудование, представят производство. Вас заведут в помещение, где гудит маховик, где накапливается движущая сила для вереницы станков. Цех за цехом покажут

вам; вы увидите, как возникает изделие, как оно совершенствуется, как выходит из последних чутких рук.

Цех, в котором десять лет назад вырабатывалась моя судьба, посетил немолодой человек, лицо заинтересованное — у него действительно были причины интересоваться этим производством. Маршрут его был таков: сначала ступил он, со шляпой в руке, туда, где сплетались нити этой судьбы, затем прошел мимо двери, за которой гудел маховик рока, постоял там, где первое запоротое изделие выбросили на свалку. Теперь он пойдет постоять еще возле другого такого же, никуда не годного изделия, с меньшим интересом осмотрит прочие места и в конце концов усядется описывать все, что видел.

Я спускался по лестнице с гордо поднятой головой, и плащ мой развевался. Мрачное настроение охватывало меня, поднималась во мне волна дикой ненависти. Этого-то я и хотел. Теперь еще *унижение* — и потом холод ночи, холод, на котором раскаленное железо застывает, обретая форму. Твердость намерения, верность анализу собственного разума, противоборствующие силы разочарования и гнева еще в конце концов превратят меня в поэта!

Я сошел на первый этаж. Там тоже есть две комнаты, в которых никто не живет. В каждой из них можно воздвигнуть крест с поминальной надписью: «Здесь, в возрасте шестидесяти лет, угас почтенный фабрикант Хуго Хинек Хайн» — и: «Здесь усопла его добродетельная тетушка, восьмидесятилетняя девица, в прошлом столичная штучка». Кладбище! Паноптикум! Я проходил здесь, не снимая шляпы, руки за спиной. Все будто так и кричало: «Направо равняйсь!» Портреты, мебель, бахрома, вышитые скатерти, альбомы, вазы, картины! Я чувствовал себя генералом, производящим удачный смотр. Честное слово! Все, молча: «Направо равняйсь!»

Напряженный, грозящий, серьезный вступил я в комнату Кати.

Кати! Ей было семнадцать, когда я впервые увидел ее. Рано созревшая бело-розовая девушка. Ясные синие глаза, чуть раскосые, надо лбом строптивый, как у сатира, чубчик. Будто закрывает рожки! И губы как у сатира, их уголки при улыбке подтягивались высоко, и блестело на них отражение мелких белоснежных зубов. Стройные ножки, созданные для танца, крепкие, острые грудки. Смех без конца. Воплощенная жизнь, воплощенный оптимизм.

Нынешняя Кати — покорная самка, которую я хочу — использую, хочу — оттолкну. Никогда не возникает у меня опасения, что она восстанет, убежит от меня. Всегда готова служить, ваша милость. Тут есть маленький секрет, пока что — только мой. Чертовски запутанная история. Не бойтесь, я скоро ее распутаю.

Я ни капельки не люблю Кати. Просто терплю. Кати — рабыня. Я сделал ее рабыней, потому что так мне хотелось. Она все еще хороша, но это уже не та, семнадцатилетняя Кати, хохотушка и хищница. Кто-нибудь, возможно, скажет, что я совершил великий грех по отношению к девушке, в которой жизнь била через край. Может быть. Не отрицаю. Одним обвинением больше или меньше — меня совершенно не трогает. А разве по отношению ко мне не был совершен великий грех? Я мучился, почему же не мучиться и еще кому-нибудь? Чего церемониться!

Филип — брат Кати. Тогда Филип был подростком, только что со школьной скамьи, неуклюжий заика. Позднее из него вылупилось нечто совсем иное. Не могу удержаться от смеха, как вспомню сцену, после которой я вынужден был выгнать его из дому. К тому времени он был уже солдатом, набрался самоуверенности, ничем не обосно-

ванной, и взял обыкновение смотреть дерзко, улыбаться язвительно. По-моему, он давно был не таким уж наивным, каким прикидывался, давно имел четкое представление о том, какое положение занимает Кати в моем доме. Но не осмеливался, вот в чем дело! Или, может быть, ждал случая пошантажировать, как многие в нашем мире… Что ж, если у него были подобные расчеты, то он изрядно промахнулся. Я не из тех, кого можно принудить к чему бы то ни было угрозами, клеветой или опасением — «что скажут люди».

Как-то вечером Филип с помощью ключа, вверенного ему (а у него не было другого крова, кроме дома, в котором служила его сестра), потихоньку пробрался в комнату Кати и столкнулся с ней в тот самый момент, когда она, в одном белье, выходила из моей спальни. Услышав крики, наглые угрозы, просьбы и рыдания, я накинул халат и пошел навстречу этой слишком речистой самонадеянности. И попал под обстрел собственного разъяренного лакея. Нечто вроде сцены из «Фауста». Валентин, узнав о падении сестры, обвиняет соблазнителя. Конечно, в несравненно более идиотской интерпретации. Не было никакого поединка, в котором Мефистофель направлял бы

руку грешника, дабы пронзить сталью грудь праведника; штык моего солдатика остался в ножнах у пояса. Но Кати была уничтожена, словно устами брата вопияла совесть всего мира. Впрочем, надо сознаться — после изгнания брата она действительно осталась совершенно одинока.

Я сказал, что Филип брат Кати, но до сих пор не объяснил, как оба попали в дом Хайна. Так вот, в свое время старый Хайн совершил акт милосердия, за который был отлично вознагражден. Кати было десять, а Филипу едва ли восемь лет, когда их почтенный батюшка, нотариус, спекулянт и пропойца, растратил доверенное ему сиротское имущество. Какое-то время он жил, прокучивая добычу со своими ненасытными любовницами, а когда все открылось, повесился на собственных подтяжках в тюремной камере. Как видите, он еще страдал моральными предрассудками. Жена его была обидчивая сентиментальная дама, светская женщина, читательница мелодраматических романов. Она разослала несколько слезливых писем родственникам да и выпила яд, как влюбленная горничная. Дети осиротели. Слезливые письма результата не возымели, никто из сестер нотариуса не отозвался. Вся эта благородная шайка забилась по углам из отвра-

щения к детям вора. И тут на сцену явился Хуго Хинек Хайн, достигший к тому времени зенита славы доброго и богобоязненного человека. Он принял детей такими, какими они были, со всей запятнанной репутацией их семейства.

С течением времени Филип сделался благодарным и зависимым слугой, Кати — подругой и компаньонкой хозяйской дочки, бедной приживалкой, одним словом — служанкой. Слуга и служанка. Впрочем, им не на что было жаловаться. Их услуги, их благодарность разумелись, правда, само собой, но принимались как дружеские. Никто не смотрел на них свысока. Оба стали членами семьи.

Быть может, я хватил через край, рассказывая о милосердном поступке Хайна в *таком тоне*. По правде говоря, господин мой тесть поступил действительно хорошо. Однако есть причины, по которым я не могу удержаться от язвительности. По тем же причинам я, например, презираю Кати. Она меня разочаровала. С какой легкостью эта смелая, неукротимая девушка, в которую я некоторое время *верил*, превратилась в то, что́ она есть сейчас! Бедняжка — она не может противиться властному зову тела. Так предана была своей повелительнице Соне и вот — не побрезговала

занять ее место на супружеском ложе! Но это еще куда ни шло — гораздо хуже, что она сломилась под своим нетяжким бременем и истязает себя угрызениями совести, которые мне разве что смешны.

Однако я ведь решил быть справедливым. Ладно, буду справедлив. Вот правда: я еще и за то презираю Кати, что она остается при мне. Я презираю всех, кто держится у меня, несмотря на мою крутость и мои капризы. Держится потому, что я богат и хорошо плачу́. Этот упрек, впрочем, к Кати не относится. Кати меня *любит*.

Едва я появился на пороге, Кати вскочила с места, глаза расширены ужасом. Я сначала не понял, потом догадался. Ну конечно, конечно — она ведь не знала, к чему я готовлюсь! Понятия не имела, что означают все мои подозрительные распоряжения по дому. И подумала… Ох, что она подумала! Несмотря на оскорбительность ее предположения, я не мог не усмехнуться.

Усмешку я прикрыл ладонью — я ведь явился сюда вовсе не для приятного времяпрепровождения. Вид у меня, вероятно, был весьма грозный: шляпа надвинута на глаза, сверлящий взгляд… Зловещая черная птица, молчаливый гость! Кати настороженно следила за моей рукой, спрятан-

ной за спину. Вообразила, что я держу в ней нож, или бомбу, или огнестрельное оружие — вот что она вообразила. А я стоял и сосредоточенно смотрел в некую *пару тупых глаз*. Пара тупых глаз! Но нет, о них я еще не стану говорить. Мой рассказ лишится всего, чем я мог бы заинтриговать читателя, если уже теперь, в самом начале, выложу все то, что должно явиться только в конце. Ведь когда я сделал первый шаг на моем роковом пути, я тоже еще не знал, чем все кончится. Пусть же не знает и читатель. Пусть поразит его неожиданность, пусть он вместе со мной, шаг за шагом, прочувствует мои прекрасные переживания!

Я стоял, смотрел, а Кати ждала, как хищник, готовый к прыжку. Признаться, я никогда не сумел бы сделать то, в чем она меня подозревает. В свое время я, правда, нашел в себе решимость совершить некий шаг, но то было совсем другое. Даже я, совершенно не отличающий добро от зла, знаю: то было совсем другое.

Кати не дозволено спрашивать о моих намерениях. Она привыкла читать мои желания по глазам. И теперь она прочитала *это*. В конце концов чему удивляться: мое возбужденное лицо, решительная поступь, столь многозначительное молчание! А мне всегда приятно видеть страх

в ее глазах. Восхищение, которое она испытывает ко мне, приправлено ужасом перед моей загадочностью. Я не удержался. Нарочно, шутки ради, чуть заметно двинул рукой — этакое, скажем, устрашающее движение к карману. Кати вскрикнула. В один миг очутилась она передо мной, глядя мне в глаза с мольбой и страхом. Губы ее дрожали. Несмотря на свою покорность — приготовилась к борьбе. Но не произнесла ни слова. Как бы посмела она заговорить со мной, когда ее не приглашают в постель?

Я оттолкнул ее, она повисла на моей руке. Я ощущал ее тело, прильнувшее к моему предплечью, чувствовал, как колотится ее сердце. Ее трепещущие груди словно предлагали себя, словно тщились отвести мои мысли в более безопасное русло — любой подлой ценой.

Я вырвал руку и занес ее над головой. Второй вскрик, на сей раз полный глубокого отчаяния, сорвался с ее губ. А я громко рассмеялся. Сухим мелким смешком — будто камни посыпались. Я мог позволить себе такой смех в такую минуту. Он был в стиле ситуации.

Кати отпрянула. Мы стояли лицом к лицу. Я уже не смотрел на нее, я разглядывал носки своих ботинок. А руки опять убрал за спину. Кати бурно

дышала. Меня охватило омерзение. Меня тошнило от собственной неограниченной власти, от этого болота, что вздувалось вокруг меня, вспухая вонючими пузырьками.

Я медленно повернулся и вышел, презрительно опустив уголки губ.

Медленно бродил я по саду. То была последняя часть из заданной самому себе задачи: увидеть освещенный *безмолвный* дом. Кружить вокруг большой мрачной виллы Хайна с ее тремя балконами, нелепыми выступами мансардных окон, с ее горделивым порталом и барочными излишествами, смотреть, как в напрасном ожидании падают из окон торжественные и тихие снопы света. Это должно было привести мне на память первый семейный ужин в хайновском семействе. Тогда я тоже — после всех странных объяснений, которыми меня угостили, — вышел прогуляться по саду. Только тогда я был не один.

Небо было зеленым от лунного света, облака черными — или светящимися, когда их пронизывали лунные лучи. На крыше лежали остатки снега, голые ветви деревьев тянулись вверх, скамейки наполовину утонули в смерзшихся сугробах. Я назначил себе три раза обойти вокруг дома, по расходящимся кругам. Чем далее углуб-

лялся я в сад, тем достовернее делалась иллюзия. Тишина, умноженная мраком, становилась все угрюмее. Когда же я пошел назад и огни в доме стали приближаться — мне было так, словно я шел на пир призраков. Столько света — а нигде ни звука! Вон, выше всех, под крышей, — лампочка Берты, а рядом, как совиный глаз, как затянутый пленкой глаз мертвой птицы, — окошко Невидимого, задернутое желтой занавеской. Ниже две сверкающие полосы, — окна второго и первого этажей, еще ниже — приоткрытая дверь черного хода и окна в комнатушку Паржика и Криштофа.

И мои одинокие шаги по обледенелому снегу дорожек, обостренные чувства, мысли — казалось, сейчас грянут в зимней ночи аккорды рояля, ликующие звуки, собранные беспечными пальцами… Сейчас ляжет на желтую занавеску уродливая, пузатая тень!

Готов согласиться — все это не более чем патетика, театральная ложь. Но тот, кто решил опьянеть, заведомо должен выпить нужное количество алкоголя. Кто желает возбудить в себе плодотворное волнение, должен нащупать внутри себя спящие, нетронутые клавиши и ударить по ним всеми пальцами. Неважно, что это всего лишь самовнушение — важно, чтоб в боку

отверзлась рана и выступила кровь на ладонях и ступнях, пробитых гвоздями!

И встал я над некой могилой. Склонил голову над неким местом на земле, около самой коробки нового гаража. Я вытоптал снег на этом месте, очень памятном месте, и посмотрел наверх, на памятное чердачное окно. Там, выше него, рисовалась черная, горбатая линия крыши. Там, выше него, было небо. Я стоял. Ждал. Нет, не раскрылись небеса, по лучу моего взгляда не скользнуло к земле ничего, что возвестило бы мне умиротворение. Когда-то я погасил догорающую свечу, воображая, что наступает день. Я ошибся. Еще темнее стала ночь. Плод моего испытанного мужества, которым я так гордился когда-то, сморщился и сгнил. Я абсолютно одинок. Нет у меня родственной души среди живых, я брожу в мире призраков, чего ни коснусь — все скользкое, зловонное, и нигде — ни цели, ни надежды, ни выхода!

Впрочем, нет: такой человек, как я, не верит в чудеса. Не нужны мне утешения свыше. Совесть не упрекает меня, сердце не рвется в тоске. Я не привык причитать над тем, чего не изменишь. Я не знаю слез. Никогда!

Я вынул часы. Без десяти восемь. Все точно. Время рассчитано верно. Я пошел к входной двери.

В просторном вестибюле льет свет странная люстра, похожая на кладбищенский светильник. Она из тяжелого металла, покрытого черным лаком, висит на цепях, и венец ее напоминает терновый. Настоящий светильник для склепа! До того, как в виллу провели электричество, в этот венец вставляли свечи, изготовленные на заводе Хайна. Люстра всегда не нравилась мне. Ее железный корпус отбрасывает вокруг тени человека тень решетки, а в центре светится круглое, грозящее око. На тень того, кто проходит по вестибюлю, падает свет маленьких боковых лампочек, размывая ее четкие очертания, и эта туманность распадается на четыре неясных полутени в направлении четырех сторон света.

Сегодня я с наслаждением постоял под этой ненавистной люстрой. Моя тень — четырежды раздавленный паук — безмерно забавляла меня. Я — насекомое, распятое на розе ветров…

2
Я

Нам нелегко заметить перемены, произведенные временем в нашей наружности. Обычно мы в состоянии увидеть лишь самые явные и внешние. Когда-то я гордился пышными волосами над высоким выпуклым лбом — теперь на темени у меня совсем немного светлых волосков. Нос у меня был изящный, орлиный — теперь он остро выдается на увядшем лице. Совиный клюв… Раздвоенный, энергичный подбородок выражает теперь чуть ли не жестокость, ямочки на щеках превратились в глубокие борозды, глаза стали колючими и запали.

Именно мои телесные достоинства главным образом и восхитили дочь Хайна много лет назад. Я хорошо сложен, у меня прекрасно развитая мускулатура; я очень силен. К тому же тогда я был еще молод… Молодость всегда чем-нибудь да лжет! У меня больше всего лгали ямочки на щеках и потом — некоторая меланхоличность взгляда. Все это не ввело бы в заблуждение человека с критическим образом мышления, но нам хоро-

шо известно — такие вещи природа сотворила ловушкой для женщин. В моем характере, например, никогда не было склонности к меланхолии, но когда мне хотелось, я мог принять меланхолический вид. Самое обычное дело, прошу покорно. Светло-серые глаза, посаженные глубоко под густыми бровями, глаза с этакой грустинкой… Такая же приманка — улыбка. Моя — если она не выражала иронию — внушала мысль о том, что я робок, как застенчивая девица.

У меня одно из тех характерных лиц, какие не забываются. Не было в моей жизни случая, чтоб меня с кем-нибудь спутали. Но не было и такого, чтобы кто-нибудь искренне ко мне привязался. Бросая взгляд на свою жизнь с должной долей критичности — как сегодня, например, — я смело могу сказать: никогда у меня не было друзей. (Даже Донт никогда не был моим другом.) Должен сознаться и еще в одном недостатке: я редко бывал приветлив или ласков с женщиной. Ни мальчиком, ни юношей — правда! При всем том я был приятным собеседником, гостем, которого везде принимали с удовольствием, специалистом, которого всегда ценили. Думаю, женщинам я казался слишком неприступным, мужчинам — слишком опасным конкурентом. Да, это так.

Где бы я ни появлялся — тотчас возникала атмосфера соперничества, беспокойства, стремления затмить других.

Я никогда не носил ни бороды, ни усов. Студентом я брился в те времена, когда мальчики старательно и всеми средствами выращивали под носом усики. Потому так жестки и непокорны волосы у меня на лице, а кожа на подбородке и челюстях грубая. Будь я брюнетом, я казался бы этаким бритым Синей Бородой, но я светлый блондин. Потому-то — особенно теперь, в моем возрасте, — вся голова моя как бы окрашена одним тоном. У меня нет губ и нет румянца. Когда-то я любил носить костюмы песочного цвета. Говорили, я похож на изваяние, словно весь вытесан из песчаника; это относилось и к лицу, и ко всей фигуре.

Не счесть, сколько людей говорили мне, что у меня аристократическая внешность. Никогда ничто не казалось мне более смехотворным. Но если это так, стало быть, природа сыграла одну из самых своих удачных шуток. В этом отлично убедился бы всякий, кто познакомился бы с моим отцом. Он жив до сих пор, с ним можно встретиться, хотя я никому не посоветовал бы этого. Лицо моего отца разительно похоже на

мое, фигура и осанка такие же, и тем не менее вряд ли можно назвать аристократическими его происхождение, жизнь и привычки. Заверяю вас, что и дед мой, насколько я в состоянии себе представить, был точной копией отца, а все же помер в придорожной канаве, с бутылкой водки в кармане — с бутылкой, высосанной до дна, — и был свезен на кладбище на казенный счет.

Этим вовсе не сказано, что дед опозорил отца, что моего благородного папá нельзя сравнить с этим деревенским бродягой. Отец не намного лучше деда; различие в том, что мать моя время от времени прибегала к воздействию своего авторитета, и ей кое-как удавалось заставить отца работать — он был столяром. Но опять-таки и этим я не хочу сказать, будто мать моя — ангел в облике человека, несчастная страдалица и тому подобное. По правде говоря, родители мои — парочка грубиянов, вечно в сварах со всей деревней, они натворили за свою жизнь больше скандалов, чем сколотили мебели, больше всех на свете любили каждый сам себя и вырастили детей только по той причине, что избавиться от них было бы куда затруднительнее.

Если взглянуть с этой стороны, можно бы, пожалуй, назвать мое детство печальным или

горьким — как кому нравится. Я был третьим из семерых выживших детей. Еще четверо зарыты по разным углам деревенского кладбища. Удел этих маленьких покойников был одинаков: первые и последние поминки по ним справлялись в день Всех Святых, следовавший после их смерти. Тогда мать еще сшивала полотняную подушечку, набивала ее опилками, украшала розовыми и белыми оборками да покупала несколько свечек, следить за которыми поручалось нам, живым. После этой единственной помпы об умерших никогда больше не вспоминали. Ни родители, ни кто-либо из моих братьев и сестер не помнят, где покоятся эти маленькие усопшие.

Моего старшего брата зовут Бедржих, как и отца, второго — Франтишек. После меня родилась сестра, названная по матери Анной. У нас никто не ломал себе голову, выбирая имена для детей. Родители упрямо возвращались к именам, зарытым на кладбище. Так, было у нас целых три Марии — только третьей из них удалось вырасти.

Честно говоря, я не знаю точно, где и как живет большинство моих единоутробных. Мы никогда не любили друг друга. Нас сплачивала только общая нужда да общие враги. Бедржих был при-

зван в армию и остался на военной службе. Мы с ним не виделись двенадцать лет, с тех пор, как он в последний раз пытался занять у меня денег и получил отказ. Наша братская связь оборвалась после невыразимо грубого солдатского письма. Брат Франтишек горбат; он стал парикмахером, женился и держит собственную парикмахерскую в районном городишке, недалеко от нашей деревни. Считают, что ему повезло. В крови этого калеки остался страх перед родителями, и потому на шее у него вечно сидит кто-нибудь из семьи, то отец, которому не хочется больше столярничать, то кто-нибудь из братьев или сестер. Он выучил уже трех племянников своему чистому ремеслу. Франтишек хвастлив и кичится тем, что никогда ничего не просил у меня. Он и по сей день, слава богу, держится того же благочестивого принципа.

Сестра Анна вышла за подмастерье нашего отца. Через три месяца после свадьбы в бельевой корзинке уже верещал их первенец. Стоит мне представить милую картинку сожительства этих очаровательных супругов в заложенном-перезаложенном домишке, как я не могу удержаться от смеха. Подмастерье Ферда на добрый десяток лет старше меня, а значит — на одиннадцать лет

старше Анны. Он женился на ней потому, что ни одна из деревенских девок не хотела его. Он пользовался самой дурной репутацией, какую только мог заслужить мастеровой: забияка, которого всегда били, игрок, вечно проигрывавший. Ферда — кривоногий селадон с буйными рыжими усами. Сестра на голову выше его ростом. Власть ее над мужем и родителями беспредельна.

Между Анной и следующими братьями и сестрами — два пробела после сестер, убранных на погост. Это значит, что я на пять лет старше брата Арношта. А те, кто младше него, мне уж совсем чужие. Антонин, например, родился через три года после Арношта. Ему не исполнилось и трех лет, когда я уехал учиться.

Арношт гордился своим именем, самым благородным во всей семье. Я с ним намучился, как только может намучиться старший брат с младшим, вверенным его опеке. Этот Арношт выказывал безграничную послушность только в одном пункте: ему приказали держаться меня, и он держался за меня изо всех сил. Лучшие мои мальчишеские годы прошли с этим паршивцем, уцепившимся за полу моей куртки. И я не могу даже похвастаться, что «воспитал» его. Несмотря на мой братский присмотр, Арношт стал преступни-

ком. Правда, не из худших, но все же преступник в глазах людей. Двадцати двух лет — он был к тому времени уже наборщиком — Арношт изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку. Просидев в тюрьме несколько недель, он бежал. Пропал без вести. Этот братец до сих пор нагоняет на меня страх. Я боюсь, что в один прекрасный день он явится, и притом не в самом благородном виде…

Если б кто отгреб кучу стружек в углу нашей большой комнаты, в которой испокон века пили, ели и спали, тот нашел бы доски пола почерневшими и наполовину сгнившими. Еще бы, когда здесь годами мочились и испражнялись все многообещающие отпрыски! Из-за этой-то кучи стружек и начал я познавать все формы мира. На столярном верстаке обедали, на нем играли в карты, за ним же позднее сестра Мария, наделенная, как и я, способностью к учению, а главное — страстью к книгам, читывала при свече, за каковой порок бывала бита то отцом, то матерью. Вокруг верстака разыгрывались семейные скандалы, вокруг него рассвирепевший отец гонялся за сквернословящей матерью, сопровождаемый хохотом старших и визгом младших деток. На этом верстаке стояли по очереди четыре маленьких гроба наших умерших.

Часто случалось, что нам, как говорится, нечего было на зуб положить. Непосредственных заказов отец получал очень мало. По большей части он работал от городского столяра: дешевая кухонная мебель, грубо обструганные гробы, деревенские сундуки… Стоило отцу поспорить с городским мастером, поругаться из-за той или иной неполадки — и мы впадали в нужду. В таких случаях мать, захватив того из нас, кто подвернется под руку, и приложив платок к красному носу, шла в город уламывать отцова благодетеля. Несчетные разы я участвовал в таких экспедициях. Всегда повторялось одно и то же. Сначала нам не хотели открывать, потом вступали в переговоры через дверь, наконец звали в мастерскую, и там хозяин при нас, при всей своей семье и учениках, изливал свое негодование на отца. Мать всегда добивалась своего. Не было случая, чтоб мастер уперся окончательно. Однако всякий раз возникало недоброе межвремение — между днем, когда отец еще чувствовал себя оскорбленным, и тем, когда нужда заставляла его согласиться на покаянное паломничество матери.

Случалось и так, что у городского кормильца не хватало заказов, и тогда дом наш посещала уже ничем не прикрытая нищета. Отец не вставал

с постели, ученика отправляли к родным, дети ревели. В пору, когда можно было извлечь кое-какую прибыль из церковных праздников, нас посылали колядовать по домам. В иную пору мы просили милостыню без всяких предлогов. Я пел колядки перед дверьми зажиточных горожан под рождество и под новый год, собирая куски в суму. Весной мы, дети Швайцара, были лучшими во всей деревне охотниками за лягушками. Ходили в город продавать окровавленные лягушачьи лапки, предлагали по домам букетики первых весенних цветов (весьма невыгодный товар), летом продавали землянику, чернику, малину. Грибы никогда не потреблялись в нашем хозяйстве. Все шло в город, даже яйца от нескольких кур, даже излишек молока от нашей козы выпивала некая чахоточная барышня.

Вечно преследуемые сторожем, жили мы день за днем жизнью индейцев и лодырей, жизнью деревенской детворы, предоставленной самой себе. Бедржих и Анна воровали при всяком удобном случае. Они могли спокойно хвастаться этим дома — за кражу их никогда не наказывали. Но горе им, если их ловили с поличным! Могу сказать — я никогда не воровал. Слишком скоро судьба улыбнулась мне, и из всех низких, гряз-

ных Швайцаров сделала меня чем-то лучшим, высшим, исключительным.

Жил в городишке некий Лахманн, богатый старый холостяк, владелец лимонадного заводика. Он был коренаст, низкорослый, страдал подагрой, имел белые моряцкие усы и нос огурцом. Его черные, вечно слезившиеся глазки походили на пуговки ночных туфель. Этот Лахманн, не исчерпавший нежных чувств к потомству, которого ему не было дано, имел две безобидные страсти: он обожал свою собачонку и любил разыгрывать из себя мецената.

Кобелек был толстый, безобразный, облезлый, в сбруе с бубенчиками; зимой на него надевали попонку. Звали его Авдий, он был пятнист, как корова, а глаза у него были трех цветов. Один глаз — обыкновенный карий собачий глаз, другой — наполовину серый, наполовину голубой, как у человека. Авдия ненавидели все, люди и собаки.

На каждое животное, даже самое тупое, находят порой романтические порывы. Авдий, никогда не покидавший дома, вдруг исчез — по причинам, о которых нетрудно догадаться. Его сманила любовь. Он оказался в нашей деревне. Не знаю, как удалось ему избежать внимания городских собак и городских детей. Деревенские сорванцы

встретили его градом камней. Авдий кинулся в поле. Дело было осенью, ветер гулял по полям. Мы пасли коз, греясь у костра, пекли картошку. Авдий, убежав от мальчишек, вообразил, что в лице козы Велькоборских он обрел лучшую приятельницу. Коза-то повела себя с ним дружески, зато Франта Велькоборский был к животным жесток до садизма. Едва завидев Авдия, он изловил его. (Дети Велькоборских были того же поля ягоды, что и мы, Швайцары.)

Мало кого в деревне ненавидел я так, как этого Франту. Он меня не переваривал. Он завидовал моим успехам в школе. И как только Авдий заскулил в его руках, я почувствовал себя покровителем собачонки.

Бой протекал по всем правилам. Ногти Франты Велькоборского нанесли мне даже солидную рану, которая эффектно кровоточила. Но Авдия, скулившего и благодарно облизывавшего меня, я отбил. Что делать с ним дальше? Взять домой и тем возбудить алчность отца? Я и сам был не прочь услужить добродушному богатому горожанину. В карманах я всегда носил веревки, нож и прочие необходимые мальчишке вещи. Под моей охраной Авдий на веревке был без дальнейших перипетий доставлен в дом хозяина. Его встре-

тили, как блудного сына. Экономка, перенесшая из-за пропажи собаки страшный домашний скандал, чуть не расцеловала меня.

Меня, с моими босыми, в грязи, ногами, с моей кровоточащей царапиной, ввели в комнату Лахманна. Он заставил меня от начала до конца рассказать всю собачью эпопею. А я еще и приукрасил ее, чтоб показаться бóльшим героем. Старик кивал головой, он так и таял и не жалел похвал. Я умолк, прикидывая в уме цену моему подвигу и моему хвастовству. Лахманн задал мне несколько вопросов о положении моей семьи. Я отвечал голую неприкрашенную правду. Он спросил, нравится ли мне ходить в школу. Я застенчиво сознался, что получаю хорошие отметки. Старик был тронут. А я как можно печальнее поглядывал на свои босые ступни. Я считал вполне вероятным, что мне, чего доброго, дадут целый гульден!

Я ошибся. Лахманн не дал мне и пятака. Я ушел, кусая губы и потихоньку проклиная его. Но на следующий день я застал лимонадного фабриканта в школьном коридоре за серьезным разговором с моим учителем. Я пробежал мимо них. Оглянувшись украдкой, увидел, как оба, кивая головой, провожают меня задумчивым

взглядом.

В ближайшее воскресенье Лахманн пригласил к себе отца. Тот вернулся с известием, ошеломившим меня: Лахманн предложил оплачивать мою учебу до тех пор, пока я буду приносить домой хорошие табели. Я не поверил своим ушам. Я думал, мне все это снится.

Кончив пятиклассную начальную школу, я поступил в первый класс реального училища. Лахманн выбрал его потому, что там срок обучения на год короче, чем в гимназии. Он сам отвез меня в областной город. И терпеливо ждал результатов экзамена, сидя в местном трактире и попивая лимонад собственного завода. Узнав, что экзамен я сдал с отличием, он погладил меня по голове. Снял для меня дешевое жилье «с половинным пансионом», преподал кучу правил морали и сунул в ладонь два гульдена на мелкие расходы. Еще он научил меня ходатайствовать о бесплатном предоставлении учебников мне, бедному мальчику, которого родители не в состоянии поддерживать материально.

Все семь лет я шел в классе первым учеником. Не утверждаю, что соперничество мое с одноклассниками всегда носило благородный характер. Нет, я никому не давал у себя списы-

вать. Если же когда и давал, то для того лишь, чтоб сбить с толку нахального лентяя. Я искренне ненавидел изящного синеглазого мальчика, единственного, кто мог сравниться со мной способностями и прилежанием. Перед учителями я умел прикидываться этаким святошей и не брезговал никакими средствами, лишь бы сокрушить соперника. Быть может, такое признание покажется кому-нибудь низким и меня осудят. Но пусть-ка возьмут в толк: я не был сынком богачей, мать не гладила меня по головке, пока я зубрил вокабулы, отец не обещал ни дорогого подарка к рождеству, ни поездки на каникулы за хорошие отметки. Каждый борется как умеет. Я хотел быть первым — и был им. Мне необходимо было загрести какие только возможно гроши стипендий — и я их загребал.

Каждое полугодие я наряжался в лучшее, что у меня было, и отправлялся показывать свой табель Лахманну. Тот читал, причмокивал, кивал головой и толстой своей, желтой рукой выдавал щедрые наградные. С годами, когда его уже стала одолевать старость, он даже пускал слезу, привлекая меня к себе и щекоча мне висок своими моряцкими усами.

Из всех предметов больше всего увлекла меня

химия. Я не мог быть счастливее, не мог чувствовать себя более окрыленным, чем в те часы, когда, с пробиркой в руке, производил в школьной лаборатории первые опыты простейшего разложения химических веществ. Уже один запах кислот, один жар спиртовки наполняли меня невыразимо возвышающим чувством. И я был очень огорчен, когда в шестом классе программа по химии закончилась. После выпускных экзаменов Лахманн предоставил мне выбрать ту область техники, в которой я хотел бы специализироваться. Я, не задумываясь, избрал химию.

Сильно ошибся бы тот, кто вообразил бы, будто дома ценили мои успехи. Ни отец, ни мать никогда и грошем не помогли мне, пока я учился. С каким-то ехидным злорадством они предоставляли Лахманну нести все расходы. Во время каникул он не содержал меня, и тогда я должен был отрабатывать свое пропитание либо за отцовским верстаком, либо помогая матери в нашем маленьком хозяйстве. Не проходило дня, чтобы отец не угостил меня ядовитой насмешкой. Братья и сестры смотрели на меня пренебрежительно. Зять Ферда до омерзения выкрикивал все, что думал о дармоедах и чернильных барчуках.

С Карелом Донтом я познакомился только в

пятом классе. Вообще-то он учился в том же училище с первого, но в параллельном классе. Карел, сын коммерсанта, был истым горожанином. У него была младшая сестра, страдавшая падучей и потому не посещавшая школу. Она училась дома. Как-то родители их не поладили с приходящим учителем, и я, по протекции Карела, сделался репетитором Эммы.

У Донтов я получал все, на что не распространялись благодеяния Лахманна: завтраки, ужины да немного мелочи на личные нужды. Сам Карел был лентяй, учился неважно, зато писал приличные стихи, а еще лучше рисовал. Из класса в класс он переходил только благодаря учителю рисования, который видел в нем талант. Его родители ставили меня ему в пример. Карел не обижался. Это был краснобай, которому нравилось опьянять себя возвышенными мечтами; жила в нем ни на чем не основанная самоуверенность посредственных людей. История моя его занимала, потому что была полной противоположностью его собственной мягко выстланной жизни. И мы ладили, в общем, только по той причине, что были такие разные. Он был настолько же легкомыслен и хорошо воспитан, насколько я — серьезен и беспринципен. Он — в той же мере

пассивен, в какой я — борец.

Одно время мы жили в Праге с Карелом вместе. Квартира наша была мне не совсем по средствам, но я умел находить источники довольно приличных заработков, да и Лахманн был еще жив. Естественно, свободного времени у меня было мало. До темноты я делал чертежи за других, бóльшую часть дня бегал по частным урокам, собственные же задания готовил по ночам. Зато я, в общем, не знал нужды и даже сумел отложить несколько десяток на непредвиденные случаи.

Карел поступил на факультет архитектуры и при всяком удобном случае выражал свое глубочайшее недовольство. Он хотел учиться живописи, а родители не позволяли. Он мстил им тем, что совершенно ничего не делал. Все свое время он убивал на попойки и на сон. Он влезал в долги, которые волей-неволей должен был покрывать его отец. Мать Донта умоляла меня присматривать за моим другом, всеми средствами оказывать на него благоприятное влияние — она предлагала мне даже приличное вознаграждение в случае успеха. Я отказался. Я не создан возвращать на правильный путь сбившихся молодых болванов. Тем более что в те времена я не нуждался.

Умер Лахманн, и стало хуже. Денег, заработанных собственным трудом, катастрофически не хватало. Невозможно стало оплачивать дорогую квартиру, где мы жили с Донтом. Я съехал от него. В одном смысле такая перемена была мне очень на руку: общество Карела и его неприятных собутыльников мне осточертело. Да и Донт со временем понял, что ему нечего сожалеть о моем отъезде: родители его, опасаясь, как бы он после моего ухода еще глубже не погряз в распутстве, разрешили ему наконец пересесть на другую лошадку и отдаться любимому искусству.

Мое новое жилье представляло собой тесную темную конуру с жалкой обстановкой, зато оно обладало существенными преимуществами: оно было дешево — и я жил один. Только там-то я как следует и отдохнул. Конец нескончаемым нелепым разглагольствованиям Донта о живописи, конец его «видению в красках», которыми он беспрестанно отравлял мне жизнь. Я никогда не понимал ни музыки, ни литературы, ни любого другого вида искусства. И — конец всей его никчемной болтовне о милашках официантках и о проблемах пола. Все это никогда не интересовало меня ни в малейшей степени. Пусть это кому угодно покажется непостижимым, но я заявляю:

за все годы студенческой жизни я ни разу не испытал юношеской влюбленности. Любовь зятя Ферды к сестре моей Анне, за развитием которой я имел возможность следить от самого ее нелепого начала вплоть до полыхания страсти, утоляемой низменным образом, излечила меня от всяких розовых иллюзий. Я тщательно избегал доступной любви. Из Донтовых дружков то один, то другой время от времени заболевал известной болезнью. Мне это было гнусно. Я не трус, но не люблю рисковать зря. Мое будущее стоило мне слишком большого труда, чтобы испортить его одним неверным шагом. Надо мной смеялись, бросали в лицо обидные догадки. Я не обращал внимания. Улыбался высокомерно. Все они были мне глубоко отвратительны.

Переезд на новую квартиру положил конец этим неприятностям. Вдобавок оказалось, что теперь у меня куда больше времени. Там полчаса, тут полчаса — у Донта вечно из-за всего приходилось задерживаться. Ко всему прочему мне улыбнулось счастье. После первого же государственного экзамена я получил платное место ассистента моего профессора. Жил я отшельником. Из лаборатории на лекции, с лекций на практику, оттуда — по частным урокам. При

всем том я был абсолютно здоров и находился в полном физическом и душевном равновесии.

Весной 1913 года меня призвали, но, как студенту, предоставили отсрочку. Половину своей задачи я выполнил и уверенно приближался к цели. И тут грянула война. Меня взяли в артиллерию. Мечты о близком будущем пришлось на время похоронить.

Мне было двадцать шесть лет, когда война кончилась. Надпоручиком в запасе я оказался беднее, чем когда-либо прежде. Дешевая квартира уплыла из рук. К счастью, я вышел из войны невредимым. Хотя я и участвовал в бесчисленных атаках и отступлениях, ни разу меня не ранило серьезно. А вот теперь дела мои были из рук вон плохи.

И в самую трудную минуту появился Донт.

Не очень-то приятно всю жизнь быть чьим-то должником, но тогда у меня не оставалось выбора. Донт вообще не попал на фронт. У него теперь было собственное ателье и — вот чудеса-то! — даже какое-то имя. Я пришел к нему. Сказал, что погибну, если он не поможет мне хотя бы на первых порах. Моя просьба растрогала его. Он бросился меня уверять, что давно мечтал быть мне полезным, только его всегда отпугивала моя

гордость. На другой день я поселился в его ателье. И жил у него, на его счет более полугода.

На лекции я, как и многие другие, ходил в офицерской форме. Опять кипятил содержимое колб и растирал химикалии в ступках. Мой брат парикмахер к тому времени уже стал самостоятельным мастером. Он помог бы мне, пожелай я того: Швайцары всегда отличались расчетливостью. Брат даже в завуалированной форме предлагал мне помощь. Достаточно было руку протянуть — но я не протянул, хотя и приходилось мне не на шутку туго. Не хватало, чтоб кто-то из родственников помог мне закончить учебу! Не было печали! Это значило посадить себе на шею всех Швайцаров до самой смерти. Они б никогда не выпустили меня из лап. Нет уж, лучше подохнуть под забором, как собаке, чем зависеть от них!

Слава богу, все обошлось. Офицерская моя форма, правда, была заплата на заплате, я сам — кожа да кости, порой не было денег даже на нитки, чтоб пришить пуговицу к мундиру (интерес Донта ко мне носил характер чисто художнический и зависел от его настроения), но в конце концов меня восстановили в должности платного ассистента. Как только у меня завелось немного денег, я второй раз уехал от Донта.

В 1921 году я закончил политехнический институт. Еще до государственных экзаменов меня приняли на работу в фирму «Патрия — химическая чистка и крашение». Для начала жалованье положили скромное, и все же оно было куда больше того, что я получал как ассистент профессора. Насколько я помню, оно составляло триста крон в месяц. Жить было можно. Из «Патрии» я перешел на крупный мыловаренный завод. Практика начинала мне нравиться. На мыловаренном заводе мне платили в полтора раза больше, чем в «Патрии». Но я стремился не только к материальному благополучию, — я хотел приобрести более широкие знания. И решил ехать за границу, то есть в Германию и Англию. Немецкий язык я знал, английский зубрил по вечерам после работы.

Третьим моим местом была лакокрасочная фабрика. Жалованье здесь было несколько меньше, чем на мыловаренном заводе, зато я получил возможность ознакомиться с новой областью химической промышленности. Неприятным последствием моей послевоенной нужды было то, что с тех пор Донт считал себя вправе претендовать на меня. Он полагал, что может рассчитывать на мое участие в его кутежах, и время от времени являлся кормить меня разговорами

о своей живописи. Это было в высшей степени тягостно, но, к счастью, продолжалось недолго. Донт влюбился очень глупо, по-мальчишески, женился, послал к черту «свободное искусство» и сделался учителем рисования в одном из пражских реальных училищ.

«Художник до мозга костей» взялся учить рисованию мальчишек в школе. Присяжный кутила остепенился. Чего не сделаешь ради женщины! А она не очень-то была и красива, эта Тина Донтова. Унылая блондинка со взбитыми волосами, козьими ногами, большой мягкой грудью, с длинными и острыми клыками и еще более острым и пошлым язычком. Пришлось мне, конечно, и свидетелем на их свадьбе быть, и после навещать их время от времени. Они хвастали своим сомнительным счастьем и не проходило дня, чтоб не донимали меня советами жениться, поскольку де брак — высочайшее блаженство.

Болтушка Карел сделался крайне противным малым. Женившись, он ужасно заважничал передо мной. Для пущей солидности он отрастил бородку, стал носить высокие простые воротнички и артистические галстуки. Взял привычку слегка сутулиться и в разговоре, не поворачивая головы, скашивать свои маленькие ехидные

глазки. Словно он поверяет кому-то какой-то пикантный секрет. Он стал мне неприятен как никогда раньше, но я все не находил удобного случая освободиться от его настырной дружбы.

Всякий раз, когда я ужинал у Донтов, Тина прижималась к моему плечу, щекоча мне лицо своей взбитой прической. Карела это не трогало, он скашивал глаза то в одну, то в другую сторону, сутулился, с хвастливым видом сыпал анекдотами из жизни художников. Тина перегибалась ко мне через ручку кресла, давая мне возможность заглянуть в глубины ее декольте. Однажды она попросила меня втайне обучать ее английскому языку. Хочет, мол, сделать сюрприз Карелу. Я отказался — не из добродетельности, а просто потому, что Тина была мне противна. Думаю, с тех пор она меня возненавидела.

В июне 1924 года студенты художественно-промышленного училища устроили вечер с концертом в Народном доме одного из пражских районов — на Виноградах. Приглашен был и Донт как художник. Он заглянул ко мне, предложил пойти с ним. Мне не хотелось. Донт стал уговаривать, пустил в ход и последнюю приманку, чтоб завлечь меня. Этой приманкой оказалась подруга Тины, в то время гостившая у них.

— Знал бы ты, что за девушка! — усердствовал Донт. — К тому же, слушай, богатая невеста! Что скажешь, а? У ее папаши мыловаренный завод. Будто по заказу для тебя!

Я улыбнулся. Не в первый раз Донт сватал меня с таким же легкомыслием.

— Нет, какое совпадение! Ты — химик, а у ее отца химическое предприятие! И она — единственная дочь. Правда, удивительная игра судьбы? Короче, ты не смеешь отказываться, ты просто обязан пойти с нами!

В конце концов я согласился. И познакомился на этом вечере с Соней Хайновой.

3
СОНЯ

Всякий раз, как Соня отходила от стола танцевать, Карел многозначительно поглядывал на Тину, Тина с той же многозначительностью — на Карела, и между ними завязывался совершенно прозрачный по умыслу разговор — о хороших чертах Сониного характера, о необычайном богатстве ее папеньки, — и они перебивали друг друга, спорили о подробностях с такой горячностью, что едва не вцеплялись друг другу в волосы.

Из бурного потока их слов я узнал, что мать Сони умерла очень давно и Соня ее совсем не знала, что воспитывали Соню отец и тетка, старая дева, и что дружба Сони с Тиной началась в монастырском пансионе, где обе проучились два школьных года.

— Ах боже, как там было весело!

Отец Тины, лесничий, тоже-де очень любил Соню. Однажды она провела у них почти все летние каникулы. Соня ужасно милая и вовсе не задирает нос, несмотря на все свое богатство.

— Славная девушка, — твердила Тина, — и пуще всего любит веселье!

— Да я-то не больно веселый, — возразил я, и Донт принялся доказывать, что разные характеры сильнее притягиваются друг к другу, чем сходные.

Подошла Соня, запыхавшаяся, праздничная, довольная тем восхищением, которое внушала всем, и с невинным вызовом спросила, чего это я тут сижу так важно, словно какая-нибудь дуэнья, почему не танцую? Я поднялся, поклонился с серьезным видом, и она немножко смутилась, не готовая к такому обороту дела. И пока мы с ней шли к площадке для танцев, все оправдывалась, словно школьница, уличенная в шалости, а я улыбался и отвечал, что, правда, танцую редко, но это еще не значит, что я мизантроп и противник танцев.

Когда музыка смолкла, мы стали прогуливаться по залу, и я легким тоном, маскируясь улыбкой, стал расспрашивать Соню. Как выяснилось, она в самом деле обладала чувством юмора. Своих домашних она описала мне с поразительной точностью. Представила мне Филипа и Кати, кухарку Анну и старика Паржика, который был одновременно садовником, дворником и сапожником.

По ее словам, семейство ее, живущее на севере Чехии, в области, заселенной немцами, было чудесной маленькой компанией. Тетя — обожаемое пугало, отец — ее балованный пай-мальчик, у кухарки одна забота — о желудках хозяев. А вообще их городок Есенице — невероятно смешное и при этом скучное гнездо. Соня бывает страшно рада, когда попадает в Прагу. У Тины она, собственно, гостит впервые — обычно же ездит к Фюрстам. Нет, пан Фюрст не родственник, просто хороший папин знакомый. Она должна сказать, что у них гостить еще приятнее, чем у Донтов, хотя Карел такой милый и комичный. Сыновья Фюрста готовы исполнить все ее желания. У них огромный сад в Голешовицах[3], в саду масса фруктовых деревьев…

Я подумал, что Фюрстовы мальчишки, верно, знают, зачем ублажают Соню. Но я понял также, что Соня еще не чувствует себя взрослой барышней. Скорее всего по милости ее послушного папеньки, который до сих пор любил качать ее на коленях.

Мне показалось, что ей будет интересно узнать кое-что о моей работе: она ведь с малых лет жила

---

[3] notes: 3
Голешовице — пригородный район Праги.

среди людей сходной с моей профессии. Я ошибся — Соня воротила нос от моей учености. Этого следовало ожидать — какой же я осел! Она была очень далека от всего того, что ее кормило и одевало. Жила, как птичка небесная. А впрочем, почему бы и нет? Ей всего-то было двадцать два года.

Тина следила за нами взглядом и матерински кивала головой. Всего досаднее было мне то, что теперь я уже не смогу отговориться, придется мне танцевать и с ней. Безмозглая чувственность Тины, то, как неприлично прижималась она к моей груди, были мне в высшей степени противны.

Донт, этот сентиментальнейший олух, требовал, чтоб я ему передал дословно все, о чем мы с Соней беседовали во время танца. Я с несколько преувеличенной презрительностью ответил, что меня познакомили с жилищем миллионера и со всеми его домочадцами.

— О, Соня на это мастер! — вскричал Донт. — Она все видит как художник! Чертовски умная девчонка!

— Если она так исключительно одарена, — поддразнил я Карела, — то, право, удивляюсь, как это она до сих пор не замужем. Полагаю, в претендентах на папенькин завод нет недостатка.

Карел даже остановился (мы с ним курили, прохаживаясь по коридору) и объяснил мне как некий секрет, что Соня — девушка прекрасно воспитанная и далека от того, чтоб хвататься за первого встречного.

— Ты, брат, провинции не знаешь. Там не всякий позволит себе ухаживать за барышней из хорошей семьи! Никто не посмеет, понимаешь? Для них она больно высоко. А здесь, в Праге, Соня редкий гость.

— Ну да, и как раз ждет Петра Швайцара из захолустья, — сыронизировал я.

— Ты, Петр, — возразил он с неподдельным восхищением, — ты, с твоей фигурой, как раз и добился бы ее, если б захотел!

Как только мы вернулись к Тине, снова начались несносные разговоры о вреде холостой жизни да о преимуществах супружеской. Меня выручила Соня, подошедшая к нам после танца. Тут я подметил, что наших дам связывает не такая уж трогательная и преданная любовь, как мне это изображал Карел. Многословные излияния Тины Соня выслушивала со страдальческим видом. Она не принимала участия в болтовне о браке. И я понял еще нечто важное: Соня не из тех барышень, которые мечтают выскочить замуж.

Время шло, Донт все больше пьянел, он уже еле ворочал языком и делался все смешнее и жальче. А мы с Соней все лучше понимали друг друга. Когда Тина уговаривала Карела не пить больше или пыталась придать какую-то осмысленность его разбредающимся речам, мы с Соней заговорщически переглядывались. Под конец ей тоже стало тошно от общества Донтов, и она давала мне почувствовать нечто вроде благодарности всякий раз, как я уводил ее танцевать. Нет, Соня была не из тех, кто легко знакомится. Вероятно, она вела себя со мной так непринужденно просто по избалованности, по привычке сразу подчинять себе всех и каждого. Она тащила меня за рукав, куда ей хотелось, заставляла говорить о вещах, суливших случай посмеяться, и вызывающе хохотала в глаза тем из окружающих, кого я касался язвительной насмешкой. Не думаю, чтоб она была так уж хорошо воспитана, как то утверждал Карел.

Когда я провожал Донтов и Соню домой, Карел старался держаться с Тиной позади, будто у них были бог весть какие секреты, только бы оставить нас с Соней наедине. А Соня, немного усталая и сонная, находилась в том перенасыщенном впечатлениями настроении, которому

недалеко до разнеженности. Прижимая к себе ее локоток, я говорил с ней тем приглушенным голосом, который так приятно слушать тихой летней ночью, когда, мирные и далекие, сверкают в небе звезды.

У подъезда дома Донт, без конца подмигивая и покашливая, пригласил меня на завтра в гости.

— Приходи обязательно, покажу свою новую картину. Ты ее еще не видел! Хочу знать твое мнение…

Это была ложь. Все, что Донт мог мне показать, было написано им более года назад. Со времени женитьбы он не создал ничего.

Я крепко, по-дружески, пожал Соне руку.

Я шагал домой по пустынным улицам, обдумывая этот вечер. Болтовня Донта все еще звучала в моих ушах, и я старался выловить из нее крупицы мудрости. А они были, эти крупицы, и было их даже больше, чем я мог предположить! Например: жалованье, которое я получал на заводе как инженер, было не бог весть что. Добьюсь ли я вообще когда-либо хорошо оплачиваемого места? Даже если я теперь уеду за границу, приобрету там кучу ценных сведений — всегда из моих знаний, из моего усердия будет извлекать выгоду тот, кто даст мне работу. Где-то далеко, в тумане весьма

отдаленного будущего лежит конечная моя цель: стать самостоятельным. Между нынешним днем и этим будущим — бесконечная вереница дней, заполненных тяжелым трудом. Что, если одним удачным скачком перенестись над всем этим, завоевать заслуженную награду более простым и куда более приятным способом?

«Инженер Петр Швайцар» звучит неплохо, но «зять Хайна» — гораздо лучше. А если еще — «владелец предприятия Хайна»?.. Нет, было бы несправедливо так вот, с маху, отмести идеи Донта. Тут бесспорно подвертывается редкостный случай. Жениться я все равно собираюсь, раньше или позже. Удачный брак, украшенный благосостоянием, входит в мои планы. Зачем же колебаться? О чем раздумывать? Соня хорошенькая. Правда, она немного взбалмошна, избалована, но в конце концов это неважно. Что же теперь нужно? А вот что: выработать разумный, хладнокровный план. Только, ради бога, никаких чувств, никакой любви! Этот сладкий сироп хорош для того разве, чтобы в нем размокнуть.

Если же действовать осмотрительно, не роняя достоинства, то в случае проигрыша всегда, по крайней мере, найдется способ выкрутиться без

ущерба для себя.

В самом деле, не было никаких причин отказываться от попытки добиться успеха у Сони Хайновой. Но первым условием удачного развития событий было — как можно скорее избавиться от всего, что пахло Донтом и его Тиной. В присутствии этой парочки меня на каждом шагу подстерегала опасность, что мои ухаживания станут неприятны Соне.

Когда я на другой день явился к Донтам, мне просто тягостно было слушать, как беззастенчиво превозносит меня Карел. (А не принять его приглашения я не мог, у меня пока не было иной возможности видеться с Соней.) Донт хвастал моей судьбой — судьбой бедного малого. Соню она, видно, заинтересовала, однако нельзя было подносить это снадобье в таких лошадиных дозах, как это делал Карел. Он до того восхвалял мои выдающиеся качества, что это уже стало вызывать недоверие у Сони. Да и в эпизодах моего детства она находила неприятно смешные стороны.

Карел был настолько неделикатен, что предложил нам с Соней погулять вдвоем. Мне ничего не оставалось, как ухватиться за эту дурацкую уловку и применить обстоятельства к собственным целям. Соня хотела, чтоб гулять пошли все, но

Донт вдруг сказал, что у него масса работы, а Тина просто-таки вызывающим тоном заявила, что без него не сделает и шагу. Соня явно обиделась, потащила меня за рукав к двери:

— Ну и пойдемте, не видите, они хотят от нас избавиться, мы им мешаем!

Карел хохотал как дурак. Все это было нелепо. Однако, хотя Соня чуть не хлюпала носом от обиды, мне показалось, что она вовсе не прочь выйти со мной.

Первое, что я сделал — еще на лестнице, — это извинился с серьезным и полным достоинства видом. Соня удивленно взглянула на меня. А я, с каменным лицом, сказал, что Карел Донт, женатый всего несколько месяцев, уже превратился в одного из той неприятной разновидности мужчин по названию «супруг», которая сродни старым свахам, готовым весь мир свести в законные пары. Я говорил все это возмущенным и язвительным тоном, для чего мне вовсе не нужно было делать усилий. И я с огорчением признался, что Карел вбил себе в голову женить меня, и вот теперь она, Соня, стала объектом его неуемной страсти к сватовству. Я уверял Соню (это было, пожалуй, рискованно, но немедленно вызвало нужную мне реакцию), что такая манера зна-

комиться мне в высшей степени претит и я не такой человек, чтобы столь серьезное дело, как устройство моего брака, поручать постороннему человеку, каким бы добрым он ни был.

— К какой же манере прибегли бы вы? — с плутовским видом спросила Соня, которую начало забавлять то, как развивались события.

— К очень простой, — скромно ответил я. — Если встретится мне девушка, которая почувствует симпатию ко мне, а я — уверенность, что она станет мне доброй подругой, я попрошу ее стать моей женой. Но я не позволю женить себя, как какого-нибудь дурачка.

— Значит, меня вы не выбираете. Н-да, мне это не делает чести! — засмеялась Соня.

— Я так мало знаю вас, — полусерьезно, полушутя возразил я, — что вам показалось бы подозрительным, если б я выбрал вас. Вы, конечно, подумали бы, что я влюбился в состояние вашего отца, которое и сватает мне Донт.

— Какая низость! — возмутилась Соня.

Мы принялись дружно осуждать Донта с его оскорбительными стараниями, и вспоминать все смешное, что было в них, и смеяться. Мы бесцельно бродили по улицам, и тут я без всякого зазрения совести признался, что не люблю

Прагу в июньскую жару и что ее пропыленные скверы отнюдь меня не вдохновляют. Соня согласилась со мной. Что бы нам такое предпринять? Я предложил зайти в первый же приличный и по возможности малолюдный ресторанчик, где было бы тихо и прохладно, посидеть, выпить гренадину или разбавленного вина со льдом. Соня признала, что мысль освежиться холодным напитком не лишена привлекательности.

Мы довольно скоро нашли прибежище, какое искали. Не сразу сумели мы попасть в нужный тон, чтобы вернуться к столь притягательной и при этом столь экстравагантной теме. Наконец я снова захватил инициативу, сказав, что прогулка с нею и то, что вот сидим мы и пьем вдвоем — нечто совершенно для меня новое. Пусть она извинит мне эти слова, но я ведь никогда не знал дружбы с женщиной. У меня такое чувство, будто мы с ней — как бы это сказать? — заговорщики. Против чего? Ну, скажем, против глупости, против условностей, против сентиментальности. Соня согласно кивнула. Я отважился пойти дальше.

— Знаете, — с меланхолическим видом сказал я, — до сих пор я был нелюдимом. Не в моем характере ухаживать за девушками. Этого плода я

еще не пробовал.

— А вкусно? — опрометчиво спросила она.

— Очень, — ответил я серьезно. — И я бы хотел… Мне бы не хотелось, чтоб у меня слишком скоро отняли этот плод…

— Да кто его у вас отнимает? — кокетливо удивилась она.

Я подсел к ней ближе и заговорил терпеливо, вполголоса:

— Послушайте, мне в самом деле очень хорошо с вами, и я буду вам от души признателен, если вы не прекратите наши дружеские встречи… Но, честное слово, я сам откажусь от них, если нельзя будет осуществлять их иначе, как под хранительным крылом Донта. Понимаете? При нем это так гнусно… О, знаю, тогда вы слишком скоро почувствуете отвращение ко мне. Отвращение ко мне — по милости Донтов! Если вы согласитесь, мы могли бы завести маленькую безобидную тайну от Карела и Тины. А при них можно даже прикидываться, будто мы немножко в ссоре, правда? Будто не переносим друг друга…

Потом я осторожно осведомился, сумеет ли она находить предлоги, чтоб исчезать из дома этой наивной семейки. И вообще — сколько она собирается еще гостить в Праге?

Соня довольно долго думала, кусая мизинец и упорно глядя в окно. Видно, тайна и влекла ее, и немножко пугала. Инстинкт подсказывал ей, что все это пахнет чересчур уж большой близостью. Ведь я все-таки чужой. Почему бы нам открыто не вышучивать Донта и его жену в их доме, при них. И она не знала, что мне ответить. Она не была уверена, удастся ли ей каждый день уходить, не объясняя Тине — куда.

Но у меня уже готов был рецепт. Если ей хоть немножко хочется встречаться со мной, можно говорить Донтам, что она идет к Фюрстам, а там — что возвращается к Донтам.

— Понимаю, — быстро кивнула она, — только я не люблю врать.

Это было славно с ее стороны, но другого средства я предложить не мог.

— Надо выбирать меньшее из зол, — сказал я.

Она спросила, когда я бываю свободен в будни. Пришлось сознаться, что только после шести вечера.

— Ах, значит, только на час! — Она разочарованно пожала плечами. — В семь я привыкла ужинать…

Я осторожно предложил ужинать вместе в каком-нибудь ресторане.

— Я соглашусь на это, только если буду платить за себя сама! — поспешно заявила Соня.

Было в этом и самолюбие богачки, и недоверие — и еще, пожалуй, правильное понимание сути дела: необходимость избегать возможных осложнений.

Теперь уже я кивнул в знак того, что это мне нравится. Доверие снова начало укрепляться между нами. Следовало укрепить его еще больше.

И я сказал, что не имел бы права претендовать на ее дружбу, если бы потерпел, чтоб она принимала за чистую монету все, что наговорил ей обо мне Донт.

— Все это, — продолжал я, действуя, что называется, благородно, — все это он тенденциозно приукрасил, чтобы пробудить в вас интерес ко мне. В его описании я похож на героя романа для школьниц. И все это чепуха.

Тут я сообщил ей о моем детстве то, что почел уместным.

Из слов моих, примерно соответствующих истине, вытекало, что лишь счастливый случай поднял меня из швайцаровского убожества, но что нынешнего своего положения я действительно добился честным трудом и усердием. Я

не утаил, что не поддерживаю связи с родными и собираюсь впредь по возможности избегать их. Это как-то не укладывалось у нее в голове. Она была воспитана на четвертой заповеди и верила, что мы при любых обстоятельствах обязаны относиться к родителям по меньшей мере снисходительно.

Тогда я с улыбкой рассказал ей, что во время моего последнего визита в родной дом отец напился так, что мы уже сомневались, очнется ли он вообще, сестра Анна так уходила мужа Ферду палкой от метлы, что перебила ему носовой хрящ, а двое из моих племянников не так давно были пойманы при попытке очистить кассу лавчонки булочника. Я доказывал, что порой даже родители бывают до того неисправимы, что ничего более и не остается, как отречься от них. Соня в сомнении качала головой. Ей казалось, что многое можно исправить солидной финансовой помощью. Я объяснил ей, что достаток денег означал бы полное падение моего отца. Тогда, сказала она, следовало бы помочь хоть детям. Я возразил, что для этого нужно сначала избавить их от родителей.

Тут Соня загорелась романтической идеей: выкупить невинных крошек у их мучителей и

поместить в хорошем семействе или приюте. Я выслушал все это со скептическим видом, после чего вынужден был объяснить, что в деревне дети — помощники в семье, они нянчат младших, и родители не согласятся просто так отпустить их. Я рассказал, как мы ходили по грибы и по ягоды и как часто семья кормилась только тем, что мы выклянчили Христа ради.

Факт тот, что, когда мы возвращались к Донтам, Соня поглядывала на меня с какой-то почтительностью. Я видел, как она робко, потихоньку наблюдала за мной. И я знал — она думает, будто я этого не замечаю. Более того, я знал — она хочет, чтоб я заметил эту тихую дань ее почтения. Соня была из тех щедрой души девушек, которым кажется, что тот, кого следует осчастливить, должен получить награду как можно скорее, лучше всего сейчас же. К счастью, я слишком хорошо знаю людей. Знаю — требуется очень мало для того, чтобы иссяк родник такой мимолетной нежности. И нужно-то для этого всего лишь принять награду. У пчел не отбирают первый мед, им еще и сахару подсыпают, чтоб они не умерли голодной смертью.

Мы условились с Соней встретиться назавтра у моста Палацкого. Это место расположено не

так далеко от района Нусле, где был мой завод, достаточно далеко от Донтов, живших в Старом Месте, и уж совсем на противоположном конце города от Фюрстов, которые якобы пригласили Соню к ужину.

При Донтах мы притворялись, будто неприятны друг другу. Соня, по-моему, даже переигрывала, и я боялся, как бы Карел или, еще скорее, Тина не заметили этого. Они наблюдали за нами сначала с любопытством, потом с разочарованием. Пригласили меня назавтра. Я, разумеется, отказался.

Соня оставалась в Праге только до воскресенья. Мы встречались каждый день. Выработался уже некий стандарт. Мы занимали столик в ресторане, где меня не знали, я галантно подавал Соне меню, мы съедали ужин, я выпивал большую, а Соня малую кружку пива, и потом мы вели беседу — корректно, как только и возможно в людном месте. Официанты называли Соню «милостивой пани», как замужнюю женщину, ко мне же относились со всей возможной предупредительностью. Я заметил, что это забавляет Соню. Я ни разу не вышел из роли приятного и ни на что не претендующего рассказчика. Соня платила мне воспоминаниями о своем детстве. Порой мне казалось, что она о чем-то умалчивает, о

чем-то задумывается и колеблется. Это меня не удивляло: я полагал, что ей стыдно передо мной, бедняком, за то, что она-то — любимый баловень, которому никогда ни в чем не отказывали.

Вероятно, такое времяпрепровождение вскоре наскучило бы Соне, живущей по настроению. К счастью, время бежало, день ее отъезда приближался. Я слишком хорошо понимал, что все зависит от того, сохранится ли интерес Сони ко мне до конца. А уж какой-нибудь эффект я припасу на последний день.

Я узнал, что в Прагу за Соней приедет сам отец. Донты проводят их на вокзал в воскресенье днем. В этих семейных сценах для меня не было места. И я попрощался с Соней в субботу, в том ресторане, где мы с ней обычно ужинали. Прежде всего я попросил ее простить мне ту скромную роскошь, какую я позволил себе в ее честь. На столике стоял букет роз. Обычный ужин превратился в небольшое пиршество. Я наговорил официантам, что моя приятельница уезжает за границу, чтобы там выйти замуж. Все было чуть ли не… романтично.

Соня поддалась очарованию момента. Она была молчалива, немного грустна. Пришла она в самом нарядном платье из тех, что привезла в

Прагу. Платье было зеленое, на шее — небольшое ожерелье из опалов.

После ужина я растроганно поблагодарил Соню за милое внимание, которое она уделяла мне целую неделю. Я говорил о том, что яркий образ ее ворвался в серость мелькающих дней, и так далее. Сами знаете, подобные вещи легче наговорить, чем написать. Сказанное слово, определенный тон, приглушенный голос — все это делает такие банальности довольно сильно действующим средством. Соня чуть ли не задыхалась, так она растрогалась. Она смотрела на меня большими, красноречиво говорящими глазами. Я знал — она обрадовалась бы, если б я попросил у нее поцелуй на прощанье. Но я был не так глуп. И не так глуп, чтобы просить о переписке. Я не лишен некоторой фантазии и могу себе представить, что творится в головке таких девчушек, когда им встречается первое в жизни серьезное приключение. Вернувшись домой, переменив декорации, они стараются стряхнуть с себя воспоминание о нем, как стрелу, застрявшую в шубке. Отчасти им это удается — но для того, чтобы полностью стереть из памяти недавнее приключение, достаточно, чтобы тень его слишком уж жадно протягивала к ним издалека

свои призрачные руки. И потом, письма всегда лгут. Сочинять письма не рекомендуется. Мы в них всегда несколько преувеличиваем. И то, что ускользает от внимания, когда говоришь, предательски выпячивается в написанных словах.

Я проводил Соню почти до самого дома Донта и там молча поцеловал ей руку долгим поцелуем. И ушел с легким сердцем. Даже не оглянулся. Я знал, она стоит, прижавшись к углу дома, возле которого я ее оставил, и пристально смотрит мне вслед, близкая к тому, чтобы заплакать навзрыд.

Неделю спустя я послал ей обыкновенную открытку. Она ответила целым письмом. Целым письмом, слышите! Можно сказать, очень милым письмецом. Я перечитал его теперь, готовясь писать свою историю. И охватило меня точно то настроение, с каким я читал его впервые. То победное, ликующее настроение, когда мы между строк обнаруживаем поражение противника. Строго говоря, то было краткое сочинение на вольную тему «Вилла Хайна», с подзаголовком: «Как жаль, что тебя здесь нет со мной». Я поблагодарил за письмо снова открыткой, да и то лишь из вежливости. Нет, я не мог еще позволить себе писать ей. Я не знал ее отца и до сих пор не составил себе точного представления ни о его

любви к ней, ни о том, какова мера его доброты и самоотречения.

Думаю, Соня немножко рассердилась за то, что я не ответил письмом на письмо. Или скорее обманулась в своих ожиданиях. Она замолчала. Меня это не тревожило. Потом вдруг — радостная открытка: Соня снова едет в Прагу в конце августа и остановится на сей раз у Фюрстов. Я тотчас ответил ей шуткой: «Отлично, значит, ужинать будете ходить к Донтам!» Она наверняка сообразила, что я имею в виду. А для прочих эти слова не значили ровно ничего. Я, видите ли, предполагал, что в семье Хайна никто еще и понятия не имеет о моем существовании.

В отсутствие Сони я много думал над тем, как нужно повернуть ход событий, когда Соня появится снова. Я понимал, что если я хочу заново привлечь к себе ее интерес, то должен подойти с другого конца. Я сказал себе, что теперь уже мне *можно быть* чуточку влюбленным. Отдаление поддерживает близость между теми, кто во время разлуки сумел остаться чужим друг другу, — и возводит препятствия перед теми, кому приходится при встрече продолжать линию чувств, излитых на бумаге. Я решил встретить Соню как некую драгоценность, которую недостаточно

ценил, как жар-птицу, чье пение не понимал раньше.

Расчет мой на сей раз оказался неверным. Соня приехала, встретилась со мной, как с приятным знакомым — не больше. Ну да, я забыл учесть влияние фюрстовских мальчишек! Для Сони они были воплощением юности. И если я хотел теперь лучше и крепче привязать ее к себе, то должен был предпринять вылазку против этой юности, которая в ту пору была сильнее меня.

Я всегда добивался своего упорством. Моим лучшим оружием был трезвый и жестокий разум. Этого-то верного друга я и призвал на помощь. Предстоял второй раунд. Если я его выиграю, то против меня уже не будет ничего, кроме возможных предрассудков старого Хайна.

Нельзя сказать, чтоб я позволил себе растеряться, — я не гимназистик. И сохранил хладнокровие, когда на свидание, условленное между нами, Соня примчалась с обоими юношами. Старший из них уже сдал первый государственный экзамен, младший был студентом юридического факультета. Первого звали Феликс, второго Макс. Эти иксы в конце их имен дали повод к шутке, мол, каждый из них — уравнение с одним неизвестным. Шутка неплоха, но если вы слышали

ее в десятый, в двадцатый раз, она переставала казаться остроумной. Оба были красивые ребята, стройные, веселые. У старшего, Феликса, уже намечалась плешь. И он картавил — скорее из кокетства, чем от природы. Оба гордились тем, что крещены влтавской водой, оба причисляли себя к золотой столичной молодежи. Манеры их, как и одежда, были изысканны. Братья дополняли друг друга. Светскость Феликса уравновешивалась юностью Макса. Оба носили одинаковые трости с серебряными набалдашниками и котелки, залихватски сдвинутые набекрень. Вышитые уголки платочков торчали из их нагрудных кармашков. Их остроты казались мне балаганными. Их гримасы — отвратительными. Что поделаешь? Соня любила обоих. Право, твердый мне попался орешек…

Соня представила им меня как старого товарища Донта, и ее ничуть не смутило, что я понял: она уже рассказывала этим хлыщам какие-нибудь невероятные истории обо мне. По их глазам я прочитал, что они считают меня этаким старикашкой, на чей счет можно как угодно проезжаться. Руку они мне подали с дерзким видом, как бы говорившим: знаем, знаем тебя, деревенщина, довольно мы похохотали над тво-

ими жалкими похождениями! Их притворная вежливость была равнозначна вызову. Думаю, мы, трое мужчин, то есть все, кроме Сони, сразу разобрались в ситуации. Соня же была теперь ужасно довольна, что таскает за собой целый зверинец. Ей легко было держать при себе хотя бы и всех нас троих разом. В этом сказалась жестокость невинной девушки и непонятливость буржуазки.

В первые дни тон задавали Фюрсты. Они сознавали свое превосходство, а я не собирался им мешать. Я не был торопыгой. Сначала надо было прощупать почву, разглядеть слабые места противников. Я много думал. Признаюсь, частенько сиживал до глубокой ночи, сжав ладонями голову. Как-то вечером, возвратившись после одного из таких коллективных свиданий, с ногами, разбитыми от хождения по мощеным тротуарам, которые я ненавидел, с мозгом, отупевшим от невозможности понять зашифрованные намеки «Иксов», я уже было заколебался — не лучше ли бросить все, не подвергаться более опасности стать предметом насмешек. Их преимущество — преимущество юношей, проведших часть детства в обществе Сони, было огромно. Их разговор был остроумен и быстр, в высшей степени прихотлив

и насмешлив — а я был страшно обидчив!

Мы вместе ходили в театр. Я сидел с ними рядом и недоверчиво следил за спектаклями, неприятными мне. Они знали всех актеров и их истории — я не знал даже, кто автор той или иной пьесы. Фюрсты болтали, передавая закулисные сплетни, они могли часами говорить о каком-нибудь певце, о том, как кто из них и когда исполнял ту или иную партию — а я слушал, не в состоянии принять участие в разговоре. Постепенно я превращался в существо, которое на жаргоне пражской молодежи называется *слон*.

Единственное, что еще доставляло мне какое-то удовлетворение, было то, что Соня по-прежнему испытывала чувство известной ответственности передо мной — да, вот верное слово! Старый Фюрст, по-видимому, очень любил сыновей. Он предоставлял им полную возможность веселиться с дочерью своего друга. Быть может, причиной тому было легкомысленное доверие к молодежи, а может, и убеждение, что там, где трое, один всегда следит за другим. Не исключено, однако, что старик рассчитывал и на то, что со временем Соня станет женой Феликса. Правда, они были почти ровесники. Но какой прок был мне тешить себя надеждой, что эта слишком незначитель-

ная разница в возрасте когда-нибудь в будущем сыграет против Феликса, если у меня сегодня, сейчас, не было еще ни профессии, ни работы, а меня уже выбивали из седла, и мне грозило, стараниями Феликса, навсегда потерять Соню? Утешаться тем, что и он, быть может, не получит ее? Утешение для мальчика, не для мужчины!

Они с Соней устраивали проделки, которые мне отнюдь не нравились. Раз как-то целый вечер учили ее курить. Мои попытки прекратить это ни к чему не привели. Я стал врагом из лагеря стариков. Человеком, которого, правда, нужно слушаться, но которого можно обманывать, а после этого презирать.

В течение какого-то времени я пытался поссорить братьев. Но если и была у них какая-то добродетель, то именно братская солидарность. Они могли спорить друг с другом до драки, но стоило вмешаться третьему и принять сторону одного из них — оба тотчас объединялись против общего неприятеля. Братья были проницательны. Они умели чуять противника и определять, каким оружием с ним бороться. Дополняя друг друга, они были почти неуязвимы. Принизить их в глазах Сони! Бог ты мой, сколько раз я тщетно пытался этого добиться!

Я носил за Соней ее сумочку, ее пальто, в кармане у меня всегда было какое-нибудь лакомство для нее — короче, я выступал в роли этакого доброго дядюшки, в то время как мальчишки Фюрста за моей спиной вели игру молодости — за мой счет. Я никогда им этого не простил. Никогда, говорю. Всегда я всей душой стремился отплатить им злом за то зло, которое они мне причиняли. Они же видели, что, хоть я и улыбаюсь, но себя не помню от ярости. «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, полно кипятиться, ведь можно обвариться», — напевал тогда Макс детскую песенку. В ней не было ничего обидного, но Соня начинала хохотать, а я приходил в замешательство и делался смешным.

Признаюсь, после того, как в мою жизнь вошли эти братья, интерес мой к Соне значительно повысился. Он стал почти страстью. Где была моя холодность времен ее гощения у Донтов! Хотел я того или нет, а приходилось страдать. Я и на самом деле страдал. Поняв, до чего я отстал в литературе, в искусстве, в умении вести беседу, я впервые в жизни ощутил себя по-настоящему бедняком. Я работал до одури, пока другие веселились. Я вынужден был серьезно относиться к жизни в то время, как другие позволяли себе лег-

комыслие. Как несправедлив мир, если те, другие, жили в радости и в роскоши, пока я перебивался с хлеба на воду; если эти другие витали в сферах приятных излишеств в то время, как я жилы из себя тянул в борьбе за кусок хлеба! И вот теперь я же расплачиваюсь за то, что жизнь моя более достойна уважения! Теперь я должен потерять то, что добыл с таким трудом, — только потому, что к другим жизнь была ласковее!

Какие у меня были козыри? Только мой труд. А в этом обществе никто не дал бы за него и ломаного гроша. Мудрено смотреть свысока, если противник твой всегда смеется. Я злился. Страдал. Следовало как можно скорее изменить это положение, если я не хотел утратить последней щепотки холодного рассудка. Не мог я выносить долее все эти невысказанные и неопределенные унижения.

Как-то «Иксы» похвастались, что дома они играют в карты на поцелуи. Соня слегка покраснела, когда Макс заявил об этом с невинной естественностью. Я с притворным безразличием пропустил его слова мимо ушей. Соня, кажется, подумала, что от меня ускользнул смысл сообщения. Во всяком случае, у нее могло сложиться впечатление, что меня это ничуть не задело. Несколько дней

спустя она не явилась на условленное свидание, что было верхом бестактности. Так поступают с детьми, не со взрослыми. При следующей встрече она извинилась — довольно небрежно. Горе тебе, если обнаружишь свою досаду, назойливый старикашка! Я тщательно следил за своими словами и за выражением своего лица. Снисходительно улыбался ямочками на щеках. Через два дня она опять не пришла и даже не извинилась после. Дела мои были плохи. Соня целиком подпала под влияние Фюрстов. А для них, думаю, стало чем-то вроде спорта — мучить меня. Поначалу им, быть может, просто хотелось попробовать — удастся ли им вывести меня из равновесия. Злые дети, они не знали, что уже лишили меня моего притворного спокойствия!

Однажды, дождливым днем, сидели мы в пивной, которую выбрали «Иксы»; пиво там пили, сидя под фотографиями футболистов и прочих спортивных звезд; пивная была набита битком, хмельные голоса сливались в невообразимый гвалт. Никогда не казался я сам себе смешнее, чем в этой совершенно чуждой мне компании. Но в таком шуме чувствуешь себя примерно так же, как на необитаемом острове, можно делиться с собеседником самой страшной тайной с таким

же успехом, как в дремучем лесу — даже отзвук сказанного не достигнет слуха непосвященного.

Во время войны Феликс провел несколько недель в армии и страшно гордился этим, а Макс этой весной прошел призывную комиссию. Феликс начал с шуток по поводу предстоящей военной карьеры брата и пустился ошеломлять Соню пошлыми солдатскими анекдотами, убогими историйками, какие все еще дюжинами рассказывают за пивом и трубкой. Мы сидели, сдвинув головы, — иначе ничего бы не расслышали, — и я делал вид, будто солдатские побасенки Феликса меня необычайно интересуют. Не знаю уж почему, только братья, видно, объяснили себе этот мой мнимый интерес тем, что я вовсе не был на войне, что я — из тех, кто, как тогда выражались, «окопался в тылу». Мысль эта пришлась по вкусу Феликсу, и он решил нанести удар вслепую. А во мне скопилось уже столько горечи, что выступление мое в тот вечер получилось почти театральным. Ну, ничего — тем сильнее оно подействовало. Под шуточки Феликса, допытывавшегося, какие такие мои болезни спасли меня от окопов, я расстегнул левый манжет, не торопясь засучил рукав и показал два шрама на предплечье.

— Что это? — недоуменно пролепетал Феликс.

— Так, пустяки, — ответил я с улыбкой. — Просто памятка от двух шрапнельных осколков.

Это было глупо до крайности, но — подействовало. Соня, которой я никогда и словом не упоминал о том, что побывал на войне, так и ахнула. И забросала меня нетерпеливыми вопросами. Она была из тех девушек, которые переживают боль мужчины чуть ли не как половой акт. Я отвечал скупо, словно нехотя, с той самой улыбкой, которая кажется прекрасной.

— Где я служил? Да в артиллерии.

— Э, пушкари! — Феликс попытался сбить мой повышающийся курс. — Им-то не так доставалось. А я вот — пехота, царица полей!

Я не возразил ни словом.

— Где же вы получили эти раны? — недоверчиво спросил он. — В самом деле на фронте?

Соня глянула на него нахмурившись.

— Да, — просто ответил я, — в самом деле на фронте. Еще у меня прострелена нога, а на спине шрамы от камней, величиной с лесной орех, седьмая Сочская, знаете? Тальяменто. Меня унесли с батареи с сотрясением мозга — разрыв тяжелого снаряда.

— И у вас есть награды? — полюбопытствовала

Соня.

Я перечислил их.

— Все эти signa laudis[4] привязывали после войны к собачьим хвостам, — презрительно заметил Феликс.

— Вы правы, — отозвался я. — Я поступил точно так же.

Макс понял, что пора выручать брата.

— Странно, — ехидно вставил он, — как это вы ухитрились заполучить все эти раны.

Я со скромным видом объяснил, что под Монте Граппо от всей моей батареи осталось одно орудие и четыре человека прислуги, а под Санто Микаэле мы, под градом снарядов, вели огонь тридцать шесть часов без передышки. Рассказывал о днях, проведенных на наблюдательном пункте в пехотных окопах, о налетах огромных черных птиц, несущих смерть — итальянских бомбардировщиков, об усеянных трупами горных дорогах, по которым мы отступали, о страшном разгроме на Пьяве[5].

---

[4] notes: 4

знаки отличия *(лат.)*.

[5] notes: 5

Речь идет о военных действиях на итальянском фронте во время первой мировой войны; в битве на реке Пьяве погибло много чехов — солдат австро-венгерской армии.

Соня задумчиво опиралась подбородком на стол, рука ее теребила скатерть — так, чтобы все время касаться меня. Я знал, что эти прикосновения не случайны. Ну, сказал я себе, теперь или никогда. Я понял: наступил решающий момент.

На следующий день уже я не явился на свидание. Назавтра же Соня позвонила мне на фабрику. Я отвечал уклончиво: много работы, я устал…

— Но сегодня-то вы придете, — с какой-то робостью предположила она.

Я поколебался — совсем чуть-чуть, но эта пауза должна была дать ей понять, что я и сегодня приходить не собирался. В конце концов я сказал, что так и быть, приду, но она потребовала, чтоб я пришел не *так*, как я сейчас об этом сказал, а *иначе*. Я сделал вид, будто не понимаю. Соня понизила голос и застенчиво прошептала в трубку, что ей не хочется, чтоб я приходил *неохотно*.

— Господи, Соня! (Я впервые назвал ее просто по имени.) С вами мне всегда приятно встречаться!

— Да, да, — она топнула с досады, — и все-таки что-то такое случилось, отчего вам, кажется, не хочется приходить!

— Да нет, право, ничего такого нет, — ответил я тоном, каким отделываются от чересчур назойливых детей.

В трубке помолчали, потом — еле слышный шепот:

— А может… может, это из-за мальчиков?..

Теперь уж я выдержал паузу побольше.

— Да нет… — мой тон был довольно неубедительным, — этого нельзя сказать…

— Хотите, я приду сегодня без них? — сладким голоском пропела Соня.

Что ж, как ей угодно, хочет — пусть приходит одна, хочет с мальчиками, пусть и их приводит, мне это, в общем, безразлично.

— Лицемер! — вскричала она. — Это нечестно! Вы говорите не то, что думаете.

— Что вы имеете в виду?

Но Соня ничего больше не желала слушать.

— Значит, сегодня — наверняка, как всегда, в шесть! В шесть, и я приду одна, и точка!

Когда мы встретились, Соня ужасно смущалась. Она уже отвыкла быть со мной без свидетелей. Она краснела и хмурилась. Это могло быть и добрым и недобрым знаком. Она просила меня рассказать про войну.

— В прошлый раз там было так шумно, и потом — эти *дураки мальчишки*!

Но я рассказывать о войне не хотел.

— Понимаете, — сказал я, — это ведь только

дети хвастают своим геройством. Вы любите вспоминать о страшном? Вот видите — я тоже не люблю. Война отвратительна. Лучше об этом не говорить. И по меньшей мере неделикатно радоваться тому, что ты вот жив, в то время как старые твои товарищи гниют на всех полях сражений Европы. Вы ведь не любительница жестоких сенсаций? О войне любят говорить только те, кто не знал ее по-настоящему.

Затем, с грустной улыбкой, я стал описывать, как я, в своем покрытом славой офицерском мундире, замерзал в нетопленной студенческой комнатушке и протирал локти этого мундира об стол, а спину — об скамьи аудитории, хотя на мундире моем еще не стерлись ржавые кровяные пятна.

— Жизнь обыденна, — так я закончил. — Это только писатели романов изображают ее некоей патетической комедией. А смерть всегда только печальна.

Соня шла рядом со мной притихшая, слегка потупив голову. Потом вдруг спросила, что я против нее имею. Она уверена, мне что-то в ней не нравится. Не могу ли я сказать — что?

Да, могу, если она хочет. И я сказал ей самым легким тоном, что она еще ребенок, хотя другие в

ее возрасте уже становятся женщинами. Я заметил ей, что одно дело смех, а другое — насмешка и что девушке тоже надо иметь характер.

— Разве я бесхарактерная? — удивилась она.

— О, конечно, нет, — просто вы не всегда тактичны. Но вы спросили меня, вот я и отвечаю.

Все свое недовольство она свалила на отсутствующих.

— Это все мальчики. Настраивают меня против вас. Но с ними так весело! Только, пожалуйста, не думайте, что я их люблю.

Теперь я мог бы спросить, а кого же она любит? И я знал, что она ответила бы. Но я не спросил. Я был не мальчик, чтоб упиваться словами. Я прекрасно видел, чего я в эту минуту добился, и этого было мне достаточно. Соня — как малое дитя. Ей хотелось каяться. Я вполне понимал, насколько опасно было для меня ее слишком уж глубокое смирение. Она заявила, что игра в поцелуи ей не нравится. Но ведь с ними играл и старый пан Фюрст! В этом ведь нет ничего дурного!

Каков папаша! И я подумал, что Соня — не в лучших руках. А вслух сказал, что, конечно же, ничего дурного в этой игре нет.

— Какой вы хороший! — Она так и ластилась ко мне, чтоб вознаградить за все, чего я был лишен

в последние дни. Даже руку мне погладила.

— Вовсе я не хороший, — серьезным тоном возразил я. — Ни капельки не хороший. Я бы тоже играл в поцелуи, если б знал, что выиграю. Мне тоже порой хочется сделать что-нибудь такое, что не полагается, но я человек суровый, потому что жизнь моя была трудной, и я робок, потому что мне никогда ничего не давалось даром. Я не сержусь на тех, кто улыбается, только мне хотелось бы, чтоб меня извиняли, если я не в состоянии шагать в ногу с прочими.

Это ее тронуло. Она сказала, что ужасно хотела бы доставить мне радость. Сказала, что никогда больше не возьмет с собой мальчиков, если мне так больше по душе. Этого я, конечно, не мог от нее требовать. И стал уверять ее, что был бы сильно недоволен собой, если б она ради меня сделала то, что потом было бы ей неприятно. Тогда она захотела узнать, что я на самом деле думаю об этих ребятах. Я, разумеется, принялся расхваливать их.

— Славные мальчики — но всего лишь мальчики. И вы не должны удивляться, что они пробавляются все одними и теми же истрепанными шутками.

Тут я галантно спросил, всегда ли она столь

терпеливо выносит их. Краснея, она отвечала, что часто они просто невыносимы, а в общем-то ничего ребята.

Я понял, что этак я ничего не достигну. Тогда я вынул из кармана клочок бумаги и написал: «X + X = 2X = 0»

— Взгляните — вот их уравнение.

Она рассмеялась вместе со мной. Кивнула, радостно соглашаясь. Потом с запинкой попросила еще раз показать ей мои шрамы. Я с улыбкой исполнил ее желание. Она надавила пальчиком на один из шрамов и спросила — больно ли еще. Я взял ее руку и несильно сжал. Она вскрикнула.

— Видите, — сказал я. — Вам куда больнее, чем мне.

Право, Соня вела себя как влюбленная.

На другой день она пришла вместе с Фюрстами, но все время обрывала их, насмехалась над ними, всячески выказывая им свое нерасположение — короче, привела она их только для того, чтоб принести в жертву мне. Такой оборот дел юнцы принимали с довольно глупым видом. Я, естественно, ковал железо, пока горячо. С побежденными старался обращаться по-рыцарски. В конце концов все равно моя победа была полной. Соня попросила меня пройти немного вперед и

не оглядываться, и когда я уже было подумал, что дело начинает оборачиваться не в мою пользу, она догнала меня и со смехом уцепилась за мой локоть. На мой удивленный вопрос она ответила, что *отправила их домой*, этих сосунков, потому что они только мешают. Я счел своим долгом слегка пожурить ее за это, тем не менее минуту спустя мы уже дружно смеялись над таким событием.

В самом деле, я уже достиг почти всего, чего можно было достичь на этом этапе. Оставалось лишь закрепить положение *поцелуем*, чтобы, словно по мановению волшебной палочки, вызвать к жизни настоящую, как в романах, любовь.

Соня до тех пор не давала мне покоя, пока я не принес на одно из свиданий свой старый офицерский бинокль. Как-то чудесным вечером поднялись мы на башню собора святого Вита, чтоб полюбоваться открывающимся с нее видом.

Я показал Соне, как обращаться с биноклем, и смеялся, когда она жаловалась, что перед глазами у нее все время сплошной туман. Я посоветовал ей немного сдвинуть объективы, тогда она заявила, что от тяжести бинокля у нее дрожат руки. Я встал у нее за спиной, чтоб поддержать оба ее ост-

рых локотка, так что она, собственно, очутилась в моих объятиях. А она еще, не отрывая бинокля от глаз, нарочно откинулась, прислоняясь к моей груди.

Я примолк, как оно и полагается при таких обстоятельствах, и медленно отвел бинокль от ее глаз. Она была вся покорность; она упорно смотрела на далекий горизонт, приоткрыв губки, и я видел, как они вздрагивают под напором бунтующей крови. Какая мелочь! Все еще держа ее за локти, я медленно, с жестокой нерешительностью, все больше и больше прижимал ее к себе, потом потерся своей жесткой щекой об ее щечку и отпустил ее. Отошел за соседнюю колонну, нервически теребя бинокль. Такое странное поведение должно было изображать *глубокое смятение*.

Соня подбежала ко мне, задыхаясь, положила свою руку на мою, потупилась. Сцена подошла к своему апогею — теперь надо было воспользоваться положением и укрепить его *страстью*. Соня задала ненужный вопрос — все ли я еще сержусь на нее? Я покачал головой, словно вопрос ее был бог весть какой важности. Тогда — почему же я *такой*?

Я посмотрел на нее долгим — *рассудительным*

— взглядом и осведомился, каким же я должен быть. На это она ответить не могла, только попеременно краснела и бледнела. Я взял ее за локоть и многозначительным тоном повторил вопрос: *каким же мне следует быть?* Она испуганно прошептала, что *я знаю каким*. Я удивленно промурлыкал что-то и, погладив ее по щечке, шутливо спросил:

— *Вот таким?*

Она повеселела, кивнула, кокетливо глянув на меня снизу.

— *Или таким?* — и я поцеловал ее в лоб.

Соня только того и ждала. Крепко прижалась ко мне и, прикрыв глаза, подставила губы.

Потом мы долго ходили по круговой галерее башни. Я говорил вполголоса, хотя мы были там одни. Я твердил, что произошло то, чего я *не хотел*, и вообще изъяснялся весьма сумбурно. Сумбур отлично подходит к удивительнейшему состоянию влюбленности. Соня со всем соглашалась, она была в каком-то блаженстве, первая серия поцелуев сделала ее безмерно счастливой. Я держал ее за плечо, как учитель ученицу, а она старалась ступать в ногу со мной.

Мы снова целовались, и тут я вспыхнул и стал грозить ей, что если она меня разлюбит, я сам

не знаю, что сделаю. В доказательство своего исступления я схватил ее на руки и, подняв, перенес через перила и подержал над пропастью. Страшноватая шутка, она могла бы плохо кончиться для меня, если б кто-нибудь увидел это снизу; но эффект получился великолепный. Соню *опьянили* моя сила и мое признание. Она покоилась в моих руках над пропастью, как ребенок в материнских объятиях. Потом я поставил ее на ноги, а она обвила руками мою шею и прошептала:

— Петя!..

И прошептала она это только для того, чтобы почувствовать на губах сладость моего имени.

Теперь мы были влюбленной парой. Я знал, что при незрелом и ненадежном характере Сони мне следовало приложить все силы к тому, чтобы это рискованное состояние не слишком затянулось. Я *растаял*, я сделался доверчивым — и это было для нее чем-то новым, ведь она никогда еще не слышала, чтоб я болтал нежные пустяки. Она очень гордилась тем, как сумела переделать меня. Мы теперь ходили в кино, как солдат с горничной, — для того только, чтобы в темноте сжимать друг другу руки. Пользовались любым случаем сорвать торопливый поцелуй. Конечно, то была игра в *ее* масштабах, не в моих — я толь-

ко приспосабливался, понимая, что с девушкой типа Сони нельзя миновать эту идиллическую лужайку.

Впрочем, этот этап не стоил мне больших усилий. Греться в лучах любви хорошенькой девушки — да это райское блаженство для тщеславия любого мужчины, хотя бы он и не принадлежал к числу чувствительных натур. Я сам себе удивлялся. Я и не подозревал, что окажусь столь изобретательным. И я весьма достойно поддерживал ее любовные фантазии.

Соня должна была прогостить у Фюрстов целый месяц. К тому времени, как я одержал полную победу, срок этот уже истекал. Стали поговаривать об ее отъезде. На сей раз я счел уместным устроить настоящее расставание влюбленных.

— Соня, — сказал я ей в один прекрасный день, — я уже довольно давно виноват перед вашим семейством. Я поступаю так, как не привык поступать. Теперь уже я стал этаким маленьким «иксом» в нерешенном уравнении. Я обязан что-то предпринять, чтобы выйти с честью из этого положения. Мой долг поставить в известность вашего отца о положении дел, просить его согласия — или подчиниться его приговору. Впрочем, я возлагаю надежды на его безмерную снисхо-

дительность и благосклонность, — поспешил я добавить.

Соня сильно приуныла. Игра в любовь доставляла ей куда больше удовольствия, чем такой почти торжественный тон. Между нами до сих пор не было ни слова сказано о браке. И она попросила не писать отцу до ее отъезда. Она-де хочет присутствовать при том, когда отец получит мое письмо. Он ведь станет расспрашивать, и Соня сама выступит адвокатом... Я ничего не имел против — но теперь, когда самое трудное было высказано, следовало поскорее сдвинуть нашу любовь с этой мертвой точки и представить будущий брак в привлекательном свете. Соне, конечно, и в голову еще не приходило, что за легкомысленные поцелуи она будет наказана моим обществом пожизненно. Надо было придумать новую приманку. Другими словами, полезно было разжечь в ней огонек чувственности.

Предстоящее прощание годилось для этого как нельзя лучше. Для тех отношений, какие сложились между нами, отношений целомудренной влюбленности, не было ничего странного в том, что речь зашла о моей квартире. Собственно, Соня сама пожелала увидеть ее прежде, чем уедет. Возможно, причиной тому и впрямь было только

женское любопытство.

Однако все оказалось не таким простым, как она себе представляла. Лестница, наверное, напомнила ей страницы фривольных романов, прочитанных тайком, и она поднималась по ступенькам с таким видом, словно готовилась принести кровавую жертву Молоху. Только в выражении глаз ее еще сохранились остатки укрощенной дерзости, смешанной с доверчивостью. Губы ее были так красны, что казалось — капли крови выступят на них при поцелуе.

Я принял ее просто, как добрый сосед, как товарищ. Это ее так обрадовало, что она расшалилась без удержу. Я сказал ей, что ничего не приготовил, опасаясь напугать ее, но если она хочет, мы можем сейчас сходить, купить вина и каких-нибудь сладостей. Она радостно кивнула. И мы сбежали вниз, как озорные подростки. Теперь Соня *хотела*, чтоб все соседи видели, что она была у меня. Она очень гордилась своим отважным поступком.

Потом мы сидели у меня за столом и пировали, как студенты, получившие посылку из дому. Смеялись, ели и целовались, сознавая, что нас абсолютно никто не может увидеть! Только ведь в интимной обстановке, среди четырех стен,

поцелуи сильно возбуждают. Они разожгли меня точно так же, как и ее. Я тихонько твердил про себя: «Хлеб, хлеб, хлеб...» — такой был у меня прием, чтоб успокоиться, призвать на помощь здравый смысл, логическую рассудительность.

Конечно, я пригласил Соню затем, чтобы дать ей урок любви — однако важно было даже при самых головокружительных пассажах оставаться артистом, не впадать в самую роковую из актерских ошибок — в непритворное переживание роли. Ласки — всего лишь украшение любви. И я занялся этим украшением: целовал сначала губы, потом через вырез блузки, — плечики Сони, а она вся сжималась, и кожа у нее покрывалась пупырышками. Когда же с треском отстегнулась кнопка на спине, у Сони застучали зубы. Она обессилела, она тяжело дышала. Медленно, бережно, как святыню, я обнажил одно ее плечо, потом другое. Ее девственная душа плакала. Но я не сжалился. Я знал, что произвожу необходимую операцию. Открылся торс ее, затянутый в батист. Я стал целовать ложбинку меж грудей, выступающие позвонки у затылка, потом, через батист, — соски ее маленьких грудей. Соня, одурманенная, позволила упасть и этой последней легкой преграде, и тогда я подвел ее к зеркалу,

чтоб она увидела себя в моих объятиях *полуобнаженной*. Она же обхватила меня за шею и не желала ничего видеть, зато я так и пожирал глазами это дразнящее отражение, ибо — не забывайте, пожалуйста, — я никогда не был распутником и женщин в жизни своей знал очень мало.

Я носил ее на руках, как ребенка. Она молчала, не дышала даже. После короткой, незначительной борьбы я мог бы сделать с ней все, что захотел бы, — но это не входило в мои планы. «Хлеб, хлеб, хлеб…» — прошептал я снова и — овладел собой. Краснея, Соня снова натянула свою комбинацию и — поспешно — блузку, сдавленным голоском попросила застегнуть сзади. Ох, голосок ее звучал, словно его прищемили, в горлышке-то пересохло… А когда я, улыбаясь, выполнил обязанности горничной, она бурно кинулась мне на шею, стала целовать в приливе отчасти благодарности, отчасти же неудовлетворенного желания.

Результат опыта не замедлил сказаться.

— Петя! — жарко прошептала она мне на ухо. — Вот когда… когда мы будем с тобой опять вдвоем!..

Она начала мечтать о том, о чем несколько дней назад не осмеливалась даже упомянуть.

Она уезжала через два дня. Желал бы я, чтоб кто-нибудь видел вытянувшееся лицо Донта, когда он застал меня на перроне Вильсонова вокзала в интимном разговоре с Соней Хайновой! Ее сияющие глаза и разочарованные физиономии двух «Иксов» были слишком красноречивы.

Неделей позже я, как и обещал, отправил господину фабриканту Хайну в Есенице короткое, по-деловому сухое письмо и получил вежливый, но весьма уклончивый ответ. Хайн писал, что мое сообщение явилось для него неожиданностью. Он не подготовлен ни к чему подобному. «Лучше всего нам с вами потолковать, как мужчине с мужчиной. Я буду в Праге еще на этой неделе».

Мне и следовало предположить, что старый практик решит вопрос именно таким образом. Он хотел видеть меня прежде, чем начать обсуждение дела.

В гостинице меня ждал низенький бородатый человечек, которого скорее можно было принять за директора гимназии, чем за фабриканта. У него был высокий лоб, очень косматые брови, серые строгие глаза и густая, как мох, борода с проседью. На первый взгляд он производил впечатление человека не очень-то опрятного. Но причиной тому была только густая борода,

изрядно искажавшая весь его облик. И косматые брови придавали неверное выражение его глазам. Приглядевшись, я увидел, что смотрят они добродушно и мягко. Скверно было только то, что у него дурно пахло изо рта.

Я скоро понял, что передо мной мягкий, даже робкий человек, держащий себя довольно неуверенно. Строго говоря, я с самого начала приобрел над ним явное превосходство. Мы сидели — не как претендент на руку барышни с будущим тестем, а как столичный житель с провинциалом.

Весьма близко к правде я рассказал ему, как мы с Соней познакомились. Хайн кивал головой — в этом он был осведомлен. Я заверил его, что вовсе не имел намерения жениться. Что хотел сперва повидать чужие страны, пополнить свои профессиональные знания практической работой за границей. Я с достоинством заявил, что я не юбочник, что не поддерживал ни в себе, ни в Соне усиливающееся чувство. Он признался, что Соня описала ему меня в самых светлых красках. И не стал отрицать, что очень мной заинтересован.

— Видите ли, — говорил он с горечью, — нам, отцам, остается только доверять. Доверять своему ребенку, который, получив хорошее воспитание, быть может, сумеет сделать хороший выбор, и

доверять человеку, который ведь явился любить, а не воровать.

Конечно, при этих надрывающих душу словах мне пришлось изобразить глубочайшую растроганность и высшую степень почтительности.

Ответил я не менее красиво: я считаю естественным, чтобы он навел обо мне справки прежде, чем вообще приступить к обдумыванию моего предложения. Способом, который можно назвать деликатным, я сообщим ему источники, где он может получить информацию обо мне, и чуть ли не с жаром просил его сделать это без колебаний. Я сказал, что считаю это делом своей чести, так как мне было бы невыносимо думать, что его доверие ко мне не обоснованно. Я заметил, что прекрасно понимаю, как должны звучать для его слуха холодные слова «чужой человек». И чтоб выбить оружие у него из рук, признался ему — как когда-то Соне, — что отдаю себе отчет в том, что все дело должно показаться ему в высшей степени подозрительным.

— Ведь с моей стороны мог быть хитрый расчет, — говорил я, — в мире достаточно мужчин, опытных в обращении с женщинами и умеющих добиваться своего.

Хайн в ответ хвастливо заявил, что отлично

разбирается в людях и видит, что у меня честное сердце.

Под конец он довольно неделикатно расспросил меня о родителях, о моей работе, о живущих ныне родственниках. И все время он то и дело нетерпеливо вытаскивал свои часы. Простился он со мной довольно холодно и небрежно, обещав сообщить свое решение письменно.

Хайн, без сомнения, тщательно наводил справки, ибо ответ его я получил только через полтора месяца. За это время мы с Соней обменялись по меньшей мере десятком писем (теперь переписка уже не могла мне повредить), и в каждом из них Соня сообщала, что дело подвигается хорошо. Последние письма звучали уже победно: «Я знаю, что задумал папа! Вы удивитесь! Мы будем счастливы!»

Послание Хайна смахивало по стилю на судебный протокол. В нем отец с волнением отдавал счастье своей дочери в мои руки, уверенный, что поступает самым лучшим образом. «Соня уже совсем не дитя, — писал он, — и мне, старику отцу, кажется, будто я проспал какую-то часть жизни и вот, проснувшись, увидел, что прошли годы. В самом деле, пора Соне стать невестой. То обстоятельство, что у нас с вами общая профес-

сия, убеждает меня, что судьба не хочет обойтись со мной круто, что она даже готова побаловать меня…» Тут он излагал всякого рода катастрофы, которые могли постигнуть его в образе других женихов: «Соня могла ведь влюбиться в учителя, врача, адвоката — что сталось бы тогда с моим предприятием? А теперь мне не придется разлучаться с Соней, и мысль эта — настоящий бальзам на рану, вся боль которой — исключительно от отцовской сумасбродной любви. Вы понимаете, о какой ране я говорю? О том, что Соня будет принадлежать не мне, а мужу».

В конце письма было самое важное: предложение занять должность на его мыловаренном заводе. «Вы приедете пока всего лишь в качестве нового сотрудника, — писал старик. — Мы успеем лучше узнать друг друга и лучше договориться. О свадьбе и обо всем, что предпримем в будущем. Еще раз заверяю вас, что питаю к вам совершенное доверие и что намерен принять вас как своего *зятя*».

Я никогда не был ребячлив, но теперь не мог отказать себе в роскоши обнаружить свою радость. Я становился *фигурой*! Я завоевал сердце хорошенькой и богатой девушки. Я добился положения! Завтра я управляющий крупного

предприятия, послезавтра — владелец! Я бросился к Донтам — сам, незваный, — и там до ночи упивался своим великим счастьем.

На другой день я, конечно, отрезвился и *не принял* так, с ходу, предложение Хайна. Началась переписка. Я советовал отцу Сони еще подумать, так как ясно было, что мой приезд расценят в небольшом провинциальном городе как появление признанного жениха. Потом поздно будет отступать. Хайн ответил, что теперь это уже не моя забота, а его. Да и тетя очень хочет как можно скорее познакомиться со мной. Так что медлить не надо. А Соня сделала приписку: «Папочка золото, папочка ангел!» Да, сомневаться не приходилось — я уже обеими ногами стоял в доме богача! Я ответил, что связан на теперешней своей работе договором до конца года и вправе заявить об уходе только первого января. Это было не совсем так, зато имело свои выгоды: полезно немножко набить себе цену, скрыть нетерпение. И вовсе не вредно еще какое-то время поддерживать в Соне тоску по себе. Позднее выяснилось, что это был хороший ход.

Соня приглашала меня хотя бы на рождество — приглашала с упреком, что я не стремлюсь к ней, откладываю встречу; но я и тут отговорился,

сославшись на необходимость уладить кое-какие семейные дела. Я и в самом деле съездил в деревню к своим и сообщил собравшимся Швайцарам о том, какое мне встретилось счастье. Одновременно я объявил им, что все попытки извлечь какую бы то ни было выгоду из моей будущей состоятельности будут напрасными. Весьма туманно я намекнул, что, может быть, по собственной воле и расположению я когда-нибудь и снизойду со своих высот до тех из них, кто и тени не положит на мою дорогу. Затем я уехал, обеспечив некоторый дешевый и ненадежный мир.

Первого января я за месяц заявил о своем уходе с работы.

Третьего февраля я выехал из Праги с двумя прорезиненными саками, в которых было уложено все мое движимое имущество — выехал в качестве нового инженера мыловаренного завода Хайна. Строго говоря, я ехал на свадьбу.

Есенице! Есенице… Я смотрел из окна купе, как приближаются ко мне огни этого города. Мне хотелось петь под перестук колес. На вокзале меня встречал малый в синей фуражке. Это был заводской шофер. Я сел в автомобиль.

Объехав вокруг вокзала и проскочив под путепроводом, мы выкатились на совершенно

пустынное шоссе. Когда мы проезжали мимо первых редких домишек предместья, шофер замедлил ход и, высунувшись в окошко, показал:

— Вон там завод!

Я успел разглядеть только очертания большого строения, окруженного дощатым забором, расписанным рекламами.

Вверх по крутой улице, к площади, потом через узкий проезд вдоль каких-то домов со средневековыми сводчатыми аркадами, еще площадь, поменьше, с церковкой посередине, маленькой, словно из кубиков. Широкая, ярко освещенная улица с темным изваянием какого-то человека, простиравшего куда-то руку, затем вниз, снова в темноту предместья, и опять в гору — медленно, замедляя ход, по белой заснеженной дороге, окаймленной голыми деревьями.

Когда мы подъезжали к воротам, над входом в виллу зажегся сильный, резкий свет. Показался дом, отодвинутый в темноту сада — огромный, величественный. Какой-то человек спешил к воротам открывать. Это был мальчишка Филип.

В эту минуту внизу, в городе, начали бить башенные часы. Медленно, важно пробили они восемь. Бим-бим-бим-бим… Тишина зимнего вечера донесла до меня эти звуки с удивитель-

ной ясностью, я в эту минуту шарил в карманах, чтоб дать шоферу на чай, а Филип вытаскивал из автомобиля мои вещи.

Странное чувство охватило меня сегодня, когда я, обойдя дом, сел к письменному столу, чтобы сосредоточиться на изложении своей истории: ибо в эту минуту в гостиной начали бить часы рококо, они били тоненько, шепотом — как тогда — отбивая тот же час того же дня. Будто далекие бубенцы. Будто колокольчики призрачного прошлого.

4
НЕВИДИМЫЙ

Помню, я сказал тогда себе: «Петр Швайцар, это одно из величайших мгновений твоей жизни. Ты вступаешь в дом богача Хайна. Ты явился за наградой, которую честно заслужил. Теперь уже ничто не преграждает тебе пути к счастью, шагай бодро и уверенно!»

Когда я торопливо приближался к входной двери, из нее выскочила какая-то странная толстая фигура, замерла на миг, чем-то пораженная, в замешательстве пританцовывая, как бы на резиновых ногах, блеснула под лампой огромным голым черепом и скрылась в полумраке холла столь же стремительно, как и появилась.

Моя тень впервые распалась на неясные, туманные пятна под мрачным кладбищенским светильником. Где-то наверху хлопнула дверь, рассыпался трелью ликующий смех. Я поднимался по лестнице, глядя вверх, как нетерпеливый влюбленный. Но был-то я всего лишь нетерпеливым завоевателем. Через перила галереи на втором этаже перегнулась Соня. На ней было

легкое вечернее платье с глубоким вырезом.

— Хэлло! Петя!

Я не думал, что она так смело подставит мне губы для поцелуя. Я привлек ее к себе, коснулся губами ее губ, лба. Филип стоял с моими вещами, ожидая конца процедуры.

— Папочки еще нет дома, — объявила Соня. — Его задержал на заводе какой-то посетитель. Он очень досадовал, что не мог вас встретить. Только что звонил… Спрашивал, приехали ли вы…

Я улыбался. Молча держал Соню за руку.

— Я тоже не могла поехать на вокзал, — извиняющимся тоном продолжала она. — Посмотрите, в каком я платье! Я бы замерзла в автомобиле. Сейчас наверняка градусов десять мороза, не меньше.

Я хотел было ответить, что это и не принято — девицам встречать своих женихов, но Соня уже тащила меня за собой в конец коридора.

— Вот здесь, Петя, отныне ваше жилье. Это гостевая, только гости редко к нам приезжают. Тут уже чуть ли не полгода никто не жил.

Меня овеяло сухим теплом. Прямо напротив двери находился калорифер центрального отопления. Вплотную к нему стоял деревянный простенький умывальник. Комната была об-

ставлена примерно как в солидной гостинице. Дверцы пустого шкафа стояли полуоткрытые. Видно, только недавно освобождали его ящики и уносили ненужные вещи.

— Это все Кати, — сообщила Соня. — Она только к вечеру раскачалась убирать. Я ужасно злилась. Сказала, если б жених ехал к ней, она бы уж с утра занялась делом! Воды-то в кувшин она хоть налила? Вы, конечно, захотите умыться с дороги?

Я повесил пальто в шкаф и подошел к Соне. Прижавшись лицом к ее лицу, погладил по голове.

— Здесь очень мило, — похвалил я. — Мне нравится такая простая обстановка. Напоминает студенческие годы.

В действительности я не любил напоминаний об этих знаменитых студенческих годах. Нужда не бывает прекрасной, даже когда мы смотрим на нее как на прошлое.

— Нет, здесь отвратительно, — возразила Соня. — Но в этом виновата тетя Каролина. Она не позволяет покупать ничего нового и даже переставлять мебель. Она ужасно консервативная. Мы все ее слушаемся. Но скажите, вы рады, что наконец-то приехали?

— Рад ли я? — изобразил я мягкий упрек.

Мне приятно было играть роль укрощенного,

мурлыкающего льва.

Соня вдруг забеспокоилась. Папа явится с минуты на минуту… Ей пора уходить отсюда. Да и мне надо поскорее привести себя в порядок. Директор Кунц и тетя уже ждут в столовой…

Об этом Кунце я довольно много слышал от Сони. Он заведовал чешской школой в Есенице и был единственным другом Хайна. Не проходило дня, чтоб он хотя б на минуту не заглянул на виллу.

Соня убежала, а я запер дверь на ключ и снял пиджак с жилетом: в самом деле, надо было умыться. И вообще как-то принарядиться. По туалету Сони я понял, что встреча предстоит торжественная. Намыливаясь мылом хайновского завода, я вдруг подумал, что в доме, вероятно, нет ванной. Если б она была, вряд ли мне поставили бы этот допотопный умывальник. Так, так — у них тут центральное отопление, а ванной нет… Видно, тоже тетя не позволяет. Почему? Старческий деспотизм. Интересно будет познакомиться с женщиной, взявшей такую неумолимую власть.

Я тщательно оделся: черные брюки, смокинг, пристегнул белоснежный тугой воротничок. Не беспокойтесь, на ужине в честь помолвки я не

ударю в грязь лицом. Я был даже настолько предусмотрителен, что привез подарок Соне: изящное колечко с гиацинтом, камнем, соответствующим тому месяцу, когда она родилась.

Я был еще не совсем готов, когда перед воротами засигналил автомобиль: приехал Хайн. Почти одновременно зазвенел смех двух женщин и в мою дверь нетерпеливо забарабанили.

— Милостивый пан уже навел красоту? — Это Соня. — Скорей, сударь, скорей! Я хочу представить вас барышне Кати!

Снизу донесся мужской голос, дробившийся отголосками: Хайн спрашивал, приехал ли я.

— Приехал, приехал! — отозвалась Соня. — Здесь он, наш пленник! Мы его как раз осаждаем!

— Да оставьте его в покое, пусть отдохнет с дороги! — крикнул снизу Хайн.

— Я бы и рада, — шутливо захныкала Соня, — да уж есть больно хочется!

— Правда, дядя, — подтвердил другой девичий голос. — У нее животик уже совсем втянулся!

«Вот как, — сказал я себе, — Кати называет Хайна дядей? Стало быть, отношения в доме куда патриархальнее, чем я думал». Я наспех сунул снятое белье в сак, повесил костюм в шкаф и

рывком распахнул дверь.

— А-ах! — девушки замерли в притворном восхищении. Оно относилось к крахмальным манжетам и манишке, к черной бабочке и к тщательно зачесанным волосам.

Кати без смущения, по-дружески протянула мне руку. Смерила меня критическим взглядом. На ней было слишком короткое платье, открывавшее икры ног, и белый фартучек, украшенный на лямке кокетливым бантом. Я шутливо спросил ее, правда ли Соня была мне «верна как собака», что она утверждала в одном из своих писем, и действительно ли Кати добросовестно отговаривала ее от несчастного знакомства со мной, советуя сохранить вечную свободу? Кати смеялась. Ее губы, формой напоминавшие губы сатира, открывали мелкие, ровные зубки, а чубчик над лбом имел почти вызывающий вид. Я понял, что с этой девицей нельзя обращаться как с простой служанкой, что мне придется приноравливаться к обычаям этого дома.

Кати убежала по своим делам, и я на минуту остался наедине с Соней. Тогда я с церемонным видом вынул из кармана коробочку и надел на Сонин пальчик золотое колечко с коричневым камешком. И при этом поцеловал ей руку. Она

радостно вскрикнула и подбежала ближе к свету — разглядеть подарок. Покрутив колечко на пальце, она с непритворной радостью кинулась ко мне и обняла.

— Ну как, Соня? — весело спросил я.

Она изо всех сил обхватила меня за шею и выдохнула:

— *Ты!..*

Я понял. Это скрепляло наш союз. Соня задумала поразить нашей короткостью и отца, и Кунца, и тетушку. Я ничего не имел против. Наоборот, был очень приятно удивлен. И наклонился к ней с таким же важным и таинственным видом:

— Значит — «ты»?

Она дважды кивнула.

И мы поцеловались очень горячо.

Хайн обеими руками жал мою руку, растроганно и торжественно произносил слова приветствия. Мы стояли в холле. Пять закрытых белых массивных дверей, похожих на алтари в праздник тела господня, словно задавали мне загадку: «А ну, отгадай, за которыми из нас ждет тебя торжественный ужин?»

Почти все комнаты виллы выходили в этот холл. Впоследствии, когда я на собственном опыте убедился в чудовищном неудобстве такого

устройства, мне часто вспоминались эти первые минуты на пороге воображаемого рая.

В столовой мне представили Кунца. Это был высокий, широкоплечий старик с густыми, еще черными бровями и длинной, холеной, начинавшей седеть бородой. Я подметил, что при ходьбе он ставит ступни параллельно и двигается с медвежьей неуклюжестью. Видно, красавец педагог страдал плоскостопием. Мне тотчас бросилось в глаза, что директор школы и фабрикант как бы поменялись ролями. Если б я не знал Хайна, то принял бы Кунца за могущественного промышленника.

Он и вел себя как подлинный хозяин.

— Сердечно приветствую вас, молодой человек! — Кунц благосклонно поклонился и повел меня к креслу, в котором сидела тетка Хайна. Обращения «молодой человек» было достаточно, чтоб навсегда отвратить меня от директора.

Я очутился перед старухой, восседавшей в своем кресле словно монарх на троне. Она не соизволила произвести ни одного движения, которое можно было бы принять за приветственное. На ней было какое-то черное, ниспадающее свободными складками одеяние, придававшее еще больше достоинства ее высокой, костлявой

фигуре. Лицо ее было почти квадратным, на висках лепились белые кудряшки, жесткие, как проволока. На этом лимонно-желтом лице, окруженные веером морщин, выступали огромные, темные, выпуклые глаза. Шею ее охватывала бархотка, а под нею, в маленьком вырезе, вздувался и дрожал мешок дряблой кожи, посередине которого наискось проходила пульсирующая синяя жила.

Я приложился к ее холодной руке. В другой руке она сжимала своего рода скипетр — тонкую и длинную трость, к верхнему концу которой был привязан черный муаровый бант. Бант был похож на чудовищную мрачную бабочку, насаженную на булавку.

— Добро пожаловать! — прокаркала старуха. — Так вот он какой, жених нашей Сони. Поди, поди сюда, стань-ка возле него, хочу поглядеть, как оно вам пристало, рядышком-то…

Слова эти, по-видимому, были необычайно остроумны, потому что педагог погладил свою рекламную бороду и легонько рассмеялся.

— Это моя дорогая тетя, — торжественно произнес Хайн. — Она стала мне матерью, когда я потерял свою, а позднее заменила мать и Соне. Мы, три старика, да Соня — одна семья, в которой

установились довольно сложные отношения. Моего друга Кунца вы могли бы принять за гостя — и ошиблись бы. Он член нашей семьи, хотя и не живет с нами.

— Милый Хуго, — возразил Кунц на такое признание в любви, — ведь это может произвести нехорошее впечатление, когда ты столь откровенно указываешь: вот человек, чье присутствие подчас в тягость…

Хайн пригласил всех к столу.

У стульев, обитых выцветшим красным плюшем, были слишком высокие спинки. Они годились для чего угодно, только не для того, чтоб сидеть на них. На каждом предмете обстановки красовалась какая-нибудь ненужная вязаная салфеточка. Зеркало увенчивало подобие шапочки из бумажных цветов. Возле двери пузатилась горка с серебром, на окнах висели гардины, поглощавшие свет и пыль. Дело старухиных лап, думал я. По желанию этой желтой мумии — декорация прошлого века. Ее величество, кажется, куда более зловеще, чем я предполагал. Нет, пожалуй, мы с ней вряд ли полюбим друг друга!

Появился Филип с суповой миской. Он двигался неловко — роль лакея, видно, ему не удавалась. Филип был миловидный подросток с девичьими

голубыми глазами под сросшимися бровями и с курчавой шевелюрой. Он являл собой прямую противоположность своей сестре Кати, которая держалась в высшей степени уверенно и непринужденно.

Смотреть на «дорогую тетю» за едой было не очень приятно. Ее выпученные глаза грозили вывалиться на тарелку. Отхлебнув две ложки, она отодвинула суп. К мясу едва притронулась, поковыряла картошку. Позднее Соня объяснила мне ее поведение. Старуха необыкновенно упряма. Она одна занимает весь первый этаж. И вбила себе в голову, что не нуждается ни в чьей помощи. Сама себе стряпает, сама убирает. Никогда не ест за общим столом с племянником и внучкой. Приняв сегодня приглашение к ужину, она далеко отступила от своих правил. И слишком уронила бы свое достоинство, если б стала здесь есть.

Но благодаря этому у нее оставалось достаточно времени для разговоров. Чаще всего она обращалась ко мне, хотя я вовсе не домогался такой чести.

— Сознайтесь-ка, почему вы не приезжали раньше? — с упреком говорила старуха. — Вам бы следовало представиться еще полгода назад. — И чтоб смягчить тон своих слов, добавила: — Ведь

это я вас приглашала.

Я ее отлично понял. Она желала увидеть меня до того, как будет сказано решающее слово.

— Я бы хотела, чтоб мы стали друзьями, — строго заключила она.

Ясно, ясно — это не просьба, это угроза. Смысл ее был такой: или старайся угодить мне — *или!..*

Служа мишенью столь сладостных намеков, я несколько скис.

— Петя, Петя, — тревожно шепнула мне Соня, — что-то ты сегодня слишком серьезный!

Хайн расслышал это «ты», удивленно поднял брови, но тотчас снисходительно улыбнулся. Взгляд его с любопытством задержался на новом колечке у дочери.

Филип долго нащупывал локтем дверную ручку, пролез в конце концов в полуоткрывшуюся дверь и пошел по ковру мелкими, осторожненькими шагами. На подносе в его руках угрожающе звенели высокие стаканы для пива.

— Эх ты, — добродушно усмехнулся Хайн. — Несешь, будто динамит!

Кунц, беззвучно похохатывая, откинулся назад вместе со стулом.

Первый стакан директор поднял бравым жестом, многозначительно возвел очи к потолку,

потом обвел взглядом старуху, Хайна, Соню, удостоив под конец и меня, после чего снова поднял стакан. Хайн встал, словно загипнотизированный. Загремели отодвигаемые стулья. Все протягивали свои стаканы к старухе.

Кунц произнес тост.

Ровно в половине десятого тетка удалилась в свою берлогу. Директор остался.

Хайн говорил о заводе. Кунц о патриотизме. Это был его конек. Есенице расположено в небезопасной области. Три четверти населения, а может, и больше — немцы. Господин директор школы был одновременно старостой местной сокольской[6] организации, библиотекарем «Беседы»[7] и деятельным членом всех прочих основных чешских обществ. Я скоро догадался, какова роль Хайна в этих благородных трудах: он был карманом, Кунц — рукой. У Хайна были деньги, Кунц их раздавал.

Я отлично понимал испытующие взгляды, ко-

---

[6] notes: 6

«Сокол» — чешская спортивная организация патриотического характера; основана М. Тыршем в 1862 году.

[7] notes: 7

Название «Беседа» носили многие чешские патриотические организации в Австро-Венгрии — певческие общества, издательства, читальни, просветительские кружки и пр. После образования в 1918 году самостоятельной Чехословакии многие из них продолжали свою деятельность.

торые бросал на меня педагог. В них был вопрос: «В моем ли ты вкусе, малый? С тобой приходит к нам новый режим. Каким-то он будет?» Мне было бы нетрудно дать ему точный ответ. Я всегда держался подальше от всякой политики. Национализм, социализм — до всего этого мне не было никакого дела. Я понимал одно: собственное преуспеяние. Однако в данный момент выгоднее было не раскрывать своих карт и многозначительно улыбаться.

Господин директор доблестно пил. Филип то и дело бегал в погреб за новой бутылкой. Он только что, в очередной раз, вошел в столовую, неся, как и подобает, бутылку на подносе, который судорожно сжимал обеими руками. Дверь он открывал локтем, а закрывал ногой, но на этот раз забыл это сделать, и тогда случилось нечто такое, что нарушило мое приятное спокойствие. Следом за Филипом вошел тот самый толстяк, который промелькнул на пороге дома, когда я впервые переступал его.

Вошел! Вряд ли можно так выразиться. Держа руки за спиной и надув щеки, как человек, собирающийся сделать что-то смешное, он большим, упругим прыжком вскочил в столовую… Еще прыжок — и настороженный взгляд на сидящих

за столом. Во всем его загадочном поведении была одна ясная цель: остаться незамеченным. И это ему удалось. Кунц, сидевший лицом к двери, ни одним движением бровей не дал знать, что увидел его. Хайн сидел спиной к двери. Соня, прильнувшая к моему плечу, вовсе не смотрела на то, что делается вокруг.

Странный человек забежал в угол рядом с дверью. Потоптавшись, словно курица на насесте, он застыл и стал смотреть на нас — без движения, без слова. Творожисто-бледное лицо, обросшее клочковатой, очень реденькой бородой, невыразительные, чуть раскосые глаза, под ними синие мешки. Лысая голова казалась слишком большой при его низком росте, огромный живот выпирал под несвежим жилетом. Он разглядывал мою особу с безудержным любопытством.

Я смотрел на него в изумлении и тоже до некоторой степени вызывающе — его поведение казалось мне безгранично дерзким. Кто бы это мог быть? Соня подробно рассказывала мне обо всех обитателях дома, но ни разу не упомянула о странном толстяке. А тот, я заметил, был очень недоволен тем, как я его разглядываю. Он беззвучно шевелил губами, словно шепча про себя ругательства, и злобно помаргивал.

Филип, выходя из столовой, бросил на него быстрый, но совершенно равнодушный взгляд. Он хотел было закрыть за собой дверь, да вдруг раздумал и оставил ее открытой. Это было сделано, несомненно, нарочно. Когда в комнату забредет через приоткрытую дверь старый добродушный пес, ему вот так же оставляют возможность выбраться вон.

Признаюсь, все это несколько обеспокоило меня. Я взглянул на Кунца, лицо мое выражало немой вопрос: «Скажите на милость, что это значит?» Кунц, поймав мой взгляд, прервал свою речь, и в его глазах мелькнуло удивление. Он посмотрел на Хайна столь же многозначительно, как только что я смотрел на него.

Теперь настала некоторая психологическая паника. Соня, подсознательно уловив перемену настроения, сильно вздрогнула, покраснела до ушей и вытащила руку из-под моего локтя. Хайн пробежал взглядом по лицам собравшихся, вопросительно остановил его на мне, потом глянул на странного человека в углу, мгновенно — на Соню… Он что-то понял. Недовольно нахмурил свои профессорские брови.

— Соня! — произнес он с упреком.

Девушка отвернулась, смущенно теребя ба-

хрому скатерти. Хайн наклонился ко мне и доверительно шепнул мне на ухо:

— Послушайте, разве Соня никогда не рассказывала вам о Кирилле?

Я отрицательно мотнул головой.

— Так, так, — расстроенно буркнул он и снова обратился к дочери. — Что же ты ничего не сказала? Я ведь говорил тебе — это твоя обязанность, не моя! Что поделаешь? — это относилось уже ко мне. — На женщин нельзя положиться…

Он выдавил снисходительную улыбку, не сумев, однако, скрыть свою досаду.

Как только мы заговорили шепотом, сдвинув головы, странный гость обнаружил детское любопытство. Он вытягивал шею, поднимался на цыпочки, не покидая, впрочем, своего угла. Очень ему хотелось уловить хоть что-то из разговора — так маленькие дети любопытно прислушиваются к тому, что говорят между собой взрослые.

— Прошу вас, не смотрите на него, — подумав немного, попросил Хайн. — Держите себя так, как если бы его тут не было. Он насмотрится и сам уйдет. Он совсем не опасен.

Затянувшись сигарой, он поднял глаза к потолку, словно искал там нужные слова, потом вдруг как-то торопливо проговорил:

— Понимаете, это мой брат. Рассудок у него… Я все объясню потом.

«Так, — с горечью подумал я, — таково-то мое торжественное вступление в семью, таков этот ужин, почти помолвка! Сначала тетка капнула дегтем в бочку меда, а теперь ко всему еще и это! Какую же нечистую семейную тайну придется мне проглотить вместе с Сониными миллионами?»

Соня робко дотронулась до меня.

— Прости!.. — чуть ли не смиренно шепнула она.

Я досадливо пожал плечами, но поспешил мило улыбнуться.

Когда я меньше всего ожидал, толстый человек выскочил из своего угла и такими же странными прыжками, как и вошел, удалился из столовой. Филип, словно только того и ждал, тотчас захлопнул за ним дверь.

— Филип, — строгим тоном обратился к нему Хайн, — неужели ты не мог за ним последить?

— Я не знал, что он идет за мной, — пробормотал подросток.

— Но ведь ничего особенного не случилось, — примирительно сказал Кунц.

— Конечно, — смущенно улыбнулся фаб-

рикант, — только я думаю, Кирилл как-то не подходит к программе сегодняшнего вечера.

Навязчивый педагог отправился восвояси только к одиннадцати часам. Кати, помогая ему одеться в прихожей, шептала ему на ухо всякую чепуху. Кунц хохотал, гладил ее по щечке. Как видно, эти двое в отличных отношениях. Филип услужливо подал Кунцу его черную широкополую — как у художников — шляпу.

— Ах вы, детки, детки, — с довольным видом промурлыкал Кунц. Видно, любил изображать этакого доброго дядюшку.

Когда Кунц ушел, Хайн повернулся ко мне и резким тоном, каким говорят очень добрые люди, когда им не по себе, сказал:

— Я обещал вам объяснить… Если вы еще не хотите спать, не лучше ли развязаться с этим делом прямо сейчас? Я предпочитаю поскорее отделываться от неприятного.

Я заверил его, что весь к его услугам.

— В таком случае прошу ко мне.

— А Соня? — спросил я, с участием глядя на удрученную девушку.

— Соня пойдет спать.

Однако Соня спать не пошла. Она терпеливо дожидалась конца нашей беседы, и когда через

час мы с Хайном расходились, то нашли ее в коридоре; маленькая любопытная кающаяся, она плакала от одиночества и едва держалась на ногах — так смаривал ее сон.

Стены Хайнова кабинета были безвкусно расписаны широкими вертикальными полосами. У единственного окна, в углу, помещался письменный стол, над которым, в массивных золоченых рамах, висели два портрета маслом. На первом была изображена очень худая женщина неопределенного возраста. Она сидела на подушке, положенной на стул, и держала в руке небольшую чайную розу. На ней была прилегающая темная кофта, на шее красовалась костяная брошь. Со второго портрета смотрел молодой человек, почти юноша, со смелым лбом, блестящими глазами и кудрявой шевелюрой; одетый в голубой сюртук, он опирался на трость. Я без труда угадал родителей Хайна.

— Отец здесь изображен молодым, а мать уже в пожилом возрасте, — охотно пояснил Хайн. — Портрет матери написан в восьмидесятых годах, тогда мне было лет четырнадцать.

Он стал рассказывать о своих предках. Его прадед варил мыло еще в деревянном домишке, стоявшем в глухом переулочке. Домик каким-то

чудом сохранился, несмотря на ветхость и частые пожары по соседству. Соня как-нибудь вам его покажет. Дед выстроил дом уже на площади и стал членом магистрата. Он был состоятельный человек, но жил скромно. Еще и при отце Хайна семья жила очень просто.

— Господи, как вспомню нашу мастерскую, смех берет! Кирпичная пристройка во дворе, в ней два котла, склад на втором этаже, в подвале топка. Мыльную массу разливали по ящикам, потом проволокой разрезали на куски и сушили на полках над кухонной плитой…

Я проклинал себя в душе, зачем выказал такой интерес к портретам. Было ясно — если Хайн продолжит в том же темпе, мы и до утра не кончим. А он рассказывал, как ездил с отцом на ярмарки…

— Больше всего мы выручали в Рогозце. Рогозец — горное местечко, туда часов пять езды. Там, на ежегодных ярмарках, горцы закупали мыло на весь год. Живо помню площадь в Рогозце, мощенную булыжником, палатку отца, помню, как я принимал деньги, пока отец взвешивал на безмене куски мыла. Отец был очень добрый человек. Слишком даже, знаете ли, добрый… Когда все шло хорошо, он так и искрился весельем, шутил… Зато когда его одолевала какая-нибудь

забота, он становился невыносимым. Страшно горевал, что детей у него мало. Любопытно, сударь мой, что и у деда было только двое: мой отец да сестра его, тетя Каролина. А я до шестнадцати лет оставался единственным сыном! Отец же обожал детей. Можете себе представить, как был он счастлив, узнав, что матушка снова понесла…

Хайн помолчал, задумчиво затянулся сигарой, потом вдруг выпалил:

— Слушайте, вы правда не имели понятия о существовании Кирилла?

— Ни малейшего, — ответил я по возможности легким тоном.

Хайн нахмурился. Он вдруг как-то утратил спокойствие, в голосе его зазвучала грусть.

— Не покажется ли и вам каким-то странным, трагическим стечением обстоятельств, что катастрофа случилась с отцом неожиданно и как раз в то время, когда он был так счастлив, так ждал рождения второго ребенка? Мне было шестнадцать лет, я учился в пятом классе реального. Отец хотел дать мне специальное образование. Он был дальновиден и понимал, что если наше предприятие не разовьется, то оно погибнет. Мыловаренные заводики, оборудованные машинами, в ту пору начали расти, как грибы после

дождя, а все свои познания бедный мой отец получил только от деда, да еще из опыта своего двухлетнего учения у разных мастеров.

Несчастье произошло вот как. Отец — как и много раз до того — собрался ночью, в час пополуночи, с возом товара в Рогозец. На Гампашском холме — это примерно в получасе езды от Есенице — лошади чего-то испугались, сильно дернули, отчего сорвался большой тяжелый ящик с мылом и свалился на голову отцу, который сидел, подремывая, на задке телеги. Теперь представьте: глухая ночь, матушка, проводив отца, только что заснула каким-то тяжелым сном, — короче, она никак не могла сообразить, почему телега снова оказалась у дома. Скорее всего подумала, что отец еще не уезжал. И в таком полусонном состоянии беременная женщина, и без того несколько нервная, видит, как вносят мужа с размозженным черепом. Да еще возчик бормочет что-то о белой фигуре на дороге, о том, что это наверняка был призрак покойного хозяина, моего деда… Я уверен — возчик был пьян. Впрочем, что толку — последствия были ужасны. Мать упала в обморок, а когда очнулась, мы поняли, что она сошла с ума. Это случилось в тысяча восемьсот восемьдесят втором году…

Тут мне следовало изобразить взволнованность. Я встал с кресла и принялся молча расхаживать по комнате. По-моему, такой прием выглядит убедительнее прочих. Хайн тоже поднялся, то ли взяв пример с меня, то ли просто потому, что сидящему труднее разговаривать с тем, кто ходит. Голос его дрожал от переживаний.

— Поймите меня, сударь: я любил учиться и безгранично обожал родителей. Я был так молод, а на меня свалилось сразу три тяжелых удара: смерть отца, безумие матери, необходимость бросить училище и взять дело в свои руки… Нелегко было справиться со всем этим! Я тоже едва не лишился рассудка. Когда мое первое страшное горе несколько притупилось, тут-то и начались настоящие беды. Производство и торговля требовали опытной руки, а я был зеленым юнцом…

Дней через десять после несчастья безумная мать моя родила сына. Возникли новые заботы: мать и видеть не желала ребенка. По каким-то причинам она его невзлюбила. Отказывалась его кормить. Пришлось искать кормилицу. Вы не представляете, друг мой, что я перенес! Поведение матери было невыносимым. Она то впадала в буйство, то стонала дни и ночи напролет… Окро-

вавленное лицо отца не выходило у нее из головы. Поверьте, я мог бы по пальцам пересчитать часы, когда мне удавалось уснуть. Я всерьез помышлял о самоубийстве. Жизнь уже не привлекала меня. Что ожидало меня в будущем? Вечная усталость, бесконечная печаль, безрадостная работа… И тут, в такой беде, нежданная, без предуведомления, как ангел с неба, явилась тетя Каролина.

Простите мне некоторое отступление, без него рассказ мой будет не полон. Отец и тетя, — я уже упоминал об этом, — были единственными детьми у деда и очень любили друг друга. Нечто вроде разрыва между ними произошло лишь когда отец женился против воли своей сестры. Деда и бабушки к тому времени уже не было в живых, и тетя Каролина жила в доме брата. Она всеми силами, всем своим влиянием противилась этому браку, потому что матушка моя была бесприданница. Когда же отец все-таки женился, тетя уехала в Вену к своей тетке, сестре нашего деда, и долго жила там веселой жизнью, окруженная поклонниками и предаваясь развлечениям. Ее доля наследства была довольно значительна, она могла себе многое позволить. К ней не раз сватались, но ее требования к будущему супругу превосходили желание выйти замуж. Она появи-

лась в Есенице уже в таких годах, когда женщины прощаются с молодостью.

В один прекрасный день она вышла из коляски у нашего дома на площади — красивая, стройная, вся в драгоценностях, раздушенная, с вуалеткой на глазах, — а я стоял перед ней, пряча за спиной руки, испачканные мылом, которое я резал, и ошеломленно взирал на это волшебное видение. Она поцеловала меня в лоб, расплатилась с кучером, вынув деньги из мешочка, расшитого бисером, и, к моему глубочайшему изумлению, объявила, что останется здесь, пока я не справлюсь с самым трудным. Она сделала гораздо больше, чем тогда обязалась. Она осталась навсегда…

Я промямлил вежливые фразы насчет того, что, мол, со стороны тети это действительно большая жертва. Молодая дама оставила приятную жизнь в столице и посвятила себя сироте-племяннику. Благородно явилась служить женщине, которая в известном смысле была ее соперницей…

— Да, но, видите ли… — смутившись, перебил меня Хайн. — Я еще не сказал вам, что настало время, когда меня поставили перед выбором: или тетя — или больная мать. Заклинаю вас, будьте теперь объективны, рассуждайте вместе

со мной: тетя, женщина строгая, порядколюбивая, — и мать, совершенно безудержная, порой злая озорница. Она делала все, только бы нарушить заведенный тетей распорядок жизни, приличествующий барскому дому. Вечно выходили неприятности… И тетя сказала мне: «Или ты отправишь мать в дом умалишенных, где ей и место, или я брошу тебя одного». Да, так сказала она в один прекрасный день, едва я начал приходить в себя от горя. Поймите, друг мой, сделать первое было легче, хотя и кажется жестокостью. Нет, не думайте, что я слабовольный человек или что это было актом низкой мести со стороны тети. С разумной точки зрения это было даже желательно, и в самом деле — результат оказался превосходным. Как только матушку удалили, в доме наконец воцарилось полное спокойствие. Я мог теперь весь отдаться работе. Дело наше росло…

Я сам повез матушку в лечебницу — ах, это был один из самых тяжелых моментов в моей жизни! Она не согласилась бы поехать ни с кем, кроме меня, только мне она доверяла. Я повез ее под предлогом прогуляться в коляске. Как я лгал! Долгие годы потом я не мог вспоминать об этом без слез. На козлах рядом с кучером сидел один из мо-

их рабочих — на всякий случай. Но такого случая не произошло, мать вела себя отлично. Радовалась прогулке, как маленькая. Хлопала в ладоши, бросала в прохожих косточки черешен…

Хайн помолчал. А я в это время думал, что ничуть не ошибся в милейшей тетушке. До чего остроумно свела она счеты с невесткой! Да, да, конечно, она ведь приняла на свои плечи все бремя домашнего хозяйства. Способствовала успеху племянника своими великосветскими манерами. Питала его честолюбие. Но — была ли это жертва? Вряд ли. Постарела, женихов больше не предвиделось, — как удобно найти приют у несовершеннолетнего племянника! Недурно она присосалась к мыловаренному заводу. Видно, и деньжонки поистратила на блестящую венскую жизнь. Но Хайн не мог прочитать подобный ход мыслей по моему лицу. Оно выражало чуть ли не благоговение.

— Ваша матушка долго еще прожила после этого? — тихо спросил я.

— Ах нет, — печально ответил Хайн. — Три года промучилась и умерла. Похоронили ее на здешнем кладбище. Соня сводит вас к ее могиле. Но скажите честно, мой рассказ вас не утомил? Не умею я рассказывать… Я слишком многословен.

Еще раз прошу, скажите, только откровенно — вы не хотите спать?

Теперь-то уж я ни за что не согласился бы перенести продолжение на другой день.

— Стало быть, ваш брат получил в наследство болезнь вашей матушки? — осторожно стал я спрашивать. — И скоро это узналось?

— Видите ли, если смотреть с сегодняшней точки зрения, то должен сказать, что он всегда был со странностями. Но тогда мы считали его нормальным. У нас не было оснований думать иначе. Самое большее, что могло прийти нам в голову, — это смутное подозрение. В те времена еще и слыхом не слыхали о наследственности, не то что теперь.

— Значит, сначала он был, как все дети? — допытывался я.

— Да… Но, пожалуйста, имейте немножко терпения. Знаете, тетя Каролина все-таки не сумела подавить в себе психологию старой девы. При всем своем желании она плохо воспитывала Кирилла. Она перенесла на него всю свою потребность в романтической любви. Она тряслась над ним, баловала его, изнежила вконец. Ему не позволялось играть с другими детьми. Все время она, что называется, держала его у своей юбки.

Одевала роскошно, так же как и сама одевалась. Спала с ним в одной кровати. Портила ему желудок сладостями. Несмотря на все это, Кирилл был задумчивым ребенком; а может, именно поэтому. У него были все мыслимые игрушки, но ему не хватало игр со сверстниками. Одинокий среди взрослых, он и забавлялся, как одинокий ребенок. Строил поезда из катушек, коробочек и чурочек. Тетя говорила, он будет изобретателем. В известном смысле бедняжка угадала…

Маленький Кирилл страшно дичился других детей, — наверное, просто потому, что не привык к ним. Когда он подрос, тетя — отчасти по моему настоянию, — решила допустить его в общество детишек из «лучших семей», по большей части девочек. Отправляясь в гости, она стала брать с собой Кирилла. А он капризничал. Все время, пока сидели в гостях, держался за рукав тети. На девочек смотрел с ненавистью, смешанной с восхищением.

— Все мы таковы в детстве, — почел я за благо вставить. — Мальчишкой и я совершенно не интересовался девчонками. Я презирал их за то, что они такие мягкосердечные и трусливые.

— Возможно, — согласился Хайн, — но у Кирилла это чувство было почти болезненным. Видели

бы вы его среди девочек! Глаза его горели тогда темным лихорадочным огнем, руки дрожали. Как-то раз при мне одна из девчушек, в игре, поцеловала его. Он побелел как стена и долго не мог выговорить ни слова. Другой раз он устроил в чужом доме небольшой скандал: прокрался в детскую и растоптал куклу, любимицу хозяйской дочки. Такой поступок вряд ли объясняется простой детской злостью. Но Кирилл отличался и другой особенностью: он питал непреодолимое отвращение к животным. Он терпеть не мог ничего, что было теплым и мохнатым. Он ни за что не взял бы в руки даже маленького голого птенчика. Как-то, не помню уж по какому случаю, ему дали подержать котенка. С ним случился настоящий нервный припадок, понимаете вы это? А ведь его просто хотели порадовать. Он вскочил, помчался, зажмурив глаза, только бы прочь, прочь, — бежал, пока не наткнулся на забор и не набил себе изрядной шишки. Понимаете, он брезговал животными, как некоторые люди брезгуют пауками или как женщины боятся мышей. Но я, кажется, слишком отклоняюсь?

Я отрицательно покачал головой.

— В школе Кирилл учился очень хорошо, но не снискал ни дружбы товарищей, ни любви

учителей, а все из-за своего странного, порой отталкивающего поведения. Как сейчас вижу его… Он был красивый мальчик! Тетя гордилась его мягкими длинными локонами. Ножницы не смели их касаться… Алые девичьи губы и большие, всегда расширенные зрачки. Он страстно любил читать. Когда он погружался в чтение, то не видел, не слышал ничего — зажмет уши ладонями, щеки горят… И как легко выходил он из себя! Если с ним тогда заговаривали, он отвечал грубостью. И ему это разрешалось — повторяю, его никогда не одергивали за невоспитанность.

Конечно, его послали учиться дальше. Цель его жизни была ясна, — он должен был стать химиком, инженером, каким я не мог стать. Злосчастная химия! Она-то лишила его рассудка… Но не буду забегать вперед. Еще в гимназии Кирилл вел жизнь богатого барича. Тетя ездила к нему по меньшей мере раз в месяц. Возвращалась всегда ликующая, в приподнятом настроении. Она была без ума от племянника, больше, чем любая мать от сына. Можно сказать, тетя была единственное существо женского пола, которое брат терпел. Он отдавал ей предпочтение перед всеми остальными. Отвращение к лицам другого пола у него осталось, с женщинами он держал себя непри-

ступно и надменно. Так, например, никто не мог уговорить его посещать школу танцев. У него никогда не было девушки. За это тетя безмерно уважала его. Пророчила ему блестящее будущее. Это оказало дурное действие на его характер. Он сделался заносчивым.

Знаете, — признаюсь без угрызений совести, — я не очень его любил. Вдумайтесь в мое положение. С утра до вечера я работал как лошадь, на мне был весь дом, весь завод. Юность моего брата была совсем иной! Я немножко завидовал ему. Да и он относился ко мне не так, как я того желал в своем тщеславии. Видите, я совершенно откровенен с вами. Преждевременная зрелость привела к тому, что я стал гордиться своими успехами. Я считал себя кормильцем семьи. И мне хотелось, чтобы мной восхищались. Кирилл же никогда не признавал моего авторитета. Он полагал, что источник его счастья — тетя. Как-то мы с ним поссорились, и он бросил мне это в глаза. Впрочем, довольно об этом, а то еще покажется, будто я и теперь ревную к несчастному…

— Вы рассказываете о юных годах Кирилла. Тогда он был еще здоров? — оторвал я Хайна от нахлынувших дум.

— Да. Конечно. В тысяча девятисотом году я же-

нился, он в том же году окончил гимназию. Тогда он еще не был болен, он был только несколько *странен*. Так, вдруг он стал носить на рукаве черную повязку. Напрасно допытывался я о причине. Он отвечал, что носит траур, а по ком — не имеет права говорить. Тетя заклинала его прекратить это. Ей это казалось кощунством, она твердила, что этим он призывает ее смерть… Знаете, она всегда ужасно боялась за себя. Кирилл не послушал даже ее, которая так его любила! Другой раз он решил научиться балансировать стулом на подбородке. Ах, друг мой, у молодых людей всякие бывают причуды, и я сначала вовсе не смотрел на это занятие косо, но когда Кирилл стал посвящать этим упражнениям все свое свободное время, мне это показалось довольно странным. По утрам, позавтракав, он тотчас брался за стул — и без конца, без конца тщетные попытки, день за днем, все каникулы напролет. Затем, на рождество, началась эпопея со скрипкой. Он, видите ли, прочитал что-то о Паганини и решил ему подражать. Играл он, конечно, примитивно, фальшиво, так и не научился как следует! Но старался играть с чувством. Он хотел стать *сатанинским* скрипачом. Дергался, подпрыгивал, кривил губы в странной ухмылке, выкатывал глаза… Сижу

я, скажем, в своей комнате, вдруг он входит на цыпочках — и начинает играть со всеми этими жуткими ужимками. Я злился, просил его уйти — с него как с гуся вода. Может быть, он меня и не слышал, поглощенный своей комедией…

В тысяча девятьсот третьем году он держал первый государственный экзамен. В ту пору он стал более замкнутым, чем когда бы то ни было. Последние университетские каникулы он проводил в основном в долгих, одиноких, утомительных прогулках. Как он тогда исхудал, вы не можете себе представить! Кожа да кости! Огромные, почти коричневые круги под глазами. И волосы его начали заметно редеть. Тетя плакала ночами, боялась, что он схватит чахотку. Обычно он бывал угрюм, но иногда внезапно разражался смехом. Смеялся каким-то своим мыслям, а когда мы спрашивали, о чем, — принимал оскорбленный вид.

В феврале мы получили от его квартирной хозяйки тревожное письмо. Она писала, что ей давно не нравится то, что происходит с Кириллом. Она, конечно, не хочет нас пугать, ведь мы с ним виделись совсем недавно, на рождество, но ей кажется, более того, она уверена, что с ним неладно. Он держит дома кучу всяких химикалий и без конца приносит новые. На лекции перестал

ходить. Запирается в своей комнате и с чем-то там возится, смешивает что-то, кипятит. Когда его зовут к столу, отвечает грубо. Еду глотает, не прожевав, а взглядом так и сверлит сидящих за столом. Испортил много вещей. Прожег скатерть, облил кислотой ковер. Одним словом, охи да вздохи, похоже было — хозяйка намекает на вознаграждение за испорченные вещи. Да и кто бы принял всерьез причитания старой вдовицы. Все мои мысли тогда были заняты маленькой дочкой, я был счастлив и хотел быть счастлив. Тетя тоже трезво приняла письмо. В Прагу она поехала, собственно, только для того, чтоб заплатить хозяйке за нанесенный ущерб да образумить парня. Ах, как страшно мы оба ошибались! Еще в тот же вечер пришла телеграмма: «Приезжай немедленно. Кирилл болен. Каролина».

Я, конечно, поехал. Тетя встретила меня на вокзале, глаза ее опухли от слез. Кирилла она еще даже не видела. Он и не подумал открыть ей дверь, он слышать о ней не хочет! Заперся, из комнаты его пахнет паленым, слышно, как разбивается что-то стеклянное… Он в *бешенстве*! Хозяйка согласилась подождать до моего приезда, но если мы с ним не сладим, она вызовет полицию. Насколько тетя могла понять из его

выкриков и бормотанья, Кирилл бьется над каким-то необычайно важным изобретением. У него ничего не выходит, вот он и бесится. В доме действительно творилось черт знает что. Хозяйка сдержала свое обещание, но мы никакого толку не добились. На улице уже стала собираться толпа — Кирилл ломал все, что ему под руку попадало, драл книги, бил химическую посуду и все швырял за окно. Напрасно взывал я к его благоразумию. Явилась, конечно, полиция, взломали дверь… Кирилла связали и отправили в больницу. Он пробыл там восемь месяцев. Восемь месяцев прошло, сударь, пока нам милостиво разрешили забрать его домой.

— На сей раз тетя согласилась? — вежливо заметил я.

— Согласилась? — взволнованно повторил Хайн. — Что вы! Сама пожелала этого, сама умолила меня! Поверьте, она, быть может, руки бы на себя наложила, если б я воспротивился. Я понимаю — вы хотите сказать, что судьба сыграла мстительную шутку. Мать пришлось удалить из дому ради тетки, а Кирилла, ради нее же, взять домой. Вы правы — здесь есть какой-то элемент расплаты. Я верю в бога, друг мой! Не спрашиваю, верите ли вы, это не мое дело. Но если хорошень-

ко подумать, то во всем случившемся можно увидеть некий замысел или, по крайней мере, логику. Никому на свете не дано быть слишком счастливым, запомните это раз и навсегда! Мы жили слишком хорошо. Вот почему на нас навалилось несчастье.

— К тому времени у вас уже, вероятно, был завод. И эта вилла, — предположил я.

— Да, да, я забыл об этом сказать. Завод построен в тысяча восемьсот девяносто пятом году — этим летом мы отметим его тридцатилетие. А виллу выстроили за год до моей свадьбы, то есть в тысяча восемьсот девяносто девятом году. Из этого вы можете заключить, насколько успешно шли дела, если всего через четыре года после пуска завода я мог себе позволить такую роскошь, как виллу. Впрочем, то была тетина идея.

— Интересно, что же явилось непосредственной причиной припадка, так сказать, последним гвоздем в гроб здравого рассудка?

— Да, этого я вам еще не сказал, — с усталым видом ответил Хайн. — Как нам сообщили в больнице, Кирилл вбил себе в голову, что откроет секрет *невидимости*. В сумасшедшем доме он этот секрет нашел, — и, значит, успокоился.

— Ах, так он воображает себя невидимым! — с

интересом воскликнул я.

Теперь мне все стало ясно. Вот откуда это бесцеремонное разглядывание, это хождение на цыпочках, это упорное молчание, таинственное проскальзывание в открытую дверь! Дядюшка Кирилл исчез. А он между тем, хитрец, живет себе в доме незримым гостем! Но боже мой, если он последовательно предается этому виду спорта, то, значит, он вообще ни с кем не общается, живет совершенно одиноко! Интересный помешанный — целые годы пребывает в состоянии столь странной мании…

— Когда-то читал я одну книгу, — вслух проговорил я, — там было нечто в этом роде, конечно, из области фантастики.

— Таких книг — не одна, — поспешил вставить Хайн. — Не исключено, что какая-нибудь и повлияла на него.

— Стало быть, в сумасшедшем доме выяснили его пунктик. Сказать по правде, меня удивляет, что они с ним считались. По-моему, с этим связана необходимость во многом уступать его требованиям, а персоналу лечебницы, пожалуй, некогда заниматься подыгрыванием помешанным.

— Ну, там-то с ним вряд ли нянчились. — При этих словах Хайн усмехнулся чуть ли не злорад-

но. — У них было испытанное средство против его упрямства. Вот почему так спокойно совершилась его перевозка домой. Он сидел в купе как пай-мальчик, тише воды. Боялся, что здоровенные молодцы, сопровождавшие его, увезут его обратно при малейшем проявлении недовольства. Как видите, — с мрачным юмором добавил Хайн, — в дороге никто и понятия не имел о том, что он невидимка. Но едва он немножко привык к дому, как начались трудности. Теперь это тихий человек, к которому мы относимся с невольным состраданием, но тогда — о, вы и представить себе не можете, что мы тогда пережили!

— Я как раз хотел спросить вас, — нерешительно начал я, — как же вы устроили ему невидимое существование, как приспособили домашний распорядок к его причудам? Думаю, это не всегда было просто сделать.

— Конечно, непросто, — утомленно ответил Хайн. — Но рассказывать об этом подробно — долгая история…

— Сначала мы не знали, что делать. Надо было решить множество задач. Ко всему прочему тетя вбила себе в голову, что вылечит его. Она горячо его уговаривала, плакала, на колени перед ним становилась, как идолопоклонница… Он, разуме-

ется, приходил в ярость. Он не хотел, чтоб с ним носились, — он хотел быть невидимым. Чтоб никто его не замечал. Тогда-то директор Кунц и выказал себя верным и умным другом, тонким наблюдателем и советчиком. Это ему удалось убедить тетю оставить тщетные попытки — в интересах самого больного да и всех нас. Это он посоветовал отвести Кириллу мансардную комнатку и таким образом удовлетворить его стремление к уединению. Судите сами, как трудно понять желания человека, который ни с кем не разговаривает! Сколько мы ломали голову, прежде чем придумали, как его кормить! Сначала служанка носила ему наверх завтраки, обеды и ужины. Ох, как он бесновался! Что он вытворял! Он выходил из себя — ведь мы этими услугами показывали, что знаем, где он прячется!

— Занятно, — вставил я, — в лечебнице ему наверняка тоже приносили еду?

— Вот именно, — оживился Хайн, — вы рассуждаете точно так же, как и я. Видите ли, какая-то доля рассудка у него сохранилась. И полностью сохранилась хитрость. В лечебнице он не мог позволить себе роскоши требовать слишком многого, но стоило ему очутиться дома, как он тотчас воспользовался своим положением. Толь-

ко тут и начал он со всей последовательностью практиковать культ невидимости.

— А может быть, голод заставил бы его образумиться?

— Может быть, — допустил Хайн. — Но могли ли мы ждать, пока иссякнет его ярость? Мы пробовали и так и этак — все не по нем. И опять нам помог Кунц. По его предложению мы завели такой порядок: например, позавтракав, уходим из столовой, но забываем на столе порцию кофе с булочками. Кирилл где-нибудь за дверью ждет, пока мы уйдем, и тогда осторожно, очень осторожно открывает дверь, садится, завтракает и с теми же предосторожностями исчезает. Он воображает, будто украл еду. То же самое и с обедом. Пробирается в столовую после нас и доедает как бы остатки. Еду и питье он находит всегда в определенном месте. А комнату его убирают, когда он выходит погулять в сад. Чистое белье ему приносят, когда он спит. Тем же манером заменяем мы старое платье новым — надо только, чтобы новая одежда по возможности была сходна со старой. Он очень упрям. Одевается только в черное, другого не возьмет. Наверное, это как-то связано с его невидимостью.

— Ясно, — сказал я, — но не может же быть,

чтоб он не понимал все эти мелкие хитрости. Не может же он думать, будто одежда его никогда не изнашивается, а комната убирается сама собой!

— Совершенно верно. Конечно, он понимает — и соглашается. Нечто вроде игры с обеих сторон. Более двадцати лет, сударь мой, живет больной Кирилл в моем доме — и живет по-своему счастливо. Каждое утро он выпивает свой волшебный эликсир, который делает его невидимым на весь день. Это безвредный напиток: немного сахару да поваренной соли на стакан воды. Воду для умыванья он приносит себе сам, сам тщательно застилает кровать. Потом отправляется в обход по дому. Бродит, подглядывает за нами, мурлычет что-то под нос, грезит… Да, грезит — выдумывает всевозможные романтические истории о себе, о своей грядущей славе. Он, видите ли, уверен, что благодаря своей невидимости совершит когда-нибудь великие подвиги, достойные памяти людей. И эти свои мечты он излагает в письменном виде. Пишет он на всем, что под руку попадает. Порой его идеи довольно занимательны.

— А как он бреется, как вы ему стрижете волосы?

Хайн улыбнулся:

— Да ведь волос-то у него нет! А что до бритья,

то… одним словом, он не бреется. Не можем же мы дать бритву сумасшедшему!

— Он никогда не пытался убежать?

— Пытался, как же. Несколько раз ему удавалось предпринять этакую недозволенную прогулку. Однако у людей вне нашего дома он не встретил такого понимания, как здесь. Детишки бегали за ним, дразнили его. Там он уже не был *невидимым*. А он желает им быть! Как ребенок — ведь в каждом помешанном есть что-то детское — он остается там, где играют в его игру, и избегает того общества, где уже не чувствует себя уверенно. Впрочем, за ним хорошо присматривают. Вот зачем в нашем доме столько слуг. Филип живет в комнатушке рядом с ним только ради того, чтобы знать о каждом его шаге. Посмотрите завтра, какой высокой оградой обнесена вилла. Перелезть через нее не под силу пожилому тучному человеку. А ворота всегда на запоре.

— И у вас никогда не бывало с ним никаких серьезных неприятностей? — полюбопытствовал я. — Я имею в виду — за то время, когда он, по вашим словам, успокоился. Можно ведь представить себе, что из всех ваших ухищрений, как бы остроумны они ни были, что-нибудь да не сработает. А интеллект помешанного так нена-

дежен… Неужели он действительно ни разу не вышел из роли?

— Серьезные неприятности… — вздохнул Хайн. — Конечно, у нас нет полной гарантии. И не всегда жили у нас Филип с Кати. Когда рассчитываешь слугу за небрежность, он обычно вымещает злобу на домашних животных, как вам, вероятно, известно. У нас плохие слуги мстили всегда бедняге Кириллу. Прежде чем уйти, подстраивали ему какую-нибудь каверзу. Злые ребяческие проделки, которые могли, однако, иметь ужасные последствия. Нет, сударь, не всегда нам было легко с Кириллом. Но вот уже долгое время не случалось ни малейших неприятностей.

Помолчав немного, фабрикант снова заговорил:

— Остается объяснить, каким образом мы сообщаем ему новости о делах, о которых ему по тем или иным причинам следует знать. Обычно довольно того, что мы нарочно при нем заводим об этом разговор. Если же надо довести до его сведения событие более серьезного характера, — как, например, ваш приезд, — мы посылаем к нему Филипа и Кати, и они при нем подробно обсуждают это событие, причем в такой форме, чтоб

ему стало понятно то, что ему следует понять. Вы не представляете, как он бывает доволен, узнав таким путем нечто новое. Он принимает хитрый вид, усмехается, радуется как ребенок, появлению нового человека. Разглядывает его, изучает, вновь и вновь проверяет на нем свою невидимость… Конечно, всякого, кто впервые приходит к нам, следует заранее научить, как себя с ним вести. Эта задача была возложена на Соню. Как видите, она справилась с ней из рук вон плохо.

— Да… понятно, — неуверенно протянул я. — Только почему именно Соне поручили рассказать мне о Невидимом?

— Почему? — с какой-то неопределенной усмешкой ответил Хайн. — Видите ли, у Сони есть свои капризы, о которых я говорю с большой неохотой. Она почему-то стыдится этих двух случаев помешательства в нашей семье. Вот и весь секрет. Поэтому она и не сказала вам о больном дяде. Тут она просто неисправима. Для нее Кирилл — какое-то нечистое существо. Из-за него у Сони было много неприятных столкновений с тетей, которая не дает в обиду племянника. Впрочем, у Сони есть какие-то незначительные причины не доверять дяде, но мне не хотелось бы распространяться о них. Я уверен, она сама

вам скажет. Причины эти столь же нелепы, как и ее физическое отвращение к несчастному. К сожалению, ей попали в руки книги, из чтения которых она вынесла неверное представление о наследственности. И теперь никто не разубедит ее в этой чепухе. Ведь все так ясно: мать моя сошла с ума от внезапного ужаса. Кирилл родился вскоре после такого потрясения, он — дитя больной женщины. Я же родился шестнадцатью годами раньше. Соня — из здоровой ветви, не затронутой роковой трагедией. Друг мой! — голос Хайна дрогнул. — Я человек порядочный и добросовестный. Уверяю вас, я консультировался у врачей. Обращался к специалистам. Знаете, что они мне ответили? Высмеяли в глаза!

Мне показалось, что Хайн уклоняется от того, что он хотел бы сказать. Погоди, подумал я, постой, не беги, не петляй! Ты уже совсем близко подошел — ну же, выкладывай!

— Но я все еще не понимаю, — осторожно возразил я, — почему же все-таки именно Соня должна была рассказать мне о больном.

Хайн стал очень серьезным, шея у него побагровела.

— Ну посудите сами! — чуть ли не набросился он на меня. — С какой стати мне заводить раз-

говор с будущим зятем о вещах, которые я не считаю важными? Есть у меня хоть какие-то опасения? Нет! Сколько раз она ко мне приставала! И если, несмотря на мои трезвые объяснения, она держится своего упрямого подозрения — пусть сама о нем и говорит. Могла бы избавить меня от этого. Для меня это слишком тяжело, слишком больно. Ей следовало собраться с духом и спросить честно и прямо — раз уж это засело у нее в голове, — хотите ли вы… — Тут старик раскашлялся, голос у него задрожал. — Хотите ли вы даже после такого признания просить руки девушки… как бы это выразиться? — В общем, девушки из семьи с *нездоровой наследственностью*…

Медленно и грустно прогуливались мы с Соней по саду. Ликующее, самодовольное настроение, с каким я несколько часов тому назад входил в этот дом, улетучилось. Я чувствовал себя как купец, который, только получив товар, увидел, что его малость обманули на качестве. О такой важной вещи я узнаю после того, как мы, выражаясь языком торговцев, ударили по рукам! Я думал о том, как повел бы я себя, если б узнал о Невидимом полгода назад. Не утверждаю этого с уверенностью, но скорее всего я не стал бы так усердно домогаться союза с Соней. Ведь в своих

мечтах о будущем я, помимо богатства, видел прежде всего счастливую и здоровую семью. И меня глубоко огорчало, что эта в высшей степени важная опора счастья несколько пошатнулась.

Проклятая история с сумасшедшим! До сих пор мне и в голову не приходило, что моя женитьба на мыловаренном заводе обернется такой чертовщиной… А она — вот она, и нечего закрывать на это глаза. Хайн, правда, опровергал опасения дочери, но тон, каким он это делал, звучал весьма неубедительно.

Да, у меня было достаточно оснований хмуриться и досадовать. А я, как назло, должен был изображать беззаботность. Соню, конечно, ни в чем нельзя винить. Бедняжечка, она и сама-то совсем себя измучила. В сущности, она славная девушка. Вопреки ожиданиям, она проявила высокую добросовестность: сама пожелала, чтоб я узнал о ее сомнениях.

Я решил отнестись к ее слабости снисходительно. Более того, я положил выбросить из головы неприятное сообщение Хайна. Строго говоря, мне ничего иного и не оставалось. Какой прок был бы в том, если б я, как Соня, начал страшиться теней? Я не из тех, кто всюду видит опасность. В жизни можно делать ставку в лучшем случае

на правдоподобную возможность — но никогда на уверенность. Если рассудить трезво, ничего конкретного в Сониных страхах нет.

Соня, закутавшись в шубу до самого подбородка, шла, повиснув на моей руке. Я успокаивал ее как мог.

— До чего же безрассудно выводить ложные заключения из несчастья, случившегося рядом с нами! Если соседа поразила молния — значит ли это, что я всю жизнь должен бояться грозы? Если мой товарищ заболел тяжелой ангиной — неужели я буду портить себе жизнь, без конца обследуя свои миндалины? Известно ли тебе, что нет на свете семьи, в которой время от времени не появлялся бы хотя бы один душевнобольной?

— Да, да, — благодарно поддакивала Соня, однако успокоить ее мне не удалось.

Я попытался обратить все в шутку и стал фантазировать, как было бы мне плохо, если б и она решила сделаться невидимой. Я болтал и болтал на эту тему, но такой способ утешать совсем не нравился Соне. Она была сама не своя. Тогда я поспешил вернуться к доводам разума.

— Твой отец такой умный и честный человек, — с жаром говорил я, — и ты ведь его дочь, а не дядина!

Тут я вспомнил, с каким трудом сходило с языка Хайна тягостное признание, и усмехнулся про себя столь необычайному мужеству. Ох, думал я, значит, не одному только Швайцару неприятно рассказывать о Швайцарах — бывает, что и почтенному Хайну неохота говорить о Хайнах!

— Знаешь что, лучше оставим это сегодня, — предложила Соня.

Смерзшийся снег хрустел у нас под ногами. Была ясная ночь, светила луна. Наши длинные тени ползли то впереди, то позади нас. Вилла стояла темная, свет горел только в трех окнах.

— Вон то окно — папино, — показала Соня. — Ему тоже еще не хочется спать. А огонек в другом крыле — видишь, слабенький такой? Это кухарка пристроила лампу возле самой кровати и читает роман из газеты «Политика»[8]. Она обожает такие романы.

— А третье окошко, на самом верху? — спросил я.

— Это дядино, — неохотно ответила Соня.

— Разве и он еще не спит? — удивился я.

— Он всегда поздно ложится. Расхаживает по своей комнате, заложив руки за спину. Наверное,

---

[8] notes: 8

«Политика» — точнее «Народни политика» — газета, выходившая с приложением, в котором печатались детективные романы.

старательно обдумывает все, что случилось с ним за день. Видишь, ходит? Сейчас прошел мимо окна. Его тень мелькнула по занавескам… Вот опять! У него такая маленькая комнатка…

— Хотелось бы мне как-нибудь заглянуть в нее.

— О, это можно, — поспешно ответила Соня, — только я с тобой не пойду.

— Из упрямства? — улыбнулся я.

— Да нет, просто боюсь, что мне там сделается дурно.

— Предвзятость? — предположил я.

— У меня на то серьезные причины, — возразила она.

Я спросил какие.

— В другой раз, Петя, в другой раз…

— Завтра? — настаивал я, потому что мне было любопытно.

Соня кивнула, но я не знал, можно ли полагаться на столь неопределенный знак согласия.

В конце концов мне надоел этот предмет разговора, к которому мы все время возвращались. Я был сыт по горло и Невидимым, и Сониной меланхолией. Вдобавок начинало казаться, что наша бесцельная прогулка никогда не кончится. А было уже наверняка за полночь. Мне хотелось спать, я с трудом подавлял зевоту. Но сонливость

и скука мало подходят к образу влюбленного, который давно не видел свою невесту...

Я рассудил, что настроение этого незабываемого дня еще можно, пожалуй, спасти поцелуями.

Мы молча остановились у скамейки, утонувшей в снегу. Я наклонился, легонько коснулся губами Сониного лба, губ, глаз — этакий мечтатель, упивающийся одним только ароматом любви. Соня, закрыв глаза, принимала эту тихую дань.

Постепенно блаженная истома убаюкала ее.

5
ЗАНАВЕС ПОДНИМАЕТСЯ

Утром меня разбудил гудок автомобиля, увозившего Хайна на завод. Мне стало немножко неприятно, что я проспал его отъезд, но я надеялся, что усталость с дороги и ночь, наполовину проведенная без сна, в достаточной мере извиняют меня.

Мы с Соней завтракали одни в большой столовой. Соня покачивалась в плетеном кресле-качалке и пребывала в отличном настроении. Со смехом подтвердила мои вчерашние догадки относительно ванной. Да, да, тетя не сторонница того, чтобы без конца мокнуть в воде, плескаться да освежаться душем. Она считает ванную лишней и дорогой роскошью. Ведь водопроводные трубы пришлось бы прокладывать сюда, на холм, за собственный счет. Что касается воды, то в саду есть колодец с отличной питьевой водой.

Я выразил удивление тем, что тете не показалось лишней роскошью центральное отопление.

— О, это совсем другое дело! Тетя обожает тепло. К тому же тут огромная выгода, если подумать о

дяде Кирилле. Поблизости от его комнаты не проходит ни одна труба, и было бы трудно поставить ему печку. А так можно лучше подыгрывать его мании невидимости.

Я узнал еще, что при вилле нет гаража только по той причине, что старуха не желает слышать несносный рев мотора. Кроме того, она питает недоверие к таким опасным веществам, как бензин. В виллу зато проведен телефон.

— Тетя полагает, что не так уж трудно поднять трубку и позвонить на завод насчет машины. Шофер подгонит ее минут за восемь.

Тетя! Куда ни ткнись — всюду тетя! Противно мне было упоминание о ней в каждом разговоре.

Соня напомнила, что я еще не видел ее девичьей комнаты. И вот я впервые вошел сюда: стены окрашены в мягкие тона, вся комната дышит ангельской непорочностью.

Соня открыла рояль, проиграла несколько трелей — это могло выражать радость, как, впрочем, и смущение, — потом подбежала к книжному шкафу, настежь распахнула дверцы:

— Выбирай что хочешь!

Но прежде, чем я успел заглянуть в шкаф, она показала мне в окно старого Паржика.

— Иди сюда, скорей! Этого ты еще не видел.

Правда, похож на гусеницу? Ужасно смешной старикашка, правда?

Паржик был по профессии сапожник. И, даже состоя теперь дворником при хайновской вилле, он не бросил прежнего ремесла. Со стороны он, правда, заказов не принимал, но чинил обувь всему дому. Весной и летом Паржик садовничал, зимой топил котельную.

Сейчас он, наверное, вымачивал кожу для починки обуви, — я сужу по тому, что он плелся через двор с ведром в руке. Чтоб не пачкать белизну снега в пределах видимости господ, он отошел довольно далеко и только там выплеснул грязную воду. Я усмехнулся тому, какое меткое сравнение нашла для Паржика Соня. Походка старика действительно делала его похожим на гусеницу. Он шел, сильно двигая плечами и бедрами, так что казалось — он весь извивается. К тому же у него были чересчур короткие ноги и длинная шея. Маленькая головка торчала высоко над плечами, передних зубов у старика, видно, не хватало, реденькие усишки росли словно прямо из ноздрей. Его круглые глаза смотрели на мир с комичной недоверчивостью.

— Удивительно, Соня, как это тетя терпит в доме сапожницкую вонь, — сказал я.

Она объяснила: Паржик неизменно очень почтителен с тетей, держит себя с ней прямо-таки подобострастно. Важно еще, что он нравится дяде Кириллу.

— Как ты думаешь, что делает дядя, когда он целыми днями бродит по саду и по дому? Самое большое удовольствие для него — заглянуть в комнату Паржика. Он внимательно следит за тем, как старик чинит башмаки. И ничто так не развлекает дядю, как огородные и садовые работы. Он приходит в восхищение, когда струйки воды из лейки барабанят по капустным листьям.

Сонина комната была пронизана прозрачным, легким ароматом юной девушки. Через окно были видны мешкообразные тучи, из которых сыпал реденький снежок. С Сони как-то вдруг соскочило шаловливое настроение, она притихла. То ли под влиянием усыпляющего аромата комнаты и сумеречного света, то ли просто не выспалась. Я смекнул, что настало удобное время для разговора по душам. И я, сидя на низеньком пуфике, сложив руки на коленях и склонив голову, грустно спросил:

— Соня, вчера ты сказала, что не любишь дядю Кирилла. У тебя были с ним какие-то неприятности. Какие именно?

Она вспыхнула и с минуту колебалась — отвечать ли. Опершись локтем на рояль, она одним пальчиком поглаживала клавиши. Я ждал. Мне было не к спеху.

— Знаешь, Петя, — решилась она наконец, — нельзя сказать, что я его ненавижу. Только я его боюсь. Все говорят, он добрый и смирный. Не верь! Он — злой. Звучит смешно, но это правда: он ведь ужасно заносится перед нами оттого, что невидим. Если б мы все не считались с его выдумками, он делал бы нам гадости. Не так уж он безобиден, как думают. Один раз он хотел причинить зло мне, другой раз — Кати.

— Ты, наверное, преувеличиваешь, — осторожно возразил я. — Ведь у него нет разума! Ты слишком строго его судишь.

— Это было отвратительно, — задумчиво продолжала Соня, не слушая меня, — но я расскажу тебе. По крайней мере, не будешь удивляться, почему он мне гнусен. Понимаешь, папа велел устроить в саду бассейн, чтоб я могла купаться летом, воду в него напускают из колодца. В последний раз я там купалась, когда мне было пятнадцать лет, и с тех пор не решаюсь — из страха перед дядей. Я была в бассейне, а дядя Кирилл подошел посмотреть на листья. Он очень любит

смотреть, как листья плавают в воде. Тут я как раз вылезла, купальник облеплял мое тело, мне и в голову не приходило, что это может дурно подействовать на него. Дядя вдруг забыл, что он невидим. Я пробегала мимо, дрожа от холода, а он схватил меня за плечо… Я ужасно испугалась, оглянулась — и встретилась взглядом с его странно горевшими глазами. Он смотрел на меня, как голодный, мне казалось, будто он оскалил зубы, хочет укусить! Я закричала. Наверное, он держал меня как-то очень безобразно, потому что горничная, которая тогда служила у нас, тоже закричала, как увидела меня в его гнусных лапах. К счастью, она не растерялась, бросилась к дяде, замахнувшись тяпкой. Дядя выпустил меня, и я убежала; потом несколько дней меня от него прятали. Чтоб он забыл. С тех пор я очень слежу, чтоб не показываться ему в полураздетом виде.

— А что сказал отец? — с интересом осведомился я.

— Он очень сердился на дядю. Даже осмелился упрекать тетю, зачем не оставила дядю в лечебнице. Но вышло худо… Тетя обиделась и добрых две недели не разговаривала с папой. А на меня еще долго после этого смотрела презрительно — ведь я была причиной такого столкновения. И

смеялась над папой, зачем он принимает всерьез такую чепуху. Но это была не чепуха, Петя, я уверена, не чепуха!

Теперь мне уже не составляло труда расспросить и о случае с Кати. Сходные обстоятельства, только произошло это не так давно. Кати полоскала белье в корыте, погода была жаркая, она расстегнула блузку. Кирилл проходил мимо да и запустил руку ей в вырез. Однако Кати не нуждалась в помощи — она выхлестнула на нахала чуть ли не целое корыто. Кати — о, она и черта не испугается! Она только хохочет над Невидимым. И все-таки она тоже не показывается ему больше в таком виде, как тогда.

Я не успел порассуждать о бесстыдстве сумасшедшего и об отваге Кати: легкая на помине, та ворвалась в комнату с тряпкой и веником. Ее обманула благоговейное молчание, которое мы с Соней хранили. Увидев нас в столь меланхолическом настроении, Кати прыснула, но сейчас же горячо попросила прощения. Ей бросилась в глаза поднятая крышка рояля, и она стала уговаривать Соню проверить, как я танцую, предложив себя на роль тапера. Соня ответила, что ей сейчас не хочется танцевать, тогда Кати начала рассказывать ужасно смешной эпизод, только что

происшедший на кухне: кухарка Анна, высунув голову из двери — свою глупую голову с неряшливым пучком на макушке, — спросила Кати, не знает ли та, когда я спущусь в кухню показаться.

— Подумать только! — захлебывалась смехом Кати. — Она вообразила, что вы ей нанесете официальный визит! Я спросила, прибрала ли она хоть немного кухню-то… О господи! Вы бы сходили к ней, а? Если уж она уселась на свою табуретку у плиты, ей не так-то легко подняться, у нее ужасно толстые ноги, как ведра, и знаете, стоит Анне хоть немножко разволноваться, из них вся сила уходит… Право, мне и самой интересно посмотреть, как она вас встретит!

Соня не смеялась шуткам Кати, словно немного обиделась. Ей сейчас куда больше по душе было то меланхолическое настроение, которое установилось до появления Кати — настроение, располагающее к взаимным исповедям и утешениям.

— Если верить вашим словам, — сказал я, обращаясь к Кати, — ваша Анна похожа на бабу-ягу.

— А вот и нет! — Кати махнула пыльной тряпкой у меня под носом. — Лицом она даже довольно миловидна. У нее правильные черты, румяные щеки, голубые глаза. Знаете, чем-то она

напоминает продавщиц в питейных лавках — у них тоже ведь красные носы… Сдается мне, Анна любит иногда выпить чего-нибудь сладенького «для сугреву»…

Соня смотрела на нас с хмурым упреком. Ей не нравилась непринужденность, с какой девушка обращалась ко мне. Соня явно немножко ревновала. А я подумал, что совсем недавно она сама довольно некрасиво обходилась со мной в компании с мальчишками Фюрста. Не то чтобы я желал отплатить ей той же монетой, но мне приятно было убедиться, что роли переменились.

— О господи! — воскликнула тут Кати с удивлением. — Да у вас круги под глазами! Вы совершенно не умеете кутить!

И она дотронулась пальцем до того места на моем лице, где якобы были эти круги. А я с любопытством разглядывал ее фигурку, ее крепкие грудки, вырисовывающиеся под обтягивающим свитером.

— Кати, — оборвала ее Соня, — Петр хочет посмотреть комнату дяди. Не знаешь, что он сейчас делает? Если его нет дома, ты могла бы проводить Петра…

Она говорила с притворным добродушием, но голос ее дрожал от обиды и негодования.

— А, хотите полюбоваться берлогой нашего Невидимки? Как раз очень удачно — он только что спустился, видно, к Паржику в подвал отправился. Пойдемте прямо сейчас!

Я вопросительно оглянулся на Соню. Может быть, лучше не ходить? Но какой-то дьявол нашептывал мне: ничего, надо ее немножко наказать! Зачем она занимается такой акробатикой чувств? Если хотела поболтать со мной, даже поцеловаться, — почему не отослала Кати вместо того, чтоб навязывать ее мне в провожатые? К тому же, если я сейчас покажу, что разгадал ее каприз и готов считаться с ее фокусами, недоразумениям конца не будет.

Я только погладил ее по щечке, словно маленькую девочку, чьи причуды непонятны, а потому и неисполнимы, и последовал за Кати, которая взбегала по ступенькам впереди меня, как дикая козочка.

По мере того как мы поднимались на мансарду, все явственнее становился какой-то особый даже не неприятный запах. Я с подозрением повел носом.

— Это ничего! — рассмеялась Кати. — Это всего лишь сладкие рожки — он их прячет всюду, под матрасом, на шкафу, под скатертью на столе… Это

он так развлекается: спрячет, а потом найдет и с удовольствием хрупает. Его любимое лакомство — и будто бы с самого детства.

— И, конечно, он их ворует, — заметил я.

— Ясное дело — как всё. Старая пани подсовывает ему эти рожки, где только может. Ну вот, глядите: стены совсем голые.

Следом за Кати я вошел в комнату. В ней действительно были только стол, стул, шкаф да железная кровать.

— Его все раздражает, — объяснила девушка. — Как-то дядя велел повесить здесь несколько картин, пусть, мол, любуется, — так он все выкинул в окно. Он не терпит никаких перемен.

— В точности как почтенная тетушка, — с невинным видом обронил я.

Кати глянула на меня — и прыснула. Она смеялась, как смеются дети, прикрывая ладонью рот. Мне было приятно с ней — она с такой готовностью принимала всякую, хотя бы и совсем простенькую шутку.

На столе лежала аккуратно разлинованная, совершенно новая тетрадь.

— Сонина! — обрадовалась Кати. — Он стащил. А Соня-то расстраивалась позавчера, что потеряла…

Я с любопытством взял тетрадь в руки. На первой странице каллиграфическим почерком была выведена надпись: «Никднев расэ Ликерхэ, или Натай как сялатьсде мымдивине».

Эта абракадабра привела меня в недоумение. Я еще раз медленно прочитал ее вслух, и вид у меня при этом, вероятно, был дурацкий. Тут раздался звонкий смех Кати. Она доверчиво приблизила к моему уху свое личико, похожее на лицо фавна оттого, что при смехе уголки ее губ высоко поднимались.

— Не расшифровали? А вы угадайте! Или сдаетесь?

Я сдался, и Кати торжествующе выпалила:

— «Дневник сэра Хэкерли, или Тайна, как сделаться невидимым!» Неужели не поняли — он просто переставил слоги!

Я готов был отдать должное ее догадливости, но она объяснила, что это не первый труд Невидимого, написанный тем же способом.

— Видите — а дальше ничего нет. Вся тетрадь чистая. Это тоже не впервой, что он не двинулся дальше.

— Стало быть, он считает себя каким-то сэром Хэкерли. Откуда, скажите на милость, он взял это имя?

— А, это у него какая-то новая выдумка. Он еще никогда себя так не называл. Взял просто с потолка. Он часто бурчит себе что-то под нос. А потом забывает все, что выдумал. Забудет и про Хэкерли. Погодите-ка, я вам покажу нечто более связное. Гляньте, — Кати быстро выдвинула ящик стола, — сколько здесь бумажек! Как-нибудь в дождливый день можете почитать.

Несколько листков упало на пол, я их подобрал. На первом из них торопливым, нервным почерком было написано: «Повинуясь голосу помазанника божия, войско стянулось в котловину у реки Броуздалки, ожидая повеления Невидимого, который должен был явиться из Печенской каменоломни. Верные рыцари собрались впереди, и с ними хоругвеносцы с хоругвями, на которых пылал герб Невидимого: ладонь с двумя поднятыми для клятвы пальцами. И дрогнули изменники по ту сторону Печенского холма, ибо знали они, что Невидимый благословит оружие верных своих и поведет их гласом и всевидящим оком своим».

Больше на этом листке ничего не было. Я понял — это какая-то воинственная история, роман, в котором он, Невидимый, играет главную роль то ли короля, то ли бога.

— Он никогда ничего не кончает, — сказала Кати. — Мы часто находим бумажки с одной только фразой, а то и вовсе не законченной. Но вам везет! Вот у вас в руке что-то подлиннее!

На обрывке бумаги, словно обгрызенном мышами, я прочитал: «Манифест Невидимого от двадцатого числа месяца Козы ко всему народу, верующему в него». И ниже: «Говорили все вместе и кощунственно поносили его, и тогда он, Невидимый, ступил в круг их и выслушал их. И сбросил стол их и еду их и возопил гласом громовым…» Но что именно дядюшка Кирилл возопил громовым голосом, осталось неизвестным.

— Видите, как бумажка-то обкусана, — сказала Кати. — Это он сам. Или не знал, или забыл, что собирался писать. Он тогда в растерянности рвет бумагу зубами.

— А что значит «месяц Козы»?

— Ах господи, да он никогда не знает, какое сегодня число. Сам придумывает даты и любит называть месяцы названиями птиц и зверей. А то и другие названия им дает, ужасно противные.

Я подумал, что дядюшка Кирилл не лишен известной изобретательности.

— Вот тоже вздумал как-то переписать Библию, — болтала Кати. — И начал с первого слова.

Только вбил он себе в голову, что перепишет без единой помарки. И как только ошибется — начинает сначала. Эдаким манером он, конечно, не много успел. Мы уж рады были, когда он это дело бросил, а то так бесился! Начались шипящие дни. Знаете, что такое шипящие дни у Невидимого? Ох, это ужас что такое! Будто в доме тысяча змей. Он все время шипит, и тогда забывает даже о своей невидимости. Дядя говорит, в такие дни он вспоминает прошлое и осознает свое положение. В эти периоды он страшно неосторожен — легко может куда-нибудь свалиться или обжечься, вообще совершить какое-нибудь безрассудство. Приходится смотреть за ним в оба.

— Но что же вы делаете с его писаниями? Ведь он, наверное, исписывает уйму бумаги?

— А мы забираем из ящика снизу да и сжигаем. Замечает он это или нет, трудно сказать, но никогда мы еще не видели, чтоб он сердился, когда его писанина исчезает.

Я выгреб из ящика груду манифестов Невидимого и набил ими карманы.

— Берите, берите, если вам интересно, — весело подбодрила меня Кати. — Только Соне не показывайте, вот вам мой искренний совет. Она рассердится.

— Ну, большое вам спасибо, барышня Кати, — произнес я с шутливой галантностью, поворачиваясь к выходу. — Спасибо, что показали мне домашний зверинец.

— Тише! Тише! — с комической серьезностью прикрикнула она на меня. — Что, если вас услышат! И вообще, все в доме зовут меня просто Кати. И вы тоже опустите-ка лучше «барышню». Понимаете, — таинственным шепотом объяснила она, — при пани тетушке даже просто нельзя меня так величать — мне же и попадет!

Кати подняла на лестнице невероятную возню со своей щеткой, а я сопровождал этот шум свистом. Ей-богу не знаю, с чего это взбрело мне в голову вести себя как мальчишка. Вообще-то я очень далек от излишней живости. Внешний мой вид всегда корректен. Мой стиль — холодность и вежливость. Но на сей раз — и в том повинна только Кати — меня обуяла какая-то лихость.

Тем разительнее был контраст, когда я увидел Соню с холодным компрессом на лбу. Она сидела — воплощенное несчастье — на низеньком пуфике у туалетного столика, зажав руки коленями. Моя веселость наткнулась на ее взгляд, исполненный упрека и жалости к себе.

— Ужасно болит голова, — объяснила она, за-

ливаясь краской.

«Ага, знаем мы этот женский трюк, — подумал я, — хочет вызвать сострадание к себе. Так, так, оказывается, моя кошечка прекрасно владеет правилами игры в маленькие семейные ссоры! Я провинился, предпочтя общество Кати ее обществу. И вот, чтоб замаскировать это, она повязала головку платочком. Тем лучше — сделаю вид, будто верю ей. По крайней мере, избегну ненужных объяснений и клятв».

Я простер руки над ее головой, как то делают кудесники-знахари.

— А, голова — ну, это пустяки. Просто ты не выспалась. Вот, смотри, я сейчас скажу: чары-мары-фук! И все пройдет.

Она вымученно улыбнулась.

Я хотел развлечь ее рассказом о том, что нашел в каморке сумасшедшего, но она перебила меня просьбой оставить эту тему. Мне бы пора уже усвоить, что разговоры о дяде ей не по душе. Не зная, как быть, я подсел к роялю и попытался наиграть какую-то песенку своими топорными пальцами, которые никогда не касались ни одного инструмента.

— Петр, — тихо сказала вдруг Соня, — ты не обидишься, если я попрошу ненадолго оставить

меня? Понимаешь, мне действительно плохо, и лучшее лекарство для меня — абсолютная тишина.

Мне оставалось только повиноваться. Я ласково погладил ее, поцеловал в лобик и вышел на цыпочках к себе. Но в душе я был взбешен. Нет, это уж слишком! Какое бессмысленное упрямство, какая необоснованная ревность! Хорошенькое начало, нечего сказать!

Правда, походив немного по своей комнате, я уже стал досадовать на себя: зачем я внес такое расстройство в отношения с Соней? Ясно, что сегодня я несколько вышел из роли. Осторожней, Петр! Осторожней! — говорил я себе. Дело свое ты выиграл осмотрительной позиционной игрой, вернись же к испытанному методу, брось глупости! Здесь, как видно, люди очень наблюдательны, они легко обнаружат пустоту в твоем сердце!

И я положил не сближаться более с Кати, хотя ее бурный темперамент и соблазнял меня. Однако это еще не значит, что надо задирать перед ней нос. Да это и не в духе хайновского дома. А как этого добиться, я не слишком ломал себе голову. Я был мастером ловких отступлений.

К обеду Соня вышла уже без повязки на голове,

но держалась замкнуто, и под глазами у нее были круги, словно она плакала.

Первыми словами, которые я обратил к Хайну после дружеского рукопожатия, была просьба помочь мне подыскать в Есенице подходящую холостяцкую квартиру. Правда, по намекам, которые делали и он сам, и Соня, я предвидел, что мне собираются предложить гостеприимство в их доме до свадьбы, но я не должен был показывать, что догадался.

— Дорогой друг, — ласково ответил Хайн, — об этом и не помышляйте. Вы приехали к нам, у нас и останетесь.

Я, разумеется, стал отнекиваться. Как можно — поселиться в доме будущего тестя? Это не принято. Общество осуждает такие промахи. И вообще я не хочу доставлять им хлопоты…

— Что за предрассудки! — улыбнулся Хайн. — Ведь то, о чем вы говорите, всего-навсего предрассудок. Вам достаточно хорошо известно наше положение в городе. Оно в какой-то мере исключительно, знаете ли. В нашем обществе мы сами создаем понятия о том, что прилично, а что нет. И если мы пригласили вас жить у нас, значит, это прилично. Оставайтесь, оставайтесь и смотрите на дело трезво: вы собираетесь жениться на моей

дочери. После свадьбы вы будете жить здесь. Так что ваш переезд от нас теперь был бы простой комедией. Тут — вопрос доверия между вами и мной. Вы, сударь, имели несчастье попасть к доверчивым людям.

Я поблагодарил и обещал никогда не обманывать его доверия.

Хайн торопил с обедом. Ему не терпелось показать мне свой завод. И он очень нервничал, когда Кати задержалась с черным кофе.

— Я не спешил бы так, — несколько раз принимался он оправдываться, — но мне кажется, что лучше нам быть на заводе раньше, чем вернутся с обеда служащие: они возвращаются к двум часам. Полагаю, и вам было бы не слишком приятно проходить под окнами, из которых за вами следят настороженные глаза!

Вставая от стола, Хайн бросил дочери через плечо:

— А ты поди полежи со своей мигренью!

Он помахал сигарой и поплыл к дверям. Тут только мне пришла мысль, что у Сони, видно, и в самом деле болит голова и что такое недомогание вовсе не новость для Хайна.

По дороге, в автомобиле, старый господин все время толковал о том, как, по его мнению, встре-

тят меня служащие.

— Сегодня в обеденный перерыв дежурит Хольцкнехт. С ним мы скорее всего встретимся раньше, чем с другими. Он хороший человек, только внешность его вряд ли вас восхитит. Он похож скорее на мастера или даже на простого рабочего. Человек он угрюмый и со странностями, но — честный и прямой. С ним затруднений не будет. Хуже пойдет дело с Клейстом, малым вздорным, а еще хуже — с Чермаком. О, этот — само усердие и рвение! Думаю, он метит на весьма высокое место в моем предприятии. Трудно ему будет проглотить горькую пилюлю, которую мы ему подсунули… Я, конечно, пока представлю вас как их нового коллегу. Но не такие они дураки, чтоб не понять, что их знакомят с будущим начальником.

Слова эти прозвучали мне райской музыкой. Следовало, правда, ожидать, что Хайн в скором времени доверит мне какую-нибудь высокую должность на своем заводе, но для полноты счастья мне нужно было услышать эту благую весть собственными ушами.

Заметно было, что теперь, в последний момент, Хайн немножко опасается моего появления на заводе. Я вполне понимал его. До сих пор он и его

служащие были как бы одной семьей — изжившая себя форма отношений, еще сохранившаяся здесь. И вот в их компанию протаскивают меня, человека чужого, да и протаскивают-то как-то нелегально: не на роль младшего и последнего, а на первую роль. Все они могут припечатать меня позорным клеймом: принятый в дом зять. Меня ждет борьба, а сам хозяин еще даже не знает меня хорошенько, не может предугадать, как-то я выдержу эту борьбу. И знания мои ему неизвестны, как неизвестно и то, призна́ют ли их за мной. Как знать, быть может, когда он стыдливо объяснит служащим мое отношение к его семье и к предприятию, кое-кто из них предпочтет уйти. А Хайн, как всякий сентиментальный патриарх, не любит перемен и приходит в ужас от всяких отклонений от привычного. И вот теперь этому отнюдь не энергичному старику придется разрушить планы сразу нескольких честолюбцев!

Вчера, когда я проезжал мимо завода, было уже совсем темно, и я только сейчас как следует рассмотрел его. Объект крупный — это я заметил и вчера, — низкое чистое здание с квадратными окнами, крыша поросла травой. В средней своей части здание имело три этажа, образующих нечто вроде башни — в ней помещалась контора. Чтобы

можно было сразу определить, что это — завод, над фасадом были вделаны часы. Труба была низкая и широкая, явно недавней постройки. Территория обнесена дощатым забором, расписанным рекламой. Реклама, разумеется, остроумием не блистала. «Лучшее мыло — Ха-Ха-Ха!» (три «Х» значило Хуго Хинек Хайн); смеющаяся прачка с желтыми волосами и стройными ножками, похожая на Кати; рядом девочка с намыленными ручонками, смеющаяся еще веселее (моется мылом Ха-Ха-Ха); далее — хохочущая бабка трет сверкающий пол. Мойтесь, стирайте, шваркайте полы мылом Ха-Ха-Ха! Все те же картинки, что и на обертках хайновского мыла.

Привратник бросился отворять ворота с подобострастием, типичным для слуг. Он дважды красноречиво поклонился мне. Поклоны означали: я знаю, кто ты, и хочу тебя задобрить. Мы поднялись по скрипучей лестнице — такие бывают в старинных пивоварнях. Лестница по диагонали пересекала окна — идиотская затея архитектора. На втором этаже, напротив двери с лестничной площадки, находился кабинет Хайна. Он без слова ввел меня туда. Неуютное помещение. Обои с узорами, какими оклеивают жилые комнаты. Светло-желтая неудобная ме-

бель: письменный стол, шкаф, умывальник; над письменным столом — фотография Сони. Единственное окно выходит на передний двор. Хозяин опять заговорил о том, как будет представлять меня своим служащим.

— У нас, видите ли, подлинно дружеские отношения. Хорошо бы, если б ваши сослуживцы с первого же раза прониклись к вам доверием…

И опять:

— Вы, несомненно, хороший психолог и сумеете примениться к их характерам. Я бы посоветовал вам обращаться с каждым из них соответственно тому, что выражает его лицо. Это выгодно и ничего не стоит…

И так далее — все такие и им подобные, более или менее ненужные советы. Хайн много курил и нервничал чем дальше, тем больше.

В действительности все это, двадцатью минутами позже, произошло куда проще, чем он воображал. Господа, подготовленные Хайном к обряду представления, явились почти одновременно. Встреча состоялась в коридоре перед кабинетом Хайна. Как обычно, были названы фамилии, как обычно, обменялись рукопожатиями. Я нашел, что опасный Чермак — улыбчивый молодой человек с безупречными манерами, который

наверняка уже пережил свое разочарование и оставил его позади. По всей вероятности, у него были и другие интересы, помимо хайновского завода, и он без труда примирился с крушением своих планов здесь. Клейст был совершенно незначительный, по-видимому, страдающий каким-то хроническим недугом, желчный человек. Зато Хольцкнехт — отвратительное красноролжее и желтоволосое животное с нечистой кожей на лице и неприятными грубыми замашками.

Все явно проявили охоту приспособиться к новой ситуации. Я, конечно, не раздаривал направо и налево улыбки, как примадонна на сцене, я хранил серьезное спокойствие, которое не отстраняет, но и ни к чему не обязывает, — спокойствие, импонирующее своей непроницаемостью. Это не совсем отвечало замыслу папаши Хайна, но, думаю, в общем, он остался мной доволен. Хольцкнехт с пристрастием расспрашивал, где я работал, в каких разделах производства разбираюсь, — это уже становилось тягостным, ясно было, что болван хочет нащупать мои слабые стороны; но все же я отвечал ему обстоятельно и терпеливо. Он, кажется, понял, что таким путем меня не поддеть. Пожалуй, один только Хайн не усмотрел в его замаскированных выпадах ковар-

ного намерения с первого же момента выставить перед всеми мои знания в смешном виде. К счастью, я имел достаточный практический опыт, и мне нетрудно было поставить на место этого Фому неверующего.

После некоторой паузы, когда никто не знал, что еще сказать, мы под водительством Хайна отправились осматривать предприятие. Беспорядочной кучкой двигались мы по лестнице. Говорить мне почти совсем не пришлось — эту задачу взял на себя Хольцкнехт, который вел себя так, словно показывал собственное заведение. Хайн смиренно уступил ему это свое неотъемлемое право. А я немногими удачными вопросами превратил милейшего Хольцкнехта в простого информатора. Его изменившийся тон показал, что он уловил перемену ролей и понял, что со мной шутки плохи.

Когда Хольцкнехт умолкал, Хайн начинал рассыпаться в похвалах своим сотрудникам. Каждому он польстил, пощекотал самолюбие каждого. Бедняга смахивал на школьника, который только что нашалил и теперь радуется, что учитель этого не заметил. Он был безгранично благодарен своим подчиненным за такт, проявленный ими в его сложном положении. Я и так-то

был невысокого мнения об этом фабриканте с внешностью школьного учителя, но чем пуще он расстилался перед своими служащими, тем больше терял в моих глазах.

Завод устарел и отстал от современных требований. Предприятие папаши Хайна, признаться, оказалось вовсе не таким уж крупным. В хозяине сказывался простой ремесленник. Все было громоздко и нерасчетливо. Старик был альтруист и чтил законы. Он боялся своих рабочих. Много свободного места — простор, как в салоне. Я убедился, что рабочие отнюдь не надрываются на работе. Здесь передо мной открывалось как раз то, чего я искал: широкое поле деятельности. Здесь можно будет все перепахать до основания. Здесь много дел для способного человека!

Мы прошли по цехам, где варили и формовали мыло — чуть более современным способом, чем при Хайне-деде; прошли через сушилку — увеличенный вариант полок над кухонной плитой. Везде старомодная солидность, везде идеальная чистота — и ничего больше. Лаборатория оказалась совсем бедненькой. Здесь не ставили никаких опытов, ничего не искали. Пахло здесь, как в деревенском садике. Мыло Хайна в самом деле предназначалось только для домашних

хозяек, прачек и уборщиц, как о том и гласили рекламы. На каждом шагу я находил все новые недостатки. Слишком большое место занимали невыгодные артикулы, а с другой стороны все, что могло приносить доход, было загнано по углам и оставлено в небрежении. Парфюмерией и не пахнет, косметики ни следа. Устаревшие механизмы требовали слишком большого числа обслуживающих. Они уже теперь должны были удорожать продукцию. Производство туалетных сортов мыла, можно сказать, находилось в упадке, ибо в промышленности приходит в упадок все, что стоит на месте, не двигается вперед. Но больше всего разочаровал меня упаковочный цех. Такое важное дело, как оформление, в которое следует вкладывать вкус, делалось буквально спустя рукава. Здесь во всем полагались на привычку потребителя к давно знакомой фирме.

Хайн поминутно справлялся о моем мнении. Я все хвалил, отпускал ему комплименты — разумеется, с известной сдержанностью. После осмотра мы еще потолковали немного о заводе — старик опять стал каким-то рассеянным, ясно было, что программа не исчерпана, готовится что-то еще. Судя по любовным взорам, которые он бросал мне, это «что-то» было, видно, приятным

сюрпризом.

Мы вернулись в контору, причем Хайн так и воспарял на крыльях своей доброты. А сюрпризом, приготовленным для меня, оказался новый, только что вымытый и свежеокрашенный кабинет рядом с кабинетом Хайна.

— Ну вот, — сказал папаша Хайн с видом деревенского дядюшки, вынимающего из кармана последний фунтик леденцов, — здесь и будет ваше владение. Здесь, бок о бок со мной, вы будете трудиться на благо нашего общего дела!

И он продолжал в духе разглагольствований Кунца. Разумеется, я, применяясь к обстоятельствам, горячо его поблагодарил.

Поскольку уж мы, решая деловые вопросы, так глубоко влезли в пылкие сантименты, я не замедлил задать вопрос, который прямо-таки напрашивался в данной ситуации: когда, собственно, собирается папаша Хайн сыграть свадьбу дочери? Я просил простить мне, что, быть может, несколько забегаю вперед, однако мое положение в городе и на заводе покажется все-таки несколько странным, если я слишком долго буду выступать в роли гостя и жениха.

Хайн охотно согласился с моими доводами. Конечно, венчаться так венчаться. Не к чему зря

откладывать. Они уже и сами говорили об этом в семейном кругу. Тетя, например, предложила май месяц. Так, скажем, в конце мая?

Срок, объявленный в такой форме, меня устраивал. А выбор точной даты я предложил предоставить Соне.

По дороге домой мы все еще размазывали эту занимательную тему — о свадьбе. Хайн признался, что имеет в виду освободить для нас весь второй этаж виллы.

— Устроитесь, как и полагается новобрачным. А я переберусь вниз, к тете. Мы уже почти и договорились, она согласится наконец отдать бразды правления в руки Анны. Тетя стара. Оба мы старики…

Я со своей стороны заверил его, что твердо решил не приглашать на свадьбу никого из моей семейки. Он посердился, но только для виду — у него, конечно, камень с сердца свалился.

— Ах, друг мой, что вы говорите — ведь мать, отец! Родители — всегда родители, хоть бы и ходили в лохмотьях!

Я вывел его из романтических воспарений подходящими к случаю сарказмами.

Вылезши из автомобиля, мы медленно, со ступеньки на ступеньку, поднимались на второй

этаж, углубленные в интересный разговор и очарованные друг другом. Постояли перед комнатой Хайна, вполголоса продолжая беседу, сопровождаемую оживленной жестикуляцией. Скрипнула дверь, и в коридоре появилась Соня, подозрительно разглядывая нас. И, только по дружескому нашему тону поняв, что между нами царит наилучшее согласие, она подбежала, повисла на моей руке, не вмешиваясь в разговор. По тому, как она слушала, я догадался, что подробности свадьбы давно обсуждались с ее участием и ничего нового для нее не представляют.

В конце концов разговор наш показался ей слишком долгим и умным, она увлекла меня в свою комнату и там подставила мне губки с простодушием, выдававшим, что поцелуи эти она включила в свою программу уже с утра. Я погладил ее по кудрявой головке, как гладят назойливых, но любимых детей, и спросил, прошла ли у нее головная боль и лучше ли она себя чувствует.

Соня зажала уши:

— Молчи! Молчи. Не упоминай об этом! Слышать не хочу!

Я понял, что она из тех девушек, гневу или огорчению которых лучше всего дать время улечься.

Соня пожелала, чтобы мы после ужина нанесли визит тетке.

— Чуточку терпения, чуточку старания, и ты завоюешь ее симпатию, — уверяла Соня. — Тетя уже старенькая и очень любит говорить о себе и о прежних временах. А мы отнесемся к ней снисходительно, ладно? И пусть тебя не смущает ее строгий тон.

Предложение мне не слишком понравилось, но отказаться было нельзя.

Поначалу все шло довольно сносно. Естественно, меня заставили рассматривать, лист за листом, альбом со старыми фотографиями и выслушивать подробные пояснения к ним, затем отведать жесткого и невкусного печенья, которое тетя сама испекла в нашу честь. В этом чуждом мне мирке я чувствовал себя потерянным, словно опутанным бледными лучами холодных, огромных, испытующих глаз, которые не обманешь ни степенными манерами, ни виновато-замирающими улыбками ямочек на щеках.

Да и о чем мне было говорить? О жалкой бедности моего детства? Я не нашел бы в тетушке даже сочувствия. Ей не понять было, чего мне стоило пробиться собственными силами. И напрасно стал бы я хвалиться моими профессиональными

познаниями — старуха ничего этого не понимала. А навыков дешевой, светской, буржуазной болтовни я не имел и не мог состязаться с тетей, повествующей об умерших. К счастью, она предпочитала слушать самое себя.

С некоторым интересом я выслушал то, что касалось Сониной матери. Этот номер программы был явно подготовлен специально для меня. Соня, без сомнения, давно знала все подробности. Строго говоря, я должен бы ценить такое отличие: благородная старая дама из хорошей семьи посвящала меня, парию, в семейные дела.

Тетя называла покойницу не иначе как «эта русская». Дед Сониной матери родился в Есенице, но жил на Волыни, где у него было поместье. Однажды он приехал на родину уладить какие-то дела, связанные с землевладением, — кажется, у него и тут были поля возле леса, недалеко от новой виллы Хайна. Дед привез с собой в Чехию внучку, как бы на экскурсию. Раз как-то шли они вдвоем из города вдоль ограды сада. Только что прошел дождь, и грязи было по щиколотку. Дед шагал впереди, внучка семенила за ним. Ее высокие каблучки то и дело проваливались в размокшую глину, и она спотыкалась.

— И все время смеялась! А Хуго как раз стоял у

ворот с каким-то молодым человеком — нет, не с Кунцем, к счастью, Кунц не был очевидцем этой злополучной встречи. Они стояли, разговаривая, и следили глазами за странной парочкой этих иностранцев, и тут — *представьте! Она сама* окликнула их, попросила перенести ее через лужу! Окликнула, конечно, по-русски, по другому-то не умела.

Из дальнейшего повествования тетушки следовало, что молодой Хайн, в свое время изучавший русский язык, ответил девице по-русски, и знакомство состоялось. Дед ее, ушедший немного вперед, остановился, думая, что молодежь поболтает да и распрощается. Однако, увидев, что разговорам конца нет, он вернулся к ним и представился по всей форме. После чего Хайн и его приятель в самом деле перенесли «эту русскую» на руках через грязное место.

— Она его и покорила-то своим заразительным смехом. Я видела всю сцену из окна и могу сказать, что совершенно не узнавала Хуго. Он тоже смеялся! А ведь с тех пор, как его родителей постигло несчастье, он всегда ходил такой серьезный!

Дед с внучкой уехали, прожив в Есенице около месяца.

— А когда твоя мать, Соня, явилась в Чехию во второй раз, то ехала она уже на свою свадьбу. Странные люди эти русские! Она приехала совершенно одна! Я тогда еще говорила — не будет ей счастья, если она выходит замуж без родительского благословения!

По-видимому, «эта русская» оказалась не самой образцовой женой и матерью. По словам тети, она только и делала, что гонялась за развлечениями. Между тем финансы Хайна, после постройки завода и виллы, были почти исчерпаны, и расточительность жены грозила ему гибелью.

— Спасло его лишь несчастье, случившееся некоторое время спустя, а то уж и не знаю, до чего бы докатились! Ведь тогда, Соня, все дело уже зашаталось, вот-вот рухнет, погибнет завод, который с таким старанием поднимал твой отец! Порой я даже думала, что у твоей матери в голове не все в порядке…

Я ощутил, как болезненно вздрогнула Соня при этих словах, и, в знак союзничества, сжал ей пальчики, бросив на нее сочувственный взгляд, чего она, однако, не заметила — ее словно гипнотизировали выпученные шары старухиных глаз.

Теперь последовал рассказ о том самом сочельнике, который стоил жизни «этой русской».

— Казалось, она все делала нам назло. Ест — и разговаривает с полным ртом. Я подумала, она нарочно хохочет, чтоб омрачить святость праздника, который не был ее праздником. Я сделала ей выговор, сказала — это для нас священный вечер и не годится болтать всякую чепуху о нарядах да о балах и смеяться над тем, что мы считаем приличным, — и потом, ведь *кусок может поперек горла стать*. Рыбу надо есть осторожно! До сего дня не могу постичь, Соня, до чего ясно предостерегало ее провидение моими устами! Она же только посмеялась над этим. Я запомнила ее слова, потому что это была ее последняя связная речь: «Рыбка тварь немая, беседе не помеха, вот ела бы я гуся, подавилась бы от смеха…» Она частенько изрекала такие смешные глупости, да и произношение у нее хромало — никак не могла она как следует по-нашему научиться. Ну и проглотила косточку — кричит, помощи просит, и слезы градом, и кашляет она, и по спине себя бьет, чтоб кость выскочила. Я ей говорю: сиди спокойно, пока Хуго за доктором сбегает! (Тогда еще этих автомобилей не заводили, и телефона в доме не было.) Она же не послушалась, так и металась, так и корчилась, потом вздумала заесть чем-нибудь, может, проклятая кость внутрь пройдет…

Проглотить-то ей удалось, да кость проткнула гортань и вонзилась в шейную артерию. Пока помощь подоспела — из нее-то уж и дух вон…

Смерть жены была страшным ударом для Хайна: он безгранично любил ее, несмотря на все причиняемые ею беспокойства. Как схоронили ее, снова стал таким, каким был до свадьбы, — разумным, корректным, всегда немного печальным человеком…

— А для него и лучше так, — заключила тетя с потрясающим ораторским пафосом. — Сделался бы нищим — тоже небось улыбаться перестал бы. А так у него хоть имущество сохранилось, и тебя, Соня, воспитали только его добрые руки. Может, бог-то и хотел видеть его таким. В мире, девонька, ничего не происходит без его святой воли!

Тетка обращалась по видимости к Соне, но повествование явно адресовалось мне. То был ее обычный прием, когда она не желала ронять своего достоинства, вступая в разговор с лицами неизмеримо ниже нее. Я тогда еще не знал, как безмерно презирала она меня за низкое происхождение. Только глубокой привязанности Сони и ее неуступчивости я был обязан тем, что Хайн согласился на наш брак вопреки яростному сопротивлению тетушки.

От истории Сониной матери старуха перешла к другим, занимавшим меня уже куда меньше. Мы сидели за столом, просто окаменев, и все не находили случая удрать. Старуха перескакивала с воспоминания на воспоминание. Пережевывала события давних времен с упорством, наводящим сон.

— Подумай, — поторопилась Соня вставить слово, когда старуха, в приступе кашля, умолкла на минутку, — тетя живет теперь только прошлым. Читает старые письма — по одному в день — и потом сжигает. Неумолимо так, понимаешь? Она говорит — прах довлеет праху. Недавно достала письмо, которое написал ей папа, когда учился в первом классе гимназии. Я просила отдать его мне на память… Не дала — и оно полетело в печку, как все остальные.

— Так надо, — кивнула старуха, гордясь своим упрямством. — Что мое, пусть со мной и исчезнет. Вот как дочитаю свои письма да спалю их все до последнего — тут и помирать время придет.

— Знаешь, Петя, — заставила себя Соня пошутить, — тетя наверняка проживет еще сто лет. Пока она перечитает и сожжет все свои письма, успеем и мы состариться! Ты не представляешь, сколько их у нее!

Старуха восседала в кресле, поставив ноги на низенькую скамеечку. Она смахивала на колдунью, что судит людские поколения. Да она и судила! Восхваляла строгие времена, когда девочек в школе за непослушание привязывали за косы к стульям и держали так до тех пор, пока они не теряли сознания; восхваляла добродетель, искупаемую кровью. Рассказала о женщине, которая забылась, а когда проступок ее был предан гласности, покончила с собой весьма мрачным способом — заколовшись шляпной булавкой.

— Вот так! — каркала разошедшаяся старуха. — Тогда люди еще знали, что такое совесть! Теперь ее ни у кого нет… А все потому, что раньше господь бог был ближе к нам.

Тетушка весьма ловко манипулировала отмщением господним, от ее речей делалось как-то не по себе. Я был близок к тому, чтобы взять под защиту пьянство, кинематографы, танцульки, все «нечестивые» развлечения, которые она поливала огнем и серой, — мне хотелось сделать это из одного лишь желания насладиться ее ужасом. Но верх, конечно, взяла моя рассудительность. Я удержал язык за зубами, хотя это было очень трудно. Когда тебе предложили благополучную жизнь — неосмотрительно с первого же раза

дразнить старого черта, стерегущего дом.

В конце концов старуха нас чуть ли не выставила за дверь. Мы распрощались не по собственной воле, с извинениями за то, что засиделись, — нет, нас отпустили, как отпускают после аудиенции надоедливых подданных.

— Так, а теперь пора спать, спокойной ночи, — и для пущей убедительности старуха постучала в пол своей уродливой клюкой.

Выйдя в коридор, Соня разразилась истерическим хохотом, к которому я отнесся с недоверием. Я сердито нахмурился и клялся, что в жизни не вступлю больше в жилище этого идола. Я был даже груб. Сравнил благородную даму с волшебницей Цирцеей, превращавшей мужчин в свиней.

— Тссс! Тссс! — Соня прижала пальчик к моим губам, однако защищать тетку не стала. — Не дай бог, услышит! Не забывай, Петя!

— Ну, услышит, и что тогда? — строптиво возразил я.

— Тогда… — грустно прошептала Соня, — тогда… Я не знаю…

Я поспешил замять свою первую попытку взбунтоваться.

Хорошо было бы как-нибудь изгнать из мыслей

память об этом неприятном визите. В сад мы в тот день не пошли.

6
ДИНАМИТ ПОДЛОЖЕН

Соня была недовольна тем, что я теперь встаю за добрый час до того, как она проснется и приведет себя в порядок, и уезжаю с Хайном на завод, как любой служащий на жалованье у ее отца. Вероятно, она представляла себе, что я весь день буду при ней, этакий источник приятных, а то и любовных развлечений, каких она до сих пор не знала. Ей хотелось присвоить меня, и безрассудство ее было так велико, что она сердито упрашивала отца отпустить меня — будто я кукла или комнатная собачонка.

— Но, душенька, о чем ты просишь? — выговаривал ей Хайн. — Петр прежде всего мужчина, то есть работник, — вот погоди, сыграем свадьбу, и он получит отпуск для медового месяца. Тогда уж повеселитесь, как полагается молодым людям.

С некоторых пор Хайн называл меня просто по имени. Впрочем, обращение на «вы» осталось, как и он оставался для меня «паном фабрикантом». На заводе же я по-прежнему именовался — «пан инженер Швайцар».

Соня хмурилась, грозилась — якобы в шутку, а сама чуть не плакала. Ее укоризненные взгляды преследовали отца. Ясно было, что ее недовольство совершенно искренне. Еще бы! С моим появлением в ее серых буднях не много произошло перемен…

Обеденный перерыв почти ничего не давал Соне. Это время целиком абонировал Хайн. Переполненный мыслями о заводе, он всегда находил предмет для обсуждения за обедом. Лаконичность моих хорошо продуманных ответов подогревала его любопытство. Он почти сразу понял, что я составил о его предприятии какое-то особое мнение, которое решил скрыть от него, и со стариковским упрямством прибегал к всевозможным уловкам, в шутку и всерьез, только бы выведать мое мнение.

Это приводило, разумеется, ко всяким комическим сценкам, к притворным ссорам, к похлопыванию по плечу… На слишком лобовые атаки у меня был стереотипный ответ: смущенные ямочки на щеках да многозначительные улыбки, которые ничего не выдавали, но как бы чуть приподнимали завесу и возбуждали новое любопытство. Думается мне, именно этим простым средством я завоевал если уж не сердце

Хайна, то, по крайней мере, его интерес, а отчасти и какое-то уважение. Соня только присутствовала при подобных стычках. Ее участие выражалось разве лишь в том, что она то прижималась к моему плечу, то с преданным взглядом поглаживала мне руку, — и в прочих женских приемах, лестных для самолюбия мужчины и подчеркивающих ее право собственности на мою особу. Иногда она, правда, в досаде демонстративно удалялась из столовой, чему Хайн обычно долго и снисходительно смеялся.

Нам с Соней оставались, по существу, только вечера да воскресные дни. Соня уверяла меня, что папочка после ужина любит побыть один и мы обязаны уважать его привычки. Возможно, это было и так, но я думал, что тут скорее Сонина хитрость, с помощью которой она спасалась от нелюбезной ей мыловаренной беседы. Итак, по вечерам мы обычно удирали из столовой и искали убежище в моей или в Сониной комнате. Признаться, чем далее, тем охотнее бежал я общества Хайна: его бесконечные рассуждения о заводе стали мне уже в высшей степени неинтересны.

Соня бренчала на рояле, к счастью, не слишком часто. Слушатель я был неблагодарный, и от

такого рода концертных номеров меня клонило в сон. Хорошенько обдумав дело, я завел обычай предаваться после ужина идиллическим беседам или идиллической любви. На самом деле я был далек от всякой сентиментальности, но Соня желала получить свою долю любовных утех. До сих пор не понимаю, как это она всегда была готова играть эту до скуки одну и ту же явно ребяческую комедию! Достаточно мне было машинально или из вежливости, а то даже просто в шутку прижать ее к себе, как она, словно змейка, подстерегающая жертву, обвивала руками мою шею и жадно подставляла губки для долгого, изнурительного поцелуя.

Соня любила толковать об абстрактных вещах. Ей доставляло бесконечное наслаждение вытягивать из меня всякого рода премудрости. При всем том была она прихотлива и поверхностна, никогда не задерживалась на одной какой-нибудь сенсационной теме, порхала с предмета на предмет, как бабочка, опьяненная солнцем. Однако помимо бога, родины, социализма ее занимали и более земные дела — приближающаяся свадьба, меблировка квартиры, цвет занавесок, обоев, картины… Соня любила помечтать. Любила рисовать себе наш будущий дом. Такие разговоры

были мне в особенности удобны, ибо тогда слово принадлежало Соне, а мне на весь вечер хватало подчас двух словечек: «да» или «нет».

Хуже было то, что, сама страстная читательница, она и меня заставляла читать беллетристику, для чего у меня, в сущности, и времени-то не было. Соня, целый день проводившая в одиночестве, не занятая никаким полезным делом, проглатывала невероятное множество разнообразной литературы и требовала, чтоб я прочитывал хотя бы то, что ей особенно нравилось, а потом рассуждал с ней о прочитанном.

Больше всего по нраву были мне, как я их называл, мирные вечера, когда тишина — соавтор настроения, когда влюбленные мало говорят и при этом не перекармливают друг друга поцелуями. Иногда мы с Соней стояли у окна и смотрели на городок, раскинувшийся в котловине под нами. Мне и теперь достаточно закрыть глаза — и я вижу в неосвещенной комнате собственный силуэт и прижавшийся к нему силуэт Сони, вечерние облака идут по небу, а там, внизу, — огоньки, будто сказочный китайский дракон, и лесистые холмы вокруг — они похожи на черные руки, что тянутся обхватить городок, а над ними проблескивают звезды… Не думаю, правда, чтобы

зрелище это возбуждало во мне иное чувство, чем ощущение сладостного отдыха после еще одного утомительного дня моего жениховства. Нелегко поспевать за фантазиями девушки, которая воспринимает любовь как прекрасное искусство, которая желает просмаковать все то, что испытали до нее невесты всего мира, и не хочет упустить ни малейшей возможности принять дань своей красоте и уму.

Позднее, по мере приближения весны, программа наших вечеров стала обширнее. Можно было гулять по саду, можно было пройтись под руку по городским улицам, даже забрести в недальний лесок, принадлежавший когда-то Сониному деду по матери. И любовь, вырвавшись из плена четырех стен, обрела больше разнообразия, сделалась менее душной. Она как бы утратила прежнюю ненасытность, легче стало управлять ею. В темные майские вечера, когда летали светлячки и дурманил голову запах черемухи, я без особого напряжения подолгу носил Соню на руках, обращаясь с ней, как с балованным ребенком. Этот силовой номер я исполнял с большим удовольствием и особенной охотой, заметив, что таким путем я подогревал восхищение Сони, поблекшее было за зиму по вине моих неудачных экскурсов

в литературу. Соня была довольно чувственной женщиной. Ее восхищали сила и жестокость мужчины. А этого добра у меня, слава богу, был изрядный запас, и, стало быть, мне нечего было опасаться в будущем проиграть какую-нибудь позицию на шахматной доске под напором Сониного «интеллектуального» превосходства.

Хотя мне известно было происхождение Сониного отвращения к дяде Кириллу, я был озадачен, заметив, как сильно действует на нее простая встреча с ним.

Как и следовало ожидать, первые дни я шагу не мог ступить, чтоб за мной верной тенью не крался Невидимый. Он торчал у входной двери, когда мы с Хайном возвращались с завода, глазел на меня с лестничной площадки и настойчиво пытался проникнуть в мою комнату. Если я бывал там один или с Хайном, мне это не мешало. Но когда при этом случалось быть Соне — выходила целая трагедия.

Куда бы мы ни двинулись, он следовал за нами по пятам. Случалось, мы, углубленные в разговор, выходили из какой-нибудь комнаты и сталкивались на пороге с сумасшедшим, который терпеливо поджидал нас за дверью. Никакими мерами невозможно было устроить так, чтобы он

не втирался в столовую, когда мы ели, не вынюхивал нас, когда мы гуляли в саду. Соня мгновенно бледнела, настроение у нее портилось, всякое остроумие пропадало — она умолкала, хмурилась… Напрасно я подсмеивался над ее нервозностью. Как ни старалась, она не могла преодолеть эту свою слабость.

К счастью, это наивное преследование продолжалось не более недели. Невидимому нужно было только хорошенько познакомиться со мной. Едва он усвоил, что будет видеть меня целые недели, месяцы, годы, что я теперь такая же принадлежность дома, как тетушка, Соня или Кати, интерес его ко мне стал ослабевать. А там он уже обращал на меня не больше внимания, чем на любого члена семьи или слугу, и Сонины мучения кончились.

Что касается меня, то я интересовался Невидимым куда дольше, чем он мной. Порой сумасшедший казался мне единственной подлинно своеобразной личностью в этом семействе. Мне страшно хотелось, например, узнать, какое я произвел на него впечатление. И я попросил Кати при случае выкрасть что-нибудь из его последних писаний.

Я был разочарован. Внимательно прочитав

целый ворох его обгрызенных бумажек, я не нашел почти ничего, что можно было бы отнести непосредственно к моему появлению. В одном из «манифестов» упоминался, правда, какой-то Завоеватель, которого он окрестил рыцарем Серебряной луны, какой-то дружественный принц, явившийся предложить ему руку помощи в борьбе с многочисленными врагами, но все это было слишком туманно, чтоб я мог по совести принять такую честь на свой счет.

Когда я разбирался в этих замызганных обрывках, Кати смотрела через мое плечо, хохотала и высмеивала мое непомерное честолюбие, доходящее до того, что я-де мечтаю ошеломить своей блистательной особой несчастного дурачка.

Ах, этот чертенок Кати! Никого-то не оставит в покое! Она-таки добилась моего согласия заглянуть к Анне в кухню. С той поры не проходило дня, чтобы кухарка, из благодарности, не являлась ко мне с вопросом, что бы ей такое приготовить на обед завтра. Мне такая предупредительность была ни к чему, я никогда не был привередлив в еде, зато Кати получила лишний повод насмехаться надо мной.

Она же чуть не силком затащила меня в подвальную берлогу старого Паржика. Старикан

был на седьмом небе. Вытягивая жилистую шею, он таращил свои детски доверчивые глаза и извивался, как пойманная ящерица. Без конца извинялся за то, что руки у него в смоле и что со стола на меня скалят зубы башмаки без подметок.

— Делов-то! — вполне серьезно спасла положение Кати. — Пан Швайцар отлично знает, что пришел не к министерскому советнику в гости.

Чтоб не обидеть старика, мне пришлось сесть. А сесть было не на что. Кати коварно подсунула мне сапожницкий табурет…

Соня тоже была веселая девушка, находчивая, остроумная, затейница — что же отличало ее от Кати? Изрядная доля сентиментальности. Соня верила в бесчисленные приметы, была по-барски романтична, по-барски горда. Кати, в противоположность ей, понятия не имела о том, что значит расчувствоваться, в ней не было той гордости, которая помешала бы ей в полной мере отдаться радости, когда представлялся случай порадоваться, она не знала предрассудков, которые удерживали бы ее от искушения произносить вслух выводы из ее метких наблюдений. Мне казалось — добродетель Кати находится в довольно ненадежных руках. Соня умела ценить

свои женские привилегии, умела распоряжаться ими. Кати оставляла впечатление азартного игрока, подстерегающего подходящий момент, чтоб бросить в банк весь свой капиталец разом. И, пожалуй, она сумела бы проиграть его смеясь.

Кати волновала меня с первого дня. Рассудок продиктовал мне спокойное, веселое и снисходительно-сдержанное обращение с этой личностью. Но под прикрытием искусственной сдержанности я пристально следил за девушкой. Ее близость придавала мне энергии для притворного сюсюканья с Соней. Глядя на Кати, я убеждался, что в известных обстоятельствах я был бы способен по-настоящему загореться чувством к этой женщине и относиться к ней с жаром и нежностью, ничуть себя не насилуя.

Кати частенько входила в Сонину комнату, когда там был я, и сейчас же, не глядя ни на что, вносила свою веселую беспечность. Обычно она, будто нарочно, являлась не ко времени. Мы то ли целовались с Соней, то ли находились в самом разгаре трогательного воркования. Соня хмурилась и откровенно показывала свое неудовольствие. А я по лицу Кати видел, что та отлично понимает нежелательность своего присутствия, но что ей доставляет маленькое, безобидное раз-

влечение так вот дразнить Соню.

Раз как-то я застал обеих, когда Соня с горечью упрекала Кати за такие внезапные появления. А Кати, ничуть не обижаясь, смеялась ей в глаза. Под конец она обхватила Соню за шею и расцеловала так добродушно и искренне, что я понял: все это Кати делает скорее из озорства, чем из коварства. Не могло быть сомнения в том, что она глубоко предана Соне и не способна причинить ей серьезное зло.

Впрочем, не было сомнения и в том, что Кати подвергала нас с Соней своему суду. Для нее, для девушки, еще ни разу никем не любимой, знавшей о влюбленности только из книг, мы, то есть влюбленные, представляли интересный объект наблюдения. Каковы-то были ее выводы? У меня составилось мнение, что будущая любовь Кати будет *иной*. Это будет не такая любовь, когда страсть играет в прятки, когда ее заслоняют груды милых, ласковых слов; ее любовь не будет состоять из утешений. И я втайне завидовал тому мужчине, которому достанется вся эта смелость и живость, эта жгучесть и готовность любить.

Когда еще не сошел снег, да и позднее в дождливые дни, мы с Соней проводили послеобеденные воскресные часы, гуляя по Есенице. Эти прогул-

ки, под зонтиком или при первых робких ласках весеннего солнышка, были самым светлым из дозволенных наслаждений, которые мне предлагало мое положение поднадзорного жениха. Мне всегда любопытно было знакомиться с новыми местами. Я как бы ощупывал Есенице, а Соня во время таких прогулок была милой и остроумной спутницей. На улице она избавлялась от своей склонности к воркованию и становилась похожей на ту Соню, с которой я в прошлом году, после победы над мальчишками Фюрста, бродил по Праге.

Разумеется, нам пришлось — по желанию старого Хайна — первым долгом посетить кладбище и осенить крестом мраморный семейный склеп; пришлось благоговейно помолчать над списком мертвых имен, выполненных в золоте; последняя, самая свежая надпись указывала время жизни Софьи Андреевны Хайновой, в девичестве Пименстратовой, родившейся в Озерянах 21 июня 1879 года и почившей 24 декабря 1905 года. Из этого же списка я узнал, что отца Хайна звали Хуго, а деда — Хинек. Мой будущий тесть соединил оба эти имени, счастливым образом натолкнувшие его на идею рекламы его мыловаренных изделий.

Отбыв кладбищенскую повинность, мы долж-

ны были еще посмотреть деревянный домишко, где семья Хайнов долгие годы варила мыло, и поклониться каменному дому на площади, где Хайн-отец пережил первое в семье несчастье.

Я пришел к выводу, что Есенице — довольно безвкусный городишко на немецкий манер. Улицы по большей части широкие, тротуары безупречные, но готический стиль главного храма сомнителен, здание ратуши облеплено дикими германскими фигурами, а дома более новой постройки кичатся красными черепичными крышами и надменными зелеными ставнями. Ломбард подпирают античные колонны, белое здание школы с золотой надписью смахивает на торт, акации вдоль улиц тщательно подстрижены в форме шаров. На другой площади, поменьше, посреди газона, обнесенного проволочной оградой, стояла еще одна, до смешного крошечная церковка, а неподалеку от нее — вызолоченное с головы до ног изваяние какого-то поэта, который протягивал руку, словно за милостыней.

В ратушу Соня завела меня только для того, чтоб уехать на лифте у меня перед носом, в простертую руку поэта она положила огрызок своего рогалика и потащила меня в церквушку, клянясь, что покажет мне великолепное зрелище. Вели-

колепным зрелищем оказался всего лишь крест, намалеванный на середине свода, его держал в руке бородатый бог, упиравшийся огромными босыми ступнями в облака, словно в подушки.

— С какой стороны ни посмотришь на крест — он всегда обращен к тебе! — пояснила Соня.

Эта диковинка меня ничуть не развлекла; мне хотелось поскорее выбраться вон, потому что со скамей на нас гневно сверкали зелеными глазами склоненные в молитве старушенции.

Церковка эта воздвигнута во имя святого Георгия. Перед нею ежегодно происходит первое весеннее есеницкое гулянье. Мы, конечно, побывали и на нем — у Сони порой были затеи, как у четырехлетнего ребенка. Качели, тир, карусели, балаган с куклами из картошки и паноптикум с дамой весом в четыреста фунтов… Соня превратилась в невоспитанную девчонку, она каталась на олене с выпученными стеклянными глазами (я утверждал, что олень похож на тетушку), стреляла в птичек на веревочке, набрасывала кольцо на горло бутылок, ни разу не заработав даже самого последнего приза. Под конец бросилась на качели и, кажется, переоценила свои возможности: ее замутило.

Опять у нее страшно разболелась голова. Мы

плелись, останавливаясь на каждом шагу.

— Ой, Петя, я совсем не вижу!

Я полагал, что нам лучше убраться в какое-нибудь менее людное место, но она не хотела, чтоб ее вырвало на улице, и не соглашалась постучаться в чужой дом. Только когда мы добрались до ее комнаты, ей стало немножко легче; позднее она покаянно созналась, что вообще не выносит качелей, а мигрень бывает у нее очень часто, и это просто ужасно.

— Порой мне кажется, Петя, будто я прямо с ума схожу, — твердила она. — И не смейся, пожалуйста, а то больше никогда ни в чем не признаюсь! У тебя, может, в жизни не болела голова. Не знаешь ты, что это такое. Поверишь ли — у меня и сейчас еще видит только один глаз! А другого будто и вовсе нету. И в руке, и в левой ноге — мурашки. Мне сейчас ни за что не удержать иголку в пальцах. Теперь-то я уже знаю, и раньше, когда я была маленькая и глупая, я думала — это удар. Ох, Петя, ради бога, перестань так противно усмехаться! Мне очень нехорошо, хоть реви. Я в такие минуты просто невменяема. Может, и впрямь еще совсем немного — и полная тьма, конец, смерть! И когда я в таком состоянии думаю о дяде Кирилле — а я почти всегда о нем думаю, — можешь себе пред-

ставить, каково мне! Ну, одним словом, мне тогда кажется, что вот и у меня начинается…

Я уверен: тогда, после гулянья у святого Георгия, Соня сказала мне больше, чем решилась бы высказать при других обстоятельствах. Слова ее тогда несколько встревожили меня. Они были слишком *настоящие*, чтобы можно было принять их за обычную женскую болтовню. Конечно, я не знаю, что такое мигрень, никогда я не испытывал ничего, что походило бы на этот недуг праздных дам. Однако не подлежит сомнению — у Сони есть-таки основание страшиться злой судьбы полоумного дядюшки.

Когда солнышко стало пригревать, когда оно высушило тропинки и полевые межи вокруг Есенице, круг наших воскресных прогулок существенно расширился. Соня любила цветы. Еще в апреле заболоченные места покрылись ковром из цветов калужницы, и весь этот край у подножия гор, изрезанный лощинами, богатый перелесками и быстрыми ручьями, пропитался сладким ароматом распускающихся почек. Соня с ликованием приветствовала первую маргаритку и, как маленькая, упорно искала четверной листок клевера — на счастье. Да, надо сказать, была она действительно эмоциональной натурой. А

я стоял у клеверного поля, недовольно ковыряя землю тростью и лениво вдыхая дым сигары.

Есенице окружено бесчисленными холмами и пригорками. На тех, что побольше, торчат вышки для обзора. Чаще всего мы ходили на самый ближний, так называемый Постранецкий холм, — но не для того, чтобы просиживать там в прокуренном ресторанчике, а ради прекрасной лиственничной рощи, зеленевшей по склонам. Соня обожала лиственницы. Светло-зеленые веточки с красноватыми шишечками цветов приводили ее в восторг. Она любила смотреть на облака сквозь нежную сеть лиственничных крон.

На нашем любовном жаргоне мы называли эту пору «цветочной», а веселые наши возвращения с прогулок — «песенными походами». И верно, то было самое прекрасное время, прожитое мною с Соней. Вот и сегодня мне все еще кажется, будто, при одном только воспоминании, плывут над моей головой по голубому небу белые «барашки», а вокруг колышутся под ветром низенькие, еще зеленые всходы.

В начале мая наши «песенные походы» сменились прогулками перед витринами магазинов. Стремительно приближалась, подхлестывая нас,

свадьба.

Хайн тоже подчинился этому обстоятельству. Он говорил:

— Послушайте, Петр, не надо вам так много работать, как до сих пор; берите свободные дни! Вам ведь столько предстоит покупать и выбирать! И можете уходить с завода, не отпрашиваясь. Как шеф, заранее даю вам разрешение. И знаете, — со смехом прибавил он, — это распоряжение нашей высшей инстанции, Сони!

Мебель мы выбрали по образцам, она была уже совсем готова и стояла у полировщика. Мы ходили иногда посмотреть, как подвигается работа. Полировщик, работавший на хозяина-краснодеревщика, был бедняк с кучей детей. Мне неприятно было приходить к нему. Там пахло деревом и красками, как у нас дома, у Швайцаров; дети путались под ногами, ревели — как у нас дома…

Я и сегодня не люблю вспоминать о домишке полировщика. Быть может, потому, что он был невольной причиной одного неприятного открытия, о котором необходимо упомянуть.

Соня о чем-то разговаривала с полировщиком. В комнату вбежал его младший ребенок — девочка с кривыми ножками; она несла в своем

фартучке ручную галку.

— Что это у тебя? — спросил я, и ребенок с доверчивостью, чуть ли не трогательной, протянул мне птицу.

Галка устроилась у меня на ладони в воинственной позе, она распустила хвост и раскрыла клюв: готовилась защищаться. Взлететь она не могла, у нее были подрезаны крылья. Воинственная поза птицы рассмешила меня, и я позвал Соню посмотреть, но та меня не расслышала. Тогда я сам подошел — Соня стояла, опираясь затянутой в перчатку рукой на полочку, сверкавшую свежим лаком, — и со смехом посадил галку ей на руку.

Как она закричала! Она едва не лишилась сознания! Лицо ее сделалось белым, как мел. Нет, такого испуга я еще никогда у нее не видел. Ей поспешно подали стул, она села и, немного успокоившись, с виноватой улыбкой стала грустно упрекать меня — зачем я это сделал.

— Знаешь, Петр, ты всегда помни — я таких вещей не выношу. Как она щекотала меня своими коготками! А сама мягкая, теплая — брр! Я вообще не люблю животных. Я ими ужасно, слышишь, ужасно брезгую!

Испуганная галка прыгала по полу, ее маленькая владелица всхлипывала в уголке, я

в расстройстве расхаживал по комнате, а сам думал: дочь Хайна точно так же не выносит прикосновения птицы или любого иного невинного живого создания, как и слабоумный брат Хайна!

Я не хотел показывать Соне, что подметил это зловещее сходство, я говорил о чем угодно, только не об эпизоде у полировщика, но Соня по дороге домой была такая грустная и послушная, что сомнений быть не могло: она подавлена тем, что выдала себя, и стыдится этого.

Соня и меня успела заразить своими подозрениями, высказанными и невысказанными. Дом Хайна был словно заколдованный замок. Стоишь в каком-то таинственном мраке, в кругу, что очертил ты мелом своего оптимизма, а рассвета все что-то нет, и подозрительные призраки являются, грозят горящими очами — бессмысленные опасения, не имеющие никакого разумного основания… Страх — вот призрак, живущий в доме Хайна! Страх испытывал старый Хайн, потому что ему слишком долго везло и несчастье могло обрушиться с любой стороны; страхом мучилась Соня, живущая в мире безделья и книг. А теперь вот и я должен был заразиться страхом! «Берегись, берегись, Швайцар! — говорил я себе. — Это вещь неприятная, вроде горячки, в такой болезни

бредят! Твой долг прогнать интеллигентский хайновский страх своим грубым швайцаровским здоровьем!»

К счастью, приближался день свадьбы, и у нас были другие заботы. Вставали перед нами сотни вопросов, сотни мелких проблем ждали разрешения. Пока что план был такой: бракосочетание назначено на субботу 30 мая, свидетелем с моей стороны будет Донт, *«друг юности»*, его пригласят вместе с Тиной. Свадьбу отпразднуют в узком кругу, чтобы прошло незамеченным то неприятное обстоятельство, что не будет представлена семья жениха. Кунц будет как бы шафером — надо же и ему определить какую-то роль, чтоб оправдать его присутствие. Племянница Кунца Хермина будет первой подружкой Сони, вторую привезет из Праги Макс Фюрст. Это его приятельница, а может, невеста — Соня с ней незнакома; сам Макс будет вторым дружкой, а Феликс — первым. Фюрст-отец тоже приедет и будет свидетелем со стороны невесты.

Не могу сказать, чтоб такое расписание меня особенно радовало. К обоим «Иксам» я питал старую и обоснованную неприязнь. Но чем объяснишь возражение? Протестовать было невозможно. Отказавшись от участия кого-ли-

бо из своей семьи, я потерял право выбирать кандидатов на мнимонеобходимые свадебные должности. Ну и пусть съезжаются хоть все черти, свадьба длится всего день, а там уж я навсегда стану сам себе хозяин. Отношения с жениными родными и знакомыми буду строить по-своему.

Вспоминаю теперь, что в то время произошла еще одна неприятность — в общем-то, совершенно незначительный глупый случай, отчасти по вине Кати. Кончился он обычной Сониной мигренью, в которой для меня уже ничего не было нового. И случай этот я привожу вовсе не для того, чтобы еще раз описать головную боль Сони, а по другой причине.

В тот день только что прошел дождь. Земля напиталась влагой, но не в такой мере, чтобы неприятно было бегать по дорожкам и по траве в саду. День клонился к вечеру. Кати уговорила нас поиграть в прятки между деревьями.

Я, конечно, был в большой невыгоде, ведь я не знал этот огромный сад так хорошо, как девушки. Да и вообще такая игра вроде не отвечала моему достоинству. Но Соня в тот вечер необычайно расшалилась — такое настроение появлялось у нее почти всегда после серьезных разговоров, после обсуждения предстоящих хлопот. Она не

просто расшалилась — она прямо-таки неистовствовала.

Как я уже сказал, я был в невыгоде, а потому все время «водил». Они дурачились, насмехались над тем, что мне без конца приходилось, уткнувшись носом в древесный ствол, считать до ста. Я принимал свою участь с видом степенного дядюшки, но безразлично мне это не было. До чего я был жалок, может себе представить всякий по одному тому, что даже неуемная Соня в конце концов сжалилась надо мной и, явно нарочно, подстроила дело так, что я успел «выручиться».

Но теперь возликовала Кати.

— Соне водить! Отлично! Заставим ее водить подольше, я знаю, как это сделать, увидите! Бежим! — прошептала она мне на ухо, обжигая горячим дыханием, и потащила меня за собой.

Позади бассейна стояла скамейка, со спинки которой очень легко было взобраться на толстый сук раскидистой липы. Этот сук словно нарочно существовал для того, чтобы с него залезть повыше, а там, за густой листвой, разглядеть нас было почти невозможно.

— Разделим задачу, — зашептала Кати. — Как Соня скроется из виду — по очереди будем соскакивать на скамейку — и к «дому»... Увидите,

придется ей водить до вечера! И спать пойдет «неотвожей»!

Соня внимательно осматривалась, осторожно удаляясь от «дома», очень разумно обследуя все более широкие круги, пока не скрылась за деревьями. Тут Кати ласочкой спрыгнула с липы с торжествующим криком «выручилась». Соня не очень удивилась и терпеливо стала снова «водить». Теперь, по условию, «выручаться» должен был я.

— Где ты так хорошо спрятался? — спросила меня Соня, слегка разочарованная.

В третий раз она действовала еще осторожнее, но, конечно, без успеха. На верхушке липы места для двоих хватало только в том случае, если тесно прижаться друг к другу, и Кати крепко ухватилась за мое плечо, а я поддерживал ее за талию. С нашей высоты мы смотрели, как внизу, под ногами у нас, Соня, уже нервничая, продирается через кусты, растерянно заглядывает за каждое дерево, шлепая по мокрой траве. Ее туфельки совсем размокли, на лице отражалась досада.

В тишине, непременном условии успеха, я слышал, словно тиканье будильника, биение маленького горячего сердечка. Я весь сосредоточился на наслаждении — прикасаться к милому

телу Кати.

Соня водила семь раз, я слышал, как уже дрожит ее голосок при счете, видел, что она вот-вот расплачется. Быть может, если б я сделал раньше то, что сделал, ситуация была бы спасена, но Кати этого не хотела, а мне было так хорошо от ее близости. Когда Соня в восьмой раз прокрадывалась под нашим убежищем, я громко и неестественно кашлянул, одновременно крепче прижав к себе Кати, словно просил прощения за это маленькое предательство. Соня моментально взглянула вверх — и я увидел, как лицо ее, и так-то бледное и грустное от ребяческой досады, побледнело еще больше, оно стало почти белым. Но она тут же овладела собой. Будто лишь случайно глянув на вершину липы, будто не заметив нас, она медленно, осмотрительно — разве только чуть нерешительнее, чем прежде, — двинулась дальше, а я не находил в себе решимости спрыгнуть с дерева и побежать «выручаться». Я вдруг понял, что игра кончена, кончены шутки, наступает тягостная развязка — чего, в общем, и следовало ожидать после такого смеха и буйства.

— Да вы не расстраивайтесь! — горячо уговаривала меня Кати, прочитав досаду на моем лице. — Ведь это просто шутка! И вы не вино-

ваты, что она как малый ребенок — взяла да и обозлилась… Ей бы засмеяться, а не обидеться!

Я хорошо видел сквозь листву, как Соня украдкой оглянулась, желая убедиться, что никто не слез с дерева; потом она замедлила шаг, поправила волосы, стряхнула с платья капли влаги и паутину — и пошла назад к открытой задней двери виллы.

Ужинать она не вышла. После ужина компанию мне составил Хайн, чего обычно не случалось. Это означало, что он посвящен в дело. Но он был на моей стороне, я понял это по тому, что он пробурчал что-то насчет теневых сторон женской любви и рассказал, как когда-то Сонина мать рассердилась на него за такую же ерунду.

— Она, знаете ли, была гораздо, гораздо темпераментнее Сони, упряма до болезненности и горе свое преувеличивала самым театральным образом. Когда она впадала в мрачность, к ней было не подступиться. К сожалению, я не умел отвечать на ее странности в желательной для нее манере, и она наказывала меня за мое неумение приспособиться к ней прямо-таки утонченной жестокостью. Но вы не беспокойтесь, — поспешил он прибавить, — у Сони не ее характер. Есть некоторые следы, которые я, кажется, распознаю,

а скорее — причуды избалованной девицы, но в остальном Соня вся наша, хайновская, девушка искренняя, глубоко чувствующая, быть может, чересчур добросовестная во всех отношениях. Эта ребяческая выходка — просто от горячего сердца. С ней так бывает: заметит, допустим, какую-нибудь неприятную мелочь — и моментально выдумывает самые неправдоподобные причины. Рассеять это можно только спокойным, зрелым объяснением, а вы отлично умеете это делать. Ну, что там Соня? — спросил он у вошедшей Кати, как всегда веселой и беспечной.

Кати рассмеялась. Не ответив словами, она обвела пальцем голову, спрятала лицо в ладони, изобразила страдальческий взгляд. Это означало: у Сони болит голова, она повязалась мокрым полотенцем и сидит, опершись локтями на рояль. Хайн поднял сигару хорошо знакомым движением, которым он отмахивался от неприятностей, и завел разговор… о заводе.

Но Соня не показалась и на следующий день за обедом. Стало быть, дело серьезнее, чем мы с Хайном думали. Лишь вечером, когда я вернулся с завода и сел в своей комнате почитать газету, в коридоре поднялась возня, словно волокли какое-то бессильное тело, кто-то со смехом постучался

ко мне, и одновременно раздался судорожный плач. Это Кати привела Соню, превратившуюся из разгневанной богини в кающуюся грешницу. Кати втолкнула ее ко мне через полуотворенную дверь и ускакала, а у меня в руках оказался мягкий, несчастный комочек, мокрое от слез, некрасивое создание, вид которого гасил во мне всякое мужское чувство.

Тут я узнал, что я очень жестокий, а то не оставил бы ее на целый долгий день одну в горе; это ужасно, что я ни чуточки не поинтересовался ее болезнью, а она просто в отчаянии, так страшно болит у нее голова.

— И как ты мог, Петя, так цинично обниматься с Кати там, на дереве? Извини, это я просто так, я знаю, Кати хорошая и верная и вы там просто прятались, ясно же, кто собирается поступить дурно, тот не дает о себе знать кашлем… Ах, Петя, если б ты только мог избавить меня от этого! Знаешь, разные мысли бегают по мне, как мыши по мертвой кошке… Петя, дядя Кирилл пытался балансировать стулом на подбородке, тебе, наверное, папа рассказывал. Так вот — мне приходится силой удерживать свои руки, чтоб не взяться за стул и не попытаться сделать то же. Петя, это ужасно, Петя, боже мой!..

Мне пришлось много потрудиться, прежде чем я сумел втолковать ей, что так всегда бывает, когда боишься, как бы не сделать какую-нибудь глупость, — так и хочется попробовать. Я сказал ей, что она слишком впечатлительна, у нее все вовсе не так, как она думает; нервность ее — не следствие болезни, а как раз наоборот, все ее бредовые мысли — от нервности.

Понадобилось без малого три дня, чтоб Соня хоть немного оправилась, начала улыбаться без грустной горечи и перестала кидать на меня скорбные и виноватые взгляды. За эти три дня я понял, что быть терпеливым и сочувствовать кому-либо — великое искусство, и удел человека, решившего дойти до намеченной цели, часто похож на удел актера, обязанного в любых обстоятельствах владеть ролью с абсолютной виртуозностью.

Кунц проводил теперь у нас большую часть своего досуга. И приводил с собой племянницу, которой предстояло выступить подружкой на нашей свадьбе. Это была тощая девица с желтыми волосами, которые она на немецкий манер закручивала на темени каким-то замысловатым узлом. Она была устрашающе благовоспитанна и добродетельна. И напоминала скорее деревян-

ную куклу, чем существо из плоти и крови.

Кунц был просто невыносим. Свою роль церемониймейстера он понимал со всей серьезностью и изводил нас всех нелепыми заботами. «Я как шафер», — то и дело повторял он и всякий раз сопровождал эту убогую остроту дребезжащим смехом. Объектом своих забот он избрал главным образом меня. Вообразил, что я более других участников невежественен в свадебных обрядах. Не проходило дня, чтоб Кунц не спросил, собрал ли я уже все документы, заказал ли обручальные кольца, составил ли список знакомых, кому надлежит разослать извещение о бракосочетании. Этим ненужным, прямо-таки оскорбительным допросам не было конца.

Но еще больше занимала его собственная функция распорядителя. Он ломал себе голову, как рассадить гостей за столом, как их разместить по автомобилям, какую заказать музыку при венчании. Раз как-то я увидел у него в руках тщательно вымеренную, вычерченную тушью схему свадебного шествия: от дверей виллы, пара за парой, тянулись кружки с каллиграфически вписанными в них именами. На обороте той же бумажки кружки с именами располагались в обратном порядке — в том, в каком нам надлежало возвра-

щаться из церкви. Вилла изображалась на схеме в виде прямоугольника, церковь — как настоящий картографический план здания, украшенный неизбежным крестом. Просто удивительно, до чего педантично занимался такими вещами этот старый дилетант.

Он очень беспокоился, как бы дружки, свидетель и подружка, которым еще только предстояло приехать, не нарушили чем-нибудь его программу.

— Вы их лучше знаете, этих молодых людей, может быть, они, что называется, несколько неорганизованны? Не явятся ли они со своими столичными замашками?

Кунц ужасно трепетал за свое первенство в устроении обряда и заранее ревновал к пражанам, к которым не питал ничего, кроме презрения, как и всякий коренной провинциал. Но больше всех он заранее невзлюбил пражскую подружку, почти наверняка предвидя, что та начнет заноситься перед его Херминой.

Соня твердила: «Ах, Петя, какой ужас эта свадьба!» — и нередко чуть ли не плакала. Ею полностью завладела портниха, к ней беспрестанно обращались то за тем, то за другим. Соня жаловалась, что совсем потеряла голову, хотя, в

сущности, почти ничего не делала. Тетушка была в некотором роде еще хуже Кунца. Она путала прошлое с настоящим, ловко ввертывала в разговор свои воспоминания о давних временах, так что в конце концов невозможно было понять, чего она хочет и что ей, собственно, не нравится. При этом она еще вращала своими пропастными глазищами… И мне опять казалось, что эти глаза гипнотизируют Соню — во всяком случае, та послушно, как лунатик, смотрела в лицо своей двоюродной бабки и кивала головой, а потом спрашивала: «Петя, а что тетушка сказала? Господи, я уже до того одурела, что все забываю!»

Я успокаивал ее:

— Не расстраивайся! Еще немного, и будешь сама себе госпожа. Думаешь, я не вздохну с облегчением, когда избавлюсь от этого зарвавшегося Кецала[9]? Тем более что мы с тобой после свадьбы скроемся на две недели и отдохнем от всей этой суетни.

Было решено, что мы совершим небольшое свадебное путешествие, а за это время для нас отделают второй этаж. Хайн предложил нам съездить в Германию, и у меня не было причин

---

[9] notes: 9

Кецал — персонаж оперы Сметаны «Проданная невеста», деревенский сват, буквально — «болтун», «пустомеля».

возражать. Можно было сочетать приятное с полезным: у Хайна в Лейпциге был знакомый владелец химического завода, и старик собирался дать к нему рекомендательное письмо. Таким образом я получал возможность приглядеться к заграничному производству. Задумано было, что мы поедем пароходом до Дрездена, осмотрим город, картинную галерею, музеи и через несколько дней отправимся в Лейпциг. Конец отпуска я намечал провести на севере: остров Хельголанд, портовые города… Программа не слишком пестрая, но меня она устраивала больше, чем традиционные экскурсии молодоженов на юг.

Соня мгновенно переходила от крайней усталости к крайней восторженности.

— Ах, Петя! Вот когда будем в Дрездене!.. Я так радуюсь, что увижу Цвингер[10]! И потом фарфор… Ты интересуешься фарфором? А вот когда…

Со временем мне изрядно опротивело это бьющее по барабанным перепонкам словечко. Впрочем, надо сознаться, если б и у меня было такое же эмоциональное «вот когда…», скрытое на дне сердца, я не так страдал бы от Сониного.

---

[10] notes: 10

Цвингер — дворец в Дрездене, где помещается знаменитая картинная галерея и музей фарфора.

Так что отчасти моя вина была в том, что в волшебном «а вот когда…» не заключалось для меня никакой притягательности.

Однажды меня пригласили присутствовать при забавной комедии. Устроителем на сей раз выступил сам пан фабрикант.

— Пора и Кириллу узнать наконец о готовящемся торжестве. Сегодня Кати с Филипом должным образом поставят его в известность. Не хотите ли послушать этот спектакль? В таких случаях, знаете ли, Кати импровизирует с подлинным искусством! Мне нет надобности, конечно, говорить, что я человек отнюдь не легкомысленный и что несчастье брата для меня вовсе не шутка — но, слушая диалоги Кати с Филипом, которые они сочиняют для Кирилла, я веселюсь от души. Трагизм теряет свою мрачность… Кати способна рассмешить даже грешников в аду!

Чтобы я хорошо все видел и слышал, меня посадили в лакейской каморке Филипа и оставили открытой дверь в комнатушку Невидимого.

Кати начала с того, что, размахивая щеткой, голосом, певучим и исполненным пафоса, — что должно было привлечь внимание сумасшедшего, — заявила, что в доме ожидается некое событие. Сплошные восклицания, сплошной

восторг:

— Ах, Филип, как я рада! Ты тоже рад?

Филип подтвердил это со всем доступным ему энтузиазмом.

— Такое событие! Вот бы никто и не думал, верно?

И так далее. Я хорошо видел Невидимого. Он сидел на кровати, зажав коленями руки. Если б не огромная лысая голова, он был бы похож на толстого добродушного мальчугана, ожидающего вызов на экзамен. Уши его прямо-таки стояли торчком от напряженного внимания.

— Ах, Филип, если б ты был мне не братом, а просто приятелем, я хоть сейчас согласилась бы на свадьбу с тобой, как это будет у барышни с паном инженером Швайцаром! А ты хотел бы быть женихом? Мне-то очень хотелось бы быть невестой. Знаешь почему? — Последовало перечисление удовольствий, ожидающих невесту. — Представь только, одеться с утра в красивое белое платье, сесть в автомобиль, украшенный цветочными гирляндами, поехать по улицам, мимо толп любопытных! Ну не чудесно ли? И все будут восхищаться барышней Соней, завидовать ей!

— Ну и на твою долю тоже кое-что перепадет, —

отвечал, как его научили, Филип. — Сколько будет вкусной еды, сладостей, вина и полон дом гостей!

— Ах, гости! — Кати начала перечислять их. — Посмотрим-ка, кто же приедет?

Тут-то и началось настоящее представление. Кати изображала сумасшедшему всех гостей в лицах. Я забавлялся безгранично. Она была прирожденная актриса. Как она, например, передразнила Кунца! Поглаживая воображаемую бороду, прошлась шаркающей походкой, ставя ступни параллельно. Потом настала очередь первой подружки, чью добродетельную мину Кати воспроизвела в совершенстве. Хермина пойдет в паре с Феликсом. Кати изменила голос, стала картавить, ломать себе пальцы за спиной при разговоре — привычка Феликса. Кати, конечно, прекрасно знала сыновей Фюрста — они частенько гащивали в Есенице. Знала она и их отца. Она изобразила и описала словами человека с необычайно тонкими ногами, с творожистым, морщинистым лицом, в пенсне, так сдавившим переносицу, что образовалась тоненькая перемычка из кожи. То был точный портрет смешного мышиного жеребчика, с которым я познакомился несколько дней спустя. Одну лишь особу не

смогла сыграть Кати — ту девушку, которую должен был привезти Макс. Кати комически развела руками:

— Нет, Филип, ее я не знаю и ничего не могу о ней сказать, но послушай: тот, кто не в сутане, как священник, и не под фатой, как невеста, и у кого нет длинной бороды, как у Кунца, и кто не подглядывает за всеми, как художник Донт, — короче, кто не тот, не другой, не третий и так далее, и есть эта незнакомая девушка. Понял теперь? Или не понял? — и, привстав на цыпочки, как Коломбина, она дернула своего партнера за нос.

Я видел — Невидимый метнул быстрый взгляд на Филипа с Кати и тотчас снова застыл, внимательно прислушиваясь. Следующим номером программы было появление новой мебели и устройство нашей квартиры.

— А знаешь ли ты, Филип — (Филип — слово липкое, как леденец, который обсасывает Кати! Хотел бы я быть Филипом и находиться так близко от маленького насмешливого ротика, в виде полумесяца изогнувшегося уголками губ кверху!), — знаешь ли ты, что после свадьбы в доме все будет не так? Новобрачным отведут весь второй этаж. И нас с тобой разлучат, братик! Ты останешься здесь, наверху, но работать будешь во

всем доме. А я буду жить у новой своей хозяйки. У Швайцаров.

Кати не забыла рассказать и о нашем свадебном путешествии, и о том, как долго, вероятно, прогостят у нас свадебные гости, и как их разместят по комнатам.

— Ну, хорошее представление? — прискакала она ко мне после спектакля, похожая на дьяволенка-искусителя. — К вашему сведению, я решила поступить в театр. Не буду я у вас горничной, стану артисткой! Пожалуй, у меня получится, как вы думаете? А знаете, почему я хочу в театр? Потому что артистки долго остаются молодыми. Вот это по мне! Не желаю я стареть!

— Кати, да вы никогда не состаритесь, — серьезно сказал я.

— Кто знает? Только я старость не люблю. Старость холодна. Вы тоже холодны, но вы мне не противны.

— Почему? — спросил я с улыбкой, однако неприятно задетый.

— Потому что в вас, кроме холодности, есть что-то еще. Быть может, что-то злое. Холодность у вас только на поверхности, я это хорошо вижу. Но не бойтесь! Я все-таки останусь служанкой у Швайцаров. Для меня и театр-то слишком холо-

ден. А актрисы — те уж и подавно совсем ледяные, бррр! Все, что есть в них живого, расходуют на игру, а сами, бедняжки, дрожат от холода. Нет, артисткой быть — мне мало. Кто знает, кем-то я еще стану…

— Любовницей, — сказал я. Вернее, это сорвалось у меня с языка.

— Как это любовницей? — Кати нахмурилась. Впрочем, то была всего лишь игра. — Порядочная девица может стать разве что женушкой, вот как Соня.

— Ну, разумеется — женой и любовницей, — весело согласился я, но сердце у меня сильно забилось. Такой разговор, рискованный и увлекательный, был бесконечно интереснее, чем жаркие поцелуи с Соней.

Пятница 29 мая. Последний день перед свадьбой!

Фюрсты приехали накануне вечером. Старый Фюрст слонялся по дому в спортивном костюме, с трубкой в зубах. Он был без ума от Кати. Вертелся вокруг нее, где только мог, обольщая ее немыслимой галантностью. Ее смех звенел по всему дому. Ее забавлял «англичанин» с тощими икрами. Это было в ее вкусе — гонять на корде пустоголового облезлого светского льва!

Невидимый, конечно, был в своей стихии. С самого утра на ногах, он походил на собаку, для которой во всех углах припрятана колбаса. Побежит, например, за Феликсом — и бросит, чтоб пойти по следу Макса. Он был наверху блаженства оттого, что его никто не видит. Он прямо раздулся от гордости. Ноздри его трепетали, обоняя кухонные запахи. В нем пробуждался чревоугодник.

Если старый Фюрст приклеился к Кати, то Феликс постоянно, под любым предлогом, держался возле Сони. Это было мне в высшей степени неприятно. Память о былом соперничестве распаляла мое самолюбие. Мне вовсе не хотелось, чтоб этот самодовольный молодчик вообразил, будто проиграл лишь наполовину. К счастью, Соня, в том сентиментальном настроении, в каком она в ту пору находилась, решила, что Феликс как бы воплощает в себе ее прошлое или уходящую юность. Он был для нее в те дни олицетворением ее легкомысленных походов по Праге. Хитрец отлично понял ситуацию и дерзко злоупотреблял ею.

Соня поверила мне секрет: она обещала, по его просьбе, подарить ему на память кусочек своей свадебной фаты. Если б я проявил неудоволь-

ствие, она бы расплакалась.

— В этом нет ведь ничего дурного! Пусть ему, бедненькому, достанется хоть клочок ткани!

Я не стал возражать, и она благодарно подхватила меня под руку. Это должно было служить пластырем на рану. Слава богу, я в нем не нуждался.

Девица, которую Макс все время заботливо укутывал старинным пледом, была миниатюрное создание с выступающими ключицами и худеньким личиком. При полном отсутствии бюста она носила смелое декольте. Руки у нее были как две палочки, коленочки остренькие, волосики тщательно завиты. В руках у нее постоянно были какие-то реквизиты косметики, а перед глазами зеркальце. Звали ее Хелена.

Хелена первая огорчила Кунца. Оказалось, она пойдет к венчанию в платье цвета алого мака.

— Какая чепуха! — причитал шафер. — Красное платье! У нее будет вид лавочницы, не подружки! Хермина пойдет в нежно-голубом… Если б эта пражанка надела розовое, как было бы красиво!

Следующую рану нанес Кунцу старый Фюрст своим капризом: он потребовал, чтоб в церковь поехала и Кати. Ведь она приятельница Сони! Фюрст предлагал взять Кати к себе в машину.

— Пан директор, это невозможно! — в отчаянии втолковывал ему Кунц, вытащив из кармана свою схемку. — Барышня Кати нужна в доме, и потом — в глазах общества она всего лишь служанка! Пан директор должен ехать со мной. Не оставите же вы меня, сиротинку!

Кунц добился-таки своего. В крайней нужде он выбросил последний козырь: если Кати поедет в церковь, то надо ехать и Филипу, ее брату. Вот они вдвоем и поедут. Этот пушечный удар попал в ворота: Фюрст отступился. Но долго еще хранил кислый вид и отпускал плоские остроты.

— Стало быть, я с вами. Вы Голиаф, я Давид. Библейская парочка! Два старичка… Городские старухи глаз не оторвут!

Для престарелого красавца в этом было мало утешения. Он улыбнулся с горечью.

Приезжих был полон дом, все пошло вверх тормашками. Соня переселилась в кабинет отца, ее комнату заняла Хеленка. В спальне Хайна устроились Феликс с Максом. Их отец — в гостиной самой тетушки! После обеда — о, эти шумные обеды с гостями! — я решил ненадолго удрать с Соней из этого бедлама. Но Соня как сквозь землю провалилась. Разыскивая ее, я встретил в коридоре Феликса. Его подчеркнутая вежливость и кривая

усмешка выдавали, что он тоже ищет Соню. Но ему больше повезло. Я вышел поискать ее в сад и тут услышал торопливые шаги по лестнице и радостные крики Феликса. Затем — удаляющиеся шаги двух человек и звук захлопнувшейся двери. Я с достоинством убрался в свою комнату. Филип принес мне туда газеты.

С Соней я увиделся только за послеобеденным кофе. Она нежно гладила мне руку, в то время как Феликс, сидевший с другой ее стороны, старался развлечь ее рассказом о последнем представлении какой-то оперы. А Соня улыбалась мне, и глаза ее говорили то, что обычно говорят глаза счастливых невест: потерпи еще немного, и я уже навсегда буду только твоей!

Такой компромисс был не по мне. Мне надо было еще, в последний раз, выбить Феликса из седла. Я стал очень внимателен к Соне, приняв вид влюбленного. Мое мнимое пламя не осталось незамеченным, Соня благодарила за него, горячо пожимая мне пальцы.

— Соня, — прошептал я, наклоняясь к ней, — здесь слишком много народу. Я хочу похитить тебя!

— А куда? — весело спросила она.

— Вот и не знаю, — жалобно ответил я, — по

саду все время шляется Фюрст, по первому этажу — Кунц, на втором этаже — трубадур Феликс… Отказаться, что ли?

— Нет, нет, — поспешно возразила она, охотно вступая в игру, — есть еще чердак!

Мы поднялись на чердак. Тихонько, чтоб не услышал Невидимый. Чулан для всякого старья был набит до потолка вышедшими из моды шляпами, сломанными детскими игрушками, ненужным хламом. Над дверью выделялся портрет маслом в ветхой раме с зияющей трещиной, края которой скрепляла густая паутина. Портрет изображал мужчину средних лет с молитвенником в руке.

— Тетушка утверждает, это самый старый Хайн, основатель рода, — объяснила Соня. — Кажется, он был немец, а перебрался сюда как будто из Швейцарии. Он уже был мыловаром. А строго смотрит, правда?

Вид основателя рода был не шибко интеллигентный. Обрюзглая физиономия с синей стерней на бритых щеках и подбородке, свиные глазки, в которые художник вдохнул душу скряги. Жестокая добропорядочность, чванная тупость. Но вид предка привел Соню в благоговение. Ей казалось, она нашла связь между важным значением

завтрашнего дня и посещением этого идола, выброшенного в хлам.

Если я не хотел вызвать подозрений, надо было приспособиться. И я тоже заговорил об открывающемся нам будущем, о том, как мы построим жизнь; я воспевал прочный, нерушимый союз и отметал опасения и страхи любого рода.

— Да, да, да! — в восторге поддакивала Соня.

Кончилось все это, конечно, страстным объятием. Не обошлось и без слез глубокого волнения. Через плечо Сони я всматривался в портрет патриарха, затканный паутиной. Мне чудилось, он коварно ухмыляется.

Вечером приехали Донты.

Донт был просто ужасен со своими многословными анекдотами, со своей убогой мещанской богемностью. Да и Тина была не из молчаливых.

— Строчишь как пулемет, — неприязненно заметил я Донту, который так и сыпал дурацкими остротами.

Отвращение охватывало меня при одном виде того, как он с лукавым выражением лица втягивает голову в плечи, как улыбаются его мясистые губы.

После ужина последовала едва ли не меланхолическая сцена — вили веночки для подружек

и невесты, сшивали ленты для миртовых веток. Работа, конечно, доброго слова не стоила, но тетушка пожелала провести канун свадьбы со всей помпой. Все происходило в ее комнате. Ели какие-то особые свадебные бутерброды, пили вино. Разговаривали вполголоса. Первую скрипку вела, конечно, сама тетушка со своими «прежними временами».

Донт зевал. Он слишком много болтал сегодня и хотел спать. Тина перешептывалась с девушками. Хермина затянула было какую-то тоскливую песню, но никто не подхватил, и она замолчала. Она и запела-то, только чтоб, по инструкции Кунца, подольститься к тетке. Толстоногая Анна вела себя так, словно здорово выпила. Явилась незваная и возбужденно хохотала, колыша бедрами.

— Анна, Анна, — мягко и скорбно одергивала ее Соня.

Ее прямо-таки угнетала эта громогласная особа, охваченная какой-то языческой радостью в предвкушении пира и праздника. Чем необузданнее веселилась Анна, тем грустнее становилась Соня. Она пришла в то состояние, когда девушку уже ничто не радует, когда она страшится неизвестности и лишь по инерции дает течению уносить себя навстречу неотвратимой судьбе.

Что касается меня, то я неплохо развлекался, наблюдая за ними, хотя и сам смертельно устал. Я пресытился впечатлениями. Болезненно ощущал я отсутствие Кати, которая вместе с Филипом готовила к завтрашнему дню большую столовую.

Донт попытался было рассказать какие-то безобидные анекдоты, но тетушка оборвала его:

— Сейчас не время шутить, сударь! — и пронзила его строгим взглядом своих пропастных глаз.

Донт обиделся и заявил, что пошел спать.

Это было сигналом для всех. На столе сиротливо осталось стеклянное блюдо с веночками да обрезками лент.

Мы с Соней поцеловались на лестнице мирно и целомудренно. Это как бы входило в программу. Потом я еще долго в одиночестве бродил по саду. Быть может, только по той причине, что и это входило в программу. Курил сигару. Небо было усеяно звездами.

7
СМЕХ ИЗ БЕЗДНЫ

Патер Хурих был низенький толстый человек с умными глазками, вокруг его тонзуры росли жесткие, короткие рыжеватые волосы, начесанные на лоб, как у детей. Когда я, после венчания, подписывал в ризнице протокол венчания, патер многозначительно посмотрел на меня снизу вверх и проговорил мягким, слащавым тоном:

— Поздравляю, пан фабрикант!

Впервые меня так величали. И было это так неожиданно, так сильно ударило меня по сердцу, что я в смятении оглянулся и, наверное, немного покраснел. Мне хотелось увидеть, как к этому отнесся тесть и как — Соня. Жена моя стояла, похожая на белого лебедя, в группке нарядных женщин, а Хайн меланхолически опирался на низенькую перегородку, отделявшую ризницу от церкви, и не отрывал взгляда от алтаря. Там покоилось прошлое. Будущее только что началось.

Сомнения нет, патер просто хотел ко мне подольститься. С редкой проницательностью он нашел самое чувствительное местечко в моей

душе. Или это он случайно попал прямо в цель? Пан фабрикант! Я, конечно, им еще не был, но только что вступил на торную дорогу, ведущую к этому званию наверняка.

Теперь это слово утратило для меня все свое очарование, стало обычным понятием, как все прочие обыденные понятия, — но тогда это было открытие. Словно ненастным днем вдруг проглянуло солнышко. «Поздравляю, пан фабрикант!» Это означало: «Ты выиграл состязание и заслуженно получишь приз!» Всякий раз, когда за свадебным обедом меня охватывала скука или когда во мне начинал разгораться огонек злости — то ли от болтовни Донта, то ли от директорских тостов, — достаточно было вспомнить краткий эпизод в ризнице, и я разом веселел. На Хуриха я бросал за столом взгляды, полные симпатии.

Нас с Соней посадили во главе стола, у всех на виду, сделали нас центром внимания. Мы были живой копией нашего будущего свадебного портрета. Каждая улыбка сначала адресовалась нам, а потом уж облетала, от уст к устам, сидящих за столом; каждое слово отражалось от нас, как мяч. Мне стоило большого труда притворяться приветливым, воодушевленным, счастливым и изображать влюбленного для неумолимых

гостей. Я должен был обращаться к Соне с безграничной нежностью и внимательностью, пожимать ей руку, дышать ей в волосы и такими приемами притягивать к себе идиотские замечания и остроты, как сургуч, натертый шерстяной тряпкой, притягивает клочки бумажки. И, несмотря на все это, мне было хорошо. Меня назвали паном фабрикантом. Патер Хурих был умница.

Соня же, которая любила шутку, любила посмеяться над торжественными речами и всякими условностями, любила показывать себя выше обыденного, — чувствовала себя во время свадебных церемоний как рыба в воде. Ей и в голову не приходило протестовать. Куда подевался наш союз, заключенный против смешного? Она даже, напротив, почитала чуть ли не кощунством те ехидные замечания, которые я шептал ей на ухо. Она торжественно плыла по стрежню течения. То была *ее* свадьба.

Фюрст-отец подарил Кати алую розу; та пришпилила цветок к своему белому фартучку, под самый вырез, довольно глубокий. Я внушал себе, что мне теперь не подобает пожирать глазами эту алую розу, что мне пора вымуштровать, сдавить дисциплиной мое расхлябанное подсознательное

«я», — и все же всякий раз я поддавался чарам этого возбуждающего образа.

Оба «Икса» увивались вокруг одной девицы: Феликс усердно ухаживал за приятельницей брата. Они оба склонились над Хеленкой. Хермина, оставшись на бобах, бросала на окружающих страдальческие взгляды. Как радостно было мне читать признаки смятения на лице Феликса! То, что он столь невежливо изменил своей свадебной «паре», выдавало его сердечную рану: я, мол, до того расстроен и убит, что мне уже все безразлично. А может, он только для того так ревностно занимал свою миниатюрную соседку, чтоб не видеть нас с Соней. Неуспех же Хермины означал неуспех и церемониймейстера Кунца. Все его великолепие смазывала тревога, с какой он следил за прогрессирующим разладом на том, столь важном для него, конце стола, где сидела молодежь.

Я пересчитывал волоски, оставшиеся на унылой лысине Феликса, изумлялся зеркальным шарам огромных теткиных глаз, в которых отражались бокалы, цветы, яства, а главное — мы двое, роскошный образ жениха с невестой. Я наблюдал, как постепенно крушила и перемалывала Макса умная тоненькая Хеленка. Куда

девался прежний хвастливый шут, насмешничавший, не закрывая рта? — Макс превратился в чинного юношу, он старался выглядеть солидно и вести благовоспитанную беседу. Маленькая Хеленка время от времени что-то шептала ему, и он моментально или убирал локти со стола, или замолкал на середине слишком громогласной фразы, когда он забывался и снова становился похож на прежнего, подлежащего укрощению Макса.

Донт, разумеется, сидел рядом с Тиной, Хурих возле тетушки, Фюрст подле Хайна. Фюрст уже не был похож на тощеного туриста. Икры его прятались под безупречными черными брюками, серые бесстыжие глаза приобрели строгое выражение, по истасканному лицу разлилась благосклонная, поистине отеческая улыбка. Чаще всего слышалось слово «дети». Два старика, два старых друга растроганно беседовали о своем потомстве. Дети — это были мы четверо: Феликс, Макс, Соня и я. Я, правда, не очень-то подходил под этот разряд. Слишком уж могучим, слишком неудобным дитятей чувствовал я себя. Нет, я никак не подходил под это определение, хотя одним из четырех «детей» была моя жена. Сентиментальная опека папаши Хайна ничуть

меня не радовала. Цыпленок вылупился из яйца. Научился сам отыскивать корм. Закукарекал, обнаружил, что он — петушок. И начал презирать старую квочку.

Поднялся Кунц, пошаркав под столом плоскостопыми ногами, многозначительно откашлялся.

— Многоуважаемые дамы и господа, — начал он, раскланиваясь во все стороны. — В этот весенний день, когда солнышко, пригревая, целует расцветающую природу, когда в рощах распевают пташки и легкий ветерок перебирает длинные косы ив, склонившихся над серебряными журчащими ручьями, в старом храме господнем обменялись обетом двое молодых людей, решивших, по миновании сладостного периода первой любви, посвятить друг другу всю жизнь, которую они готовы прожить в обоюдной, верной и самоотверженной заботе, в уважении и преданности друг другу. В этот день, столь прекрасный, столь возвышающий нас, я поднимаю этот бокал…

И он поднял бокал и продолжал молоть языком, причем бокал в его руке клонился то в одну, то в другую сторону, грозя облить своим содержимым то юбку Тины, то брюки Фюрста. А оратор декламировал трогательную речь об истлевшем

сердце несчастной матери, не дождавшейся этого благословенного дня (слезы на глазах Тины и Хермины, которая всегда знала, что подобает случаю), затем — о нежной и ласковой заботе доброго, любящего отца, о прекрасном личике счастливой невестушки и о мужественной, твердой руке счастливого жениха. Конец речи ознаменовало громовое «ура» в честь новобрачных, и все бодро принялись за выпивку.

Хайн отвечал более трезво, но очень растроганно. Поддельное золото шафера воздействовало на него в точности так, как если бы было настоящим. Осмотрительный племянник не преминул вставить в свою речь и тетушку.

— Благословляя молодых, не забудем той, что способствовала их счастью. Задача матери легче, чем задача воспитательницы. Тем выше ее заслуга, если она выполняла эту задачу с любовью и самоотречением, равными материнским.

Разумеется, пили здоровье тетушки и кричали «браво» ее педагогическому искусству.

Хайн сел, гремя стулом и краснея от смущения, как всякий неопытный оратор. Соня прослезилась, по ее примеру пустила слезу и Хеленка, не желая отставать в этом общем припадке растроганности. После Хайна Донт прочитал шутливые

стишки. Я хорошо их знал, он повторял их, вероятно, на всех свадьбах, на которых побывал, не исключая и собственной. После Донта папаша Фюрст понес что-то неясное, бессвязное и невразумительное — от имени всех скорбящих отцов мира.

В паузах между тостами Филип подливал пиво и вино, Кати носила из кухни блюдо за блюдом — после супа из куриных потрохов олений окорок, после оленины заливная форель, после форели компоты, после компотов куры, после кур пудинг из взбитых белков. Самым опытным из пирующих был, бесспорно, Фюрст — как истый гурман, он пробовал от всего понемножку; Донт уже рыгал, предоставляя Тине краснеть за него. Девицы шли дружно в ногу, ели как птички, подчеркивая свою воздушность; Макс, под строгим и ласковым взглядом своей маленькой воспитательницы, отказывался от вина, к которому вожделел, в то время как Феликс откровенно топил в алкоголе рыцарственную мировую скорбь — и до того уже дотопился, что под глазами у него набрякли фиолетовые мешки, а сами глаза, покрасневшие от неумеренного курения, лениво и тяжело ворочались под веками, выражая укор.

Разошедшийся Донт приволок граммофон,

который нашел еще утром, но музыка успеха не имела. Феликс предложил было петь, но отец его после недолгого размышления, авторитетным тоном заявил, что пение следует отложить на вечер. В окно было видно, как у ворот толпятся зеваки, грязные лапки разных маленьких Швайцаров тянулись за подачкой. Чугунная решетка ворот была как бы переплетена целой выставкой лохмотьев.

В дверях столовой то и дело возникал Невидимый. Невидимый! Он один посреди всего этого праздничного антуража возвращал нашу мысль к будням. Невозможно было заставить его повязать специально приготовленный белый галстук или склонить к тому, чтобы он дал побрить себя и опрыскать одеколоном свою бледную плешь. На его животе остались следы сахарной пудры, осыпавшейся с украденных им булочек, брюки висели гармошкой. Только лицо его сияло торжеством. Невидимый был в восторге. Свадьба! Вот это развлечение! Речи, шум — сколько материала для будущих мечтаний! Собралось столько народу, и никто его не видит! Его изобретение! Его гениальность! И везде множество вкусной еды, ее можно хватать, и никто не видит!

Гостей, разумеется, проинструктировали. Все

знали, как держаться с дядюшкой. Одна Хеленка умолкала, когда он входил, недоумевая — надо или не надо его бояться. Донт придумывал остроты насчет сумасшедшего и выдавал их, когда тот удалялся, однако остроты были неделикатны, они не нравились ни Хайну, ни Соне, ни тем более тетушке. По правде говоря, лучше всех вела себя в отношении Невидимого Хермина. Видно, дядя Кунц дал ей соответствующие указания, и она выполняла их просто виртуозно. Она попросту не видела сумасшедшего! Не видела, как он входил, как выходил… Кунц с удовлетворением наблюдал ее искусство. Вот ведь, девушка из провинции, а в светском самообладании показывает пример перепуганной пражской барышне!

Смеркалось. Наступил час, когда свет зажигать еще рано, а первые признаки надвигающегося вечера сообщают сидящим за столом некоторое уже утомление. Свадьба чем-то похожа на спектакль. Если утреннюю поездку в церковь и сцену венчания счесть первым актом, то можно сказать, что теперь только что окончилось второе действие. Третье начнется, когда щелкнут выключателем. Каждый уже придумывал про себя, какую программу он покажет при свете ламп.

Один Феликс не понял значения этого есте-

ственного антракта. Именно сейчас решил он произнести речь, с которой все медлил выступить. Он встал, и сначала было неясно, чего он, собственно, хочет. Хеленка даже отодвинулась со своим стулом, полагая, что Феликсу, с его переобремененным желудком, необходимо удалиться. Но он слабо махнул рукой и заговорил сдавленным тенорком, в академической, выспренней манере. Он бормотал что-то о супружестве как о понятии юридическом, о семье, краеугольном камне общества. Тут Кунцу пришла идея, что хотя бы одну торжественную речь должен послушать и старый Паржик, который предавался в кухне у Анны грубым радостям, обгладывая кости и осушая недопитые бутылки. Кати привела его, и Паржик скромно остановился у двери. Все время, пока Феликс, запинаясь, бормотал что-то, отыскивая на скатерти разрозненные слова и водя пальцем по незримой и путаной карте своей речи, лояльный сапожник довольствовался усердными кивками; но едва плешивый юнец кончил, Паржик дал выход своему восторгу. Он аплодировал, раскрыв беззубый рот, и моргал своими наивными глазками.

Паржику поднесли бокал, а он раскланивался, как резиновый, на все стороны, и полы пиджака

его мотались, и он вытирал слезы красным носовым платком, и пожимал руки — и так добрался до нас с Соней; тут он сунул руку в глубокий задний карман своих брюк, стянутых ремнем, и вытащил чайную розу, выведенную им лично. То был первый распустившийся в этом году цветок, бесплодный и немножко помятый. Паржик дунул на розу, чтобы расправить лепестки, и подал новобрачной.

— Какой вы добрый, Паржик, большое спасибо! — воскликнула Соня, решившая радоваться сегодня всему, как оно и полагается в такой день. Отколов миртовую веточку с груди, она на то же место, той же булавкой пришпилила эту розу.

— Соня, это *желтая роза,* — встревоженно шепнула тетка. — Не делай этого!

— Желтый цвет означает ревность, — вполголоса сообщила Хермина Хеленке в надежде завязать общение с ней.

А я подумал: нет, нет, не только ревность; желтое — цвет безумия! И вспомнилась мне некая алая роза… Алое — цвет любви.

— Давайте посумерничаем, — предложил Донт. — Я тут кое-что придумал, очень забавное, ну пожалуйста!

Он обращался к Хайну, который попросил Кати

зажечь свет. Кати, улыбаясь, ждала у двери, что решит хозяин. Хайн медленно склонил голову — это означало согласие.

— Очень интересное, только будьте все внимательны. Это своего рода спиритизм, но вы не бойтесь, будет весело!

Донт проговорил это с чрезвычайно важным видом; опустив глаза, он вертел в руках вилку. Волосы его взмокли от пота, лицо было неестественно красным.

— Не верьте ему, ничего он не умеет! — пошутила Тина, однако это до того походило на правду, что все заранее усомнились в качестве обещанного развлечения. Я не знаю и уже никогда не узнаю, какую готовил Донт забаву, потому что он не успел и начать. Произошло нечто совершенно иное. В столовую явился Невидимый.

Его не было довольно долгое время. Прошло не меньше часа с тех пор, как он в последний раз пробегал тут на цыпочках из угла в угол. Я сказал — явился, желая подчеркнуть, что он не просто появился на сцене. Вошел он не тихо, не незримо, а с каким-то строптивым, даже угрожающим видом. Глаза его горели в сумеречном полусвете. Фиолетовые мешочки под ними казались почти черными. Я сразу сообразил: сумасшедший пьян.

Остановившись на пороге, он стал нюхать воздух. По одному его виду ясно было, что явился он с каким-то намерением. Заложив руки за спину, выпятив живот, он раскачивался, как зверь, готовящийся прыгнуть. Вдруг он запрокинул голову и громко завыл. Заржал, как лошадь, закричал ослом… Это ржанье, этот ослиный рев были его смехом.

И сразу — скок-скок! — в противоположный угол. И снова тот же ужасный смех. Соня вонзила ногти в мою ладонь. Хеленка прижала кулачки к глазам, по уши втянув голову в плечи. Она не хотела ничего видеть и слышать. Фюрст вынул изо рта сигару. Тетка бешено обмахивалась веером из черных перьев. Нет, нет, пугаться было нечего, и вовсе не нужно было отодвигать стул, чтоб открыть себе путь к бегству, как то сделал Макс: Невидимый просто шутил. Я мысленно смеялся над почтенной компанией. Что за страхи? В доме живет сумасшедший. После долгих лет тихого помешательства ему вздумалась дикая выходка. Он решил немножко попугать многоуважаемых гостей.

Вой раздался теперь из третьего угла, еще страшнее, чем прежде, если только его вообще можно было почитать страшным. Невидимый

вообразил, что он и впрямь невидим, и ему тоже захотелось повеселиться на свадьбе. Что бы такое предпринять дядюшке Кириллу, если уж он так разошелся нынче? А вот возьмет да и явится к людям, которые его не видят, и немножко невинно позабавится. А как должно прозвучать в просторном помещении это ржанье и хрюканье, доносящееся неведомо откуда! Что там мечты да писание недоконченных романов? Можно ведь и осуществить кое-что из богатых запасов фантазии. Да, именно дядюшка Кирилл демонстрировал сейчас свое спиритическое искусство, а не перепуганный, сжавшийся Донт.

Но папаша Хайн страшно рассвирепел. Я еще никогда не видел его таким энергичным. Он вскочил с места. Третий приступ безумного хохота был и последним. Хайн бросился к брату, и в один миг страшный невидимый гость превратился в глупого, невоспитанного озорника. Не годится пугать свадебных гостей столь мрачными шутками! Хайн схватил Невидимого за шиворот.

— Марш отсюда! — задыхаясь, крикнул он. — Убирайся со своим безобразным смехом!

И он потащил безумного к двери.

— Кто дал ему вина? — гремел Хайн. — Кто это был?!

Но надо было вытолкать помешанного за дверь, пока он не успел опомниться. Расследование можно было отложить на то время, когда виновный будет удален. То была тактическая ошибка Хайна. Он дал время сумасшедшему разозлиться в свою очередь. Его схватили за шиворот! Как любого видимого смертного! Какая безмерная дерзость, какое бесстыдство! Семейный договор нарушен, конец сладостной иллюзии — по крайней мере, на ближайшее время. Кирилл вырвался и схватил то, что было под рукой, — бокалы с недопитым вином. Хайн еле успел уклониться — фью! — полетел первый бокал, дзинь! — разбился о стену над головой перепуганного Кунца, дзинь! — полетел второй, его осколки осыпали Соню. Сумасшедший не стал медлить и скрылся за дверью. Из коридора донесся его победный рев.

— Ради бога, извините, извините!.. — бормотал Хайн, стряхивая с пиджака брызги вина.

В раскачивающейся люстре вспыхнул свет: Кати поспешила повернуть выключатель. За столом все сбилось. Даже патер Хурих утратил свое христианское хладнокровие. Он вцепился в тетку, воображая, что успокаивает ее. Тетка давилась слезами. Все заговорили разом, без ладу и складу. Из смеси голосов выделились дрожащие,

но наиболее связные слова Хайна:

— Какая неосторожность… Конечно же, это слуги его напоили. Бедняжка не переносит алкоголя… Прошу прощения у дам — в особенности у дам! — Тут он обратился к тетке с вежливым, но тем не менее твердым, подчеркнутым упреком. — Разумнее было бы отстранить брата от участия в свадьбе. Не я распорядился допустить его!

— Петя, Петя! — судорожно цеплялась за меня Соня. — Это ужасно! Я несчастна… Что ты скажешь теперь? Как я испугалась! Видишь, я всегда говорила, что он злой. Теперь ты сам увидел, до чего он злой… Я испугалась за папу… Моя свадьба испорчена!

— Ну, ну, не будь таким ребенком, — успокаивал я ее по праву супруга. — Говорят, посуду бьют к счастью!

Хайн продолжал почтительно спорить с теткой:

— Я велю запереть его наверху. Тогда он больше нас не обеспокоит.

— Нет, Хуго, ты не запрешь его. Ему надо успокоиться. Забыть о насилии, совершенном над ним. Хуго, ты поступил неправильно. Надо было дать ему отсмеяться. Тогда он сам ушел бы.

Энергия Хайна иссякала. По привычке он сдал-

ся перед теткиным авторитетом.

К Максу вернулось мужество. Хеленка перестала трястись. Из уважения к родственным чувствам Хайна все старались показать, будто ничуть не испугались, будто все это просто невинная шуточка, одним словом, ничего не случилось. Тон задавал шафер Кунц, и тетка благодарно поглядывала на него своими шарами. Люстра перестала качаться. Подали ананас в вине на стеклянном блюде. Но среди всех гостей не нашлось бы ни одного, кто не косился бы с опаской на дверь. Теткино желание — дать сумасшедшему успокоиться на свободе — всем очень не нравилось. Вернее было бы держать его под замком.

Мы с Соней снова заняли свои места во главе стола — живая картинка супружеской любви. Соня, нежно и доверчиво склонившись ко мне и опершись локотком на мое колено, вполголоса, все еще жалобным тоном, говорила о злополучной выходке дяди, а я тем временем внимательно прислушивался к тому, как в коридоре затихают отголоски бури. Там где-то Хайн отчитывал Филипа — зачем он был так неосторожен и позволил Кириллу пить, — и жестоко бранил Анну, которая нарочно подпоила помешанного.

— Вино! — смешно вздохнул патер Хурих, поднимая бокал на уровень глаз. — In vino veritas![11]

Он ударился в философию — а на самом деле просто хотел незаметным образом разглядеть, не попали ли осколки ему в бокал.

Прибежала Кати с совком и веником, хохоча, полезла под стол, словно кошечка, подмела осколки. С комическим выражением посмотрела на стену — пятно со стены смести было нельзя. Роза на ее груди уже завяла. А я решал вопрос — случайно или умышленно коснулась она щекой моей руки, когда была под столом?

— Надеюсь, вы не вымели счастье новобрачной? — озабоченно спросила Хермина.

То была ее вторая самостоятельная свадебная острота. Кунц разразился демонстративным смехом. Как же, надо было поддержать племянницу! Родня все-таки, а кровь — не водица!

В те времена было обычаем, чтобы новобрачные покидали свадебных гостей в полночь. Да нам и необходимо было хоть немного отдохнуть — мы уезжали рано утром. Я с нетерпением ждал этого часа, тем более что после выходки сумасшедшего вся свадьба как-то не могла прийти в

---

[11] notes: 11
Истина в вине! *(лат.)*

себя. То и дело возникало что-то неискреннее, судорожное. Начнут старики тихую беседу о школе, о заводе, о коммерции — тотчас отзовется какая-нибудь фальшивая нотка. Кто-нибудь такое сказанет, чего не следовало бы, и все оглянутся на него, и разговор умолкнет. Никак нам было не избавиться от странных чар.

Между тем известия о сумасшедшем приходили вполне благоприятные. Он в саду. Ходит взад и вперед, потряхивая головой. Сам с собой разговаривает, но уже спокойно. Все в порядке. Для пущей безопасности на страже у двери поставили Филипа. Ему и Паржику приказали не впускать Кирилла, если он появится, и увести его. Но Кирилл не появлялся.

Донт послушался уговоров и начал довольно разумно рассказывать о какой-то выставке живописи, но, к сожалению, это никого не заинтересовало. Донт говорил об искусстве, с тоской поглядывая на лакомые куски, которые уносили, едва он к ним притронется — Тина запретила ему переедать. Все шло вполне гладко, как вдруг Хеленка опрокинула свою рюмку.

— Ай, ай! — бесстыдно захохотал Донт. — Вот у кого должна быть свадьба-то! Пролитое вино предвещает крестины!

Это было в высшей степени бестактно и ужасно не понравилось тетке. И опять никак не хотела завязываться нить разговора. Решили петь — но голоса звучали фальшиво. Феликс опьянел, отец сверлил его укоризненным взором. Я тайком посматривал на часы. Соня тоже — она становилась все молчаливее и молчаливее. А подняться с места было небезопасно: это значило развязать язык Донту.

Все-таки я наконец встал. Сначала никто не понял зачем. Потом Донт, не успевший приготовить остроту к случаю, от растерянности зааплодировал. Это вышло невероятно глупо. Мы шли к двери, все вставали, гремя стульями, и нелепо хлопали. Соня низко опустила голову — от стыда. Так началось четвертое действие — наша супружеская любовь.

Свадебный стол был накрыт на половине Хайна, на втором этаже. Брачное ложе нам было приготовлено внизу, у тетки. С одной стороны теткина спальня, с другой — комната, где поселили самоотверженного папашу Фюрста: любовь под надежной охраной стариков! Аплодисменты и шум, сопровождавшие наш уход, привлекли внимание кухарки Анны. Она выглянула было из кухонной двери, но тотчас снова закрыла ее. Все

же мы успели уловить ее многозначительный взгляд, полный нечистого понимания.

Мы спустились вниз. В холле стоял наш багаж. Свет горел только на втором этаже, нижняя часть дома тонула в темноте. Темнота искажала очертания чемоданов, они казались чудовищной грудой хлама. Соня повисла у меня на руке с почти устрашающей покорностью. Я не мог говорить. У меня пересохло в горле. Соня была такая маленькая и хрупкая, губы у нее были такие красные и влажные, в глазах читалось испуганное ожидание того, что приближалось. Я сам себе казался более суровым и неумолимым, чем был на самом деле. Белая жертвенная голубица — компенсация за Кати! Сердце у меня глухо колотилось. Любить казалось мне до жестокости сладостно. Я улыбался через силу, сцепив челюсти.

Дверь маленькой комнаты, приготовленной для нас, была приоткрыта. Мы не придали этому никакого значения. До последней минуты тут что-то убирали, стелили белье, вносили цветы. Гардины были тщательно задернуты. В комнате стояла духота. Мы молча подошли к изголовью огромной старомодной кровати. Соня высвободила бессильную руку и зажгла ночник с абажуром в виде лилии. Не знаю, что именно заставило

меня оглянуться. Там, где цветастая ширма загораживала большой умывальник, в напряженном ожидании стоял дядюшка Кирилл.

Я едва удержался от того, чтобы разразиться дьявольским, судорожным хохотом. А мы-то так благоговейно спускались по лестнице! И эта прельстительная темнота — специально для нас, — и цветы, которые должны были украсить нашу незабываемую первую ночь! Может, и сумасшедшего-то поставили здесь для более острого ощущения, может, его направили сюда на роль секунданта при брачном таинстве? Да, славно подшутила надо мной судьба! Мои стиснутые челюсти разжались. Предвкушение любовных утех мгновенно исчезло, уступив место злобной иронии.

— Соня, — прошептал я неприятно-веселым тоном, — нам приготовили сюрприз, о котором ты еще не знаешь. Ты сейчас не оглядывайся, этот сюрприз тебе не понравится. Вот уж верно, не везет тебе с этим отвратительным типом, который приводит тебя в такой ужас! Сюда забрался Невидимый и, сдается, не собирается в ближайшее время удалиться.

Рука ее, гладившая фарфоровую лилию, вздрогнула. Соня словно онемела.

— Его так основательно подготавливали к свадьбе, — продолжал я с нарастающей злобой, — что он понял наконец суть события. Вечером пошумел немного, его выгнали. Остудили на свежем воздухе, чтоб отвлечь его мысли и чтоб он простил нам свое изгнание. Теперь он сумел лучше применить свою невидимость. Мы его вроде не видим, а он желает насладиться зрелищем, которое мы, однако, вряд ли ему доставим. Здесь пташка надежно поймана. Я запер его собственной рукой.

— Петя! — в отчаянии взмолилась Соня. — Ради бога, сделай что-нибудь, я теряю сознание… Честное слово! Я хочу овладеть собой, но мне ужасно плохо, я не вынесу этого, поверь!..

— Я вышвырнул бы его с огромным удовольствием, — ответил я. — Я даже не прочь поколотить его как следует, но что-то мне мешает. Он может рассвирепеть и учинить скандал, как в столовой. Достаточно небольшого шума — и все сбегутся сюда, Феликс со своей отвергнутой любовью, Тина, жаждущая сплетен, а главное, Донт со своими идиотскими шуточками. У меня нет ни малейшей охоты оказаться в смешном положении. Я так и слышу, как Донт рассказывает свой новейший анекдот: «Не успели они возлечь

на супружеское ложе...»

Соня прервала меня, зажала уши. Я говорю такие ужасные вещи, что она думает, я хочу еще сильнее ранить ее. Лучше бы я придумал какой-нибудь разумный выход! Я понял, — надо умерить свое бешенство.

— Золотая моя, не обращай внимания на мои слова — в них повинны только злополучные обстоятельства. Я вовсе не хочу тебя мучить. Что же касается выхода, то, кажется, выбора у нас нет. Лучше всего взять да уйти отсюда.

— Уйти... — трагическим шепотом повторила она; ее охватила безграничная апатия, она была удручена до крайности.

— Конечно! — сказал я. — И чем скорее мы уйдем, тем лучше для тебя, Соня! Не нужно расстраиваться. Выйдем погулять в сад. Когда он поймет, что стоит тут зря и ничего не дождется — уйдет так же, как и пришел.

Соня согласилась, только ни за что не желала видеть помешанного. Она закрыла глаза и попросила провести ее мимо него. Это было ребячество, но мне пришлось исполнить ее просьбу. Я чувствовал, как она всем телом дрожит от отвращения.

О том, чтобы посидеть на скамейке, нечего бы-

ло и думать — ночь была слишком холодна. И мы ходили, ходили до изнеможения. На освещенном втором этаже орал граммофон, кто-то неумело подпевал. До нас доносился звон бокалов — пили в нашу честь.

Я хотел поцеловать Соню. Не из страсти — просто для того, чтобы придать нашей прогулке любовный характер. Соня отвернулась. Всхлипывая, заявила, что навеки осквернено все, что должно было начаться сегодня.

— Ты не можешь себе представить, Петя, как я несчастна!

От нервного возбуждения у нее стучали зубы. Ее слезы капали мне на руку.

Я предложил пойти посмотреть, свободна ли наша комната. Соня испугалась. Она ни на минуту не желала оставаться одна. Так и ходили мы по дорожкам, все по тем же дорожкам, кругами, кругами, сам не знаю, сколько времени; разговаривать было скучно, разговор наш бесконечно кружился вокруг одного и того же, и в конце концов все это происшествие стало мне казаться незначительным, а горе Сони — преувеличенным.

Наконец я все-таки уговорил ее вернуться со мной в дом; она дрожала от ужаса и ожидания.

Нас, правда, заметил Филип — заслонив ладонью глаза от света, он удивленно перегнулся через перила лестницы, но я сказал ему, что мы выходили прогуляться при луне, и попросил его никому об этом не говорить.

Невидимого в самом деле уже не было в нашей комнате. Я в бешенстве запер дверь и сказал с притворной веселостью:

— Вот мы и одни!

Но Соня еще не была в этом уверена. Она вела себя как капризная девочка. Волей-неволей пришлось мне отодвинуть ширму перед умывальником, заглянуть в шкаф и даже слазить под кровать. Мне было стыдно делать все это, но Соня топала ногой, плакала:

— У меня голова болит! Ради бога, пожалуйста, прости меня! Сделай мне компресс! Это ужасно! Ты, конечно, понятия не имеешь, что это такое. У тебя никогда не болела голова!

С компрессом на лбу она, не раздеваясь, прилегла на кровать и повернулась лицом к стене, а я стоял над нею и не знал, что делать. Ну и ночка! К счастью, она будет недолгой. Рано утром мы уедем. Ох, скорей бы подальше отсюда!

А наверху то пели, то заводили граммофон. Звенели бокалы. Туда все еще носили из кухни

какие-то блюда. За стеной закашляли. Это могла быть только тетка, тоже удалившаяся на покой.

Вдруг Соня села на кровати. Подняла ко мне мутные глаза. И спросила в какой-то прострации:

— Тебе никогда не приходило в голову, что дядина идея — быть невидимым — в сущности, взята из Библии? Бог вездесущ и всеведущ. Он все время рядом с человеком, все время следит за ним… Петя! Ведь если это так, я хочу прочь из этого мира!

Я подумал, что она бредит, озабоченно потрогал ее лоб. А она, не обращая на это внимания, продолжала:

— Ты только посуди: все время следит за тобой невидимый наблюдатель! В этом учении есть что-то чудовищное. Никогда по-настоящему не быть самим собой, одному, наедине с собой!

Нечто чудовищное было скорей в Сониной фантазии. Я подумал, что она, быть может, заснет в темноте.

— Хочешь, погашу свет? — спросил я.

— Нет, нет! — жалобно вскричала она. — Не гаси, мне будет страшно.

Я сел на стул около кровати. Хороша брачная ночь, ничего не скажешь! Чувствуя всю смехо-

творность положения, я мысленно проклинал все на свете. Но самое тягостное, самое идиотское было еще впереди. Вот уже несколько минут, как там, наверху, словно бы притаились. Потом скрипнула дверь. Они что-то придумали и теперь выполняли свое намерение. По лестнице зашуршали осторожные, неверные шаги. Что же это будет? Соня опять поднялась. Ее глаза лихорадочно расширились.

Ах, ничего особенного, совсем ничего особенного, просто наши друзья задумали сделать нам приятное. Они явились спеть для нас. Спеть серенаду!

Конечно, они не могли знать о незваном госте, посетившем нас, и о несколько поздней ночной прогулке. Не могли они знать, что мы вовсе не лежали в объятиях друг друга, утомленные любовью, улыбаясь виноватыми улыбками, что новобрачная съежилась от внутреннего холода и утопает в слезах, которые не в силах остановить новобрачный, и что этот счастливый супруг задерживает дыхание и старается не скрипеть своими лакированными ботинками, чтобы там, за дверью, не догадались об истинном положении вещей. Они не знали, что Петр Швайцар, торжествующий объект серенады, яростно тере-

бит свои белые перчатки, чтоб не взорваться от возмущения идиотским фарсом, придуманным в его честь.

— «А наш Петя не зевал, в эту ночь он мужем стал! — тихонько затянул импровизатор Донт за дверью. — Сонечка его жена, очень счастлива она...»

И — приглушенный смех.

Но этой фривольной песенкой дело не кончилось. Слишком была она непристойна, следовало загладить впечатление чем-нибудь нежным. И девичьи голоса заглушили ее:

— «Сизая голубка, где ты побывала? Где ты сизы перышки порастеряла?..»

И все это кончилось стихийным, нестройным:

«Доброй ночи!..»

Соня сжимала мне руку и платочком своим, мокрым, как губка, заглушала стоны. Концертанты, откашливаясь, довольные, вернулись к своим бутылкам.

— Ляг, Соня, ляг, — глухим голосом проговорил я. — Они не будут больше петь.

Она послушалась, но прошло еще много времени, пока она заснула, сломленная усталостью.

Остаток ночи я провел на стуле, боясь пошевелиться. Надо бы открыть окно, но я не

решался встать, чтоб не разбудить Соню. Я не мог даже пройтись по комнате, чтоб расправить онемевшее тело. Все думалось мне о недавней бредовой фантазии Сони. Я смотрел во тьму, и мне чудилось, будто из угла за ширмой злорадно ухмыляется развеселившееся провидение.

А шум наверху не утихал. Я представлял себе, как Хайн, наверное, через силу держит открытыми усталые глаза, как он боится, что, если он даст векам опуститься, все сочтут это сигналом отправляться на покой. Я словно воочию видел Феликса — струйка вина течет у него по подбородку — и Макса, чья благовоспитанность закончилась тем, что он уснул, головой на коленях Хеленки. С каким удовольствием выкурил бы я хоть сигару — да нельзя: воздух в комнате и без того был тяжелым.

Наконец задребезжал будильник. Я не отрываясь следил за его стрелками, чтоб придушить его прежде, чем он заорет, — и не уследил. Соня вскинулась; глаза ее были мутны. Грустно посмотрела она на меня:

— Отвернись, Петя, пожалуйста, мне надо переодеться.

Я не возражал. На сегодня я был совершенно излечен от нежной страсти.

В доме царила тишина. Все спали первым сном. Но вот зазвенел другой будильник, он разбудил в кухне разоспавшуюся Анну.

— Только, ради бога, тише! — все твердила Соня. — Как бы кто не вздумал встать вместе с нами!

Она напрасно беспокоилась.

— А глаза? Какие у меня глаза?

Глаза у нее, естественно, выглядели не ахти как, но я с кривой улыбкой принялся уверять ее, что они как раз такие, как у человека, утомленного любовью.

— Мне уже лучше, — краснея, сказала она.

Подъехал автомобиль, шофер стал перетаскивать наш багаж.

Единственный, кто провожал нас, был Хайн. Бедняга, вид у него был изрядно помятый, изо рта несло кислятиной.

— Папочка! Папочка! — красноречиво вздыхала Соня.

Он был настолько деликатен и сдержан, что не спросил, хорошо ли мы выспались.

8
ФИТИЛЬ ПОДОЖЖЕН

Дрезден сделал нас любовниками. В Лейпциге мы стали супругами.

Столько уже наговорено и написано о блаженстве свадебных путешествий, о счастье медовых месяцев, что всякий сколько-нибудь разумный человек, отправляющийся в путь за фата-морганой, готовится к разочарованиям. Что же сказать обо мне! Я и не мечтал о счастье, ибо не был очарован. И не мог разочароваться, потому что ничего не ждал. У меня даже не было больше причин разыгрывать какую-то комедию. Своей цели я достиг. И мог теперь спокойно отдохнуть от трудов самоотречения. Раздосадованный свадебным фарсом, я был склонен скорее к суровой прямолинейности, чем к снисходительным улыбкам. К вздыхающей, заплаканной девице, сидевшей рядом со мной в купе, я испытывал больше отвращения, чем сострадания. И все же время, проведенное нами в чужой стране, словно чудом, оказалось *приятным*.

Я выражаюсь осторожно, стесняясь употреб-

лять напыщенные слова. Но если бы я захотел, то мог бы рассказать куда затейливее. Я, кажется, уже упоминал о том, что никогда не знал никаких наслаждений. Быть может, именно поэтому я поддался чувству новизны, обнаружив, что обладаю приятной, готовой к любовным утехам, женщиной. Нежное, покорное девичье тело, которое я познавал, которым овладевал, привкус блаженства, чей источник где-то вне человека, неистовая страстность крови — произнесем наконец слово *любовь* — ибо разве важно, что кроется под этой маской? Другие, до меня, рассказали об этом в сто раз лучше. Было бы смешно, если б именно я стал вдруг придумывать новые выражения и воспевать это состояние. Оставим это. Надеюсь, меня и так поняли. Кати была далеко. Невидимый был далеко. Все ходульное, мещанское, смешное, что так угнетало нас в доме Хайна, мы оставили позади. Мы были одни. Мы могли позволить себе роскошь бездумной влюбленности. Нужно ли стыдиться простого человеческого признания? Счастлив? — Что ж, пусть так: Петр Швайцар — быть может — был счастлив любовью своей жены.

В туристском костюме, который я надел впервые в жизни, я казался себе безмерно могучим и

сильным. Удивительное дело, как преобразует человека хорошая одежда. В парках благоухали кусты, мраморные статуи светились среди зелени. Мы гуляли по зоологическому саду. Бродили в живом лабиринте подстриженных деревьев в японском саду саксонских королей, сидели на ступеньках причала, глядя на мирно колышущуюся гладь Эльбы. Из птичьего заповедника к нам долетал щебет и пенье птиц, сливающиеся в неописуемо звенящий сумбур. По канатной дороге мы поднялись высоко над городом и, перегибаясь через перила, любовались панорамой крыш, утопавших в зелени у наших ног.

Я не так восторгался картинной галереей, как Соня, но готов был разделять ее радость. Далекий от того, чтобы заинтересоваться фарфоровыми шедеврами, я все же с удовольствием сопровождал ее по выставкам и не жаловался на скуку. Весеннее солнце сияло чуть ли не сиянием любви — я был пронизан его лучами. Вечером, в гостинице, за мирным, интимным ужином мы читали в глазах друг у друга волнующее предвкушение ночи. Мы ласкали друг друга взглядами, словно бесплотными руками. Ночь переходила в день, день переливался в ночь. Сильный мужчина — в сущности, богатырь. Я гордился своей бо-

гатырской любовью. Я наслаждался душевным равновесием. Внутренняя удовлетворенность рождала добрые намерения.

Я говорил себе: все серое, все невыразительное — позади. Небо прояснилось. Я не вернусь более к своей угрюмой замкнутости. Соня хорошенькая, и она любит меня. Она сделала меня тем, кем я никогда не стал бы без нее. Нужно выказать ей хоть простую человеческую благодарность. Это вовсе не трудно — я справлялся с задачами и потруднее. Непростительной глупостью с моей стороны было бы снова опьянять себя голодными мечтами о Кати. Я ведь не из тех, кто пьет из всех источников. Разум свой, который до сих пор вооружал меня против Сони, я обращу против этого *искушения*. Вот в чем будет заключаться моя борьба на будущее. И дело моего самолюбия — не потерпеть поражения в этой борьбе. Хайн хороший человек. С ним легко поддерживать добрые отношения. И не такая уж у меня мятежная натура, чтоб без конца воевать против посредственности. Посредственность — не более чем середина, а мне ничего иного и не требуется, как именно такая спокойная середина. Всякий раз, как во мне взыграет язвительная насмешка над мещанством — я ее заглушу. Хороший укро-

титель властвует над своими хищниками. Чего я когда-то мечтал добиться? Богатства. Власти, которую дает богатство. Все это теперь я могу иметь. Отчасти уже и имею. Чего же еще? — Спокойного, добродетельного супружества, детей, которым я мог бы передать все, чего добьюсь своим усердием…

Невидимый, это смешное, жалкое создание, не стоит даже того, чтобы брать его в расчет.

— Чему ты улыбаешься? — спрашивала Соня.

— Нашему будущему, — совершенно серьезно отвечал я.

И она верила, потому что я доверял ей. Я понял, как часто ей до сих пор не хватало моего доверия.

Мы прожили в Дрездене дольше, чем предполагали. Нам не хотелось уезжать. Словно наш душевный покой зависел от определенного места. Но в один прекрасный день пошел дождь. И тогда мы решились отправиться в Лейпциг.

Инженер Якоб Крассль-младший, главный директор химического комбината «Мюльде, Крассль и К°», оказался весьма приятным евреем с английскими усиками и сросшимися бровями. Он охотно согласился ответить на все мои вопросы, показать мне все, что я хотел видеть, и был

галантен с Соней. Он проводил с нами все вечера в гостинице. За Соней он ухаживал, скорее просто чтоб доставить ей удовольствие, чем чтобы соблазнить ее. А она при нем демонстративно выказывала свою любовь ко мне. Она гордилась мной и слагала к моим ногам дар своей радостной верности.

Соня той спокойной, зрелой недели в Лейпциге! Как сейчас вижу ее в мокром непромокаемом плаще, с букетиком фиалок — я не забывал преподносить их ей каждое утро, — с букетиком фиалок, пришпиленным к тому месту, где билось ее сердце… Тоненькая, маленькая, трогательно-степенная… В глазах, окруженных синеватыми кругами, — познание… Вечерами она надевала легкие платья с глубоким вырезом, серьезно и с сознанием ответственности обдумывала меню. Перед нами играет в бокалах вино. Мы с Красслем, развалившись в креслах, курим сигары, улыбаемся друг другу, рассеянно прислушиваясь к музыке, доносящейся из ресторана. С ударом десятого часа Крассль откланивается. Мы с Соней еще беседуем некоторое время — мирно, негромко. Я встаю первый — с красноречивым приглашением во взоре. Соня торопливо собирает с плюшевого кресла свою вязаную шаль,

книгу, цветы…

Я описываю все это только для того, чтобы показать, как было тогда — и как, вероятно, могло быть и дальше.

На север мы не поехали, пренебрегли Хельголандом и всем прочим, что еще думали посмотреть. Это было не нужно. Нам хватало и того, чего мы достигли.

Отпуск подходил к концу, и Соня уже, как маленькая, радовалась скорому возвращению домой.

Снова сидим мы в поезде, Соня сжимает мою руку и выкрикивает названия станций, как школьница, возвращающаяся домой на каникулы. Под вечер вдали вырисовались очертания чешских гор.

Мы пересели на местный поезд. Еще немного — и вот уже на станции ликующей фанфарой встречает нас клаксон шофера Иозефа. На Соню стоило посмотреть. Я добродушно улыбался. Меня захватила ее непосредственность.

Старый Хайн прятался в машине, желая преподнести нам этакий рождественский сюрприз. Соня, еще на перроне, разочарованно протянула:

— А папа не приехал?

И почти печально побрела к автомобилю. Тут-

то он и выскочил ей навстречу.

— Папа! Папочка! Вот мы и приехали!

На мою долю тоже достались два неблаговонных щетинистых поцелуя.

— Скорей! Скорей! — подгоняла Соня шофера.

Мы промчались мимо завода, Соня вскрикивала от радости, разглядев в свете фар кого-нибудь знакомого. Она едва не выпрыгнула на ходу, увидев Филипа, который, заложив руки за спину, топтался у ворот, поджидая нас. На лестнице блеснула лысина Невидимого. Я думал, Соня и ему бросится на шею.

Хочешь — не хочешь, а первым долгом пришлось показаться тетке, но Соня даже не присела в ее комнате, да и сам Хайн проявлял значительное нетерпение: он не мог дождаться того момента, когда покажет дочери ее новую квартиру. Старуха будто не понимала этого. Она, пожалуй, нарочно затягивала аудиенцию, задавая бесчисленные ненужные вопросы. Она вращала глазами, говорила патетически дрожащим голосом, постукивала своей клюкой. Лампа в ее комнате, как всегда, горела тускло. Словно мы на пути к солнцу сделали привал в каком-то угрюмом, гнетущем краю. Бант на клюке висел мертвой бабочкой.

Наконец нас отпустили.

— Ступай теперь, девонька, погляди на свое гнездышко, — благосклонно изрекла старуха.

Поднимаясь по лестнице, Хайн признался, что и он уже начал терять терпение.

— Раз она видела, — а ведь видела же! — как девочке хочется поскорей в новое жилище, зачем было задерживать вас? — И добавил с философской усмешкой: — Видно, старею я. Слишком поддаюсь впечатлениям. Даже питаю какое-то пристрастие к волнующим сценам… Да что ж, хочется видеть вокруг себя побольше радости!

Я думал, что в нашу заново отделанную квартиру Соня влетит стрелой — ничуть не бывало, она остановилась перед дверью, заколебалась. Ей хотелось испытать радость постепенных открытий. И она не знала, с какого помещения эти открытия начать. Наконец решила — с кухни. Самое же прекрасное оставила под конец.

Должен признать, — за время нашего отсутствия здесь сделали, что могли. Отец, видимо, только и думал в эти недели, чем бы пополнить хозяйство дочери. Все так и сверкало, все было на своем месте. Соня переходила от предмета к предмету, и глаза ее наполнялись слезами.

— Но где же Кати? — удивилась она, не видя

девушки.

Ей не ответили.

Оказалось, что Кати — разумеется, против ее воли — заставили сыграть глупую комедию. Когда Соня открыла дверь в гостиную, мы увидели Кати — густо покраснев, она стояла посреди комнаты, в белом накрахмаленном фартучке, в белоснежной наколке, с метелкой для сметания пыли в руке.

Я смущенно покашлял, чтоб подавить гнев, поднимающийся к горлу. С меня разом соскочило все то добродушное и снисходительное, переполнявшее меня до этого момента. *Обыватели!* Я мысленно просил прощения у девушки, которую как бы дарили нам вместе с мебелью и одели в униформу горничной для встречи повелительницы… Напрасно Соня радостно кинулась обнимать ее — неприятное впечатление ничем нельзя было изгладить. Тут-то я и почувствовал, что я снова *дома*.

Словно кто-то холодными, равнодушными руками стащил с меня праздничные одежды. Рассеялось волшебство доверия, волшебство влюбленности. Я стоял голый, и мне было стыдно.

Генеральный смотр Соня завершила в своей девичьей комнате. Торопливо стала сбрасывать с

себя дорожный костюм. Хайн, словно забыв, что мы с Соней уже муж и жена, деликатно вывел меня в коридор.

— Когда Соня отдохнет, когда она переварит радость новизны, пройдется еще разок по квартире и все оценит — приходите, прошу вас, ко мне, ведь у меня, как вы знаете, тоже новоселье.

Бедняга, он был растроган. Голос у него дрожал. Старый человек вроде кошки — не любит расставаться с местом, где прожил большую часть жизни, все равно, счастливо или нет.

Хотя было уже довольно поздно, в нижней кухне шипел пар и булькало что-то в кастрюльках. Готовился торжественный ужин в честь нашего возвращения. Анна поднялась к нам, чтобы пожать руку молодой госпоже. Начала она с поздравлений, а кончила, разумеется, слезами. Соня вышла к ней в коридор еще полуодетой. Зажав зубами какую-то шпильку, она протянула кухарке обнаженную до плеча руку. Я снова ощутил вожделение к этой нежной руке, к высокой, полуоткрытой груди…

— Сегодня вы еще ужинаете у нас, из моей кухни! — гордо сказала Анна. — Это уж напоследок… — И опять прослезилась.

Мимо пробежала Кати, напевая какую-то за-

дорную песенку. Я заметил — она уже сняла маскарадный костюм, и ее рыжие кудри, ничем не обуздываемые, рассыпались по плечам. Грудь вызывающе подрагивала под легкой блузкой… А фартучек свой она держала в руке. Да что же это! — сказал я себе, чувствуя, как забилось мое сердце, радостными ударами заглушая помыслы о нежных ручках жены. От моих благоразумных намерений не осталось и следа. Я проглотил горячую слюну. Оглянулся. Для того только, чтобы проводить жадным взглядом эту насмешницу, с песенкой сбегавшую по лестнице.

В конце июня, дней через десять после возвращения из свадебного путешествия, мне удалось составить образец нового, с отдушкой, мыла. Хайн пригласил для обсуждения Хольцкнехта и Чермака. Хольцкнехт давил обломки застывшей массы в своих мужицких пальцах с грязными ногтями и одобрительно что-то бурчал. Хайн, подняв на лоб очки, сосредоточенно следил за ним. Чермак нюхал состав, растерев его в ладонях.

— Пахнет хорошо, — заметил он, отдавая мне должное; с лица его не сходила приятная, светская улыбка.

Все согласились, что масса имеет хорошую вязкость.

— Какой дадим цвет? — спросил Хайн.

Хольцкнехт высказался за белый, но в конце концов мы остановились на терракотовом. Тогда терракотовый был в моде. А форма?

— Какая угодно, только без острых граней, — настаивал Чермак.

Потом они с Хольцкнехтом ушли, а Хайн все еще перебирал обломки массы в стеклянной миске. Он прямо по-детски радовался тому, что я впервые предложил нечто новое и что оно было всеми одобрено. Едва мы с ним остались одни, с его лица исчезло строгое выражение беспристрастного шефа и он начал откровенно льстить мне.

Не скажу, чтобы эта лесть оставляла меня равнодушным. То было мое первое более или менее серьезное испытание, и оно завершилось победой. Я хоть и притворялся, будто слова Хайна мне безразличны, но в душе был безмерно счастлив. Я был до того счастлив, что просто жаждал сделать счастливыми и других.

Я, собственно, задумал преподнести сюрприз Хайну, и мне это удалось. Я долго готовил его и долго хранил в тайне. Мне уже не терпелось добиться подобного триумфа. Получить в свои руки завод и деньги с помощью женитьбы, чтоб затем

так и торчать на протекционной высоте, — это не для такого человека, как я. Людям, воображавшим себя морально выше меня, я хотел показать, что они ошиблись, я не тот, за кого они меня принимают, я тоже на кое-что способен и имею право руководить ими не только благодаря моему положению будущего владельца предприятия.

— Что вы будете делать теперь? — спросил Хайн, когда я двинулся к двери, оставив драгоценный состав в его распоряжении.

— Теперь, — напыщенно ответил я с весьма благосклонной улыбкой, — теперь я примусь за новую работу.

Конечно, это была чистая ложь, мне и в голову не приходило заниматься в тот день чем-либо еще. Я слишком был полон блаженного чувства торжества. Когда я доволен, то имею привычку насвистывать, хотя, в общем, не люблю свист. И вот я ходил по своему кабинету и насвистывал, поминутно поглядывая на часы. Мне ужасно хотелось разделить с кем-нибудь радость, переливавшуюся через край. Но с кем? — С Соней! Под конец я не выдержал. Уже в половине шестого позвонил насчет машины, взял свою трость с набалдашником в виде собачьей головы, и величественно спустился вниз.

Машину я остановил, не доезжая до виллы, и, велев шоферу вернуться на завод, прошел пешком остаток пути. Мне хотелось шалить. Хотелось сыграть маленькую милую супружескую шуточку. Я ведь был так счастлив! Осторожно отпер я калитку своим ключом, прокрался к подъезду, минуя дорожку, за кустами. То-то удивится Соня! Когда это я еще так рано возвращался с работы? Войдя в холл, я услышал мерные глухие удары — Кати в нашей кухне наверху готовила к ужину отбивные. Она отбивала их весьма энергично и при этом напевала. Тем лучше, подумал я, Соня не услышит, как скрипнет дверь!

Я приложил ухо к двери в Сонину комнату. Там было тихо. Зато из спальни доносился шорох какой-то ткани. Я осторожно отворил дверь в гостиную, смежную со спальней, — тихо, совсем тихо, — но закрыть ее за собой не решился, боясь произвести шум. И пошел на цыпочках к приоткрытой двери спальни. В щелку я разглядел, как на фоне окна промелькнула тень.

Медленно, одним пальцем стал я нажимать на дверь, и она раскрывалась все шире и шире. Соня, в одной комбинации и трусиках, стояла перед зеркалом. Наклонив голову, зашивала что-то на платье, переброшенном через левый

локоть. Пятки вместе, носки врозь, стояла она там, как маленький милый солдатик. Шелковые чулки обтягивали красивую линию икр. Выше чулок сверкала белая, гладкая кожа. Сомнения нет, высокие каблуки придают женской фигуре невероятную привлекательность. Я нацелился прямо на ложбинку под затылком, где под шапкой взбитых почти черных волос курчавился легкий пушок.

Шаг — еще шаг — скрипнула половица, Соня быстро обернулась, наши взгляды встретились. Мгновенно платье брошено на пол вместе с иголкой и ниткой, губы растянулись в улыбке, и Соня произвела акробатический номер: гибким прутиком прогнулась назад, вскинула руки, повернулась всем телом — и вот я уже в плену, ее руки обвиваются вокруг моей шеи.

Соня была не особенно изобретательной, не слишком оригинальной. Она любила повторять любовные сцены, когда-то понравившиеся ей. Так, например, она не забывала того урока, который я преподал ей в моем холостяцком жилище. По неизвестным причинам она раз и навсегда решила, что те ласки были особенно пикантны и возбуждающи. И старалась создавать такие ситуации, при которых повторялась бы та, давняя

сцена, — с небольшими вариациями, скажем, отвечающими супружеским отношениям.

Я был так доволен в тот день! Просто пьян от радости. Ни за что на свете не стал бы я портить игру, тем более что игра-то была к тому же очень приятной. Соня вперила глаза мне в глаза, и взгляд ее говорил, прямо молил: занимайся мной! Одной только мной занимайся, сколько захочешь! Соня даже не спросила, почему я сегодня так рано. Ей в голову не приходили никакие вопросы, а собственно их-то я и предвкушал с особенной радостью.

Я несколько раз поцеловал ее в губы; лицо ее вспыхнуло, губы вздрагивали и жглись, на виске ее лихорадочно забилась маленькая предательская жилка. Помню — на лбу ее горел отблеск закатного солнца. Старый Паржик колдовал над чем-то в своем парнике, бросая в глаза нам слепящие зайчики. Кати в кухне упорно отбивала котлеты. В этих ударах было что-то первобытное, что пробуждало вожделение. Инстинкт еды, женщина в объятиях — все тут было, даже душный сумрак спальни. Я отстегнул пуговички на обеих бретельках — в точности как тогда, год назад (Соня томным взглядом следила за моими движениями), медленно стянул тонкую ткань с

напруженных грудей, стал поглаживать ей бока, начиная от влажных завитков волос под мышками. Жестокими поцелуями покрыл хрупкие, жаждущие ласки, плечики.

И вдруг почувствовал, что объятие Сони слабеет, остывает, руки ее замерли. Неприятное, совершенно неожиданное ощущение. Соня издала полувздох-полустон. Я поднял голову, как человек, проснувшийся от крепкого сна. На один миг, на какую-нибудь долю секунды, до того, как Соня с силой, чуть ли не с яростью вырвалась из моих рук, подобрала с полу платье и накинула его на себя, спасаясь за шкаф в углу, который мог скрыть ее только частично, — на один миг увидел я в зеркале, рядом с отражением наших разгоряченных лиц, еще третье — отвратительное, с разинутым ртом, липкое лицо сумасшедшего дядюшки Кирилла.

Он проник к нам через дверь, которую я оставил открытой. Было слишком очевидно, как подействовало на него отражение в зеркале полуобнаженной Сони, с какими ощущениями наблюдал он за нашими ласками. Первым долгом я сделал то, чего не решился сделать в брачную ночь, не желая привлекать внимание гостей: я схватил отупевшего от возбуждения и любостра-

стия толстяка, буквально вынес его через обе комнаты в коридор и захлопнул дверь перед его носом. После этого довольно долго оттуда доносилось его недовольное, обиженное поскуливание, похожее на то, какое издает оскорбленный пес. Совершив сей героический акт, от которого я несколько запыхался, я вернулся к Соне.

Она торопливо одевалась, но пальцы ее тряслись, ткань платья цеплялась за всякие крючки и пуговки, с треском рвался шелк. Соня была словно в лихорадке. Скорей, скорей одеться! И она немилосердно рвала то, что ей сопротивлялось, и яростно шипела на задержки.

— Что ты, Соня? — добродушно заговорил я. — Вовсе не надо так спешить!

Устроив на своем лице очаровательные ямочки, я подошел к ней, чтоб помешать ей одеваться, что казалось мне сейчас совершенно неподходящим делом.

— Нет, нет, оставь меня! — отозвалась она дрожащим голосом и чуть не плача.

Тут только я понял, что мой приятный, счастливый, знаменательный день испорчен, а сам я нахожусь в обществе нервной, расстроенной особы, у которой, по-видимому, не замедлит адски разболеться голова.

— Ай-ай, — хмуро выговорил я, — ты опять плачешь?

Она еще не плакала, но словно ждала только моей команды: слезы хлынули градом.

— Все, все мне отравляют! — горестно воскликнула она. — Видел ты его гнусные выпученные глаза? Никогда я теперь не смогу поглядеться в зеркало, чтоб не увидеть рядом с собой эти идиотские, восхищенные глаза! Меня мутит, как представлю себе… Петя! Я больше никогда не стану раздеваться при тебе! Раньше это не казалось мне дурным и я не стыдилась, а теперь стыжусь!

Я попытался внушить ей компромиссную точку зрения: да, это неприятно, но не так уж все страшно, как она представляет. Во всяком случае, нам урок: впредь будем запираться. Однако эти слова послужили ей прекрасной новой темой: запираются-де только люди, которые делают что-то дурное! Она размазала слезы по лицу, лицо ее скривилось и покраснело, как личико ревущего ребенка.

Успокоить ее не было никакой возможности. О том, чтобы уговорить ее выйти погулять, и думать было нечего.

— Не выйду ни за что! Он подстерегает меня за дверью! А я не могу его сейчас видеть, лучше

мне умереть! Петя, я вообще не хочу его видеть. Устрой так, чтоб я никогда его не видела! Стоит ему меня увидеть, как он сразу вспомнит, какая я была в зеркале!

Мне все это начало надоедать. Вот комедия из пустяков! Сумасшедший прокрался к нам, его вышвырнули — и все дело. Откуда вдруг такая безмерная стыдливость? Н-да, мой «сюрприз» удался на славу…

— Знаешь что, Соня, — холодно проговорил я, — если ты думаешь, что тебе тяжело будет встречаться с дядей, придется сказать об этом отцу. Он один может тут что-нибудь сделать.

Соня, разумеется, тотчас возразила, что папе нельзя ничего говорить. Точно так же заклинала она меня не рассказывать о приятной брачной ночи. Не надо, мол, волновать папу такими отвратительными инцидентами.

Вскипев, я заявил, что если сочту нужным открыть все Хайну, то и спрашивать не стану, нравится ей это или нет.

— Этого ты не сделаешь! Нет, этого ты не сделаешь! — воскликнула Соня, лицо ее вспыхнуло. — Я никогда тебе не прощу, если ты посмеешь!

Так началась наша первая семейная ссора. Меня поразила злоба в ее глазах, ее непривычные

жесты и особый, режущий оттенок голоса. Она накинулась на меня без всяких оснований, без логики. Я чувствовал, как опускаются уголки моих губ и каменеет лицо.

— Ты не должен был так грубо обращаться с ним, он папин брат!

Конечно, это было смешно, но меня это возмутило.

— Ты сам во всем виноват, зачем не закрыл дверь? Прекрасное зрелище не только для него — и Филип мог нас видеть, и Анна или Паржик!

Мне противна была сама мысль о том, что теперь надо утешать ее, объясняться, влезть в медвежью шкуру этакого удрученного и перепуганного добряка мужа. Мне было стыдно. Кати в кухне, вероятно, все отлично слышала.

— И я все платье порвала! Я похожа на огородное пугало! И что тебе в голову взбрело прокрадываться, как вор?!

Я взял шляпу, покачал на руке свою трость с собачьей головой и с достоинством пошел к двери.

— И ты уходишь? — ужаснулась Соня, захлебываясь слезами. — Ты теперь уходишь?..

Я не стал далее слушать. Вышел на обычную вечернюю прогулку. Я шагал легко и улыбался. У меня было такое чувство, словно я что-то сбросил

с себя — что-то, что мне тяжело было нести. Я сбросил притворство. Отныне мне не надо больше являть Соне стереотипно приветливое лицо. Мой торжественный день испорчен — и все-таки в этом происшествии есть нечто хорошее!

Вот как — стало быть, и мы в нашем счастливом хайновском семействе можем ссориться! А я-то, дурак, воображал, что в этом доме мне придется скрывать свою хищную швайцаровскую натуру, как волка в плохо зашитой овечьей шкуре! Слава богу, значит, можно время от времени снимать эту шкуру и расправлять члены. Я быстро шагал, сшибая тростью головки одуванчиков и осоки. Солнце стояло уже низко, оно покачивалось в туманных пеленах, красное и пузатое. В пруду у дороги квакали лягушки.

Я не спешил возвращаться. Знал — дома ждет меня ужин в одиночестве, а в постели жена с обвязанной головой, упреки, усталость, снова слезы, снова разбор ссоры, раскаяние и клятвы на будущее — а под конец безрадостные, как труд каторжника, супружеские ласки.

Приехав к обеду на другой день, я нашел Соню в спальне; очень бледная, очень спокойная, она сидела на оттоманке, покусывая мизинец. Была у нее такая некрасивая привычка — кусать мизи-

нец, когда она о чем-нибудь напряженно думает.

— Петя, — тихо заговорила она (на сей раз без сцен и упреков), когда я подошел к ней с немым вопросом во взоре, — Петя, я не знаю, что мне делать. Понимаешь, куда я ни двинусь, всюду тенью тащится за мной дядя. Вот я выходила ненадолго в сад, так мне пришлось держаться возле самого дома, я боялась удалиться из поля зрения Паржика — дядя не спускал с меня глаз. По лестнице я бежала чуть ли не бегом, а он за мной, на цыпочках, огромными скачками, такой страшный, неотступный, он взмахивал руками, как ластами, и сопел… Потом забился в угол за дверью спальни — подстерегал меня… Я спустилась к папе, еще тетя удивилась, — что мне там понадобилось в такое неурочное время. А я просто хотела спрятаться от него. Но он все равно ждал… Повторилось то же, что и наверху. Такая мерзость! Я просто несчастна. И не знаю, что делать.

Голос ее был глухой, усталый.

— Ну, ходит, и пускай себе! — совершенно равнодушно отозвался я. Мне не хотелось разогревать вчерашнюю историю.

— Послушай, — сказала Соня, ничуть не обидевшись на мое безразличие. — Ты видишь, я

благоразумна. Не плачу, не злюсь. Будь ко мне добрее. Ты ведь еще не знаешь, в чем суть. Быть может, я плохо объяснила, но по меньшей мере ужасно противно уже одно то, когда за тобой ходит по пятам человек, которого ты не выносишь, но не можешь прогнать. Видел бы ты, какими глазами он на меня смотрит! Как голодный пес. Я этот взгляд прекрасно понимаю. И ты не разубедишь меня! Он не забыл того, что видел вчера. Когда я в третий раз убегала от него по лестнице, у меня закружилась голова, я почти потеряла сознание. Как подумаю, что я и в самом деле могла лишиться чувств! Что бы он со мной сделал, если б я упала? Со мной такого еще никогда не бывало, но теперь я боюсь, что это, того и гляди, случится… Ведь опасность предчувствуешь, правда? А мне было как перед настоящей опасностью. Не смейся надо мной. Тебе легко улыбаться, ты мужчина, и ты сильный. И не думай, что я преувеличиваю. Впрочем, не веришь — спроси Кати, ей тоже не до шуток.

Я задумался. Старался разобраться в бессмысленном хаосе Сониных страхов и выдумок, которыми она опутывала меня. Невидимый прилип к ней. Ничего, отлепится…

— Ну что ж, — отозвался я с неопределенным

выражением, — устройся так, чтоб тебе какое-то время не выходить. Это можно сделать. День-другой… Он и забудет.

— Да, я понимаю тебя и хочу послушаться, — порывисто перебила меня Соня, — но подумай, как это угнетает… Сегодня он битых два часа проторчал за дверью. Я словно в осаде… И мне так ужасно было слышать, как он топчется за порогом… Я совсем извелась. Все у меня валилось из рук и было как-то странно не по себе, я не могла удержаться от слез. Ему так хочется проникнуть сюда! Когда мы с Кати открываем дверь, мы сначала хорошенько осматриваемся, но нельзя же без конца ходить по дому с оглядкой! Потом Кати ушла, ей надо было за покупками и в кухню, и я осталась совсем одна. Если бы ты только знал, сердце у меня бешено колотилось, когда я слышала, как он бурчит что-то за дверью, а ведь, кроме этого, в доме не было ни звука! Я боялась дышать… Дверь казалась мне такой тонкой и прозрачной… И будто где-то есть какое-то отверстие, которое я забыла заткнуть. Ты говоришь, он забудет — а если нет? Я не хотела, чтоб ты рассказывал папе. Заупрямилась… Но теперь я согласна на все, что ты решишь. Мне уже совсем все равно, можешь рассказать ему хоть во всех подробностях!

— Что вы на это скажете, Кати? — спросил я, входя в кухню. Я все еще был в шляпе и с тростью.

Кати повернула ко мне свое лицо — лицо фавна.

— Тссс! Тссс! — она приложила палец к губам, усмехнулась, как дьяволенок. — Мы должны быть серьезны! Не смейтесь! Я вот посмеялась, и мне влетело. Теперь делаю вид, будто ужасно близко принимаю к сердцу… Иначе нельзя. Бедненькая Соня, перепугана вконец! Вы бы постарались развлечь ее!

— Кати, — возразил я, — о том, чтобы ее развлечь, должны позаботиться вы, меня ведь целый день нет дома. Да я и не умею так развлекать, как вы.

— Ох, — вздохнула она, — у меня тоже не очень-то получается. Пыталась я внушить Соне, что Невидимый вовсе не сто́ит того, чтоб его хоть капельку бояться, а она заткнула уши, едва я назвала его имя. Начну говорить о другом — не слушает, сама включает в программу дядюшку… Все время одно и то же: «Кати, слышишь? Он все еще там… Ах, Кати, он будет стоять там до второго пришествия!»

— Соня, — начал я за обедом недовольным

тоном, — не сердись, пожалуйста, но с тобой трудно договориться. Сама себе выдумываешь мучения и настраиваешься против всякого, кто хочет избавить тебя от них. Ведь вот если я сейчас скажу, что во всем, о чем ты мне недавно рассказала, нет ничего существенного, что все это по большей части плод твоей фантазии — ты, вероятно, начнешь плакать, будто я развенчиваю какую-то прекрасную твою мечту. Что же мне делать? Поддакивать тебе, вместе с тобой пугаться каждого шороха за дверью? Господи, ну и пусть себе торчит там, если ему это нравится, что тут такого? Даже если он проберется к тебе — он ведь старый, толстый, неуклюжий, Кати всегда с ним справится! Знаешь что? Садись-ка ты после обеда в гостиной с книгой. Читай и не думай ни о каких глупостях. Я договорился с Кати, она не отойдет от тебя ни на шаг. До вечера тебе охрана обеспечена, а там и я приду. Постараюсь вернуться пораньше. Ну, ты довольна?

Она посмотрела на меня с отчаянием во взгляде и не сказала ни слова. Она была вконец разочарована тем, что я не воспользовался ее милостивым разрешением, не созвал семейный совет, не принял бог весть какие торжественные — и ненужные — меры и, следовательно, не выставил

себя с ней вместе в смешном виде.

Но вечером, возвращаясь домой, я столкнулся на лестнице с дядюшкой Кириллом. Он сверкнул на меня злым взглядом — видно, вспомнил свое вчерашнее изгнание. Ах ты шельма, — подумал я, — ты у меня хочешь путаться под ногами? Я разозлился. Наверняка опять торчал у наших дверей… В сущности, он — единственная причина моих неприятностей. Он нарушает мой домашний покой. До сих пор я относился к нему довольно терпимо, но теперь терпение мое начало иссякать.

Он тащился за мной по пятам. Я, конечно, не побежал от него, как Соня. Отпирая дверь на нашу половину, я слышал за спиной его неровное дыхание. Так и есть! Он вообразил, что сможет проскользнуть внутрь вместе со мной… Меня охватило веселое злорадство. Ах ты чучело, хочешь и себе кусочек урвать? Я медленно поворачивал ключ, а отперев, отступил в сторону и резко распахнул дверь. Дверь довольно сильно стукнула дядюшку по лбу — он даже зашатался! Схватился за голову обеими руками, а я, торжествуя, вошел к себе, не оглянувшись. Хо-хо, оказывается, есть свои недостатки и у невидимости!

— Он опять там! — встретила меня Соня, поднимая голову от книги, которую послушно держала на коленях. Под глазами у нее были темные круги. — Я знаю. Он все время там.

Рядом с ней сидела Кати, похожая на добрую бабушку, которая читает деточке сказочку, чтоб деточке не было страшно.

Вечером, укладываясь в постель, мы услышали в коридоре тихое шарканье. Чье-то ухо прижалось к двери, чьи-то пальцы отодвинули язычок на замочной скважине.

— О господи! — в ужасе прошептала Соня. — Гаси скорей!

Приложив ладони к пылающим щекам, она, не отрываясь, широко раскрытыми глазами, смотрела на дверь.

— Да не обращай ты внимания, прошу тебя, уйдет он! — ответил я почти грубо.

Он правда ушел, но сначала долго топтался за дверью. Соня не могла заснуть. То и дело садилась в кровати, смотрела на дверь. Часы тикали, ночь проходила. Соня твердила, что он там, когда его давно уже не было.

— Слышишь?..

Конечно, это была слуховая галлюцинация. Напрасно накрывалась Соня одеялом с головой.

Напрасно старалась заглушить свою тревогу, разговаривая со мной.

Я рассердился. Так рассердился, как не сердился еще никогда в этом сентиментальном доме.

— Ты что, не знаешь, что я целый день работаю как вол, не совестно тебе будить меня ночью из-за пустых фантазий? Эгоистка ты, и трусливая притом! А трусы достойны презрения…

Теперь она зарыдала от оскорблений, которыми я ее осыпал. Я стал просить ее не принимать мои слова так близко к сердцу, они сорвались у меня в приливе гнева… Рыдания усилились.

— Петя, я не плачу, это просто какая-то судорога, ты не сердись!

Руки ее сжимались и разжимались, это было отвратительно. Уснул я уже под утро. Когда уснула она, не могу сказать. Я-то убаюкал себя проклятиями. Мысленно поносил архитектора, построившего этот дом. Изрядной долей своих неприятностей я был обязан только его идиотской идее вывести все комнаты в общий холл…

Первыми моими словами, с которыми я на другое утро обратился к Хайну, были:

— Сударь, у нас с Соней неприятности.

И я рассказал ему о сцене перед зеркалом, о дне, полном вздохов, и о веселенькой ночи. У меня

перекипело через край. Я не имел в виду жаловаться или спрашивать совета у старика, я думал так: прими-ка и ты в этом немножко участия! С какой стати мне одному отдуваться? Поди утешь свою плаксу доченьку! Ведь это твой родной брат отравляет нам самое начало семейной жизни!

Меня поразило, с каким раздражением Хайн выслушал меня, и то, как он на меня же накинулся:

— Вот как? Таково-то ваше «доброе утро»! Ну, разодолжили! Неужели нельзя поделикатнее? Или вы малые дети, что вам все время нужно напоминать, что в доме живет больной человек, к которому надо отнестись снисходительно? И что, собственно, вы от меня хотите? Что я тут могу поделать?

Я чопорно ответил, что вполне сознаю свою ошибку. Однако нельзя держать под колпаком двух человек. Любовь нуждается в известном просторе. И под конец я выложил ему, как мы провели нашу первую брачную ночь.

— Вот это новости! — пробормотал Хайн, уныло покачивая головой; он уже совсем присмирел.

Я описал ему Сонин ужас и сказал, что посоветовал ей не показываться несколько дней из комнат. Хайн с облегчением одобрил такое распо-

ряжение. Вот и все, на что он оказался способен. Ладно! По крайней мере, я отплатил ему за дерзость, заставил призадуматься. Не скоро забудет!

И действительно, до самого обеда он шагал по своему кабинету из угла в угол. К делам он, несомненно, не притронулся. А когда мы вместе с ним приехали домой обедать, то встретили у входа сумасшедшего — с огромной фиолетовой шишкой на лбу. Хайн покосился на меня, но расспрашивать не посмел. Едва мы с Соней кончили обедать, он поднялся к нам.

— Ну, как? — еще с порога улыбнулся он дочери. — Что наша история с поцелуями? Не собираетесь ли вскоре дать новое представление? Ничего, урок был на славу, могу себе представить! А как сегодня? Лучше, правда? Это у него скоро пройдет. Ведь он просто несчастное создание, Соня, надо ему прощать!

— Да, папочка, он ведет себя уже лучше, — вспыхнув от стыда, солгала Соня.

Однако, расспросив о подробностях, Хайн убедился, что, в сущности, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Соня, как мы и задумали, совсем не выходила, Кати по возможности сидела с ней. Невидимый стойко торчал за дверью. Даже пробовал подергать ручку двери — заперто ли.

— К счастью, мы были к этому готовы, — заявила Соня с каким-то торжествующим оттенком в голосе.

— Вот как? — упавшим голосом заметил Хайн. — Раньше он никогда не трогал дверные ручки, если думал, что там кто-то есть… Обычно он входил только в открытые двери!

— Это бы еще ничего. — У Сони, мужественно старавшейся побороть свое отчаяние, даже веки стали влажными. — Хуже всего ночью. Я ужасно боюсь ночи!

— Какой ты ребенок, — неуверенно улыбнулся Хайн. — Ведь с тобой Петр!

— Да, конечно, — согласилась она, — только я опять не смогу заснуть…

На это Хайн не нашелся что ответить. Тогда Соня отважилась спросить:

— А нельзя устроить так, чтоб дядя несколько дней не выходил из своей комнатки? — Она еще попыталась улыбнуться. — Странно все-таки, что взаперти должна сидеть я, когда я ничего плохого не сделала…

Хайн вскипел.

— Боже мой, Соня, ты ведь это не серьезно?! Неужели ты не понимаешь, к чему это приведет, если мы его запрем?

И он перечислил все вероятные беды. Дядюшка выйдет из себя. Придет в ярость. Здоровому человеку легче сносить заключение, чем больному. И потом — что скажет тетя Каролина?

Я усмехнулся свысока. Ну, как же — тетя Каролина! Хайн боится милой тетушки. А Соня, в сущности, права. Держат под замком нормальных, чтоб ненормальные могли колобродить на свободе…

— Папочка слабый человек, — решительно высказалась Соня, когда Хайн ушел.

Я был вполне с ней согласен, хотя и возразил довольно равнодушным тоном, что удивляться его замешательству не следует. Надо признать, что никаких конкретных опасностей, в общем-то, нет. Одна лишь впечатлительность да предположения, неосновательные страхи… А это не убедит никого из разумных людей.

— Ты прав, — с горечью согласилась Соня. — Только я-то — не разумный человек…

Она просидела взаперти больше недели. В общем, нужно сознаться — ее домашний арест себя не оправдал. Удачная мысль, которой так охотно аплодировал Хайн, оказалась ошибочной. Всякий раз, вернувшись с завода, я слышал одно и то же:

— Он опять был здесь. Он здесь все время. Боже

мой, сколько же это будет тянуться? Петя, можно я пожалуюсь, до чего я несчастна?

Я иронически улыбался, переводил разговор на другое… А потом расспрашивал Кати. Та утверждала, что помешанный является уже *не так* часто, но Соня изнервничалась и воображает, будто тот стоит за дверью все время. Соня отсыпалась днем. Поэтому вечером, естественно, не могла заснуть. Только погасим свет — начиналось: «Петя, Петя, слышишь?..» Я очень резко реагировал на ее: «Опять он там! Он там!» — Слова эти действовали на меня, как удары ножом. Я уже тоже был взвинчен — не по милости сумасшедшего, по милости Сони.

У нее появилась новая привычка — просыпаться с криком. Говорить во сне. Будто он хочет ее схватить. Тянется к ней руками. А она бессильна, она не может двинуться, не может защититься… Потом еще новость: ей стало казаться, будто дверь не заперта. Порой мне приходилось вставать среди ночи, чтоб доказать ей обратное. В сущности, я вел себя как очень добрый человек. Исполнял все ее прихоти. Сделалось еженощной церемонией — осматривать квартиру, не спрятался ли где Невидимый. «Посмотри еще в гостиной… в столовой…» И я в ночном белье бродил по комна-

там, а она сидела на постели и, обхватив руками поднятые колени и упершись в них подбородком, задумчиво следила за мной.

Чем далее, тем равнодушнее относился я к ее тревоге. Меня уже ничто не трогало. Только докучало и вызывало чувство неприязни. Тяжелое, как на похоронах, настроение всего лишь месяц спустя после свадьбы — это, по-моему, никому бы не понравилось. Я ломал себе голову, стараясь что-то придумать в помощь Соне. Не изменить ли ее режим? Что, если ей начать выходить? Быть может, Невидимый потому только и подстерегает ее непрестанно, что нигде с ней не встречается? Но для осуществления такого эксперимента требовалось мужество, которого у Сони не было.

Каждый вечер, вернувшись домой, я выводил Соню на прогулку. Не в сад, конечно, — там помешанный ходил бы за нами по пятам. По мере того как мы удалялись от виллы, Соня несколько приходила в себя. Измученная, запуганная, она, по крайней мере, обретала способность говорить и о другом, кроме Невидимого. Но как только мы приближались к дому — начинались слезы, вздохи, жалобы… О каких-либо любовных утехах все это время и думать было нечего.

Наступило воскресенье. Перед нами лежала но-

вая неделя. Что же будет дальше? Я много думал, но выхода найти не мог. Ко всему прочему с утра зарядил дождь. Такой сильный, что невозможно было выйти. С низкого неба на нас валилась усталость. Я был раздражен. Соня твердила, что Невидимый за дверью, я старался разубедить ее. Открыл дверь — а он и правда там!

— Вот видишь! — торжествующе, хотя и чуть ли не плача, воскликнула Соня. — Я знала… А ты мне не веришь…

После обеда она на целый час скрылась в своей комнате. Потом позвала меня. Я вошел. Соня держала в руках Библию.

— Пойди-ка — вот удивишься!

И она показала мне следующее место: «Безопаснее человеку встретить медведицу, чем безумца, уповающего на безумие свое!»

— Ах, это, — холодно проговорил я. — Нет никакой необходимости вычитывать это из Библии. Это я слышу от тебя каждый день в различных вариациях.

— Погоди, — не обидевшись, остановила она меня. — Я тебе еще что покажу!

Она держала книгу, заложив пальцами сразу несколько мест, видно, программу подготовила обширную. Что ж, я прочитал вместе с ней еще

один отрывок: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья и сделали себе опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня: и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая».

— Это-то при чем? — сердито спросил я. — Что здесь общего с нашим фамильным привидением?

— Не понимаешь… — смиренно сказала Соня. — А ведь это вполне применимо к нашему случаю. Помнишь, как мне вдруг стало стыдно, когда он увидел нас перед зеркалом? Ты забыл, как в ту ночь после свадьбы я тебе говорила, что не хотела бы жить в мире, где я чувствовала бы, что за мной все время следят?

Так, сказал я себе, вот мы и дошли до ручки. Она уже какой-то мистицизм возводит на своих страхах! Спохватившись, я наморщил лоб. Наверное, вид у меня был в тот момент весьма странный. Соня, вероятно, испугалась, что я сейчас устрою какую-нибудь дикую сцену — и она инстинктивно, чтоб смягчить меня, обхватила меня за шею.

Я грубо высвободился, посадил ее на стул и выбежал, хлопнув дверью. Помчался прямиком в комнатушку Невидимого.

Нет, я не собирался ни бить, ни убивать дядюшку. Библейские пассажи, которыми угостила меня Соня, навели меня на мысль получше. Я хотел вызнать, что толкает сумасшедшего на это неотступное преследование Сони. Она приписывает ему самые дурные намерения. Хорошо — если эти подозрения хоть сколько-нибудь оправданы, то дурные намерения сумасшедшего должны как-то проявляться в его писаниях! Как это не пришло мне в голову раньше? Зря только спорил с Соней, когда с помощью записок обвиняемого можно было так легко доказать ей всю беспочвенность ее опасений!

Можно сказать, мне повезло. Я прислушался за дверью — в каморке безумного стояла тишина. Я осторожно вошел — комната была пуста. Но, конечно, надо было спешить. Я сунул руку в ящик стола и выгреб оттуда столько бумажек, сколько влезло в мой карман.

Добычу свою я разложил у себя на письменном столе, убежденный, что ничего дурного тут не найду и явлюсь к Соне с вещественным доказательством того, что мы ошибались. И я был жестоко разочарован — если только мое чувство можно назвать разочарованием.

Теперешние писания Невидимого оказались

куда логичнее и пространнее, чем прежние его «богатырские былины», они выдавали гораздо большую сосредоточенность и упорство, чем те. Здесь четко выражалась цель, единственный смысл, вокруг которого фантазия автора кружила, как бабочка вокруг огня: женщина. Женщиной этой, бесспорно, была Соня. Сэр Хэкерли уже не отдавал с холма приказы войскам броситься на врага, не выигрывал битвы гениальным решением — нет, теперь он заставал врасплох юных раздевающихся дев, он пожирал их наготу любострастными взглядами, насиловал их, не ожидающих нападения и отчаянно сопротивляющихся. «О, как билось белое тело, раздираемое страстью Невидимого, и лоно принимало наслаждение, слетевшее из неведомого!» Прекрасно, прямо-таки поэтично! Сказался бывший студент, читатель «Запретного плода». «Она бежала, но не могла уйти, ибо не в силах была разгадать его хитрость. Он позволил ей вообразить, будто отказывается от борьбы, — но это он всего лишь любовался ее телом. Когда она остановилась перевести дух, он внезапно повалил ее и осчастливил своею любовью. Она сначала отбивалась, потом рыдала от счастья». Оказывается, этот благородный Невидимый дарил наслаждение. Под конец

жертва его всякий раз испытывала благодарность и рыдала от счастья в его мужественных, но непостижимых объятиях. «Она испытала сладость, неведомую дочерям человеческим». Некоторые отрывки обнаруживали явный садизм: «Кровь брызнула из ее лона». И еще — он рисовал. Изображенные неумелой рукой, громоздились на бумаге женские груди, нагие тела и те символы, какие мальчишки любят рисовать в общественных писсуарах.

Леденящий холод поднимался к моей голове. Наверное, я был бледен как смерть — от ярости. Моей первой мыслью было отыскать милого дядюшку и избить его до потери сознания. Потом я сообразил, что это неразумно и бессмысленно, — не поможет ведь ни Соне, ни мне. Нет, тут нужно было сделать более серьезные выводы, чем кулачная расправа с грешником. И вдруг явилась мысль: опасному помешанному место в сумасшедшем доме!

Мысль-то была хороша, осуществить ее было труднее. Я не хозяин в доме. Во-первых, есть тут Хайн, а потом — тетушка Каролина. Но я уже снова улыбался. Затруднения — что это для Петра Швайцара? Он должен добиться своего! И наверняка добьется. Подумал я и о Соне. Бедняжка

— и кто бы поверил, что инстинкт правильно ее предостерегал? Ну, теперь конец насмешкам и пренебрежению…

А пока что не стоило пугать ее еще больше. Успеет узнать о размерах опасности, когда она минует. Колебаться тоже было не к месту. Я собрал бумажки и отправился к тестю.

Я не в состоянии описать ужас, какой отразился на его лице, когда он прочитал несколько этих непристойностей. Он так смешался, что даже сначала заподозрил, будто я все это подделал. Конечно, это было смешно. Ни одним движением глаз не выдал я своего возмущения и хранил ледяное бесстрастие.

— Тут уж не советоваться надо, — сказал я. — Все ясно как день: несчастного необходимо удалить из дому. Вопрос лишь в том, как это сделать.

Хайн так и ахнул. Наступила его очередь бледнеть. Заикаясь, он предложил вызвать машину и съездить к Кунцу.

— Я не могу в таком деле обойти старого, испытанного друга. Он так благоразумен, всегда давал хорошие советы — посоветует и теперь… Будьте уверены — на его здравый, спокойный рассудок вполне можно положиться…

Я ответил, что в деле, касающемся непосред-

ственно меня, я вовсе не намерен руководиться советами господина директора.

— Речь идет о моей жене и вашей дочери. Не будем отступать перед страшной ответственностью. Будем мужественны и решительны, а последствия понесем сами… Что касается меня, то я не буду испытывать ни малейших угрызений совести, если, спасая Соню, причиню вред вашему брату.

Он раскричался:

— Да как вы, господи, себе это представляете?! Могу ли я предпринять что-либо подобное без согласия тети?!

Тогда я предложил пойти к ней.

То была настоящая церемония. Угрюмо прошли мы с нашими бумажками через три двери, в каждую вежливо постучав — прямо парочка призраков, явившихся приглашать на бал скелетов… Ее величество приняла нас в гостиной — гордая, неприступная, подготовленная. Хайн уже осведомил ее о неприятностях в доме. Это я понял по тому, с каким видом она выслушала меня. Она вовсе не была застигнута врасплох.

Я с надлежащим выражением прочитал ей некоторые творения сумасшедшего. С чувством говорил затем о доброй, измученной девочке,

преследуемой опасениями, увы, слишком оправданными. У тетушки только губы скривились в иронической усмешке.

— Что вы этим, собственно, хотите сказать? — резким тоном вопросила она, когда я кончил.

Тогда я твердо изложил ей, каким я себе мыслю решение.

— Благополучие женщины, только начинающей жить, важнее удобств стареющего сумасшедшего.

— Как вы смеете так говорить?! — накинулась на меня старуха.

Я ответил, что и представить себе не могу, чтоб она не согласилась со мной.

— Вот как? — насмешливо протянула она. — А ты что скажешь, Хуго?

— Я?.. Да, тетя, уж теперь-то… хоть мне и очень больно, должен признать — другого выхода я не вижу… — пролепетал Хайн.

Вот теперь-то старуха и взвилась.

— Ах, вот оно что! Так, стало быть, обстоит дело!

И пошла: опасный сумасшедший мигом превратился у нее в несчастного, которого мы преследуем. Она упомянула библейское слово: благодать. Тихое, безобидное создание… Все,

что он написал, — просто детский лепет. Пустая болтовня…

Хайн притих. Вести спор он трусливо предоставил мне. Его только на то и хватило, что он вообще позволил мне, на свой страх и риск, выдерживать борьбу с разъяренной старухой.

— Ах, так Кирилл вам поперек дороги стал? Но вы, любезный пан, ничего здесь не решаете, коли сами не уважаете семейные узы! Станем ли мы бить ребенка, совершившего зло по неведению? Так поступают только *подонки* общества, лишенные всяких чувств. А мы, слава богу, не подонки. Мы их излечим от искушения! — Клюкой своей с чудовищным бантом она стучала в пол, с бешенством подчеркивая дрожащий звук своего голоса. — От многих я его спасла, спасу и от вас!

Тут я заявил, что мы с Хайном решили увезти сумасшедшего завтра же.

— То есть… — промямлил Хайн, — мы не говорили, что уже завтра…

Он не мог выдержать взгляда ее сатанинских глаз.

Тетушка как-то разом успокоилась и почти мирным тоном спросила, неужели мы действительно не нашли другого решения. Мне показалось — она уже выкинула полотенце на ринг, и я с трудом

совладал с желанием победоносно усмехнуться.

— Да, это единственный выход, — вырвалось у меня.

Увы, я не ожидал от старухи такой изворотливости, такой страшной сообразительности! Она жеманно заявила, что попробует хотя бы еще немножко отсрочить наш приговор — ей, мол, пришла в голову старая, возможно, глупая мысль, но — кто знает? Быть может, мы окажем ей милость и согласимся… Что, если Соне уехать из Есенице хотя бы на месяц? Девочка всегда так любила ездить в Прагу… Пан Фюрст такой славный, такой любезный господин! Что ты на это скажешь, Хуго? К тому времени, когда Соня вернется, Кирилл уже обо всем забудет и комедия кончится. И что скажу на это я? Если я действительно озабочен только благополучием Сони, то она не предвидит с моей стороны каких-либо возражений…

Тут я понял, что проиграл. Проиграл унизительно и страшно. Как просветлело лицо Хайна! Какое он почувствовал облегчение! А тетка кокетливо погрозила ему пальцем:

— Ах, Хуго, Хуго! Видали — явился ко мне заговорщиком!

Хайн залепетал:

— Какая вы, тетушка, умная, мудрая! В самом деле, мы с Петром и не подумали о такой возможности…

Замысел был утонченный, просто дьявольский — отправить Соню к двум отвергнутым моим соперникам, прямо в пасть искушению. И я не мог сознаться в глупой своей, необоснованной ревности!

— А вы, — тетка ткнула в меня клюкой, — вы слишком уж смелы для недавнего члена семьи. — Это была шутка, и от меня ждали улыбки. — Так нельзя разговаривать с дамой, на сорок лет старше вас!

Хайн благодушно кивал.

Мне доводилось и не такое проглатывать — проглотил я и это. Перед тем как выйти, мне пришлось еще смиренно приложиться к холодной жилистой руке. Хайн похлопал меня по плечу:

— А мы-то с вами как осрамились! Вот ведь, оказывается, даже пожилые люди способны еще поступать опрометчиво… Это я, конечно, о себе, только о себе, дружочек!

«Дружочек» старался изобразить как можно более приятный вид, чтоб скрыть всю тягостность бесславного поражения. Пан тесть не отпускал

меня. Еще бы! Он хотел сам сообщить Соне радостную весть. (А весть была для нее и в самом деле радостной.) Хайн желал быть ангелом-благовестителем, этакой голубицей с оливковой веточкой в клюве.

— А мысль эту подал нам Петр! — бесшабашно солгал он.

Соня расцеловала сначала отца, потом меня — и заплакала: от счастья.

В общем-то, если подумать, мне нечего было так уж расстраиваться. Я ведь хотел только одного: удалить сумасшедшего от Сони. Удалить Соню от него, в сущности, то же самое. Все-таки была моя заслуга в том, что сделаны какие-то шаги. То есть это было бы моей заслугой, если б отъезд Сони осуществился так, как, естественно, и предполагалось, — сразу. Но тут начались злополучные проволочки… Проволочки? Ну да! Вдруг оказалось, что невозможно Соне просто так взять, уложить вещички и явиться к Фюрстам без предупреждения. Прежде чем ехать в гости, надо получить приглашение. Этой светской условностью не в силах были пренебречь в доме Хайна. Какие были у меня особые причины быть недовольным тем, что Соня уедет *только после этого*? Ответ на письмо Хайна мог прийти лишь

на третий день.

Этих трех дней оказалось достаточно, чтоб Соня проиграла всю свою жизнь. Когда она получила ответное письмо, полное расплывчатых слов старого жуира и телеграфических восклицаний Феликса, — было уже *поздно*.

9
ВЗРЫВ

К числу недобрых причин, вызвавших катастрофу, следует причислить и ту, что у Сони в какой-то мере выветрился из головы страх, автоматически охранявший ее от Невидимого. Столь же полно, как перед тем неисповедимому ужасу перед ним, отдалась она теперь обманчивому чувству безопасности. Она по-детски радовалась поездке и воображала, что ничто уже не лежит между нею и счастьем. Она ослабила бдительность. Судьба, тасовавшая наши карты, была настолько жестока, что не послала ей больше никаких предостережений.

В начале своего повествования я упомянул, с каким недоверием смотрю я на цифру «3». Вот дата того дня: третье июля 1925 года, пятница.

Соня была очень ласкова, когда я утром уходил на работу. Она еще лежала в постели, как и обычно в это время.

— До свиданья! — крикнула она мне вслед. — Может быть, сегодня получим приглашение от Фюрстов… До свиданья, Петя!

И помахала рукой.

Кровать была — челн. Челн оттолкнулся от берега. Соня уплывала в неведомые, туманные дали. Порой я вижу — маленькая белая рука, скорее рука ребенка, чем женщины, мелькнула над вздувающимся прибоем подушек… Так начиналось Сонино плаванье по океану безумия.

Обычно я до девяти часов просматривал в своем заводском кабинете деловую переписку, переданную мне для заключений. И изучал предложения — я требовал, чтобы мне представляли их в письменном виде с надлежащим обоснованием. Я всегда любил порядок. По утрам я позволял себе этот час покоя и плодотворной игры воображения. За этими занятиями я выкуривал сигару, скорее из склонности к живописности, чем из потребности отравлять себя никотином. Я неторопливо затягивался, выпускал дым и, закинув нога на ногу, держал бумаги на колене, а не на столе. Тогда ко мне приходили мои лучшие мысли.

Стрелка часов не показывала еще и трех четвертей девятого, когда в кабинете тестя зазвонил телефон. Не знаю почему, но я *вздрогнул* от этого звонка за стеной. Он действительно как-то неприятно ударил меня по нервам — я не собираюсь обманывать ни себя, ни других. Помню,

я настороженно прислушивался к голосу тестя, глухо доносившемуся из-за стены, и не отрывал невидящего взгляда от узора на обоях.

После этого события помчались наперегонки.

Сначала я услышал, как трубка с треском упала на стол вместо рычажков, потом торопливые шаги, — тревожные шаги! — но они еще на секунду пошли обратно: надо было положить телефонную трубку как следует. Затем дверь открылась, ко мне вошел Хайн. А я уже стоял у стола, в ожидании несчастья выпятив грудь — как солдат, как мужчина.

— Звонил Филип, — проговорил Хайн удивительно медленно и как бы небрежно, хотя и каким-то невыразимо сдавленным, испуганным голосом. — Что-то случилось дома, я хорошенько не понял, что именно… Пожалуйста, вызовите Иозефа с машиной. Немедленно!

— Что же все-таки случилось? — строго спросил я, поднимая трубку.

— Я действительно не знаю точно, но только тут — Соня и брат Кирилл… Будем надеяться, что не *очень* серьезное. Иозеф сам ответил? Можно ехать? Тогда пошли!

Он вышел, и тут я впервые заметил, что его шатает.

Я выправил манжеты, — тогда я еще носил рубашки с манжетами, как молодой человек, — и трость свою взял, и шляпу надел. Я не спешил. Торопливостью не разрядишь внутреннего напряжения, не успокоишь испуганную душу. Но говорю вам — я *был* испуган.

Хайн вышел без шляпы, хотя машина у нас открытая. Захлопывая дверцу, он защемил полу пальто. Выругался, что было ему несвойственно. Мы поехали; ветер теребил его сильно поседевшие волосы, а он ежился, руки в карманах, словно ему холодно; его профессорские брови хмурились, глаза глядели гневно, словно он приговаривал к вечной погибели весь город. Я молчал всю дорогу, застыв в деревянной позе. Нам обоим было не до разговоров.

Когда мы подъезжали к вилле и машина снизила скорость, взвывая на последних поворотах крутого подъема, Хайн открыл дверцу и одной ногой ступил на подножку. Я не одобрял такого неконтролируемого волнения, такой потери самообладания — ведь это ничего не могло ускорить. Поэтому я нарочно медлил выйти из машины — после того, как Филип поспешно открыл ворота, почему-то пристыженно опустив голову.

— Так что же случилось? — чуть не плача, спросил Филипа Хайн, со страхом заглядывая ему в лицо. Он семенил рядом с неуклюжим подростком, похожий на школьника, которого ведут наказывать.

— Милостивая пани лежала, — застенчиво ответил Филип, — а Невидимый пришел к ней — не знаю, как это вышло, только она потеряла сознание. Теперь-то очнулась. Я вызвал по телефону доктора Мильде. Должен приехать с минуты на минуту… Да вот и он!

В самом деле, быстро приближался рокот другого автомобиля. Филип, не сказав больше ни слова, побежал обратно к воротам отворять.

— Как могли они быть так неосторожны! — причитал Хайн. — Как они могли… Они были ужасно неосторожны, иначе ничего не случилось бы!

Он брал по две ступени сразу.

Перед дверью в нашу спальню, как ангел-хранитель, стояла Кати.

— Пожалуй, лучше вам не входить, — шепотом сказала она.

Кати была очень серьезна. Ее новое лицо поразило меня. Никогда еще я не видел у нее такого лица. Губы ее не изгибались, как у смеющегося сатира, она смотрела на нас снизу вверх, и от

этого белки ее глаз казались очень большими — как у смиренного просителя или у богомольной девочки…

Под тяжестью ее слов Хайн остановился, будто оглушенный внезапным ударом.

— Она не хочет, — объяснила Кати. — Она сама сказала. Кати, говорит, устрой, пожалуйста, так, чтобы мне никого сейчас не надо было видеть.

— Но следом за нами идет доктор! — всполошился Хайн, удрученный и униженный. — Она и доктора не захочет видеть?

— Она… она говорила только насчет вас и пана инженера. По-моему, вы должны посчитаться с ее желанием, если можете.

— Как она несправедлива! — сокрушенно прошептал мне Хайн. — Теперь обвиняет нас… Наверняка считает нас виноватыми в такой неприятности…

Но мое внимание привлек уже другой звук. Он шел сверху: глухие, гневные стуки. Бух-бух-бух-бух, пауза и снова — бух-бух-бух-бух… Всякий раз четыре удара и пауза. Настойчивые и все же какие-то неуверенные удары. В ту знаменательную минуту мысль моя выразилась в словах: «Это барабанит сумасшедший. Он заперт наверху». И — спокойная, точная догадка: «Его запер Филип».

Как оно бывает в таких случаях, доктор очутился подле нас, хотя мы не слышали его шагов. Мое внимание отметило: маленькая круглая голова на тощем сутулом туловище, лицо в оспинках, пенсне, английские усики неопределенного цвета. За доктором тянулся запах йодоформа. Он дышал чаще, чем это вызывалось необходимостью, — хорошо показать богатым и влиятельным людям, что мы принимаем их дела близко к сердцу, что мы торопимся, ужасно торопимся, можно сказать, во вред собственному здоровью. Доктор шепотом поздоровался. По его умным глазам я понял, что он сразу сообразил положение дел при виде растерянного Хайна. Мягко отстранил он руку Хайна, все еще сжимавшую дверную ручку, сам взялся за нее, секунду поколебался, коротко произнес: «Пардон», — еще ниже склонил голову к тощему плечу и, с неожиданной быстротой и ловкостью открыв дверь, проскользнул в спальню. В этот короткий миг я успел увидеть кровать, тщательно застеленную, и Соню, лежавшую на ней навзничь. Раздвинув локти, она обе ладони прижимала к глазам.

Потом за закрытой дверью послышался глухой голос доктора. Он то умолкал, откашливался, отхаркивался и снова бубнил что-то, монотон-

но и невнятно, видно, пытался уговорить Соню верить ему. Соня не подавала голоса. Слышно было, как передвинули стул, и снова, только уже медленнее и внушительнее, потекли слова. Я не мог их разобрать, но догадывался: доктор втолковывает упрямой пациентке, что ему, врачу, нужно открыть все, врач — человек науки, врач — помощь, ниспосланная небом… Хайн тупо и неподвижно уставился на дверь. Вслушивался. Был тише воды, ниже травы.

— Кати, — отрывисто, строго сказал я, — можете вы нам рассказать, как было дело?

Голос мой прозвучал в тишине так резко, так неестественно! И словно в ответ сверху, из мансарды, донесся другой, ужасный голос, ржанье испуганной лошади, тот же протяжный хохот безумного, что и в нашу брачную ночь…

— Ох, — вполголоса ответила Кати, — я мало что знаю, только то, что сама видела — Соня мне ничего не рассказала… — Она говорила быстро и тревожно, эта новая Кати. — Соня…

Кати осеклась: снова раздался хохот сумасшедшего и громче, настойчивее, злобнее загрохотали удары. Наверху что-то треснуло. Наверное, безумный навалился на дверь всем телом.

Неожиданно распахнулась дверь спальни, и

доктор, прежде такой смиренный, такой похожий на домашнего духовника, звонко и самоуверенно проговорил с порога:

— А вот это необходимо немедленно прекратить, — он показал наверх. — Или скажите, в какой части дома это будет не так слышно?

Хайн воспользовался моментом:

— Пан доктор — у меня! В самом деле, там лучше всего… Это на первом этаже… надеюсь… впрочем, вы можете сами сначала посмотреть!

Он уже готов был сбежать с лестницы, но доктор остановил его.

Доктор вернулся в спальню, дверь снова закрылась за ним, и снова он стал о чем-то спрашивать Соню. В ответ послышался голосок — несказанно жалобный и тоненький, как гульканье младенца. Доктор опять появился на пороге:

— Пациентка категорически не желает вниз. Она просит перенести ее в ее девичью комнату. Прошу вас, барышня! — обратился он к Кати. — А господа будут любезны подчиниться обстоятельствам и покинут коридор!

Хайн нерешительно постоял над лестницей и стал спускаться — словно в глубины бездны. Не найдя ничего лучшего в такой момент, я медленно двинулся за ним. Позади торопливо

хлопали двери — Кати готовила переселение Сони. Внизу, стоя посреди своей гостиной и опираясь на безобразную клюку, нас ждала тетушка. Со смертельной ненавистью смотрела она на нас выпученными глазами, вздыхая:

— Ох, ох!..

Безумный снова завыл. Тетка озабоченно подняла к потолку желтое костлявое лицо. Кожистый мешок на ее шее вытянулся, готовый лопнуть.

— Почему вы его не выпускаете? Он утихнет, как только очутится на свободе. Хуго, поди скажи Филипу, пусть отопрет! Как это глупо, раздражать его еще больше!

— Кирилла не выпустят. Нет, нет и нет! — Хайн решительно качнул головой.

— Тебе хочется слушать его плач? Хочешь, чтоб он был на твоей совести? — Тетка вперила свои глазища в измученное лицо Хайна.

— Сейчас я не могу его выпустить. И вообще никогда больше не смогу выпустить его!

— Я бы не позволила, — не слушая его, хныкала тетка, — я не допустила бы этого, но я узнала об этом, только когда его уже заперли… Как Филип посмел!.. Он и Кати, все эта парочка… Я знаю, мальчишка спрятал ключ в карман. Я ходила наверх, а ключа в замке нет… Я по носу Филипа

поняла, что ключ у него, хотя он и отрицал. Надо отнять у него ключ.

Тем временем Хайн сел, опершись локтем на столик, покрытый вязаной скатеркой.

— Ключ пока останется у Филипа, — проговорил он тихим, но твердым голосом.

— Та-ак? — В голосе старухи трепетало насмешливое удивление. — Стало быть, ты меня не слушаешься? Или не знаешь меня? — И пренебрежительным тоном, со зловещим спокойствием, она добавила: — Быть того не может, чтоб ты решился оставить его под замком. Знаешь ведь, это может ему повредить.

— А что, собственно, произошло? — задал Хайн тетке все тот же вопрос, на который до сих пор не получил ответа.

Не вмешиваясь в этот диалог, я стоял в углу, рассеянно перелистывая альбом с фотографиями. Мое внимание привлек групповой снимок: смешные дамы в крошечных, с крылышками, шляпах и с турнюрами пониже спины.

— Я не знаю, Хуго! Я не знаю! — с жестом, выражающим беспомощность, патетически воскликнула тетка. — Мне ничего не сказали! Думаю, просто комедия, не более того. Эти нынешние девицы — ох, нынешние девицы! Слишком

уж они чувствительны, Хуго… Им бы следовало быть потверже, повыносливей… Сразу всего пугаются, вот и все. А страдает от этого несчастный, больной человек!

— Кирилл напал на Соню, — проговорил Хайн. — Что он с ней сделал?

— Да что он может, бедняжка, что может он с ней сделать, бог ты мой? — прокаркала тетка с нарочитым, противным смешком.

— Вот этого-то мы и не знаем! — в отчаянии воскликнул Хайн.

В наступившей паузе раздался новый взрыв беснования сумасшедшего.

— Так ты не хочешь сделать, как я прошу? — перешла в наступление тетка. — Стало быть, ты одобряешь поступок этих негодных слуг, Филипа и Кати?

Она перевела дух и возобновила свои монотонные, плаксивые обличения:

— И ты не замечал, что он уже давно встал поперек горла Соне и этому молодому человеку? Неужели не видишь? Боюсь, тут сговор… Ты только посмотри на него — разве он выглядит хоть сколько-нибудь огорченным? Он только и ждет твоего решения, ждет, как сатана, гибели Кирилла! Да, да, Хуго, он такой, я-то его раскуси-

ла! А Соня во всем походит на свою покойницу мать. Такая же взбалмошная. Теперь она сама себе госпожа, замужняя женщина, вот и задумала извести свою старую бабушку! Да, да, задумала! Не понимаю за что… Я ей ничего не сделала… Мы с Кириллом — ее жертвы… Она, поди, давно точит на нас зубы! Ее мать тоже меня не любила. Это чувство передалось Соне. Вот зачем нужна вся эта комедия! И ты попался на удочку!

Тут она внезапно повернулась ко мне, пылая яростью, которую до сих пор еще как-то сдерживала:

— А вам это, конечно, по душе, *мужлан неотесанный*! — Она помахала кулаком у самого моего лица. — Бойтесь, сударь, бойтесь божьего гнева!

Казалось, она лишилась разума, столь неожиданным и необоснованным был этот наглый выпад. Я сумел изобразить снисходительную улыбку.

— Разве это человечно, ввергать в несчастье бедняжку! — уже захлебывалась яростью старуха. — Какое бессердечие! Девчонка легла на кровать, чтоб получше разыграть комедию, а вы еще доктора зовете!

Хайн поднялся медленно и устало. Поискал шляпу, да вспомнил, что оставил ее на заводе.

Склонив голову, пошел к двери.

— Куда ты? — чуть ли не льстиво осведомилась тетка: верно, подумала, что он отправился выполнять ее распоряжение.

— Есть еще одно дело, тетя Каролина. Дело печальное, но неизбежное. Не хочу вам лгать. Вы не заслуживаете, чтоб я вас обманывал. Кирилл должен покинуть дом. Нет, не говорите ничего, все будет напрасно. Я решил, тетя!

— Ах, боже, ах, боже! — заломила руки старуха. — Да что вы все, с ума сошли?!

Хайн взялся за ручку двери, но тетка удержала его.

— Слушай! Слушай! — Она вращала глазами, зоб на ее шее ходил вверх и вниз. — Помни, я старая женщина — забыл ты, как я тебя вытащила из беды? Забыл, неблагодарный? Что было бы с тобой без меня? Ты отлично знаешь, что я для тебя значила! Я была твоим прибежищем, твоей опорой! Без меня ты повесился бы где-нибудь на чердаке! У тебя так мало было мужества! И всегда ты был такой. Вспомни! Вспомни, пока не поздно! Я еще могу простить твою дерзость!

— Не могу, — печально ответил Хайн. — Не могу, даже если б хотел. На карту поставлено счастье моего единственного ребенка.

Он открыл дверь, несмотря на сопротивление длинных слабых клешней. У тетки набрякли жилы на лбу, глаза налились кровью. Она завизжала, стала рвать на себе волосы.

— Так помни же!.. Помни, ты!.. Ты, кому я принесла себя в жертву… Если посмеешь сделать это, то уж никогда!.. Слышишь, никогда в этой жизни… не хочу тебя знать!

Хайн, шатаясь, пошел к себе, я выскользнул в коридор следом за ним. Я не мог отказать себе в удовольствии — уходя, с торжеством заглянуть в глаза старухе.

Позже Кати, сидя передо мной в моей комнате и растерянно теребя уголок своего фартучка, рассказала мне следующее:

— Дело было так: Соня очень долго лежала в постели. Говорила: «Кати, как не хочется вставать! Знаешь, Кати, быть может, завтра меня уже тут не будет!» Потом начала говорить о том, как она радуется всему, что ждет ее в Праге. Я хотела уйти, у меня много дела, а она меня не отпускала. «Погоди, Кати, не спеши, времени еще достаточно! Мне так весело, как давно уже не было!»

Я смотрел в эти незнакомые, большие глаза Кати, похожие на пару влажных опалов, и снова грустное выражение этих глаз показалось мне

чуть ли не молитвенным.

— Потом Соня вспомнила, что надо бы вынести на дождь пальму, что стоит у окна, — продолжала девушка. — Вы ведь помните, утром прошел небольшой дождь? А пальма вся пожелтела, видно, больна чем-то. С этого все и началось… Я еле подтащила тяжелую кадку к двери, поставила ее на пол, отперла дверь и по привычке выглянула в коридор. Невидимого нигде не было. «Соня! — крикнула я еще, обхватив кадку в обнимку и прикрывая дверь спиной, — встань, пожалуйста, и запри дверь!» И поволокла пальму вниз…

Трудно сказать, услышал ли сумасшедший эти слова Кати, или просто случайно попробовал открыть дверь как раз в те минуты, что она стояла незапертой; точно известно лишь, что Соня из лени, из-за переполнявшего ее счастливого чувства близкого освобождения забыла обычную осторожность. Она не послушалась Кати, ей не хотелось вставать. А Кати не так-то легко было стащить по лестнице тяжелую кадку с пальмой. Во дворе она еще остригла на ней засохшие листья. А тут и Паржик подвернулся, стал хвалиться своими садоводческими знаниями.

— Я слушала его одним ухом, как вдруг наверху раздался нечеловеческий вопль. Что произошло

в спальне, я не знаю — боролась с ним Соня или совсем не защищалась… Может быть, она только успела крикнуть и сразу потеряла сознание. Когда я прибежала, она была уже в обмороке. Ужасно бледная… Нет, вы не беспокойтесь, ничего такого, о чем вы думаете, не случилось. Он только… он только навалился на нее, понимаете? У него и времени-то не было серьезно ее обидеть… Но он *хотел* — это точно. До чего гнусный вид, если б вы знали! Я сразу схватилась с ним, он жутко сопротивлялся, визжал, не давался никак, еле столкнула его с кровати. А Соня, бедняжка, была совсем не одета и раскрыта… К счастью, на помощь прибежал Филип, он тоже слышал крик. Мы с ним вытолкали Невидимого и заперли его. Долго он сидел тихо, только недавно начал шуметь. Слышите? Беснуется все сильней и сильней. Хорошо, что Соне теперь не так слышны эти стуки и вой. В спальне было гораздо слышнее, она ведь прямо в коридор выходит.

— Кати, как вы привели Соню в чувство?

— Обморок был недолгим. Она, собственно, сама очнулась. Верите ли, я чуть не заплакала, когда она в первый раз открыла глаза и посмотрела на меня так печально… А видели бы вы, как она потом ломала руки! Она была даже не бледная,

а желтая какая-то, и только твердила: «Кати, ах, Кати!» Только это и больше ничего. И не плакала! Только дрожала всем телом, как листок… Эту дрожь ничем нельзя было унять. Она и сейчас еще дрожит, а ведь доктор с ней уже так долго!

Я кивнул, ответил односложно. Нет, какая невероятная случайность: Кати вышла минут на пять — десять, и как раз тут-то все и происходит… Но эта непостижимая беззащитность Сони! Виной тут, конечно, ее безотчетный ужас. Ей часто снилось это, без конца представлялось, как она теряет сознание в его руках — и вот сон сбылся…

— Пожалуйста, не думайте, что я тут как-то виновата, — заливаясь краской, вымолвила Кати.

— Об этом, Кати, и говорить нет нужды, — ответил я, — я уверен в полной вашей невиновности. Но почему Соня не позволила впустить к ней меня и отца?

— У нее просто такое тягостное чувство, — объяснила девушка. — Непреодолимый стыд… Видите ли, по-моему, Соня даже не знает, что, в сущности, ничего он с ней не сделал. Вас она не обвиняет, да и никого из нас, но думаю, ей просто не хочется, чтобы вы видели ее после всего этого.

— Но господи, Кати, почему же вы ей не объяснили? — встревожился я.

— Ох, да конечно же объясняла, это первое, что я ей сказала, когда она пришла в себя. Но она ничем не показала, что слушает… Так она была погружена в себя, так захвачена своим ужасным видением! По-моему, она твердо убеждена в обратном. Думала, наверное, что все это я ей говорю в утешение. Смотрела на меня пустым взглядом, будто хотела сказать: болтай себе что угодно, я все равно не верю, зря стараешься обмануть…

Скрипнула дверь, и мы замолчали.

— Барышня!

Это доктор звал Кати. Я вышел в коридор и пригласил его к себе. Он вошел со шляпой в руке.

— Мне хотелось бы задать барышне Кати несколько деликатных вопросов, — сказал он. — Очень прошу вас отвечать правду и по возможности кратко: не годится оставлять пациентку надолго без присмотра. Так вы думаете или, лучше сказать, вы видели…

— Я понимаю, о чем вы, — мужественно перебила его Кати. — Нет, того, о чем вы спрашиваете, не было.

— Хорошо, — но как вы можете знать? Ведь пациентка уверена в обратном. Она даже приводит в подтверждение кое-какие доводы, от которых нельзя отмахнуться… Может быть, вам желатель-

но, чтоб наш разговор протекал без свидетелей?

— Нет, я все могу сказать и при пане инженере, — заступилась за меня Кати.

Она даже придержала меня за руку, чтоб я не уходил. Видно, сочувствовала мне. Думала, что я мог бы испытать чувство унижения оттого, что меня отовсюду изгоняют — из спальни, из коридора, а теперь и вовсе из собственной комнаты.

— Когда я вбежала в спальню, — начала Кати свои показания, — то сразу поняла, чего ему надо. Но он только пытался, понимаете? Он такой толстый и неуклюжий, да еще возбужден был до крайности… Ах, пан доктор, я была бы вам так благодарна, если б вас удовлетворило такое объяснение!

— Мне этого достаточно, — нахмурясь, произнес Мильде. — А теперь, пожалуйста, идите к больной и будьте с ней ласковы. Не обращайте внимания на возможные упреки и всеми средствами старайтесь разубедить ее… вы знаете в чем. И по возможности исполняйте все ее желания. Идите, барышня, до свиданья!

Кати была уже у двери, когда он вдруг окликнул ее:

— Еще одно слово, барышня! — Тут он строго посмотрел на нее, затем, с той же строгостью, на

меня. — Надеюсь, я могу положиться на то, что от меня здесь ничего не скрывают… скажем, по причине того положения, какое занимает барышня в этом доме? Не примите мой вопрос за оскорбление — я не подозреваю, я только спрашиваю.

Вопрос был не очень-то лестным для меня, тем паче что доктор, в несколько измененном виде, предложил его и мне после того, как Кати вышла. Не подучил ли я девушку отвечать так? Я возразил, что уже по ответам Кати он мог бы составить себе некоторое представление об отношениях в доме. Кати девушка честная и правдивая. Да ведь и отсутствовала-то она так недолго! Доктор пожал плечами. Мол, понятие о длительности времени — весьма относительно. Его очень огорчает явная апатия Сони. Тут он подробнее заговорил о своем диагнозе: жесточайшее нервное расстройство. Уже и температура повысилась, разумеется, исключительно на нервной почве — горячка, как это называют простые люди. Потрясение было слишком сильным. Нельзя нарушать ее покой и волновать ее. Пока что она не желает меня видеть. И я не должен принимать это слишком лично, слишком трагически. Просто она сейчас испытывает чувство какого-то осквернения, женское тонкое чувство, что-то навеки пору-

гано и тому подобное. Чувство непоправимого несчастья. Но она уже согласилась принять отца, только поставила условие — не раньше, чем часа через два. Пускай пока с ней будет только эта Кати. А то, что отцу можно зайти к ней, — это хорошо, это очень полезно. В доме есть еще старая дама, двоюродная бабушка больной. Женщина женщину лучше поймет. Хорошо бы посоветовать ей поскорее навестить больную…

— Ну, — осклабился я, — пока что старую даму приглашать нельзя. Она тоже чересчур взволнована.

— Разумеется, пани должна оставаться в постели, — собираясь уходить, напомнил доктор. — И повторяю со всей настоятельностью: покой, покой и покой. А как предполагает пан фабрикант поступить с этим буйным помешанным? Удалить из дому? Что ж, правильно, это разумнее всего. Сумасшедшего в лечебницу — это наилучший шанс для выздоровления пациентки.

Я проводил Мильде до ворот. Где в это время обретался Хайн, бог весть. Наверно, плакал где-нибудь. И проворонил отъезд доктора. Он выбежал на крыльцо, только когда автомобиль Мильде просигналил уже у первого поворота.

Я вернулся в свою комнату. Наконец-то я был

один. Только теперь можно хорошенько проанализировать это странное происшествие. Дел у меня никаких не было. О какой-то там работе сегодня и говорить нечего.

Чем больше я думал об этом несчастном случае, тем яснее выкристаллизовывалось мое окончательное мнение. Во мне укреплялось чувство отвращения ко всему.

Я не хочу этим сказать, что не испытывал сочувствия. Сочувствие к Соне было даже довольно сильным элементом моего душевного состояния. Выводы, к которым я пришел, касались по преимуществу собственной моей особы. Мне-то нет нужды обманывать самого себя, описывая свою истерзанную душу и кровоточащее сердце. Не одни Хайны — я тоже был отчасти актером на сцене. И я был адски одинок среди этого сборища истеричек, педантических старух, разнюнившихся отцов, вечно спотыкавшихся об отвратительного толстобрюхого идиота и играющих все вместе малопривлекательную комедию, напрочь лишенную логики.

Зачем затесалась в это болото моя добропорядочная жизнь? Как могло случиться, что женщина, которую я, по трезвом размышлении, избрал своей подругой и матерью моих детей, сама себя

обвиняет в столь грязном и глупом падении? Нет, я не мучился неуверенностью, — а не случилось ли все же *это*, — нет, мне просто было противно, что возникла точно такая же ситуация, как если бы жалкое насилие совершилось.

Где я? — Среди людей, обеспеченных слишком хорошо, а потому разнообразящих себе жизнь всякими ужасами — для того лишь, чтобы тоже иметь хоть какие-то заботы. Для полноты ощущений, для того, чтоб не так приелась сладость счастья.

Я был каноником Свифтом, попавшим к лилипутам. Я очутился в стране Хайнов, да, в царстве детей с обликом взрослых. Им хочется разыграть какую-то драму в масштабах своего дома. Ну и пусть себе играют, не стану мешать им, только пусть уж меня-то не заставляют ронять заодно с ними стеариновые слезы, пусть мне-то не угрожают своими безвредными копьями, чьи уколы — как блошиный укус, не пугают меня чертями, намалеванными на стене!

Можно ли поверить, чтоб молодая, жизнерадостная девушка внушила себе такой ужас перед тихим помешанным, вызвала на свою голову канифольную молнию, позволила сбить себя с ног и стала взаправду пациенткой всамделишного

врача, который отлично подошел к ансамблю?

Я видел, что впредь вынужден буду принимать с серьезным лицом многие подобные смешные и невероятные вещи, если не хочу, чтоб лилипуты хайны слишком скоро изгнали меня, как паршивую овцу из стада. Но я дал себе слово, что никогда не позволю себе почувствовать снова такой искренний, такой живой интерес, ибо он может закончиться только тягостным разочарованием — как то было в случае с Невидимым.

Вскоре после обеда, уснащенного слезами причитающей Анны, — которая не преминула воспользоваться столь редкостным случаем показать свою преданность семье, — Хайн поспешил наверх, не в силах дождаться аудиенции у Сони. Просидел он у нее больше часа. Чтобы как-то вознаградить меня за странное нежелание Сони меня видеть, он от нее пошел прямо ко мне.

Расстроенно сообщил он, что Соня горит в жару и совершенно не воспринимает его утешений и знаков любви.

— Петр, не печаль в ее глазах так раздирает душу, а совершенная *пустота*! Никогда еще не видел я такой пустоты в глазах человека! Кати утверждает — это и есть тот самый покой, в котором Соня, по уверению врача, так нуждается.

Но это ужасно, видеть нечто подобное у родного ребенка!

Потом он обстоятельно и долго рассказывал мне про какую-то царевну Несмеяну. Мол, когда он ребенком впервые услышал эту сказку, то никакими силами не мог представить себе, что есть на свете девушка, которая не смеется, даже когда ее стараются рассмешить все шуты в государстве. А теперь вот он знает, как, наверное, выглядела царевна Несмеяна: точь-в-точь Соня. Истинная печаль — это когда человек не воспринимает ничего, кроме ужаса, случившегося с ним, когда он наполнен одной этой болью.

Заметив, что я не в настроении вести беседу, он объяснил это себе очень просто: наверное, я на него сержусь. Он чувствует себя виноватым передо мной. В жизни не простит он себе, что был глух к моим доводам, когда я жаловался на его брата. Я один во всем доме совершенно чист в этом деле.

— Но если есть бог на небе, — горячо воскликнул он, — то еще не поздно! Я изменился. Я уже не тот мягкий и уступчивый человек, каким был прежде. Несчастье изменило меня. Я уже позвонил насчет Кирилла и письма написал. Его немедленно увезут. Пока что — в здешнюю

больницу. Он и ночевать здесь уже не будет. Согласитесь, по крайней мере, что потребовалось известное самоотречение с моей стороны, чтоб все это устроить! Все-таки ведь это мой единственный брат, а я прощаюсь с ним навсегда!

Я подумал, что со стороны Хайна очень мило взваливать на свои плечи всю ответственность, и не собирался ему препятствовать. Не повредит мне какое-то время ходить этаким непонятым, жестоко пострадавшим человеком.

В четыре часа снова приехал Мильде, побыл у больной и спустился к Хайну, не заглянув ко мне. Таковы уж врачи — предпочитают обходить сторонкой супругов. С отцом пошел потолковать… Была бы мать, он разговаривал бы с матерью. На сей раз уже Хайн провожал доктора до ворот. Там они довольно долго стояли. Нет, я не выказал любопытства к тому, о чем они там шушукались, не побежал навстречу тестю с нетерпеливым вопросом на устах. Разговариваете одни, без меня — ладно, я и знать ничего не хочу о вашем разговоре. Да ты все равно не выдержишь, думал я, осиротевший, горестный отче, сам придешь ко мне и не уйдешь, пока я не выслушаю все твои новости и охи. Однако, к моему удивлению, Хайн ко мне не пришел. Быть может, потому, что

не успел улучить минутку: вскоре после ухода Мильде явились санитары за Невидимым.

Помешанный словно предугадывал свою судьбу. С самого обеда в мансарде царила тишина. Бешеный перестал беситься. Прикинулся паинькой. Не барабанил кулаками в дверь. Ни хохота, ни криков. Тишина! Поздно! Его раскаяние было напрасным. Часы его были сочтены. Только когда в двери его заскрипел ключ, когда вошли к нему чужие люди, чей облик напомнил дядюшке кое-что из давнего прошлого, из груди его вырвался протяжный, отчаянный стон, похожий на вой, и вой этот не прекращался, пока санитарная машина не скрылась из виду, увозя его.

Хайн, при котором сумасшедшего извлекали из его берлоги, рассказал мне потом подробно об этой безобразной сцене. Со слезами на глазах — разумеется, со слезами на глазах, ведь теперь на помешанного смотрели как на этакого домашнего мученика, принесенного в жертву детям, то есть Соне и мне.

Выманить Кирилла попытались сначала с помощью красивых лживых сказок. Напрасно Хайн тщился подействовать на него дурацкой выдумкой, будто где-то нашли для него великолепную, отлично оборудованную лабораторию с запасом

самых дорогих химикалий. На такую прозрачную чепуху не клюнул бы, конечно, даже полный идиот. В тазу с водой в комнате Кирилла плавало несколько листков бумаги — тихая забава сумасшедшего после того, как он прекратил свой рев и беснование и забыл уже о прерванном любовном приключении. Сам Кирилл забился в угол, за стул с тазом, и страшно завыл. Санитарам, конечно, некогда было ждать, чем кончатся соловьиные трели, с помощью которых пан фабрикант выманивал помешанного. Толстяк не желал трогаться с места. Пришлось применить силу.

— Ох, Петр! — скорбно твердил мне потом неисправимый добряк, — с этой минуты я, собственно, ничего не видел! Я закрыл глаза, как ребенок, которому страшно смотреть, как режут курицу, клевавшую зернышки у него с руки!

Итак, Хайн не смотрел — зато смотрел я. Когда помешанного тащили вниз, я вышел на порог своей комнаты. Разумеется, я по возможности настроил физиономию на выражение сочувствия. Но вышел я не только из любопытства — я хотел собственными глазами увидеть, как поведет себя тетушка.

Четыре человека едва справлялись, спуская по лестнице тучное тело Кирилла. Кто-то из них

зажал ему рот, но протяжный, блеющий звук плакал, просачиваясь сквозь пальцы. Меня все-таки пробрал мороз при виде малодушного ужаса, какой испытывал этот пожилой лысый человек в парадном черном костюме. Впрочем, то было всего лишь животное, влекомое на бойню.

Тетка не показывалась. На первом этаже все словно вымерло. Старый Паржик, в полном остолбенении, торчал в одном углу холла, Анна в другом. У сапожника вздрагивал от волнения ежик непокорных волос. Анна не могла отказать себе в удовольствии хоть дотронуться напоследок до Невидимого. Она причитала как на похоронах. Филип замыкал шествие с видом распорядителя церемонии. Только о тетке — ни слуху ни духу. Она заперлась, чтоб не поддаться искушению выйти. Да, она буквально заперла себя — когда она в конце концов все же не вытерпела, то прежде чем ей вырваться в коридор, растрепанной и страшной, ключ долго гремел в замке, не слушаясь дрожащей руки. Она появилась внезапно, с широко раскрытым, онемевшим ртом, обнажающим беззубые старческие десны, с выпученными глазами, со своей отвратительной клюкой, отлично подходящей к столь мрачному случаю.

— Кирилл! Кирилл! — взрыдала она наконец

самым драматическим тремоло.

Стеная, как Джульетта над мертвым Ромео, она бросилась вперед, растопырив руки, готовая обвить венком своего горя выпуклое брюхо сумасшедшего. К счастью, подросток Филип был начеку, он заметил опасность и предотвратил грозившее осложнение.

— Что ты им сделал? Негодяи! Негодяи! Подлецы!

Вперемежку с бранью она причитала, норовя отпихнуть Филипа, который грудью преграждал ей доступ к Невидимому.

— Бессердечные! Вы убиваете несчастного! Ведь он уже успокоился! Мой маленький Кирилл, которого я вынянчила! Такова твоя благодарность, Хуго? Как можешь ты обременить свою совесть таким грехом? Но я знаю, кто подсказал тебе это злодеяние… Вон он! Вон! Видите его, люди?! — она подняла руку, указывая на меня, когда я перегнулся через перила. — Вот он, иуда, это он предал Кирилла! Неотесанный мужик, вор, сын пропойцы!

Я слушал ее ругань, как сладостную музыку. Ага! Наконец-то вражда между мной и теткой объявлена официально. Все слышали, как она меня оскорбляла. Все были тут — Хайн, Анна,

Паржик, Филип, да еще четыре санитара. Что ж, теперь-то все станет ясным. Я, право, трепетал от внутреннего удовлетворения. Наконец-то не нужно больше напрягать лицевые мышцы в улыбке, наконец-то я выпрямлю спину, согбенную до сих пор в обязательной почтительности!

Но час расплаты еще не наступил. Враждебность следует взращивать как капусту, усердно поливая злобой, чтоб лучше росла. Тот, кто не хочет одним разом расточить свои запасы негодования, не должен увлекаться. Здесь, например, при публике, состоящей из домочадцев и посторонних, выгодно было показать свое превосходство и достоинство. Скрестив на груди руки, я медленно отошел от перил, спокойно отворил дверь в столовую и скрылся.

Я сел у окна, занавеска хорошо меня закрывала.

Процессия с воющим помешанным, за которой тащилась бессильная тетка, вышла из дому, и дверцы санитарной машины захлопнулись за пленником, как крышка гроба над мертвецом. Два санитара сели в кузов, двое встали на подножки — на страже. Машина медленно тронулась. Тогда Хайн круто повернулся и, уронив голову на грудь, вошел в дом.

Я слышал, как он поднимается по лестнице. Кажется, за ним шагал кто-то тихий — скорее всего Филип, — а может быть, Хайн шел один, разговаривая сам с собой, как то делают старые люди, когда они расстроены? Он поднялся к комнате Невидимого, все еще стоявшей настежь, и запер ее. Я слышал, как ключ от этой комнаты звякнул о другие ключи в кармане фабриканта.

— И так пусть останется, — проговорил старик голосом, полным слез. — Пусть никто больше сюда не входит. Никто!

Действительно, почти два месяца каморка помешанного стояла неубранной и запертой. Именно столько времени прошло, прежде чем сентиментальный Хайн решился сорвать повязку со своей болезненной раны.

Так, сказал я себе, так. Это дело сделано. Призрак изгнан из дома. Теперь уж, наверное, конец всем страхам, самонаблюдениям, диким фантазиям. Тень, лежавшая на нашем молодом супружестве, ушла. Одним страданием меньше. Одной надеждой больше.

Не шевелясь, прислушивался я к звукам дома. Часы над моей головой спешащим шепотом отсчитывали время. В Сониной комнате стояла абсолютная тишина. Спит, наверное, — или умер-

ла от ужаса, когда выдворяли сумасшедшего? Внизу кто-то тихо, протяжно скулит — конечно, тетка. Где-то звякает посуда — Анна, невзирая на горе, не потеряла аппетита, готовит себе послеобеденный кофе. Паржик что-то яростно заколачивает в саду.

Я смотрел далеко, далеко в будущее. Там было, правда, не то простое семейное счастье, каким я представлял его себе во время честолюбивой холостяцкой жизни, счастье с женой, заинтересованной моей работой, сильной и веселой женой, с высокой грудью и звонким певучим голосом, окруженной здоровыми детьми, — но все же открывалась передо мной перспектива *спокойной жизни*. Пока что я — супруг больной женщины. Но сколько может тянуться жалкое отупение? В один прекрасный день Соня сбросит маску страдалицы и снова засмеется. После краткого, тягостного перерыва мы вернемся к прежней влюбленности, к прежней страсти и попытаемся начать лучшую жизнь в новых условиях.

Насладившись столь оптимистическими предвидениями, я, не в силах усидеть на месте, встал, заходил по комнате — от окна к двери, от двери к окну, — довольный теоретическим разрешением проблемы. Словно откуда-то блеснул мне

солнечный лучик. Но это было обманчивое впечатление — небо оставалось серым. Паржик перестал заколачивать кол, тетка прекратила скулеж. Анна, по-видимому, притихла над новым романом в «Политике». Может быть, даже Хайн совсем зашел в тупик со своим трусливым горем и успокоился, увидев, что дальше пути нет. Только тишина в Сониной комнате казалась мне загадочной. Может быть, сейчас Кати меняет компрессы на ее горячем лбу? Или обе шепчутся, без конца споря о том, хорошо ли видела Кати или Соне привиделось?..

Мне вдруг стало тесно в душном, замкнутом помещении. Надоело шагать взад-вперед, натыкаясь на равнодушие стен, довольствоваться частичкой простора, какую предоставляло мне полузанавешенное окно. Я положил несколько сигар в нагрудный карман, взял свою трость с собачьей головой, нахлобучил шляпу и, выпрямившись, сунул руку в карман, готовый продолжать свои примирительные думы, вышел на предвечернюю прогулку.

10
РАНЕНАЯ

Мне прекрасно спалось одному в нашей общей спальне.

Утром Анна, подавая кофе, сообщила неожиданную, весьма интересную новость:

— Хозяин сказал, он пока не будет ходить на завод. До тех пор, пока не выздоровеет молодая пани. Мол, пан инженер и сам управится.

Вот как! Хайн не будет ходить на завод! Посвятит себя уходу за больной доченькой! Меня это обозлило. Так бесцеремонно втереться в мою роль, роль супруга! Боже сохрани, не то чтобы я ревновал или хотел бы сам занять место у этих заплаканных перин, но ясно было — опять там что-то сварганили без меня, а я этого терпеть не могу. Я нахмурился.

— Ну, пан инженер, — разливалась тем временем Анна, — теперь-то пани будет в хороших руках! Пану инженеру нечего бояться за нее!

Только когда я уже сел в автомобиль, до меня дошло, что, собственно, не случилось ничего такого, о чем я мог бы пожалеть. Просто тесть

неожиданно уступил мне место. Я еду на завод без него — и работать буду без него. Наконец хоть какая-то свобода! Прекрасный случай воспользоваться положением, захватить управление в свои руки, ввести все то, что я до сих пор не отваживался ввести, и это — без необходимости докладывать, как школьник, пану шефу, без неприятных справок о его мнении!

Но то была лишь вспышка отваги, нечто вроде фата-морганы. На деле оказалось, что очень нелегко что-то провести, что-то изменить. Все получалось совсем не так, как я представил себе в первый момент моих мятежных намерений. Не день, не неделю — целых пять недель был я хозяином на заводе, и все же как бы и не хозяином. Руки мои оказались связанными куда туже, чем прежде.

Прежде Хайн был всего лишь условной фигурой. Если я хотел что-то предпринять, осуществить какой-то свой замысел, достаточно было слегка отшлифовать его, чтоб не так царапал углами, и старик соглашался. Начинать же что-либо теперь, в отсутствие Хайна, равнялось явному бунту. Я шагал из угла в угол по своему кабинету, руки за спиной, кусал губы, страстно желая начать какое-нибудь дело, но всякий раз сдерживался.

Дома с Хайном и речи быть не могло о делах. Едва я заводил об этом разговор, он тотчас отмахивался:

— Ради бога, делайте что хотите, не желаю ничего слышать! Я в отпуске, понимаете? Нет меня в Есенице, я в Альпах, на Ривьере, где угодно… Вы отлично знаете, мне сейчас не до мыла, все мои мысли совсем о другом. Как вы полагаете, когда я сижу возле Сони, а она смотрит в потолок мертвыми глазами и молчит, о чем я могу думать? О заводе? Куда там…

Когда я слишком налегал на него, он сердился.

— Оставьте, прошу вас! Потом, потом, когда все придет в порядок. Делайте все, что считаете нужным. Я абсолютно полагаюсь на вас, верю вам безгранично!

В этом уклонении, в этом доверии и крылись корни моей несвободы. Достойно ли обокрасть человека, который открыл вам свою сокровищницу и позволил сколько угодно в ней рыться? Пожалуй, Хайн в самом деле поглупел от горя — если только это не было ловким приемом…

Однако я слишком забежал вперед. Необходимо вернуться к первому дню Сониной болезни — он принес мне еще одно разочарование.

Приехав к обеду, я естественным образом на-

правился прямиком к святилищу, где покоилась Соня. Устроил на лице шутливую, добрую улыбку, заранее подготовив слова, которые произнесу при входе. Я намерен был, играя ямочками на щеках и уперев руки в боки, изречь с комическим удивлением: «Ай-ай, что же это за порядок? Моя девочка еще в постельке?» И со всем обаянием, на какое только был способен, выклянчить этакий всеисцеляющий поцелуйчик.

Не было ни поцелуйчика, ни шутливого появления. Хайн преградил мне дорогу, и лицо его выражало крайнюю степень озабоченности и сожаления.

— Я знал, Петр, — и это так естественно! — что вы первым долгом пойдете к Соне. Только… Ох, я искренне сожалею, но доктор Мильде запрещает… Знаете, что он сказал? Мужу там пока еще не место. Только родителям и сиделке. Не сердитесь, Петр, пожалуйста! Впрочем, вы ничего не теряете — дела-то еще нехороши… Нет, нехороши!

И он покачал головой.

Я добродушно улыбнулся. Я умею владеть собой.

— Да, я понимаю, — заверил я Хайна. — Подчиняюсь! Ради Сониного здоровья — что угодно!

Я говорил все это и тому подобное, но внутренне

был взбешен. Я был взбешен, хотя улыбался. Бешенство мое еще возросло, когда я увидел, как из Сониной комнаты тенью выползает Кунц, весь согнувшийся под бременем горя и сострадания. Он словно вдавливал в пол параллельные свои ступни, рекламная борода его растрепалась. О скандале в вилле он узнал только сегодня утром, а до той поры и понятия не имел о бунте моего тестя и о высокопарных проклятиях тетки. И теперь он грустным взором окидывал порванную паутину благородных семейных уз и обдумывал компромиссы. Он уже побывал у разъяренной Каролины, но поручение, которое она на него возложила, было, как видно, не из тех, какие можно выполнить. Кунц повесил голову. Его мудрость пасовала перед такими запутанными шарадами.

Настала моя очередь разыграть комедию. На цыпочках, под напряженным взором обоих старцев, я осторожно ступил на порог и прижался ухом к Сониной двери. Я не услышал даже шороха (да и не стремился услышать). Растроганно покашлял. Деревянный порог тихонько скрипнул под моей тяжестью. Я сошел с него, как сходят с карусели. Поглядел в две пары пытливых глаз. Две головы одобрительно кивнули. Так и полагалось. Было правильно, что я показал, как я

одинок и как люблю. Кунц даже подшаркал ко мне и сочувственно погладил мне руку.

После того как сумасшедшего увезли, тетушка Каролина разгневалась на всех обитателей виллы и, как до нашей свадьбы, завела отдельное хозяйство. Она заняла прежнюю свою кухню, выжив из нее толстоногую вздыхающую Анну. В сущности, это объявление войны довольно удачно разрешало несколько запутанную проблему: ведь Кати, приставленная ухаживать за больной, не могла более исполнять обязанности по хозяйству. Так кухарка со всеми своими пожитками водворилась в нашей кухне, чтоб готовить на всех, кроме тетки. Для Анны, ленивой стареющей особы, работы было многовато. Что она и подчеркивала при всяком удобном случае, беспрестанно охая и стеная. Мы заверили ее, что это лишь временная мера. Легко сказать временная — никто не знал, когда придет конец такому положению дел. Думая о будущем, Хайн надеялся исключительно на дипломата Кунца.

Вилла смахивала теперь на небольшой военный стан. Тетка забаррикадировалась за запертыми дверьми — от извергов, лишивших ее любимчика. Ее прислугой и единственным доверенным лицом стал Паржик, неприкрыто

косившийся на врага, то есть на нас с Хайном. Мы все же решили оставить его при старухе, чтоб не отнимать у нее единственного помощника — вот какие мы были рыцари! Паржик снабжал осажденную провиантом и, по-моему, был еще чем-то вроде лазутчика. Мы, разумеется, обходили это молчанием.

На нашей стороне был лазарет — в сущности, он являл собой центр нашего лагеря. В нем бросил якорь Хайн, а ведущую роль там играла Кати. Бедняга Филип никак не мог взять в толк, на чьей он стороне. Роль ему определили самую жалкую. Анна, со своими тяжелыми ногами, не в состоянии была закупать провизию. И Филипу — поскольку Кати не отходила от больной — волей-неволей приходилось отправляться в город и, с корзинкой на локте, обходить лавки по указаниям кухарки. В довершение его позора, ради экономии рабочей силы, Филипу доверили и все закупки Паржика. Разумеется, тетка не должна была об этом и подозревать.

Присутствие Анны в моей квартире было мне чрезвычайно неприятно. Ее лицемерные улыбочки, неряшливый пучок жирных волос на ее темени отравляли мне аппетит. Утром я старался поскорей выбраться из дому. В полдень обедал

вместе с Хайном, но случалось мне есть и одному. Пан фабрикант, наверное, не прочь был вылизывать после Сони тарелки со сладкой кашицей. Лучше всего я чувствовал себя в своем заводском кабинете. Тут, по крайней мере, можно было спокойно мечтать о будущих завоеваниях. Я вновь и вновь анализировал новые планы, перебирал их, как коллекционер свои раритеты. Планы отшлифовывались, совершенствовались и только ждали своего часа.

Кати поставила для себя в комнате Сони нечто вроде походной койки. Комната эта на все время болезни своей хозяйки приобрела что-то мистическое. Оттуда исходил запах лекарств и влажного перинного тепла. Хайн регулярно доставлял мне вести с этой запретной территории. А уж я мог думать о них, что хотел — мог им верить или не верить.

Хайн два раза в день звонил мне на завод — в первой и во второй половине дня. За обедом или за ужином мы с ним обсуждали состояние Сони — глаза в глаза, голова к голове, рука в руке, доверительно так…

Каждый телефонный разговор начинался словами: «Соня просила вам передать…» Однако я вовсе не был уверен в том, что это действительно

передает мне Соня. Было бы у нее что сказать мне, она бы добилась, чтоб меня к ней пустили вопреки бдительному надзору отца и странному запрещению врача.

— Сегодня она довольно хорошо спала. Просыпалась ночью только три-четыре раза!

Дело в том, что больше всего Соня страдала бессонницей. В ушах ее непрерывно звучали вопли увозимого помешанного. Она вновь и вновь переживала ужас того момента, когда он на нее напал, и свой обморок. Кричала во сне.

В телефонных разговорах меня слишком часто называли «бедняжкой». Я приобрел сочувствие, которого не домогался. Мне, «бедняжке», приходилось жить без жены, без радости… Меня жалели, но только так, мимоходом. Милостыньку отпускали. «Вы, бедняжка, там трудитесь — но мы с вами, мы думаем о вас!» Чепуха… Глупые слова, они не доходили до моего швайцаровского нутра.

При встречах Хайн разговаривал со мной далеко не так смиренно, как по телефону. Я даже дивился порой — каким лукавым комедиантом становился мой корректный, профессорского вида, тесть. Под зарослями бороды у него играла фарисейская ухмылка. Он в чем-то меня подозре-

вал. В те недолгие минуты, что мы проводили с ним вместе, из его слов всегда выглядывала какая-нибудь колючка.

— Ах, Петр, — сказал он как-то с коварной мягкостью, — если б в вас было хоть немного чувства! Но вы скорее жестоки… Ничто-то вас не волнует, холодный вы человек! Любите показать свое превосходство… А превосходство, дорогой Петр, не помощник любви! Я бы сказал, для любви лучше, когда человек не такой сильный, не такой совершенный…

В другой раз он выразился яснее:

— Я бы на месте Сони немножко боялся вас. Мы ошибаемся, делаем промахи — правда? Непохоже, чтобы вы согласились хоть что-то прощать или довольствоваться малым… Ах, людям ведь свойственна не одна только осмотрительность, они не всегда хлопочут о своей внешности, о своем достоинстве… Случается, они испытывают искреннее отчаяние, восторг, любовь, они смеются и плачут!

— Соне что-то не нравится во мне? — хладнокровно спросил я, одновременно наклоняясь, чтобы отряхнуть низ брюк: этим я хотел показать, что спросил просто так, между прочим.

— Вот! — вскричал Хайн. — В этом весь вы! Все

время осторожничаете! Словно мы вас судим или в чем-то подозреваем. Но послушайте, вы ведь дома, среди своих! Честное слово, я уважаю вас, знаю, вы замечательный инженер, человек порядочный и надежный — но… но ваша безупречность прямо-таки устрашает! Такая холодность — она в вас будто не сама по себе. Будто за ней что-то кроется. Но что? Может быть — недостаток любви?

В таком духе спорил со мной Хайн во время болезни Сони. Впрочем, это не были споры — я не защищался. Я отвечал улыбками, умалял значение его расспросов мнимым непониманием, невинным и спокойным выражением лица старался показать ему, что считаю его нападки просто безобидной отцовской философией. Но я знал — достаточно одного словечка, единственного сладко-грустного признания, одной слезинки, выжатой из глаз, — и Хайн раскроет мне свои объятия с радостным восклицанием: «Наконец-то *чувство*! Вот таким мы и хотели вас видеть. Теперь я могу назвать вас сыном — и пойдемте к Соне!»

Он донимал, колол меня, стараясь высечь искру раскаяния, горя, жалобы на одиночество. Я же вовсе не намерен был доставлять ему такого

удовольствия. Я предпочитал оставаться закоренелым нелюдимом, блудным сыном, презревшим милость. Почему? Отчасти из протеста. Кажется, у меня довольно было причин обижаться на судьбу. Я жил в неестественном безбрачии — и это через несколько недель после свадьбы!

Я никогда не верил, что доктор Мильде по собственной инициативе распорядился отлучить меня от своей пациентки. Какие могли быть медицинские показания против того, чтоб у ложа больной появился любящий супруг? Вероятно, ему на меня нажаловались, немножко облили меня грязью — или даже сами контрабандой включили этот пункт в предписания врача. Вероятно, я мог бы узнать истину от самого Мильде, но спрашивать об этом казалось мне слишком унизительным.

Я не сомневался, что меня изобразили чудовищем, эгоистом, глухим к чужому страданию, чье присутствие может только повредить больной. Или — и это было не менее правдоподобно — Хайну понравилось, что дочь снова принадлежит ему одному, и он не хочет впускать меня в этот замкнутый круг. Раз как-то он совсем по-глупому выдал себя.

— Петр, — сказал он тогда в телефон, увлечен-

ный глубокой разнеженностью, — Соня просит у вас прощения за то, что так долго не видится с вами. Уж вы на нас не сердитесь, нам обоим так хорошо проводить вместе все дни! Она опять стала такой, как прежде, маленькой девочкой в папиных объятиях!

Сознаюсь честно, в начале Сониной болезни я попал в плен обстоятельств и принимал ее недуг всерьез. Я допускал, что бывают люди ранимой души, на которых те или иные события могут оказать роковое воздействие, и что заболевания, связанные с этим, могут быть стойкими. Но с течением времени, под влиянием плаксивых и укоризненных хайновских сообщений, доверчивость моя все более и более уступала место сомнениям. В конце концов я пришел примерно к следующему выводу: Соне понравилось валяться в постели и принимать всеобщее сочувствие. Ей приятно, что ее балуют и утешают. Пока не прекратятся нездоровые хайновские оргии чувствительности, это неестественное состояние не изменится к лучшему.

Мне, в моем одиночестве, сильно не хватало Кати. Мне просто необходимо было видеть около себя эту жизнерадостную, стойкую духом девушку с ее улыбкой сатира, с ее языческим рыжим

чубчиком. Я видел ее лишь урывками: то промелькнет мимо со свежим постельным бельем, то спешит к таинственной запертой двери, помешивая ложечкой что-то в беленькой хрупкой чашечке… Как яркий мимолетный лучик! Случалось, она успевала бросить мне взгляд, одарить улыбкой, овеять ароматным ветерком, поднятым ее короткой юбочкой.

В высшей степени подозрительно было мне, что она никогда ничего не передавала от Сони. Вероятно, таковы были даны ей инструкции. Хайн, по-видимому, не желал, чтобы кто-то, помимо него, приносил вести из комнаты больной. Своего рода цензура, стало быть. Но — причина?.. Я не очень-то ломал над этим голову. Все это мне уже изрядно надоело. Хотят так — ну и пусть.

И все-таки именно Кати невольно выдала секрет: оказывается, в те часы, что я провожу на работе, Соня делает уже первые попытки погулять в саду.

Я нашел носовой платочек на скамейке и понес его домой. Поднимаюсь неторопливо по лестнице, и тут бежит мимо Кати.

— Кати! — окликнул я ее, довольный, что нашелся предлог перемолвиться с ней парой слов. — Вы потеряли платочек!

— А это не мой, — весело бросила она на бегу, — это Сонин!

— Как? — удивился я. — Сонин платок в саду?

Кати остановилась. Огляделась по сторонам.

— Ну да, — поколебавшись немного, сказала она. — Конечно, Сонин. Она ведь уже второй день выходит посидеть на солнышке. Доктор разрешил, разве вы не знаете?

Она прочитала ответ в моем взгляде — и покраснела. Вот уже и она меня жалеет.

Нет, я вовсе не желал играть роль «бедняжечки»! Что за глупое, бессовестное умолчание! Что же, черт возьми, дурного в том, что она уже выходит? Тем лучше для нее! Не вечно же ей оставаться в постели! Пора и подвигаться немного. Где это вообще слыхано, чтоб нервные болезни лечили перинами и теплыми отварами? И почему мне нельзя об этом знать? В чем причина? — Я сбросил с себя маску равнодушия и довольно резко потребовал объяснений у Хайна.

— Петр! — всполошился тот. — Зачем вы расспрашиваете? Просто Соня такая сумасбродная… Мы хотели сделать вам сюрприз… Ах, не портьте ей игру!

Но я настаивал. Я знал, что он сказал не всю правду.

— Я вас не понимаю, — холодно проговорил я. — Вы превратили меня в глупейшего из статистов. Когда игра затягивается, она становится неинтересной.

Этот разговор, показавший, что я угадал их карты, и мои неопределенные угрозы привели к тому, что на следующий день Хайн позвонил мне на работу и дрожащим голосом сказал:

— Петр, когда вы сегодня пойдете домой, не забудьте, пожалуйста, пройти садом. На первой скамейке за розарием вы увидите Соню.

Дрожь в хайновском голосе могла иметь две причины: или это — волнение отца, передающего мне не совсем еще выздоровевшую дочь, или — сожаление о том, что идиллия кончилась. Я, конечно, выбрал для себя второе объяснение. Меня просто душило, мне перехватывало горло от оскорбления. Так вот чего я добился! Вчера приподнял завесу, разоблачил их козни, а они за это поставили меня в положение просителя, выклянчившего наконец подачку… Не мог я, что ли, дождаться своей очереди? Теперь, в отместку за мою назойливость, мне предлагают кусочек малокровного счастьица — пусть, мол, тоже порадуется, бедняга… Ох, не нужна мне такая милость! Не надо мне, чтоб они ради меня отрывали

от себя свое жалкое лакомство!

Работать я уже не мог. Что теперь? Делать нечего, надо пойти к ним. Я обдумал свое появление на сцене. Только никаких переживаний, сказал я себе. Спокойно! Ты ведь не какой-нибудь Хайн. Иди, выпрямившись, не глядя по сторонам, забудь об этих двух сентиментальных неделях, когда ты лишен был их общества, сыграй самого себя, не более. Тебе вовсе незачем прикидываться этакой божьей овечкой. Но не надо являться и грубияном, желающим смыть свой позор. Прими такой вид, будто ничего не случилось. Серьезность и сдержанность, естественно, не повредят. К примеру, можешь заглянуть ей в глаза долгим грустным взглядом — нерешительно удержать ее ручку в своей — поцеловать ее. Первым долгом постарайся завоевать доверие — это разумнее, чем окончательно потерять его из-за ненужных резкостей.

Итак, я поехал домой и, как мне было предписано, прошел через холл прямо во двор и направился к розарию. На ходу я несколько вызывающе насвистывал. Правда, насвистывание не подходило к моей игре, но я не мог отказать себе в этом удовольствии. Броня моя оказалась все-таки не такой крепкой, как я бы того желал.

Я увидел Соню — и мне стало не до свиста. Отчего не сознаться? Куда девалось все, что я задумал для посрамления Хайна, — по крайней мере, в первую минуту! Правда, я не видел Соню с того самого дня, когда произошел инцидент с Невидимым. Вот почему я так ужаснулся. Как она исхудала, какой стала бледной! Значит, она *действительно больна*, сомневаться невозможно. Значит, нежность Хайна к ней вызвана ее болезнью, а вовсе не наоборот? Я до того смешался, что просто не знал, как мне держать себя. Я едва заставил себя подойти к ней, заглянуть в глаза и поцеловать ручку, как задумал.

Соня не могла оторвать своего взгляда от моего — но в этой неспособности оторваться была такая слабость, такой испуг, такое изнеможение, что я отказался от своего запланированного *долгого* взгляда. В сущности, мне не оставалось ничего иного, как опустить глаза или отвернуться. В ее расширенных темных зрачках я прочел все бессилие хрупкого тела. Бедняжке сделалось нехорошо от моего бодрого вида. От моего колючего поцелуя у нее закружилась голова.

Хайн, конечно, ассистировал при нашем свидании. Но он стоял к нам спиной и рассматривал что-то в саду. По его словам, он как раз увидел

белку, начал глупо выкрикивать, показывать:

— Смотрите, дети, вон она прыгает, видите? С ветки на веточку!

Он, конечно, врал. Никакой белки там не было. Просто он не хотел, чтоб мы заметили, как он всхлипывает от растроганности чувств. Эх, старый глупый добряк! У меня было желание похлопать его по спине: не реви, старый! Швайцары ведь тоже порой бывают великодушны. Я готов был все ему простить. Искаженные физиономии, слезы — нет, это все не для меня. Разумный человек должен избегать трогательных сцен, от которых сильнее бьется сердце. Очень легко поддаться ядовитым чарам и понести такую околесицу, за которую потом всю жизнь будешь стыдиться.

— Соня, Соня, — прошептал я: мне страшно было говорить громко, она могла развеяться по ветру, как одуванчик. — Как давно мы не виделись!

— Да… — с запинкой произнесла она. — Да…

Рука ее дрожала. Но Соня не улыбнулась. Словно уже не умела. Только теперь дошел до меня весь ужасный смысл хайновских слов: «Царевна Несмеяна»…

— А я уже так привык к заводу, — начал я

рассказывать, стыдясь, что не нахожу ничего лучшего и тем обнаруживаю свои раны. — У меня теперь вся жизнь — это завод. Мыло, кристаллическая сода…

И я засмеялся — неискренним, шутовским смехом. Ох, и почему этот старый болтун не сказал мне всего, не подготовил получше к этой встрече?

— Ты очень хорошо выглядишь, — медленно и серьезно выговорила Соня, и я принял это как упрек и обозлился на то, что у меня такой здоровый вид, что я во все время ее болезни не терял прекрасного аппетита…

— Я веду размеренный образ жизни, — как мальчишка забормотал я. — Мне некогда горевать. Работаю…

Получилось так, словно на ее упрек я ответил упреком. Каким звучным был мой голос! Нет, он никак не подходил к этой минуте, совершенно ясно. Строго говоря, старый Хайн действовал вполне разумно и дальновидно, не позволяя нам видеться раньше. Господи, как долго еще протянется это свидание? У меня было такое чувство, будто башмаки мои подбиты железом, а стою я на бумажном полу. Провалиться бы мне в самые недра земли!

После первого свидания мы с Соней виделись уже каждый день. Предписание врача, все еще маячившее где-то на заднем плане, разрешало это делать только раз в день. И лишь по воскресеньям программа бывала несколько разнообразнее.

На первых порах нас не оставляли наедине. Иногда с нами сидела Кати, но чаще сам Хайн. Этот подозрительный отец ревниво следил за каждым моим словом, готовый вмешаться, как только в моем поведении появятся какие-нибудь суровые или равнодушные оттенки, которые могли бы ранить больную, как только на личике Сони появится выражение разочарования или утомления. Тогда он сейчас же вытаскивал часы и смотрел на меня таким озабоченным и красноречивым взглядом, что я предпочитал поскорее убраться — с поклонами и лучезарными улыбками.

Встречи наши проходили почти всегда одинаково. Я появлялся по возможности бесшумно, чтоб не испугать, — это могло бы повредить Соне, — и наклонялся к ней с той предписанной непринужденной улыбкой, которая, по мнению Хайна и доктора, могла привести больную в хорошее настроение. Подтянув на коленях брюки, я садился у постели Сони на стул, который мне

уступал Хайн.

— Только, пожалуйста, поспокойнее, — советовал тесть, — да повеселее! И ни слова о болезни, ладно?

Я послушно избегал разговоров о болезни, но чем тщательнее я их избегал, тем навязчивее всплывала эта тема в наших мыслях, и я наблюдал, как все печальнее становится маленькое, измученное личико, и уныло следил взглядом за Хайном, который беспокойно расхаживал по комнате, давая тем понять, что мне пора удалиться. Я научился болтать с самым беспечным видом: «Ах, папочка уже становится нетерпеливым!» И, поцеловав ручку Сони, уходил легкой, франтоватой походкой, не преминув оглянуться с порога. Соня провожала меня строгим взглядом, ожидая этого момента. И вяло махала мне исхудавшей рукой.

За дверью я с облегчением переводил дух. Роль развлекающего супруга я исполнял вполне добросовестно, но никогда не стремился ни приблизить час этих сентиментальных трудов, ни затянуть их.

С первого же свидания, когда я столь неудачным образом навязался Соне, Хайн всеми возможными средствами подчеркивал свое надо мной превосходство. Еще бы! Он-то был мастер уте-

шать, баловать, врать — я же был всего лишь его неуклюжим учеником. В своей добросовестности я доходил до того, что старался подражать ему. И никогда я не выглядел смешнее, чем при этих попытках.

Сильный и здоровый мужчина, как я, при всем желании не может без конца поклоняться прядям черных волос, печально разметанным по подушкам, перебирать слабые, тонкие пальчики, вперять тоскующий взор в упорно потупленные глаза. Жизнь нескромна и бурна, в то время как болезнь — тиха. Мужчина уходит и, когда его уже не видят, открывает рот и зевает. А когда мимо пробегает этакая Кати со своими вишневыми губками и проворными ножками, он останавливается, ошеломленный, с тяжелым сожалением на сердце. Ведь он-то плутает на другом берегу…

Кунц обращал мое внимание на кое-какие улучшения, ускользавшие от меня.

— Вы не заметили — сегодня цвет лица у Сони уже гораздо лучше? И какое веселое у нее нынче выражение губ… Почти уже настоящая улыбка, честное слово!

Я действительно не умел подмечать такие подробности, но всегда готов был верить ему. Почему же нет? Вполне естественно, что у этого

друга дома развилось этакое загадочное шестое чувство, помогающее ему производить подобные наблюдения. У меня такого чувства не было.

— Соня ест теперь куда больше. У нее появился аппетит! — заявлял Кунц, и Кати подтверждала это.

Ей единственной решился я сознаться в своей слепоте:

— Кати, вы, вероятно, правы, но я этого не замечаю. По-моему, никакого улучшения нет. А если и есть, то совершенно незначительное. Похоже, все это затянется на годы!

— Вот выдумали! — смеялась Кати. — Да она уже поправилась на два килограмма! А совсем недавно каждый день теряла в весе…

В конце июля Соня выходила в сад только на полчаса, но скоро ей прибавили еще полчаса, а там уж она стала гулять довольно долго — от десяти до полудня. Позднее ей разрешили выходить еще на два часа после обеда. Шли дни, и прогулки эти делались все смелее. Однажды я услышал, что Соня легонько и грустно перебирает клавиши. Но что еще пока не возвращалось к ней, так это спокойное, уравновешенное состояние духа.

Кажется, на четвертую неделю Сониной болезни, то есть где-то в начале августа, дипломатиче-

ское искусство Кунца склонило тетку пойти на перемирие с Хайном. Перемирие, разумеется, касалось только его особы — обо мне и Соне старуха и слышать не желала.

Это было в воскресенье. Кунц уже более часа сидел у тетки. Оттуда доносился громкий, медлительный, нудный директорский бас, часто перебиваемый патетическим тремоло старухи. Под конец слышно было уже одно это тремоло — непрерывное, торжествующее, становящееся все агрессивнее. Хайн, заложив руки за спину, с озабоченным видом мерил шагами коридор.

— Я так хочу этого — ради папы! — шептала мне Соня. — Пусть бы все кончилось хорошо! Ты не знаешь, как эта размолвка его огорчает. Да и ради тебя я тоже хочу, чтоб все опять было в порядке. Наш дом кажется мне таким чужим, когда кто-нибудь сердится!

Немного погодя явились оба старика. Сонин взгляд так и приклеился к губам отца с робким вопросом. Я же сразу прочитал счастливый исход по лицу старого дуралея, сморщенному в блаженной улыбке.

— Да, Соня, да! — вскричал Хайн. — Тетушка пригласила меня к себе. Сама понимаешь, она вовсе не в восторге от того, как развились события,

но стала уже гораздо спокойнее и покладистей. Она соглашается уже на многое, на что прежде ей и в голову не приходило соглашаться. Правда, дела еще не совсем таковы, как надо бы… Пока что она, например, не простила… Петра. Но и это придет со временем! — поспешил он добавить.

Я заставил себя улыбнуться. Меня совершенно не волновало, соизволит ли тетка помириться со мной, но я очень хорошо представлял себе, что происходило там, внизу, за запертой дверью. Все, конечно, свалили на меня — да, так оно, видимо, и было.

— Я так рада! — твердила Соня, зарумянившись от волнения, но губы ее не улыбались.

Примирение тетки с отцом оказало на Соню благотворное влияние: не прошло и недели, как она окрепла настолько, что все мы считали ее уже совершенно выздоровевшей. И ждали только официального заключения врача, чтобы вернуться к обычному распорядку в доме. Но Мильде все еще, по каким-то причинам, колебался.

Я уже вернулся к обеду, а врач все еще был у Сони. В доме царила напряженная тишина. Паржик, вытянувшись в струнку, стоял посреди холла, как на часах. Испуганная Анна торчала у кухонной двери. Кати бродила по комнатам,

ничего не делая.

— Он ее осматривает, — озабоченно, но с надеждой прошептал Хайн, встретив меня на лестнице. — Я страшно волнуюсь. Что-то он скажет? Как вы думаете? Наверное, что-нибудь хорошее… Ах, как я был бы рад, если б он сейчас вышел и заявил, что его визиты уже не нужны… Представьте, когда я шел к ней утром, мне показалось, она напевает… Нет, нет, так только показалось, она не пела — зато выглядела почти счастливой!

И через некоторое время:

— Как долго он там… Я прямо на иголках!

Вдруг из Сониной комнаты донесся плач, полный какой-то безысходности, жалобный и безутешный. Хайн так и вскинулся, бросился к запертой двери, застучал:

— Что случилось? Пан доктор, ответьте мне! Ради бога, что происходит?!

Дверь приоткрылась, доктор высунул свое рябоватое лицо, украшенное очками с сильно выпуклыми стеклами; он сгорбился, чуть ли не сложился вдвое, как бы под бременем трудно разрешимой загадки.

— Никак не пойму, пан фабрикант, отчего она плачет, — быстро проговорил он, озираясь, не

подслушивает ли кто непосвященный, и шепотом закончил: — Я определил второй месяц беременности.

— Что? Как? — пробормотал Хайн, не слыша, казалось, ничего, кроме Сониного плача, — он весь сосредоточился на том, чтобы увидеть дочь.

— Я абсолютно уверен, — продолжал врач. — Признаки несомненны. Вы же помните, недавно я еще задумывался о причине задержки менструации. Конечно, тогда можно было объяснить это нездоровым состоянием нервной системы…

Он обернулся и сказал в комнату:

— Успокойтесь же, молодая пани, настоятельно прошу вас! Ведь вы уже весь дом на ноги подняли!

Тут он вдруг сообразил, что загораживает нам вход.

— Не угодно ли господам войти? Быть может, пациентка скажет отцу то, что не желает доверить доктору… Но, милостивая пани, что же побуждает вас так горевать при известии, при котором молодые мамаши обычно плачут от радости?

Хайн уже склонился над ее постелью, вне себя от волнения.

— Соня, что с тобой, глупышка? Ведь все мы

этому рады, а больше всех Петр — правда, Петр? Теперь вы уже настоящая маленькая семья, а я…

Он как-то застеснялся выговорить слово «дедушка». Смертельный ужас, написанный на лице Сони, остановил его.

Я стоял у постели и, так же как Хайн, не знал, что делать в столь неожиданной и необычной ситуации; я только в глубоком изумлении смотрел на Соню. В самых сокровенных своих мечтах не мог я предполагать, что ее загадочная болезнь завершится таким образом. Вот ведь, когда уже казалось, что все планы на будущее придется отложить на целый месяц, быть может, на годы — вдруг такая весть! Значит, жизнь может уготовить человеку и такое непредвиденное разрешение проблем?

И в этот миг мне вдруг стало бесконечно далеко все то, что делалось сейчас у постели больной. Пусть Соня плачет, пусть она в полном отчаянии, совершенно сломлена — что все это в сравнении с радостной неизбежностью: она родит! Возможно, этот неприятный нервный припадок — просто следствие внезапной радости? Припадок кончится — и останется один лишь неоспоримый, счастливый факт.

В гордыне своей я мечтал, чтобы это был сын.

Мне казалось, что я могу быть отцом только сына. Каким он будет, этот мой будущий сын? Будет ли у него швайцаровской лепки голова, орлиный нос, раздвоенный подбородок? Будет ли он смеяться милыми ямочками на щеках, как умею смеяться я, или он унаследует нежное личико Сони и ее почти черные волосы? Теперь я знал, ради кого взбирался так высоко, ради кого трудился и для кого и впредь буду работать до упаду. Вся моя жизнь обретала новый, четко определенный смысл.

Я буду хорошим отцом своему ребенку. Я все принесу ему в жертву. Кати, ее высокая грудь, ее фавновский смех — все потеряло какое бы то ни было значение в этот священный момент. Как я его воспитаю! Сначала привью ему потребность в чистоплотности, утонченность чувств, затем — правдивость, гордость и честность, наконец — трудолюбие и любовь к знаниям. Постепенно, мудро стану передавать ему свой опыт. Сделаю его стойким и выносливым, как подобает мужчине!

Соня в эту минуту была всего лишь дрожащим, горько всхлипывающим комком плоти, сплошным воспаленным нервом, над которым с состраданием склонялись отец и врач, не умея

успокоить это измученное, бьющееся в конвульсиях существо. Что мне было до этого? Я стоял, возвышаясь над ними, обратив взор в будущее, и улыбался.

Нет, детство сына пройдет не среди грязных стружек столярной мастерской, он будет расти не в нищете и пороке. Родители не будут пропивать бельишко, подаренное ему какой-нибудь сердобольной душой. Он не будет клянчить по домам куски хлеба для своих братьев и сестер, ему не придется, отстаивая свои права, драться с деревенскими мальчишками. Он будет учиться, станет на ноги не по милости провинциального мецената, ему не придется выдумывать целую цепь *лжи*, чтобы скрыть низость своей семейки, не придется выворачивать карманы в поисках последних медяков, выбирая между бережливостью и голодом. Не будет он гостем в состоятельных семьях, гостем, которого только терпят, и не придется ему за вознаграждение, равное подачке, делать по ночам чужие уроки и напрягать свой мозг ради ленивцев!

Глухой стон Хайна прервал мои грезы. Старик поднял голову, до этого склоненную к Сониным губам, и нежно зажал эти губы своей волосатой рукой. Вид у него был просто панический.

— Ах, пан доктор! — удрученно вымолвил он. — Она мне призналась!

— Ради бога, папочка, не говори им! — закричала Соня, протягивая к нему руки в стремлении защитить свою тайну (ладонь Хайна заглушала ее голос). — Я не хочу, чтоб они знали! Пусть никто на свете не знает! Пусть не знает Петя!

— Это так нелепо, — печально прошептал Хайн, — так ужасно и безосновательно, у меня не хватает слов разубедить ее… Снимите это с нее вы, пан доктор! Петр, попытайтесь вы ее успокоить! Нет, родная, я не имею права молчать!

Он отвернулся от дочери, которая приподнялась, напрасно стараясь помешать ему выдать ее тайну. Лицо Хайна исказилось от нерешительности и стыда.

— Она твердит… Она считает… что этот несчастный, что Кирилл — отец ее ребенка!

Соне положили на лоб холодный компресс; доктор Мильде взбалтывал пузырек против света; он налил лекарство в ложечку и поднес ко рту сопротивляющейся пациентки.

— Милостивая пани, именем разума заклинаю вас! Сейчас возбуждение — уже не ваше личное дело, вы должны думать о ребеночке! Неужели вы хотите нанести такой тяжкий вред этому

крошечному созданию?

— Не хочу я этого ребенка! — выдавила Соня сквозь зубы.

— Господи! — Врач отер вспотевший лоб. — Ну, скажите сами, на каком языке мне с вами объясняться? В моем распоряжении только слова… Так выслушайте же их, по крайней мере, прошу вас! Вы обязаны успокоиться. Стоит вам только немножко захотеть. Отчаиваться всегда успеете! И мы ведь не враги вам! Мы отвечаем за вас, подумайте сами — отец, муж и врач! Допустите, что сейчас мы имеем перед вами преимущество: наш рассудок трезв и объективен, в то время как вы возбуждены. Признайте же это наше естественное превосходство! Исполните нашу просьбу! Прекратите этот крик, этот плач, который вам во вред!

— Не хочу ребенка, не хочу!.. — из глубин своей усталости жалобно выкрикивала Соня — уже тише, но по-прежнему неуступчиво, и губы ее кривились от отвращения. Ей было физически нехорошо, состояние ее было плачевным.

— Милостивая пани, — усердствовал врач, поставив все на одну карту — на убеждение логикой. — Я ведь не первый раз вас пользую, я знаю вас, вы знаете меня. У вас было достаточно

случаев составить какое-то суждение обо мне. Скажите честно — когда-нибудь я обманывал вас? Применял по отношению к вам хоть какую-нибудь, самую невинную, врачебную хитрость? Не хотите отвечать? Ну, хоть головой кивните! И кивнуть не желаете? Что ж поделаешь, я отвечу за вас: нет, я никогда вас не обманывал, никогда вам не лгал. И вот стою я, человек, всегда бывший с вами искренним, и говорю — вы только слушайте, я скажу медленно, четко и серьезно: то, что вы вообразили, — просто исключено. Слышите? Вы обманываете себя, а следовательно, напрасно себя терзаете. Я клянусь вам честью мужчины и врача: ваши опасения необоснованны. Нет ни малейшего сомнения в том, что вы ошибаетесь!

Соня лежала на боку, вытаращив глаза, ладонями зажимая уши, и из груди ее исходил все один и тот же слабенький жалобный звук: неразборчивое бормотание и прерывистое «не хочу!» — без конца, без конца, упорно, строптиво… Слюна текла у нее из уголка губ.

— Соня, дорогая, встряхнись же! — молил Хайн. — Ну, немножечко мужества, соберись с силами, стань прежней умной девочкой! А то смотри, рассердишь пана доктора, который так хочет тебе помочь! Ты ведь всегда так заботилась

о своем достоинстве… Неужели тебе уже совсем безразлично, что подумает о тебе пан доктор?

Мильде попытался мягко отвести ее руки от ушей.

— Я понимаю, вы просто шутите. Играете со мной в прятки. Делаете вид, будто не слушаете, а сами прекрасно все слышите… Так вдумайтесь же в то, что я вам говорю! Разумные люди не закрывают уши перед правдой! Особенно когда правда приятна…

— Нет у вас таких доводов, чтоб переубедить меня! Разве только заговорить сумеете, — усталым, несчастным тоном вымолвила наконец Соня. — Я помню такие подробности, что ошибки не может быть… Никого при этом не было, только он и я! Только он мог бы сказать, а он никогда не скажет…

— Да, — торжественно возразил Мильде, — он не скажет, но существует медицина, а она с легкостью опровергает ваши предположения. Во-первых, вы говорите, что помните… Но что значит память человека, теряющего сознание? Она столь же ненадежна, как горячечный бред. Ну вот, теперь вы мне уже нравитесь, наконец-то вы открыли ушки… Итак, я сказал — вы должны верить науке. А наука говорит нам, что по

известным безошибочным признакам можно определить срок беременности даже в самом ее начале. Вы беременны восьмую неделю. А теперь возьмите и посчитайте со мной на пальцах: когда произошел этот злополучный инцидент? Чуть больше четырех недель тому назад. Строя свои расчеты на недобром подозрении, вы ошибаетесь почти на месяц. Теперь-то вам ясно? Если бы к тому времени, когда произошел этот несчастный случай, вы не были еще беременны, то сегодня я не мог бы со всей определенностью заявить, что вы станете матерью.

— Все равно я вас не слушаю, — внезапно, решительно и грубо перебила его Соня. — Да если б и хотела, не могла бы… Ужасно болит голова…

Теперь по тону доктора было заметно, что он оскорблен. Но он все же овладел собой и сумел сохранить бодрый, шутливый тон:

— Ну что ж, стало быть, пока ничего не поделаешь. Не слушаете — вам же хуже. К счастью, ваш муж и ваш отец запомнили то, что я сказал. Потом вы их спросите, и они повторят вам…

— Не буду я спрашивать! Не хочу ничего слышать об этом! — сердито огрызнулась Соня.

— Вот и отлично, — саркастическим тоном отозвался врач, — спрашивать не будете, думать

не будете, не будете терзать себя. Уже кое-что! Только я вам не верю. Одни лишь темные люди продолжают цепляться за свои заблуждения вопреки всем доводам разума. Знаю, сейчас у вас болит голова, — продолжал он, заметив жест бессилия и умоляющий взгляд Сони, — вы не в том состоянии, чтоб выслушивать ученые лекции. Мы вам уже и за то благодарны, что вы хоть немножко-то разговорились. Открыли нам причину вашего горя — так что теперь мы можем ее опровергнуть. Худшее позади. Завтра — да не завтра, а через час-другой, вам станет лучше. Не согласитесь ли вы — просто для контроля — ответить мне на один скромный вопрос? Скажите — вы начинаете верить мне? Есть у вас добрая воля искоренить в себе это нелепое подозрение?

— А мне уже все равно, — ответила Соня. — Не знаю я, чему верю и что будет потом… У меня голова раскалывается! Хоть бы уж раскололась наконец, чтоб мне навсегда успокоиться!

— Господа! — после некоторой паузы, убедившись, что сегодня от Сони уже ничего не добьешься, заговорил Мильде. — Одно я вам сейчас посоветую: уйдите. Я тоже не останусь, мне здесь пока нечего делать. Надо дать ей отдохнуть. Пошлите к ней ту девушку, которую она

так любит.

Хайн крикнул в дверь, и Кати мышкой проскользнула в комнату. Оба господина не удостоили ее даже взглядом… Только доктор перестал говорить о беременности. Это было уже нашим внутренним делом — сообщать или не сообщать слугам такую новость.

Доктор с Хайном нерешительно двинулись к двери. Я полагал, что не могу уйти, не сказав или не сделав хоть что-то. Деревянной походкой приблизился я к больной (Кати с удивлением смотрела на мое серьезное и торжественное лицо) и самым трогательным тоном сказал Соне, как счастлив я был узнать такую новость, радость ошеломила меня, я с надеждой смотрю в будущее и благодарю ее. Тут я наклонился поцеловать Соню, но она в ужасе дернулась и отвернулась к стене. Я понял — она не хочет, чтоб я к ней прикасался. Вид у меня при этом был, наверное, невероятно глупый. Я погладил ее по головке и вышел.

В коридоре Хайн так и набросился на Мильде с расспросами. Видно, хотел хоть чем-то вознаградить его за упорство Сони. Он взахлеб восхищался профессиональной мудростью врача, его красноречием. А Мильде желал теперь только одного

— поскорее выбраться из этого дома. Он слушал Хайна нетерпеливо, с досадливой покорностью, фамильярно придерживая меня за плечо. Я понял — он хочет еще что-то сказать мне одному.

Спускаясь по лестнице, он замедлил шаг и дал Хайну опередить нас. И сказал мне, что Соню теперь надо считать не больной, а беременной женщиной. Просил меня употребить все мое влияние на нее к тому, чтоб заставить ее выбросить из головы нелепый домысел, чтоб она снова обрела уверенность в себе и вернулась к естественному веселому расположению духа. Еще день-два пусть остается в своей комнате, но затем следует возобновить совместную семейную жизнь.

— Понимаете, ничто не подействует на нее благотворнее, чем возвращение в прежнюю колею. Человек становится бодрее, когда он чем-то занят. Мой совет — не позволяйте ей бездельничать. Праздность — отличная почва для развития опасных фантазий.

Я слушал внимательно, охотно соглашаясь с ним. Мне казалось невредным привлечь врача на свою сторону, обрести в нем до некоторой степени друга.

— Обращайтесь с женой бережно и *очень* снис-

ходительно. И еще советую: хоть вы и будете снова жить вместе, пока еще воздерживайтесь от физического сближения. Надеюсь, я могу на вас положиться?

— О, конечно! — заверил я. — Само собой разумеется!

Едва доктор укатил, ко мне бросился Хайн, обрушив на меня кучу накопившихся упреков. Как мог я столь безучастно вести себя при Соне? Он просто не в силах понять этого. Такая незаинтересованность! Можно подумать, я только наблюдал, словно все это меня не касается! Прямо как посторонний человек! Он не приметил, чтоб я старался успокоить Соню. И даже сейчас — ну, кто по моему лицу догадается, что я стал отцом? Ох, он, Хайн, совершенно уверен, счастливые отцы ведут себя совершенно иначе! Да еще после таких волнующих, душу надрывающих сцен!

— Знаете, — растерянно заключил он свою тираду, — мне показалось даже, что вы язвительно усмехаетесь!

— В такие минуты лучше всего предоставить дело врачу, — рассудительно сказал я в свою защиту. — Вам бы уже следовало немного знать меня. Я не из тех, кто много кричит. Мне ближе трезвость, сдержанность, чем слезы счастья, це-

лование пола и прочие безумства.

— Кто говорит, что надо целовать пол! — обиделся Хайн. — И слез счастья никто от вас не требовал. Вижу, вы просто не желаете меня понять!

А я подумал — до чего же хорошо, что он сам меня не понимает. Было бы куда как скверно, сумей он заглянуть ко мне в душу, когда мы были у Сони. Ох, какая гнусная мысль! Чтоб отцом моего ребенка был этот отвратительный толстобрюхий идиот! Я был зол на Соню. Зол? — Нет, мало сказать так! Я вполне мог утверждать, что она мне просто стала противна. Нет, я ни на единый миг не поверил ее вымыслу. Я был не настолько глуп, чтоб допустить подобное сумасшедшее подозрение. Но самообвинение Сони затрагивало *моего сына*! Он еще не родился, а мать уже *оскорбила его*. Это затрагивало нас обоих — его и меня. Нас с сыном бесстыдно, трусливо запачкали…

Нет, это счастье, что Хайн не мог читать в моем сердце. Не то он с ужасом увидел бы, что нет во мне жалости к убогому истерическому существу там, в кровати. В моем сердце было нечто иное. Я не преувеличу, сказав, что то была почти *ненависть*.

11
РАНЫ ГНОЯТСЯ

Папаша Хайн ломал себе голову над тем, как бы устроить так, чтоб еще и мы, то есть Соня и я, помирились с теткой. Эта мысль не покидала его. По дороге на завод, с завода, у себя в кабинете — при первой же возможности он вновь и вновь возвращался к этому предмету. Втайне он ждал, что, может быть, я сам что-нибудь предложу, а я нарочно не отзывался на его намеки — или отделывался многообещающими улыбочками.

В конце концов он решился на лобовую атаку:

— Петр, завтра воскресенье. Я ждал именно этого дня. Необходимо покончить наконец с этим недоразумением между вами и тетей. Молчите, пожалуйста, я знаю, что вертится у вас на языке, вы хотите сказать, что не собираетесь выпрашивать милости. Я вас понимаю. Но тетя — старая дама, ей можно кое-что и простить. Существует давнее, проверенное правило: первый шаг должны делать младшие. Вас не убудет, если вы это сделаете.

— А Соня? — спросил я как бы между прочим,

стряхивая пепел с сигары.

Хайн оживился.

— Что касается Сони, то я уже обо всем договорился. Она не только согласна, она встретила это с удовлетворением.

— Конечно, из внимательности к вам, — заметил я с улыбкой.

— Да, — осекся он, — вероятно, вы правы… Но сами-то вы, Петр, неужели не можете тоже сделать что-нибудь ради меня?

Уклонившись от прямого ответа, я некоторое время молча курил. Потом поинтересовался — уверен ли он, что меня примут хорошо.

— Понимаете, мне вовсе не хочется вдобавок ко всему еще проглатывать несправедливые упреки!

— Я знаю, вы горды, — грустно ответил Хайн. — Слишком горды… Если вы подходите к делу с этой стороны — тогда, конечно, ничего не получится…

Мы перестали об этом говорить, но я догадывался, что Хайн так просто не откажется от своего замысла. Догадка моя была верна. Вечером, когда мы с Соней уже готовились лечь спать, он вдруг взволнованно постучался к нам.

— Ну, Петр, что вы скажете, если я передам от

тети, что она ждет завтра вас с Соней? Если вы удовольствуетесь тем, что вас встретят корректно и визит ни в чем не заденет вашего самолюбия — тогда я могу дать вам определенные обещания…

Уклоняться далее было невозможно. Едва я произнес слово согласия, Хайн так и расцвел. А, все-таки я вас уломал! То-то же! Ну, теперь все опять будет хорошо, как прежде. Слава богу! Хайн с облегчением вздохнул. Тяжелый камень свалился у него с сердца.

В девять утра мы с Соней торжественно спустились вниз. Хайн, разумеется, уже нетерпеливо поджидал нас перед теткиной дверью. Старуха сидела, погруженная в чтение какого-то старого письма. Она подняла на нас долгий, удивленный взгляд. Притворялась, конечно.

— А, кто пришел — Соня! — проскрипела она. — Ну, как, девонька, уже здорова? Наконец-то вспомнила старую тетку. А то все сидела там наверху взаперти… Никого к себе не пускала… Конечно, я понимаю, я не сержусь — болезнь есть болезнь!

Так тетка одним ходом разрешила две трудные задачи: намекнула, что Соня сама виновата в том, что ее бедная любящая тетушка не могла зайти ее проведать, и вместе с тем нашла способ обойти

тот факт, что, кроме Сони, явился к ней и я.

Я деревянно поклонился, и пока Соня целовала старухе руку, обратился с каким-то несущественным вопросом к Хайну. Так и вышло, что я тоже незаметным образом не поздоровался с теткой — как и она со мной. Хайн посмотрел на меня укоризненно, но я ответил ему невинной, холодной улыбкой.

— Ну, как ты теперь? Вижу, вижу — хорошо. Немножко похудела, что ж, не удивительно. — Теперь тетка обратилась ко мне с таким видом, словно мы с ней встречаемся каждый день самым дружеским образом. — Нынешние девицы слишком чувствительны. От всего сейчас взволнуются, сейчас — обмороки, болезни…

— Я была очень больна, тетушка, — печально возразила Соня.

Нас пригласили сесть. Тетка повздыхала, постучала клюкой, прошаркала в соседнюю комнату и вынесла оттуда три рюмки, вино и бисквиты. Старинное угощение, в духе венского света сорокалетней давности… Это угощение и явилось тучным тельцом, заколотым ради блудного сына.

— Тетя, вы должны меня извинить — я не пью вина.

— Ах, правда, правда, я и забыла! — запела тетка. — Ведь ты теперь маменька! И, конечно, только потому и отказываешься от вина?

Давно я не видел у Сони такого румянца, какой сейчас залил ее лицо. Памятуя о недавнем припадке, я очень редко упоминал при ней о будущем ребенке, полагая более полезным пока не касаться этого обстоятельства. И вот теперь ей напомнили об этом так неловко… Это был даже не румянец, а краска кровавого, непреоборимого стыда. Тетка не могла этого не заметить, но она не собиралась так легко выпускать жертву из своих когтей.

— Боже мой! — медленно, зловеще произнесла она. — Как это прекрасно! Видишь, девонька, а я ни разу этого не испытала. Не знала я такого счастья — радоваться тому, чему радуешься ты… Я тоже вырастила детей, но, увы, то были не мои родные дети…

Она помолчала. Я смотрел на нее, ошарашенный. Так вот ты какова? Ну и ну! Значит, так ты представляла себе наш визит? Во мне разом вскипела желчь. Ну, надеюсь, хватит с тебя и того, что ты уже сказала!

Я ошибался. План ее был составлен заранее, и теперь она выполняла его с дьявольским хлад-

нокровием.

— Да, мне дано было растить только чужих детей. Вот Хуго — ведь он был почти еще ребенком, когда я приехала в этот дом. Скажи сам, Хуго, разве не был ты тогда совсем мальчиком? Разве не пришлось мне воспитывать и тебя?

Хайн только моргал, не отваживаясь отвечать. А тетка и не ждала ответа.

— Но, конечно, он был хороший мальчик, Соня, ведь он сын моего доброго брата — только был он немножко неотесан, как обычно бывают мальчики в его возрасте, и очень несчастен. С несчастными людьми трудно обходиться, можешь мне поверить! Они редко смеются и слишком серьезны, а порой и упрямы… В конце концов я, в сущности, осталась бы совсем одинокой, — вдруг резко проговорила старуха, — если б не было тут еще одного ребенка — Кирилла!

Я с тревогой посмотрел на Соню. Она была бледна как стена, она не отвернулась, не моргнула, когда тетка вперила в нее свой насмешливый взгляд. Соня сидела и комкала в пальцах платочек, как жертва, которая знает, что должна испить до дна горькую чашу.

— Как я любила это дитя, Соня! — вздохнула старуха. — Как его берегла! Думаю, Соня, я

вполне заменила ему мать. Он никогда не мог пожаловаться, что не знал матери. Ах, Соня! — заключила она с болью, то ли искренней, то ли наигранной. — Не дай бог тебе перенести из-за своего ребенка подобное тому, что я перенесла из-за своего!

— Тетя, — заговорил вдруг Хайн каким-то грозным, глубоким, чужим голосом, — всем нам известно ваше благородство и ваше страдание, но я прошу вас оставить эти воспоминания, они так мрачны! Мы встретились после долгого времени, будем же повеселей!

— Ах да, конечно, конечно, — живо отозвалась старуха, — надо быть веселей ради Сони! Она, бедняжечка, еще немножко в меланхолии, правда, девонька? Ведь как она тогда испугалась!

— Да нет, тетя, — прошептала вдруг Соня, словно в глубоком сне, — не надо оставлять ваши воспоминания. Я люблю слушать грустное. Больше, чем веселое, правда! И я буду очень рада, если вы расскажете нам что-нибудь о бедненьком дяде Кирилле.

Помню, я засмеялся. Заерзал на стуле, вытянул руки, словно мне тесны были подтяжки, и засмеялся — коротким, громким смехом. Ведь это было смешно! Ну, не смешно ли в самом деле?

Вот чего добился Хайн своей дипломатией! Для того ли он притащил сюда дочь?! Злость моя ушла. С надеждой и любопытством взглянул я на Соню. Насмехается — или мучит себя? Кается или нападает? Я еще не разобрался толком. Одно несомненно — я был глубоко изумлен. Все-таки я еще не очень хорошо ее знал.

— Ну, как хочешь, как хочешь, — засмеялась старуха, опять испытующе и загадочно глядя на Соню. — Только не знаю, что нового могу я рассказать-то… Ты, девонька, и так хорошо знаешь всю его историю. Все знаешь — как он был маленьким, каким был красивым, кудрявым, как учился — а потом взял да и помешался!

— Но тетя! — с болью вскричал Хайн.

— По-моему, — жестко вмешался я, — вам нечего тревожиться. Соня совершенно спокойна, и это даже мило с ее стороны, что она начинает интересоваться историями о маленьких детях.

— Нет, Петр, нет, я знаю, — залепетал несчастный Хайн, — я ведь знаю, у всех у вас лучшие намерения, но все-таки, тетя, пожалуйста, не слушайте ее! Напоминаю вам — доктор категорически запретил разговоры на эту тему…

— О, так он запретил! — удивилась старуха, тотчас исполнившись готовности подчинить-

ся. — Тогда, конечно, нельзя, Соня, овечка моя, тогда нельзя! Перевернем-ка страницу да поговорим о чем-нибудь другом. Так желает папочка!

И опять мне представился случай удивиться, я опять был поражен! Соня откашлялась, проглотила слюну, стиснула в пальцах платочек и монотонно, как заводная кукла, излишне громко произнесла:

— Что ж, тетя, раз вы не хотите, не будем говорить об этом сейчас, подождем другого раза. Но я была бы вам благодарна, если б вы как-нибудь, когда мы с вами будем одни, рассказали мне о Кирилле. Это правда можно. Я уже совсем здорова.

Хайн словно не слышал. Он держал, он давил в пальцах часы. Быть может, хотел заставить их идти быстрее…

— Кунц тоже обещал зайти, — бросил он с нарочитой беспечностью. — А коли обещал, придет обязательно. Думаю, тетя, его можно ждать с минуты на минуту!

Кунц действительно явился почти тотчас и перевел разговор на безобидную почву, как от него и ожидалось. Но когда мы в одиннадцать часов вышли от старухи, Хайн молча поднялся следом за нами, и, как только Соня, странно поспешно и неожиданно, убежала в кухню к Кати, он подо-

шел ко мне, поколебался немного и проговорил:

— Простите, Петр!

И бросился вниз — словно вот-вот заплачет. И снова меня обуял смех. Давно я ничего подобного не видел.

А Соня? Она поставила меня в тупик — в первый, но не в последний раз. Она стала какой-то непостижимой и при этом такой молчаливой! Я спросил, что означают ее странные речи у тетки, — она удивленно посмотрела на меня и ответила, что не понимает вопроса. Вид у нее был такой естественный, будто она и впрямь не понимала.

Кирилла она вбила себе в голову. Вбила себе в голову на свой особый, непостижимый лад. Сегодня, когда все это в прошлом, я, конечно, прекрасно вижу все связи, но тогда я их еще не видел. Тогда я только озадаченно смотрел на Соню, неспособный вымолвить ни слова, когда она попросила меня добиться для нее у отца разрешения заглянуть в пустующую комнатушку дяди.

— Я несколько раз просила папу, — объяснила Соня, — а он не позволяет. Не понимаю почему, ведь в этом нет ничего плохого. Папа прячет где-то ключ. Петя, я буду тебе очень благодарна, если ты как-нибудь достанешь его!

— Ты хочешь в комнату помешанного! — чуть ли не в ужасе вскричал я. — Но ведь ты туда в жизни не ходила! И никогда не желала слышать, что я там был! Что ты выдумала? Я просто тебя не понимаю!

— Неважно, что не понимаешь. — Она постукивала носком туфельки по полу и сильно нервничала. — Не хочешь — просто откажи, только не допрашивай меня.

Не по душе мне было такое темное желание, смысла которого я не мог постичь, — но, с другой стороны, любопытство мое было возбуждено до крайности. Я послушно отправился к Хайну.

— Я и не знал, что Соня уже несколько раз просила у вас ключ от комнаты Невидимого, — начал я.

Хайн опустил голову и быстро заходил по комнате.

— И что же вы об этом думаете, Петр?

— Что я об этом думаю? — Я сделал невинное лицо. — Да ничего. Скорее всего, очередная причуда. Реакция. Жалеет дядю за то, что его увезли в сумасшедший дом. Пожалуй, лучше позволить ей. Одну я ее туда не пущу — пойду с ней.

И вот мы с Соней поднялись в мансарду. Хайн с нами не пошел. Не хотел иметь с этим ничего

общего.

Еще на лестнице нам пахнуло навстречу запахом сладких рожков. Соня вдыхала этот запах расширенными ноздрями, спотыкалась, словно ноги отказывались ей служить, зрачки у нее стали совсем черные от возбуждения, она боязливо жалась к моему плечу. И говорила, говорила, без передышки, лихорадочно — это она-то, такая молчаливая в последнее время!

— Чувствуешь запах? Чувствуешь? Это его запах. Запах ребенка, правда? Дети ведь так любят сладкие рожки. Впрочем, теперь уже нет. Теперь у них совсем другие лакомства. Вот это и есть самое трогательное — все-то радости были у него такие бедные… Да, именно бедные радости! Как ты думаешь, там, в клинике, ему дают рожки?

Ну, теперь я понял, что происходит. Предстоит сеанс сентиментальности, нечто вроде оргии траппистов или тому подобное. Я нахмурился. Покачивая на пальце старый погнутый ключ, я остановился было в нерешительности. Соня, видно, почуяла опасность в моих молчаливых колебаниях и изо всех сил старалась казаться как можно мужественней. Попыталась даже напеть что-то бодренькое.

Тогда я сунул ключ в замок, тот пронзительно

заскрипел, и дверь сразу распахнулась — нас обдало спертым воздухом непроветриваемого, долго стоявшего запертым, помещения. Соня на секунду задержалась на пороге. Словно то, что ожидало ее в этой комнате, слишком сильно действовало на воображение и надо было хорошенько вооружиться против этого воздействия.

Дверцы шкафа стояли полуоткрытые, можно было разглядеть скудный гардероб сумасшедшего. Жалкая, мятая одежда походила на тряпки, стянутые с трупа. Вообще все здесь было как после похорон. Как-то не верилось, что обитатель этой опустевшей комнаты еще живет где-то, ненужно и безнадежно. На одном из двух стульев стоял таз, наполовину наполненный водой. Ко дну его прилип размокший, утонувший листок бумаги.

Соня стояла над этим листком, похожая на медиума, погруженного в транс: закусив нижнюю губу, прижав к груди руки, опустив голову…

— Скажи на милость, что ты там узрела? — спросил я, видя, что ее оцепенение слишком затягивается.

Она сразу очнулась и снова заговорила лихорадочно и бессвязно:

— А ты не чувствуешь, не понимаешь? Да это же самое печальное из всего, что здесь есть! Я

не в силах выразить, до чего у меня сжимается сердце при виде этого листочка… Петя, ему так мало было нужно для счастья! А мы лишили его этих детских радостей… Нет, правда, немного найдется людей во всем мире, у которых было бы так мало всего, а еще меньше — тех, кто решился бы отнять у несчастных даже это малое… А мы — такие! Нет, ты-то нет, но я! Теперь-то я вижу, все мое предубеждение против него было ужасно несправедливым, все мои ужасы просто смешны… Теперь-то я понимаю то, чего не понимала раньше. К сожалению — поздно…

— Вижу, — холодно отозвался я, — ты пришла сюда ради острых ощущений. У тебя странная склонность мучить себя. Отлично ведь знаешь, что говоришь глупости. Этот мирный человек вон до чего тебя довел, когда напал на тебя! У скромного бедняжки было столько требований, что все в доме плясали под его дудку. Жил себе в полное удовольствие, праздно, в то время как остальные работали. Впрочем, я не собираюсь спорить. Хочешь изображать плач Иеремии над развалинами Иерусалима — пожалуйста, развлекайся как угодно. Не стану мешать твоим драгоценным утехам.

Соня словно не слышала. Она подошла к шкафу,

нежно погладила засаленную одежду.

— Бедный, никогда больше он этого не наденет!

Она бережно соскребла ногтем пятно с клеенки на столе, с умиленной улыбкой вытащила из-под кровати шлепанцы помешанного, стала рассматривать их, как некую драгоценность.

— Сдается, дамы хайновского дома объявят дядюшку Кирилла святым, — язвительно проговорил я. — Я уже заметил некий общий у вас с теткой культ.

Она взглянула на меня пытливо и светло — и опять будто не поняла. Подошла к окну, открыла. Стала смотреть в сад, будто никогда его не видела.

— Знаешь, — сказала радостно, отступив от окна, — когда я смотрю отсюда, то у меня такое чувство, будто я смотрю его глазами. Знаю, ты не понимаешь меня, не хочешь понять, но представь! Сколько лет только он один смотрел в это окно! А теперь тут стою я, и глаза мои видят ту же картину. Мне открывается то же самое, что каждый день открывалось ему. Ничего не могу поделать — чувствую какую-то радостную связь… — Она наморщила лоб. — Я хотела… хотела еще что-то… Только уж не помню, что… —

закончила она шепотом.

— По-моему, ты хотела плакать, — насмешливо подсказал я.

— Плакать? — Она удивилась. — Нет, я хотела не плакать. Что-то совсем другое, гораздо лучше… Но теперь уж никак не вспомню.

— В таком случае умнее всего нам сейчас отправиться восвояси, — энергично заговорил я. — Считаю траурный визит оконченным. По-моему, ты не упустила ничего, чем могла почтить память невидимого дядюшки. Со святыыыми упокоооой! — пропел я со злобным озорством.

Она зажала уши, словно услышала что-то ужасное.

— Нет, Петя, не надо так, слышишь? Не надо!

Самым знаменательным в этом странном посещении каморки Кирилла было именно то, как не совпадали наши мысли, как разнилось настроение, как накапливалось непонимание. Строго говоря, я давно уже должен был убедиться в том, что со времени выздоровления Сони ее душевные процессы идут совсем другими путями, чем мои. В дядюшкиной комнате это несоответствие обнаружилось предельно ясно. Когда я смеялся, она оставалась безучастной и немой, когда ей становилось грустно, я злился и скучал, когда я говорил

насмешливо-трагическим тоном, она пугалась и смотрела на меня, как воришка, застигнутый на месте преступления.

— Со святыыыми упокоооой! — еще громче затянул я, просто уже из злорадства, грянул во всю мочь, захохотал…

Мой смех настиг ее уже на пути к бегству. Она бежала так, словно только что побывала под виселицей в пустыне, романтической ночью, испытывая свое юное мужество, — и вот только что прокричал традиционный филин… Бежала трусливо, на последней ступеньке споткнулась, чуть не упала.

Запирая каморку тяжелым ключом, я хохотал еще пуще, а она стояла внизу, вперив в пространство широко раскрытые глаза. Опять впала в задумчивость, опять погрузилась в непроницаемое молчание.

Доктор Мильде порой навещал нас. По его словам — не как врач, а просто как гость, как знакомый; но он всякий раз непременно заглядывал к Соне, спрашивал ее о самочувствии. Давал маленькие советы касательно беременности.

Хайн рассказал ему о странном желании дочери посмотреть комнату Кирилла.

— Не понимаю, что ее туда влекло. Петр в конце

концов уговорил меня дать ключ. Наверное, не надо было этого делать.

— Э! — улыбнулся я. — Просто сумасбродный каприз. Я лично предпочитаю исполнять безобидные капризы, чтоб предотвратить худшее.

Позднее, когда мы с Хайном остались одни, я заметил ему:

— Вот на меня вы доктору нажаловались, а про себя не сказали, к какому милому визиту склонили Соню!

Мильде, однако, не придал особого значения нашей экспедиции в мансарду.

— Вот так идея, милостивая пани! — сказал он только, улыбаясь, как и я. — Она достойна несмышленого ребенка… Зачем дергать черта за хвост?

— Мне об этом не снилось, не думайте! — со странной нелогичностью ответила Соня.

— А почему это должно было вам сниться? — удивленно поднял брови Мильде.

— Не знаю. — Соня в нерешительности потерла лоб. — Может, потому что это было такое сильное впечатление… А дядюшка мне очень часто снится.

Доктор был далек от того, чтоб пойти по следу этой загадочной фразы. Ему не хотелось больше

читать в этом доме длинные, утомительные лекции. Он преподал Соне несколько незначительных советов, — пускай-де займется чем-нибудь повеселее и больше думает о будущем, обещающем много надежд, а прошлое пусть себе мирно спит, — и продолжал пустую, обыденную болтовню с Хайном. По каким-то причинам он желал блеснуть перед нами в роли не только внимательного врача, но еще и приятного собеседника. Он пил наше вино и курил хайновские сигары.

А я еще раз убедился в том, что жена моя вынашивает в своей хорошенькой маленькой головке странные мысли, которые никому не поверяет, считает их бесконечно важными и, исходя из них, ведет какую-то свою опасную игру.

Вероятно, я бы серьезнее задумался над тогдашним состоянием Сони, над ее подозрительными настроениями, если бы именно в то время не был занят новым делом, которое мы начали с Хайном. Мы вводили на заводе цех косметики.

Мне стоило большого труда убедить тестя, что пора нам попробовать снабжать свою округу собственными пудрами и духами; с трудом втолковал я ему, какой это для нас позор, что на нашем участке до сих пор охотятся чужие. Мне очень помогло то обстоятельство, что после несколь-

ких недель вынужденного безделья Хайн так и рвался к работе. Я и подбросил ему приманку. Старик недоверчиво поворчал, но потом все-таки ухватился за нее.

Уже в конце августа мы начали выпускать первые парфюмерные изделия. Меня и сейчас еще разбирает смех, как вспомню первые аляповатые коробочки, первые неудачные духи… А впрочем, то был даже трогательный период. Мы замирали в восхищении перед каждым образцом и врали друг другу, что изделие превзошло все наши ожидания, хотя сами-то далеко не были в этом уверены.

Знаменательно, что Соня не проявила ни малейшего интереса к нашим трудам. Даже Хайн сердился, видя ее полнейшее равнодушие к новшествам. Если же мы и добивались того, чтоб она хоть взглянула на тот или иной новый образец, — она, бывало, повертит его в руках, понюхает, подержит и безучастно поставит на стол. Но ведь косметические средства выдумывают для женщин! Нам нужно было мнение женщины, ее похвала — и так случилось, что в производственный процесс незаметным образом втянулась Кати. Не Соня, а чертенок Кати радовалась каждой нашей новой удачной вещичке.

Кати подкрашивала лицо нашими пастелями, душилась нашими фиалками и ландышами.

Она устраивала перед нами целые спектакли, изображая важную даму. Хайну, который по-детски опасался того, что ждет нашу новую отрасль в будущем, нужен был чей-то смех, чтобы обрести уверенность. Смех этот поставляла Кати. Завернувшись в экзотическое покрывало, она прохаживалась перед нами воздушной походкой примадонны, губы ее пылали чувственной алостью, под рыжим чубчиком чернели сатанинские брови…

Все это была смешная игра, всего лишь удачная имитация — но когда Кати, с глубоким декольте, обозначенным перекинутой через плечо легкой шалью, Кати, благоухающая розами, Кати, с ее вызывающим взглядом и кровавыми губами порхала вокруг стула, на котором я сидел, — я смеялся, не разжимая губ. Мои ноздри трепетали, и я приходил в такое возбуждение, что боялся, как бы не услышали грохот моего сердца.

Следует напомнить, что все еще действовал врачебный запрет, наложенный на наше с Соней сожительство. Нас до сих пор разделяла плотина физического воздержания. Единственными ласками, которые я позволял себе по отношению

к жене (если только они были ей желательны), было — погладить по щечке, взъерошить мимоходом волосы, целомудренно поцеловать в лобик…

После возбуждающих представлений Кати я подолгу бродил один в саду, голова моя трещала. «Какой же ты неразумный, ненадежный человек, — корил я сам себя, но слова были бесплодны, они не могли пустить ростков в моем иссушенном сердце. — Ты ведешь себя как мальчишка, твое возбуждение опасно! Давно ли — узнав, что станешь отцом! — ты резко осуждал в себе эту пылкость?» Не помогали мне эти укоры, слова были мертвы. Что могут мертвые слова против живого образа? Перед глазами моими стояла Кати, ее крепкие груди вырисовывались под тонкой тканью, сверкала хрупкая белизна ее ключиц…

«Первым долгом, — строго говорил я себе, когда пылающая голова постепенно остужалась и верх забирала рассудительность, — первым долгом надо положить конец тому, что тебя гложет, — конец неестественному положению мужчины, женившегося только затем, чтобы смотреть на жену, а не любить ее. Случается, что и доктора правы только наполовину, а то и вовсе ошибаются. Пора ввести нашу супружескую жизнь в нормальную колею. Как знать, быть может, вся

эта Сонина загадочность, ее странное состояние, неестественная погруженность в себя — всего лишь следствия физической неудовлетворенности?»

Мысль укрепилась и созрела. Однажды — я был еще на заводе — меня подхватили сладостные волны любовного желания. Я решился. Ехал домой взволнованный, опьяненный упоительными картинами, как гимназист, решивший добиться от своей милой первого поцелуя.

Весь вечер я был непривычно нежен с Соней. Молил ее взглядом. Искал любого случая прикоснуться к ней, вдохнуть ее аромат, пощекотать себе лицо ее кудрями. Я заикался от нетерпения. Она смотрела на меня удивленно и недоверчиво.

Когда в спальне она неторопливо, аккуратно раздевалась, я внезапно схватил ее в объятия.

Она вскрикнула.

Я жадно поцеловал ее в губы.

Она стала бешено отбиваться.

В конце концов я выпустил ее, так и не достигнув цели (от гнева и стыда губы мои затвердели); она же взглянула на меня так холодно, так враждебно — и вместе с таким торжеством, что я ощутил страх. Ибо этой Сони я не знал. Эту я никогда в жизни не видел.

Словно по уговору, мы молча улеглись — каждый в свою кровать.

С того вечера, когда Соня так грубо отвергла меня, я взял привычку выходить перед сном на балкон, примыкающий к нашей гостиной, и выкуривать там сигару.

В тот год было много падучих звезд. Устремив глаза в небо, я простаивал на балконе с непокрытой головой, с сигарой в зубах — кончик сигары казался раскаленным угольком, — сунув ногу в переплет чугунных перил и положив руку в карман; грустный, как и подобает оскорбленному супругу, я бездумно ждал, когда вспыхнет в небе новый беззвучный, трагический фейерверк.

Этой ежевечерней комедией я преследовал две цели: во-первых, наглядно показать Соне, какое глубокое унижение я испытываю, и, во-вторых, не видеть волнующей картины: женщина, укладывающаяся спать. Только когда из спальни доносился до меня скрип пружин и шорох одеяла, я отбрасывал окурок и неторопливо, солидно входил в комнату.

Я еще не терял надежды, что все со временем уладится. Вероятно, это просто новый каприз Сони, причина которого мне не известна. Признаюсь, я рассчитывал, что мое вечернее созерцание

звезд подействует на сентиментальность моей балованной женушки. Такой молчаливой корректностью я хотел продемонстрировать ей, как больно она меня обидела.

Как-то раз я стоял на балконе — помню, не шелохнулась ни одна веточка, а издали доносился протяжный, заунывный гудок паровоза… Поезд все тащился, бесконечно тащился, пыхтя под мерцающими звездами… Вдруг я навострил слух: звук тихих голосов долетел до меня. Разговаривали двое, мужчина и женщина. Как маняще звучит женский голос теплым вечером! Это Кати разговаривала с Филипом.

— Бедненький, — посмеивалась девушка над братом. — Когда ты был маленький, хотел стать генералом. А вместо этого, сдается, сделаешься кухаркой…

Филип обижался: некрасиво с ее стороны насмешничать!

— Если б хоть можно было все эти кухонные покупки носить в портфеле! А то в корзинке — ужасно глупо…

Я перегнулся через перила, чтобы лучше слышать. Старался не шуметь, желая остаться незамеченным. То, о чем они говорили, меня заинтересовало. Как же так — разве Филипа все

еще посылают в лавки? Почему? Ведь Соня уже сама занимается хозяйством… Что же в таком случае делает Кати?

Кати смеялась огорчению брата.

— Не думай, что я о себе воображаю, — с жаром говорил Филип, — сама знаешь, я не отказывался, когда иначе было нельзя. Она болела, ты была при ней. Но теперь-то она здорова! Вот и скажи, почему это она, вместо того чтоб самой готовить и хоть немножко заниматься домом, целыми часами торчит у тетки?

— Потому что потому оканчивается на «у»! — отрезала Кати.

— Да знаю я, что она там делает, — надулся Филип. — Они там обе болтают про сумасшедшего Кирилла, рассматривают его фотографии в альбомах, перебирают его старое детское бельишко… Ты и сама говорила, что это тебе не нравится! Но я знаю, что сделаю, когда мне осточертеет. Вот возьму и скажу пану инженеру! Он наведет порядок у себя в доме, и мне не придется больше таскаться к мяснику, в зеленную лавку и вообще…

Кати рассердилась. Так поступать может только подлый человек! Не станет же Филип уверять ее, что он способен быть доносчиком!

Право, я услышал достаточно. Большего я уже

не мог узнать, сколько бы ни слушал. Потихоньку, чтоб они меня не заметили, отодвинулся я от перил и на цыпочках ушел с балкона, бесшумно прикрыв за собой дверь. В комнате я удобно устроился в кресле и стал спокойно обдумывать услышанное.

Так! Интересные я узнал вещи… Стало быть, старухе все же удалось навязать Соне своего Кирилла! Кто бы мог подумать? Оказывается, в тот первый наш визит у тетки Соня говорила вовсе не на ветер… Меня, конечно, нимало не беспокоила судьба Филипа, изнывающего под кухонным игом.

Я закинул ногу на ногу. Взгляд мой упал на носок моего ботинка. Ботинок был тщательно начищен. Конечно, Кати. Оказывается, все мне теперь делает Кати — завтраки, обеды, ужины… До сих пор я не задумывался об этом. Соня не рассказывала мне, как она проводит время, пока я на заводе.

Стало быть, визиты на втором, визиты на первом этажах. На повестке дня — Кирилл. Фотографии, слезы, бельишко… Господи, уж не думает ли тетка навязать Соне кое-что из вещичек, еще годных для носки! Одежку сумасшедшего — моему ребенку! Этого только не хватало!

Чего добивается старуха? Я это понимал. В безрассудном Сонином сочувствии помешанному она нашла тучную почву — и хочет еще привить Соне культ обожания. Или в мыслях у нее иное? Не хочет ли она, постоянно держа перед глазами Сони этот призрак, добиться того, чтобы образ помешанного никогда не исчезал из ее мыслей? Не месть ли это за Невидимого?

Я долго думал. Итак, тетка нашла в Соне терпеливую слушательницу. А месть-то не получается! Вместо ужаса у Сони заметна скорее какая-то страстная привязанность к больному. Она и сама теперь заговаривает о нем. По собственной воле спускается к тетке за новой порцией яду. Слушает благоговейно. Не кричит, не падает в обморок, не плачет, как бы того хотелось старухе. Напрасно изощряет та свое искусство рассказчицы, вытаскивает новые и новые портреты. Соня упруга, как ребенок. Стрелы сатанинских глаз отскакивают от нее, как от резиновой. Ранить ее невозможно. По видимости, конечно. Тетя Каролина, дама с клюкой, на которой наколота серая ночная бабочка, ничего не понимает, она недовольна результатом, вновь и вновь заводит свои бесконечные россказни…

Но — кто же она, та Соня, которая ради этого

пренебрегает обязанностями хозяюшки, когда-то так ее привлекшими? Почему ей так интересны рассказы о безобразном идиоте, — ведь прежде она им гнушалась? Одним сочувствием не объяснишь…

Носок моего ботинка блестел. Внизу рассыпался искристый смех. Брат с сестрой помирились. Филип подчинился — он ничего мне не скажет. Неважно, я уже все знаю. В соседней спальне тихо. Соня или спит, или притворяется спящей. Почему она ведет себя так, будто ненавидит меня? Нет, сказал я себе, так дальше не пойдет. Надо что-то предпринять. Я-то думал, Соня со временем оттает. Думал выиграть игру с помощью сентиментальной комедии. До сих пор во всех трудных ситуациях я побеждал ожиданием — потому что моя воля была тверже, и еще потому, что я лучше понимал правила игры. Впервые ожидание себя не оправдало. Дела мои хуже день ото дня.

Я решил при первом удобном случае поговорить с Соней.

В воскресенье я предложил ей покататься вдвоем на автомобиле. Она особого интереса не проявила, но не привыкла спорить со мной, когда я принимал решение. Мы поехали.

Я выбрал дорогу в северном направлении, по

лесистым холмам. Дорога была один сплошной длинный, узкий каток. При всем том это было умно построенное, безопасное шоссе. По мере того как мы забирались все выше и выше на холмы, горизонт расступался. Воздух в сентябре бывает такой прозрачный, дали так четки… Да и погода выдалась на диво хорошая.

Держа руль одной рукой, я показывал Соне пейзажи, занимая ее добродушной болтовней. Я старался быть беспечным, веселым — а Соня никак не заражалась моим настроением. Она смотрела прямо вперед, чуть опустив голову, словно упрямилась бог весть почему. На мои бесчисленные, настойчивые расспросы отвечала только кивками, не произнося ни слова.

— Если хочешь, я прибавлю скорости, можно уехать очень далеко! — соблазнял я ее. — Отдохнем в каком-нибудь загородном ресторане, домой вернемся вечером…

Соня не желала далеко уезжать.

— Почему? — удивился я.

— Мне бы хотелось, чтоб ты ехал как можно медленнее. Еще медленнее, чем теперь. Мне тогда хорошо, так приятно покачивает… Как в лодочке, с волны на волну… А я закрою глаза. Так сладко — ехать с закрытыми глазами…

По крайней мере, заговорила.

— А почему тебе не хочется поставить перед собой какую-то цель?

— Не надо нам никакой цели. Давай поедем все вперед и вперед. А когда настанет время поворачивать обратно, сделай так, чтоб я и не заметила. Только я хочу, чтоб мы возвращались по этой же дороге.

— Хорошо.

Я снизил скорость, как она хотела. В конце концов такая медленная езда лучше всего подходит к тому, чтобы потолковать о наших отношениях. И, проехав какое-то время молча, я внезапно спросил:

— Соня, почему ты теперь все дни проводишь у тети или приглашаешь ее к нам — ради того только, чтоб поговорить на свободе о дяде Кирилле?

Ну, сейчас она так и вскинется, возмущенная, — подумал я. Начнет выведывать, откуда я это знаю… Я ошибся. Ни единым словечком она не показала, что мой вопрос застиг ее врасплох. И ни капельки не взволновалась. Неужели она в таком совершенстве владеет собой?

Она вяло подняла веки и ответила без всякой злобы:

— Я это делаю потому, что мне нравится.

— Раньше, Соня, тебе нравилось множество других занятий. Ты любила читать, играть на рояле…

— Да, — согласилась она, — я и сама удивляюсь, отчего меня все это перестало занимать. Я теперь все время о чем-то думаю. Тетя ужасно умная.

Я заметил, что тетка не кажется мне подходящей компанией.

— И я был бы тебе очень обязан, если б ты выбросила Невидимого из головы.

— Вот этого-то я и не хочу! — живо откликнулась она. — Вернее, даже не могу.

— Человек может все, если по-настоящему захочет, — возразил я.

— Я очень хочу тебе объяснить… — Она озабоченно потерла лоб. — Это так трудно… Как бы тебе сказать? Это похоже… Ну вот хотя бы на езду в автомобиле. Понимаешь, сейчас мы едем туда — и я вижу дома, лес, аллею — с одной стороны. Когда будем возвращаться, я увижу то же самое, только уже с другой стороны. Вот и дядю Кирилла я знала до сих пор с одной стороны. И мне кажется, мой долг — посмотреть на него и с другой. Хочу я или нет, а я просто не могу не заниматься его оборотной стороной. Раньше я его видела и судила о нем плохо. Наверное, теперь,

когда я возвращаюсь, мне суждено разглядеть его лучше. Этот другой его облик с каждым днем все явственней, все вернее — только я немножко боюсь его…

Я насторожился. Я ничего не понимал. Что она имеет в виду, говоря, что теперь она возвращается? Я спросил об этом.

Она глубоко задумалась.

— Ну, как бы тебе объяснить? Скажем, вот мы бросаем мяч, мяч отталкивается от стенки и летит обратно. Вот так как-то. Будто я оттолкнулась от какой-то стены и лечу теперь обратно.

— Не понимаю! — Я был сильно озадачен. — Мы идем по жизни всегда вперед. Если нам встречается препятствие, оно может нас разве что задержать, а потом мы через него перебираемся, и опять идем дальше вперед…

Соня не слушала. Она была занята своим сравнением.

— Знаешь, Петя, это так странно — видеть дядю с другой стороны! Будто я никогда его толком не знала. И эту другую, обратную дорогу я должна пройти в наказание за свою вину перед ним.

— Все это, конечно, тебе надудела тетка! — возмутился я. — Все уши тебе о нем прожужжала, вот он и засел у тебя в голове… Ты чем дальше,

тем больше им занимаешься! В конце концов еще попросишь отца вернуть его… А! — торжествующе вскричал я. — Вот чего тетка-то хочет! И как я, дурак, сразу не смекнул!

— Вовсе не нужно брать его домой, — рассудительно отозвалась Соня. — Я чувствую, что это не нужно. Если бы я думала, что его надо вернуть, я бы уж давно об этом позаботилась.

— С каких пор ты руководствуешься внутренними озарениями? — язвительно спросил я. — Может, ты у нас ясновидящая или что-нибудь в этом роде? У тебя какие-то представления, которые тебе трудно объяснить, и говоришь ты как-то неясно, словно в трансе, какие-то речи о расплате, об обратном пути, о том, что ты от какой-то стены оттолкнулась… Как по-твоему, не разумнее ли просто объяснить мне, почему ты так грубо оттолкнула меня — помнишь, когда я хотел тебя поцеловать?

Она молчала, покусывая мизинец.

— Так говори же хоть что-нибудь! Должна же ты понимать, как это унизительно для мужчины, когда его так отвергают…

— Мне бы хотелось, — не сразу произнесла она, — чтоб мы об этом прекратили.

Однако я не собирался отступать неизвестно по

какой причине. Я настаивал.

— Я, Петя… Я теперь совершенно не в состоянии желать того, чего ты желаешь. И не проси, чтоб я объясняла…

Она закрыла лицо руками. На мой взгляд, это была некрасивая комедия.

— Ты не должна удивляться, что такой двусмысленный ответ меня не удовлетворяет, — процедил я сквозь зубы.

— Я где-то читала, — робко сказала Соня, — что, когда женщина ждет ребенка, лучше избегать… половых отношений…

Последние два слова она произнесла едва слышным шепотом. И не отняла рук от лица.

Я обрадовался. Оказывается, причина только в этом! Что же, тогда нетрудно будет переубедить Соню.

Я жестоко ошибся. И Соня тотчас вывела меня из заблуждения.

— Нет, нет, дело не только в этом, — поспешила она добавить. — Ты можешь неправильно понять. Я… Короче, я не хочу. И больше не скажу ничего.

Лишь теперь открыла она лицо, и я увидел, что губы ее сжаты, а вокруг них — жестокое и гневное выражение.

Спустя некоторое время я спросил, — тихо, с заметной горечью, — долго ли еще тянуться столь неестественным отношениям.

— Не знаю, — твердо ответила она. — Не знаю. До тех пор, пока… Пока… Не знаю я, до каких пор! — заключила она с безнадежностью в голосе.

— До тех пор, пока снова меня полюбишь?

— Полюблю? — протянула она — и вдруг засмеялась, коротко и злобно.

В следующее мгновение лицо ее уже снова было спокойно. Она бросила взгляд на небо, словно читая на нем какую-то горькую, укоризненную фразу, написанную для нее одной. Потом опустила голову на подушки и опять закрыла глаза, как бы желая заснуть. Какие мечты разбудило в ней мое упоминание о любви? Застряло ли все-таки в ее душе то слово, которое я бросил к ее ногам, как бросает игрок свою последнюю ставку? Ответит ли она, уловив смутный образ своих грез? Я не осмеливался потревожить ее. Ответит, утешал я себя. Я вел машину, то и дело оглядываясь на Соню.

Вдруг она глубоко и резко вздохнула. Подняла голову, потянулась. Глянула на меня строго, повелительно.

— Поезжай теперь быстрее, пожалуйста. Мне холодно.

Больше я на этой прогулке не услышал от нее ни слова. Возвращаясь по той же дороге, как она того желала, я заговорил сам — раздельно и четко: одним словом, я не желаю, чтоб она все время просиживала у тетки. Я считаю благоразумнее, чтоб она, как и прежде, занималась домашним хозяйством. Если она не подчинится, я призову на помощь авторитет отца, а не хватит этого — то и доктора. В самом крайнем случае как следует поговорю с теткой. Короче говоря, я запрещаю делать то, чего не намерен терпеть. Что же касается любви, то ее молчание я почитаю самым красноречивым ответом.

— Нет, — говорил я, — я не из тех мужчин, которые выпрашивают милостыню, я не из тех, которыми можно играть!

Мистика для меня неубедительна. Не выношу никакого скрытничанья. Свое отношение к ней, к Соне, впредь буду строить, опираясь на опыт сегодняшнего, довольно горького, урока.

Соня не спорила. Не сказала ни слова в свою защиту. Сидела тихо, опустив глаза. Я не смотрел на нее. Надеялся, что она все-таки заплачет. Не заплакала. Только губами шевелила, словно сама

себе говорила что-то важное, — но не издала ни звука. Вид у нее был бесконечно усталый. Она была даже трогательна в своей безмолвной тоске, с руками, бессильно брошенными на колени.

12
ПЛЯСКА НАД БЕЗДНОЙ

Я очень чувствителен ко всякому проявлению пренебрежения к себе, редко прощаю обиды. Но я не из тех, кто, получив удар, забиваются в угол и там, бия себя в грудь, втихомолку жалуются. Мало любви — нет, это не для меня. Лучше ничего, чем мало. Да, лучше ничего! Когда нужно, Швайцары умеют показать зубы. И я — к чему запираться? — показал их.

Соня уже достаточно знала меня, чтоб понимать — моим распоряжениям следует подчиняться. И она подчинилась. Как там она устроилась с теткой, я не знаю. Об этом я никогда ее не спрашивал. Одно несомненно: их взаимные визиты разом прекратились. Начиная с понедельника, последовавшего после памятной прогулки на машине, Филипу уже не надо было ходить за покупками. Этим снова занималась Кати. Хайн, не посвященный в тайну Сониных с теткой встреч, понял только, что я намерен отторгнуть Соню от родных и заставить ее исполнять мелкие домашние работы, к которым у нее не лежит душа. Не

удивительно — ведь всю информацию он получал только от тетки и от дочери. Он негодовал, он смотрел исключительно со своей, барской, вышки и воспринимал все это как обиду дочери. Я посмел наложить запрет, непосредственно задевающий его любимое чадо! Напрасно бунтовала и выкручивалась высокорожденная принцесса — пришлось ей повиноваться. Господи боже ты мой, что я себе позволяю?!

Однако на прямую оппозицию Хайн не решился. Он не пришел ко мне, не сказал: «Петр, я принципиально возражаю против вашего образа действий»… Он не потребовал объяснений. Только при каждой встрече подпускал шпильки, старался уязвить меня.

— Я-то мечтал так устроить жизнь, чтобы в доме царило взаимное согласие и любовь, — вздыхал он. — Так было у нас двадцать лет подряд. Не люблю ссор…

— А что, тетушка опять на меня рассердилась? — спрашивал я с притворным удивлением. — Насколько мне известно, я ей ничего не сделал.

— Боже сохрани, — отступал Хайн. — Только иногда она жалуется на одиночество…

— Если тете нужны какие-то объяснения, я

охотно навещу ее и со всей почтительностью изложу свое мнение, — с готовностью предлагал я.

Хайн, всполошившись, моментально сдавал позиции. Кто знает, какие могут возникнуть от этого новые недоразумения?

Хайн находил тысячи поводов без конца подвергать обсуждению принятую мной меру, разбирать ее, оспаривать… Не только тетя, но и Соня чувствует себя теперь очень одинокой. Когда мы оба уезжаем на завод, дом совсем пустеет. Кати ведь тоже занята в конце концов. Я должен бы помнить, что все это дурно влияет на молодую женщину, склонную к меланхолии…

Я возражал, что, когда у женщины есть дело, ей некогда предаваться задумчивости. Хайн не постеснялся выдвинуть новый аргумент: такой, мол, богатой девушке, как Соня, вовсе не обязательно заниматься делом, которое ей не нравится.

— Вот как? — возмутился я. — Значит, для моей жены забота о муже — слишком грязное занятие? Если ей не готовить еду, не хозяйничать по дому, то что же, спрашивается, она вообще тогда будет делать?

Хайна непрестанно сверлил вопрос: что, собственно, произошло между мной и Соней? Он

любил говаривать: у кого есть глаза, тот видит. Он-де старый, опытный человек, слышит, как трава растет. Еще бы! Как бы не так! — мысленно ухмылялся я. Ну-ка, скажи, что ты знаешь, старый, опытный человек? Ничего ты не знаешь…

Я замыслил наказать Соню. О нет, не подумайте, я не был с ней груб. В худшем случае — несколько суров. Несколько сух и неразговорчив. Я обращался с ней так, как она того заслуживала. Повторяю: я обращался с ней так, как она заслужила. Разве во время ее болезни я мало таял от нежности? Не прощал ей по-рыцарски все, чем она меня ранила? Я более чем достаточно ломал себя, просиживая у ее ложа и выдавливая из себя сладенькие улыбочки. А ведь я не создан для того, чтоб гладить по щечкам да заглядывать в глазки… Но клянусь, было время, когда я все это делал! И до ее болезни и после тоже. Я не заслужил, чтоб со мной обращались так, как обращалась со мной Соня. Отказала в поцелуе… Отказала в правах супруга…

Нет, я никогда на нее не кричал. Я умею приказывать, не повышая голоса. Всем известен тот ледяной холод в глазах, с каким сильный человек смотрит на того, чье общество ему нежелательно. Превосходство свое можно показывать многими

способами — многими способами и без крика. Улыбка ведь тоже многое может сказать. Даже приветливое слово может прозвучать неприязненно. Я никогда не выпадал из роли. Домой являлся с высоко поднятой головой — так судья вступает в зал суда. После обеда читал газеты с таким интересом, что никто и подумать не осмеливался, что для меня существует что-то еще помимо содержания статей. Если меня отрывали от чтения — я принимал это с холодным, сдержанным удивлением. Вскоре Соня отучилась мешать мне. Вскоре она перестала робко мне улыбаться…

Наконец-то она узнала, что это значит — вступить в спор с таким человеком, как я! Ничего, сдашься, упрямая, взбалмошная головушка! В другой раз еще подумаешь, прежде чем унижать меня!

— Петр, — дрожащим шепотом говорил Хайн, — не могу я смотреть, как вы мучите это дитя! Господи, да не будьте же вы как камень! Это бесчеловечно! Такого лица, какое вы показываете Соне, я в жизни не видывал! Доверьтесь мне, положитесь на мою беспристрастность. Если Соня вас как-то обидела, я отчитаю ее. В любой семье бывают ссоры… Господи, надо же прощать

ошибающимся!

Обычно я отделывался удивленными улыбками. Что между нами произошло? Да ничего, абсолютно ничего. Разве только то, что оба мы довольно упрямы.

Раз как-то он даже попробовал пригрозить мне:

— Я полагал, Петр, вы — мыслящий человек. Неужели вы думаете, любовь можно завоевать силой? Понимаете ли вы, что вы делаете, оскорбляя глубоко чувствующего человека?

— Я никого не оскорбляю.

— Вы никого не оскорбляете… — беспомощно вздохнул он. — Ох, Петр, видно, вы никогда не были по-настоящему ласковым!

— Не привык. Со мной тоже никто не был особенно ласков.

— Не мстительность ли говорит в вас, Петр? Не вымещаете ли вы на невинной все то, чего вам недодали в детстве? — с укором спрашивал Хайн.

Я опять только усмехался.

— Целоваться, пожимать ручки, моргать глазами — это еще не настоящая ласковость. Брак — вещь очень серьезная. Он предполагает взаимное доверие.

Хайн не отставал со своими расспросами; тогда я посоветовал ему осведомиться о причине нашего отчуждения у Сони.

— Соня со мной не искренна, — грустно покачал он головой. — Когда я спрашиваю, она уверяет меня, что вы живете как голубок с голубкой. Насмехается, видно… Ирония — оружие несчастных. Соня несчастна. Да и как ей не быть несчастной, когда живет она без любви, в каком-то средневековом угнетении?

— Простите, но я придерживаюсь несколько иного мнения, — холодно возразил я. — Соня нисколько не несчастна. Напротив. Она теперь даже чересчур весела. Разве вы не заметили? Скажите сами, разве со времени своей болезни смеялась она когда-нибудь так беззаботно, как теперь? Нет! Доктор доволен ею. Он сам предписал ей хорошее настроение.

— Хорошее настроение… — медленно выговорил Хайн. — Хорошее настроение!

И, укоризненно глядя мне в глаза, он покачал своей профессорской головой.

Я сейчас сказал, что Соня опять стала веселей. Да, она очень часто смеялась теперь. И порой становилась как-то особенно шаловливой. Честное слово, я не преувеличиваю — она теперь

опять так и искрилась смехом, шутила без конца. Веселье ее не знало границ — особенно когда я возвращался домой. Подчеркиваю: особенно когда я возвращался домой. Тут, однако, необходимы некоторые разъяснения.

Да, она шутила и смеялась — но не со мной. Со мной она держалась натянуто, так же, как и я с ней. Я не так глуп, чтоб не понять. И до некоторой степени разбираюсь — по-своему, конечно, — в так называемой психологии. Соня приходила в отличное расположение духа, едва я переступал порог дома. Знаем мы это! Она давала мне понять: видишь, как я весела и счастлива, даже когда ты изволишь гневаться! Видишь, я могу смеяться совершенно независимо от тебя! Ты только посмотри, как мало мне дела до твоей холодности, до твоего пренебрежения!

Пока я поднимался по лестнице, наверху еще царила тишина. Словно все вымерло. Но едва до нее доносился звук моих шагов — мигом начиналось веселье. Хохот, песенки… И щеки Сони пылали неестественным, темным румянцем.

Старый Хайн озабоченно спрашивал:

— Девочка, ты не больна? Нет ли у тебя жара? — И оборачивался ко мне. — Знаете, когда она была маленькой, то за всякое непривычное

волнение всегда расплачивалась болезнью. Когда она чересчур весела — значит, заболевает.

Ерунда! Я-то лучше его понимал, в чем тут дело. Только не имел ни малейшего желания объяснять ему. Напрасно он твердил мне, что постоянное возбуждение вредно влияет на ее беременность. Он отлично знал, что я всей душой предан будущему ребенку, и полагал, что я уж постараюсь устранить все, что неблагоприятно для драгоценной жизни, развивающейся под сердцем у Сони. Нет, хитрый политик, я на эту удочку не попадусь!

О, не то чтоб я не был способен на жертвы ради ребенка! Но теперь передо мной камнем лежала суровая необходимость: наладить отношения с женой, причем наладить их с победой для себя. Я не сомневался в конечном успехе.

Сонин смех! Было совершенно ясно — она думала спровоцировать меня. А потом она измыслила еще одно — еще одну некрасивую и весьма неприятную уловку, которую можно назвать маленькой женской местью — очень удачной, хорошо рассчитанной женской местью. Я наложил вето на тетку и на сентиментальную болтовню о Невидимом — что ж, Соня нашла другой способ исподволь включить сумасшедшего в повестку

дня. Об этом, впрочем, нужно рассказать подробнее. Необходимо начать с начала.

Однажды воскресным днем сидели мы в столовой — Хайн, краснобай Кунц, Соня и я. Кунц, разумеется, ораторствовал. Вел первую скрипку. Хайн сидел тихо, опершись на стол рукой с сигарой в пальцах, другой он со снисходительным видом поглаживал себе усы. Соня теребила бахрому скатерти, погруженная в какие-то свои мысли. По выражению ее лица видно было, что разглагольствования церемониймейстера не занимают ее ни в малейшей степени. Мне тоже уже осточертело это пустословие. Я постукивал ложечкой о блюдце, давая знать о своем нетерпении. Но Кунц был нечувствителен к таким намекам. Он был настолько тщеславен, что ему и в голову не приходило, что кто-нибудь может от души скучать при его патриотических излияниях. Так как оба старика курили, дверь в коридор оставили открытой. Мы всегда открывали дверь, когда кто-нибудь курил. Нам не хотелось, чтоб квартира пропахла табачным дымом.

И тут случилось то, что случается очень просто, совершенно незначительное, мелкое происшествие, какие взрослые оставляют без внимания, какие могут оказать воздействие разве что на

фантазию ребенка. То ли от сквозняка, тянувшего от двери, или оттого, что они были плохо заперты, а может, от сотрясения, вызванного тем, что разошедшийся оратор стукнул кулаком по столу, — но только дверцы буфета медленно раскрылись. Медленно, тихонько — так, как зевает скучающий человек.

Как испугалась Соня! Как она всполошилась! Я был поражен. Она стала белой, как мел, и краска не сразу вернулась к ней, а когда вернулась, то был это предательский, нездоровый румянец. Быть может — краска стыда… Но теперь она вскочила и, показывая рукой на дверь, бессвязно крикнула:

— Там… там! Смотрите!

И на губах ее появилась улыбка — чуть ли не блаженная… Словно исполнилось то, о чем она только что грезила! Будто случилось нечто, бесконечно для нее приятное!

— Боже, что с тобой? — спросил Хайн удивленно, но не испуганно — он был слишком занят Кунцем и его болтовней. Спросил точно так же лениво, как спросил бы отец малого ребенка, почему тот принял всерьез какую-нибудь игру случая.

И тут Соня, — с явной насмешкой, как я тогда

подумал, — подчеркивая весомость своих слов, ответила:

— Вы заметили? Было так, как если бы сейчас прошел невидимый дядя Кирилл.

Хайн опешил, но Кунц, вошедший в раж, тотчас нашел нужный тон:

— Ай-ай, молодая пани шутит! Неужели она испугалась раскрывшихся дверец? Или вообразила, будто в доме привидения? Ну да, ну да, я прекрасно понимаю! Возбудимость, впечатлительность, настроения… Я нисколько не удивлен! Знаем мы это особое положение! Как не знать — правда, молодой человек? — Он заговорщически подмигнул мне. — Как не знать особое состояние молодых мамаш!

— И охота тебе нести такую чепуху! — рассердился на Соню отец. — Тебе уже вовсе не к лицу сознаваться в подобных ребяческих фантазиях. А шутить насчет несчастного — даже и некрасиво.

— Но, папочка, — с невинным видом оправдывалась Соня, — почему же мне не сказать, если я в самом деле так почувствовала? Ну, скажи сам — ведь правда, будто он вошел и открыл буфет… Не сердись на меня! Я и не думала проезжаться насчет дяди!

Никогда не недооценивайте женщин! Никогда!

Какими они умеют быть хитрыми, расчетливыми! Я объявил Невидимого табу. Соня отлично знала, что рассердит меня, если, наперекор моей воле, будет им заниматься. Коварная! Она ухватилась за эпизод с дверцами буфета. Может быть, давно подстерегала случай?

Вы, читающие эту историю, не видите, конечно, как я смеюсь себе под нос, когда пишу эти строки. Ибо в них — не я, не тот, кто сидит сейчас за письменным столом, а давний Петр Швайцар, моложе на десять лет. Это он говорит: «Никогда не недооценивайте женщин». Теперешний Петр Швайцар мог бы сказать: никогда не переоценивайте свой ум! Однако я не собираюсь морализировать, я пишу не для хрестоматии. И если я хочу быть точным и последовательным, то должен исходить из того, что было доступно мне — тогдашнему.

Итак, Соне снова удалось впустить в дом Невидимого — с черного хода.

Давно ли он слонялся по коридорам, следил за всем, лез в комнаты, подсматривал, украдкой поедая подставленные ему завтраки и обеды, писал свои «манифесты», грезил о будущем величии? Не прошло и трех месяцев! Я стоял на пороге, я видел, с какими трудами его выволакивали,

слышал своими ушами, как захлопнулась за ним дверца больничной кареты. С каким облегчением вздохнул я, когда его увезли, — и вот он снова здесь! Значит, снова нам жить во имя его, снова пугаться, исполнять его причуды? Хуже! Хуже, во сто раз хуже! Тот был достаточно материален, чтобы можно было в крайнем случае вышвырнуть его, — этот, новый, был неуязвим. Теперь-то уж он доподлинно невидим!

«Знаем мы это особое состояние» — слова Кунца Соня превратила в оправдание своих странностей. Слова эти служили отличным прибежищем для ее новой, странной злокозненности. Какую бы шалость она ни сочинила, какую бы шутку ни притянула за волосы — всякий раз в ее защиту выставлялось это «особое состояние», которое все объясняло для Хайна и Кунца. Будущая мамаша имеет право на те или иные выходки, на подозрительные настроения, от которых так и разит жестокостью…

Если где-нибудь в холле Филип ронял ложку с подноса — Соня пугалась. (Со временем я научился заранее угадывать, когда она испугается.) Вскакивала с места, даже выбегала из комнаты — посмотреть, что случилось. Хайн провожал ее озабоченным взглядом. Она возвращалась черес-

чур веселая, закатывалась судорожным смехом, глаза ее блестели.

— Ах, господи, это просто нескладный Филип, а знаете, что я подумала? Честное слово, я думала — это дядя Кирилл!

И если Хайн хмурился, она весьма непочтительно ерошила ему волосы или смазывала его по лицу всей пятерней.

— Ох, папочка, ты же должен понимать! Он так долго жил здесь своей странной жизнью. Возможно ли совершенно вычеркнуть его из памяти? Он был такой чудак… Разве удивительно, когда мне что-нибудь порой его напоминает?

— Положим, это немножко неестественно, — возражал отец. — Ты вдруг стала без конца вспоминать о нем. Раньше у тебя таких странных идей не бывало!

Я только улыбался. Ничего не говорил. Я решил не говорить ничего, хоть бы Соня на голову становилась.

Кати в кухне уронила половую щетку. Соня уставилась на нее подозрительным взглядом:

— Кати, покажи, как она у тебя выпала? Повтори это движение, Кати! Да ну же, покажи, не стесняйся!

А Кати всегда готова на забаву. Подняла щетку

— бац! — с грохотом бросила на пол.

— Понимаешь, Кати, я-то подумала, к тебе кто-то тайно пришел в гости… Не смейся! Мне показалось — дядя Кирилл…

Я мог встать, сказать ласково: Соня, Соня, глупенькая головушка! Я мог улыбнуться, погладить ее по щечке со словами: «Ты моя дорогая, только немножко смешная девочка… Хочешь рассердить меня, а я вот и не рассержусь. Знаешь что? Давай сотрем все наши недоразумения да начнем писать заново, на чистом листе!» — Многое я мог бы сказать и сделать, если б захотел, — но я не захотел. Порой мне даже тоскливо становилось от этой ее хитрой, утомительно-напряженной игры, к которой она прибегала все чаще; порой меня даже трогали ее искренние усилия вывести меня из равновесия. Шорох в часах уже был для нее прекрасным поводом разыграть одну из своих сцен — впрочем, всегда только при ком-нибудь третьем, никогда — с глазу на глаз со мной. Если же меня при таких сценках не бывало — она умела сделать так, чтоб сообщения о них до меня доходили.

Можно было заметить, что партнером своих импровизаций Соня выбирает Филипа предпочтительно перед Кати. Быть может, потому, что

он был глуп, заикался и не умел достойным образом сыграть роль умника, все объясняющего и поучающего. Не раз заставал я Соню, когда она, ухватив его за пуговицу куртки, с пылающими глазами наседала на беднягу:

— По-вашему, Филип, это просто потрескивает мебель? Мне это, знаете ли, кажется странным. В нашей новой мебели ведь нет жучков-древоточцев! Скорее скажешь — кто-то грузный осторожно опустился на стул…

Меня немного злило, что поверенным своим она выбрала дурака и дармоеда Филипа. Разве я, ее муж, не мог ответить на ее вопросы, пусть самые нелепые?

— Филип, огня! — резко окликал я его, вынимая сигару из портсигара. Или с ледяным хладнокровием допытывался, чем он, собственно, занимается с тех пор, как увезли Невидимого. Полезно было время от времени напомнить парню, что он лишний в доме.

Порой Соня прикидывалась, будто ее вовсе не убедили, что то или иное явление имеет совершенно естественные причины. Она качала головой, садилась в уголок, потирая лоб, словно продолжала обдумывать случившееся. Но чаще она тотчас все обращала в шутку. Быть может, вся

эта линия ее поведения получила бы совсем иную окраску, если б она так легко и бурно не обращала все в шутку. Сначала — недоверие, вопросы, кружащиеся вокруг одного и того же, — и вдруг все смазывалось хохотом. Хохот Сони говорил: ах ты, дурачок Филип, или неразумный папочка, или ты, Кати, такая веселая, так легко приспосабливающаяся, — как я вас разыграла! Вас обманула моя серьезность, и вот вы уже озабочены. Не верьте мне! Я ведь такая обманщица… Я выздоровела. И не знаю, куда девать свою кипучую энергию. Вы живете как старики — ты со своими унылыми заботами, а ты со своим убийственным молчанием, которым хочешь принудить меня ползать перед тобой в прахе. Пусть же взвивается надо всем мое будоражащее озорство! Я всегда сумею в нужный момент вырвать вас из вашего сонного прозябания. Всегда — стоит мне захотеть!

— Я знаю, что она шутит, — с измученным видом говорил Хайн, — я это знаю и тоже смеюсь про себя — только бы шутки-то не были так однообразны!

На заводе Хайн теперь все чаще извинялся:

— Петр, мне что-то нехорошо. Не по себе мне как-то, поеду-ка я пораньше домой. Вы тут и без меня управитесь.

Он стал раньше уходить с завода и позже выезжать из дому по утрам. Как услышу, бывало, на лестнице тяжелые шаги Анны, обутой в войлочные туфли, так уж и знаю: старуха ползет с поручением от хозяина. Следовал громкий стук в дверь и голос:

— Милостивый пан просит, чтоб вы его не ждали!

Предлоги бывали различны: то колотье в паху, то головная боль или насморк. А там уж и просто — не выспался, мол.

Без сомнения, потеря интереса к работе у Хайна вызывалась еще и переменами на заводе. Там все явственнее внедрялся новый, чуждый ему порядок, ощущалась какая-то чуждая ему сила — например, сила моей лапы. С тех пор как я вошел в предприятие, там многое изменилось. И Хайн отвращался от дела, которое уже не было только его. Сомневаться было нельзя — скоро он совсем уйдет на покой.

И вот в то самое время, когда Соня доставляла мне столько хлопот, так продуманно изводила меня, злобно отплясывая канкан перед моим хладнокровным выжиданием, семимильными шагами приближался и этот желанный момент. Я видел в этом подтверждение той истины, что

нет в жизни такой неприятности, которую не сменяло бы что-нибудь приятное.

Но все-таки главной причиной отдаления Хайна от заводских дел была, конечно, необычайная веселость Сони и то, что она непрестанно возвращалась мыслями к Невидимому. Старику не сиделось на работе, он потерял покой. Быть может, этот человек, столь горько испытанный судьбой, уже начинал понимать, что призрак, изгнанный в ночную тьму, снова вылезает из бездны, прикрыв знакомый лик новой маской?

Хайн часто расхаживал по своему заводскому кабинету, погруженный в мрачные думы и нерешительно поглядывая на часы. Словно его приводил в ужас бег времени, словно он боролся с побуждением схватить шляпу и мчаться домой, где, может быть, как раз сейчас разразилась беда и он упустит время спастись от нее… Решившись, он начинал страшно торопиться. Тон его голоса становился сухим, выражение лица — отсутствующим.

— Какие у нас дела? Ну, вы тут — я могу уйти. Алло! Подавайте машину…

И начинал барабанить пальцами по столу.

— Как долго! Господи, как этот Иозеф возится!

Его переполняло непостижимое беспокойство.

И однажды он дождался-таки неприятности, которую так упорно призывал на свою голову. Если только это можно назвать неприятностью! Это опять была шутка, одна из многих в Сониной серии тягостных шалостей, заслуживающих только пренебрежительного пожимания плечами.

Хайн явился домой и стал разыскивать Соню — а Сони-то нигде нет.

— Соня! Соня! — звал он, охваченный недобрым предчувствием.

Прибрел сонный Филип — от нечего делать он валялся у себя на кровати и теперь доблестно старался подавить зевоту.

— Да дома, дома молодая пани, — заверил он Хайна. — Кажется, она в каморке Невидимого. Заперлась там сразу после обеда, и я не видел, чтобы она оттуда выходила. Сидит там тихо-тихо. Спит, должно быть.

Хайн в тревоге бросился наверх.

Филип ошибался — Соня не спала, она сидела за столом и о чем-то думала. Хайн еще с порога погрозил ей отеческим перстом, но она была так погружена в свои мысли, что даже не заметила, как он вошел.

— Что ты здесь делаешь? — с упреком обратился он к дочери.

— Ах, папочка, ничего! Совершенно ничего, — и она поспешно скомкала лист бумаги, лежавший перед ней.

Хайн, естественно, пожелал узнать, что это она пишет тут, в комнате давних ужасов. Он желал услышать от нее, что привело ее сюда, на место, где все навевало тяжелые и в высшей степени неприятные воспоминания. Соня отвечала уклончиво и при этом смеялась. Это, как видно, показалось Хайну уж чересчур — он вскипел. Но когда он протянул руку, чтоб завладеть ее секретом, — Соня прятала бумажку за спиной, — она подбежала к окну и яростно стала рвать бумажку на мелкие клочки.

Тогда Хайн тоном проповедника произнес:

— Не признается только тот, кому есть чего стыдиться!

— Неправда! — надулась Соня. — Я не делала ничего плохого. Я… я писала… стихи. Я писала стихи о Невидимом. Такая захватывающая тема… Не веришь? Такая необычная…

Хайн смешался, не зная, как отнестись к столь странному признанию. Он бормотал что-то насчет того, что она сама себя неразумно взвинчивает, что это опасно — нарочно доводить себя до меланхолии, совершенно не подходящей к ее

положению… Соня пылко перебила его:

— Неужели вы все уже забыли дядю?! Кажется, я единственный человек в доме, которому его не хватает!

— Опять ты о нем! — нахмурился Хайн.

— Это потому, папочка, что иначе просто не могу. Смотри! — и она с жаром принялась расписывать свой сюжет. — Он всегда желал жить среди нас незримо. Теперь представь: эксперимент его наконец удался, он нашел тот химический состав, о котором до сих пор только воображал, что знает его. Понимаешь? Ведь в доме-то все, собственно, осталось таким же, как и тогда, когда дядя еще жил здесь. Он не производил никакого шума и ничего от нас не требовал, только чтоб мы вели себя так, будто его тут нет. Достаточно сказать себе: он здесь, только мы его не видим, — и эта удивительная фикция отлично осуществлена! Мы живем, не замечая его, он невидим. Ходит среди нас тихо, на цыпочках, ест с наших тарелок, спит в своей комнатке. Нет, не смотри на меня так — то, что я говорю, вполне разумно. Ты только подумай, какая это чисто поэтическая мысль! Только… только я не умею рифмовать…

Старый Хайн, как видно, обладал столь же буйной фантазией, что и дочь. Переварив горькую

изжогу после этого эпизода, он нашел какую-то утешительную точку зрения и вполне серьезно расхваливал мне Сонины выдумки.

— Она права, — мудрил он. — В этом что-то есть. Он жил тут, словно его не было. Его нет — а он словно здесь. Интересно, правда? О, Соня очень сообразительна, в этом вы меня не разубедите!

Я добродушно смотрел Хайну в глаза и улыбался.

И все же Хайн как-то пожаловался доктору Мильде на состояние дочери. У нее какой-то истерический смех, и она такая странная, все время раздражена и так упорно думает о Невидимом… Даже стихи о нем пишет. Конечно, мы знаем, она просто дразнит нас, она стала необычайно озорной, будто хочет вознаградить себя за недавнюю замкнутость. Жалобы свои Хайн сообщал врачу по возможности легким тоном, будто так, к слову, не дай бог, чтоб доктор принял их всерьез… Существует какой-то инстинкт самозащиты от несчастья, это он нашептывает подобные беспечные слова. Человек не хочет доказательств, он вовсе не желает, чтоб тот, к кому он обратился за советом, ответил: «Да, сударь, вы правы, здесь что-то неладно». Напротив. Человек улыбается, прилагает все силы к тому, чтоб повлиять на

диагноз в благоприятную для себя сторону.

Да Хайну и не надо было так уж стараться. Мильде плохо слушал и плохо понял. Он только для приличия удалился с Соней, заслонял ей ладонью зрачки, стучал по коленкам, заставил стоять, выпрямившись и вытянув руки с зажмуренными глазами, провел ногтем по ее обнаженной спине. Соня держалась с ледяной серьезностью. Резюме врача гласило: очень нервна, что, по-видимому, объясняется большим сроком беременности.

— Знаете, раздражительность, изменчивость настроения, слезы и смех попеременно — тут нет ничего необычного для молодой дамы в положении, — с возможной любезностью втолковывал Мильде Хайну. — Вы не поверите, пан фабрикант, чего только не вытворяют будущие мамаши! Важно только, — тут он понизил голос, — чтобы к милостивой пани не вернулись прежние сомнения относительно отцовства. Или она и теперь иной раз бредит, как тогда?

— Нет, — качнул головой успокоенный Хайн, — но и о ребенке не заговаривает.

— Лучше молчать о нем, чем говорить, как тогда, — мудро изрек врач.

Соня оделась и вернулась к нам, напевая. Я украдкой разглядывал ее округлившуюся фигуру.

Лицо ее начало приобретать исполненные достоинства черты женщины-матери. В движениях ее и в улыбке появилась какая-то медлительность, осторожность. Меня затопила волна глубокой нежности — не к ней, а к ее вздутому животу, который хранил моего ребенка.

Итак, беглый врачебный осмотр закончился. Еще несколько вопросов со стороны отца, несколько успокаивающих слов со стороны доктора, и можно перейти к обычной светской беседе. Ничто не мешало Соне выкинуть новую шуточку. Объектам она на сей раз избрала старого Паржика.

Ради этого она даже спустилась в его полуподвальную мастерскую. Старик, естественно, пришел в восторг — он не привык к посещениям молодой хозяйки. Он так и рассыпался в комплиментах. Положение, в каком находилась Соня, вовсе не держали в секрете (да в ту пору его уже и трудно было бы скрыть), и Паржик заговорил именно об этом. У него, мол, такое чувство, будто он сам должен стать дедушкой. Он так радуется младенчику! Наобещал с три короба — чего он только не сделает для ребенка! И нянькой-то ему будет, и лошадкой, и гулять его будет водить, и на спине катать…

Соня безучастно выслушала его, затем заговорила сама:

— Паржик, а что, если я открою вам, чего вы еще не знаете?

— Что же это такое, милая моя милостивая пани?

— Дядя Невидимый вернулся.

— Эх, милостивая пани дурачит старика!

— Вернулся, Паржик, и теперь он на самом деле невидим. Ему наконец-то удалось… Мы с ним сговорились, понимаете? Он открылся только мне, больше никому! Никому, кроме меня, подумайте! И знаете — я рада. Мне это льстит. Только он взял с меня обещание, что это останется между нами. Но вы всегда его любили. Вы хорошо к нему относились. Я приглашаю вас быть третьим в нашей тайне!

— Не может быть, милостивая пани… — Бедный старик старался поддержать странную игру, смысла которой не понимал.

— А сейчас он стоит за вашей спиной! — пропела Соня. — Стоит, как обычно стаивал, и смотрит, как вы кроите кожу… Помните он не отходил от вас, когда вы поливали овощи? Точно так же он и теперь будет стоять позади вас, ходить за вами шаг в шаг, только вы уже никогда его не

увидите…

— Вот это новости… Ну и дела… — лепетал Паржик. — Прямо не поверишь… Милостивая пани известная проказница!

— Паржик, — не давала себя сбить Соня, — говорю вам, это чудесно — быть невидимым! Как много ему теперь доступно! Если он рассердится на нас, Паржик, то может страшно нас наказать. Но он хороший, он будет добр ко всем нам, хотя мог бы быть и злым. За это мы должны быть ему благодарны и всегда говорить о нем только хорошее и поступать так, чтобы он никогда на нас не обижался. Тогда нам нечего будет бояться. Зато тем, кто не знает об этом, или не верит, или просто не может относиться к нему хорошо, — тем будет плохо!

Разинув рот, старик смотрел на нее в полном ошеломлении.

— Вот таким вы мне нравитесь, Паржик, когда вы так изумлены! Не правда ли, вы тоже хотите, чтоб дядя как следует показал этим злым, этим неверящим, если они его чем-нибудь обидят! А я — я очень довольна. Ах, как я довольна!

Она захлопала в ладоши, засмеялась — она смеялась до слез. Должно быть, Паржик являл собой занимательное зрелище. Маленькие глазки его

моргали, беззубые челюсти что-то пережевывали, в смятении и беспомощности он извивался всем своим червеобразным телом и приседал, упираясь руками в колени…

А Соня, уже от двери, крикнула ему, приложив палец к губам:

— Но смотрите, Паржик, — молчок! Мы союзники! Я вас посвятила в великую тайну!

И ушла, корчась в припадке судорожного хохота.

Паржик рассказал об этом Филипу, тот сестре, и через нее весть об этой колоссальной комедии дошла и до ушей старого пана.

— Что вы на это скажете? — спросил тот меня, передав о случившемся. — Соня неисправима! Уговоры на нее не действуют. Почему она меня не слушается? Меня это мучит, Петр. Конечно, это просто некрасивая, злая шутка, но… не знаю почему, только я уже не в состоянии смеяться…

Он огорченно расхаживал по комнате, заложив руки за спину, и думал. Я ему не мешал. Зачем мне лишний раз обжигаться? Слишком хорошо знал я строй его мышления. Стоит мне высказать свое мнение, как он тотчас склонится на сторону дочери.

Вдруг он остановился передо мной:

— Не могли бы вы, Петр, устроить как-нибудь так, чтоб эти невыносимые разговоры о Невидимом прекратились? Я знаю, вы можете, если захотите. В вашем тоне, когда вам это нужно, есть что-то такое, чему нельзя не повиноваться. А я — я для нее уже не авторитет. Сделайте это ради меня, если можете! Я потерял покой, я не сплю по ночам, честное слово, я уже совсем болен от этих вечно повторяющихся выходок!

Я прокашлялся, желая подчеркнуть значение своих слов, и довольно торжественно поднял голову. Пробил час моей полной нравственной победы.

— Я могу сделать только одно, — медленно проговорил я. — Я могу прибегнуть к одному только средству, и оно подействует моментально. Я мог бы раз и навсегда *категорически запретить* ей подобные забавы. Но, к сожалению, я уже приобрел некоторый опыт в этом доме и знаю — такое средство вам не понравится.

Он посмотрел на меня долгим, укоризненным взглядом и вышел с глубоким вздохом, ни словом мне не ответив.

Меня ничто особенно не тянуло домой. Хайн постепенно отходил от заводских дел, и вся ответственность, вся работа легли теперь на мои

плечи. В результате я привык рано уезжать из дому и поздно возвращаться.

Это, правда, не существенно, но все-таки поможет осветить нашу странную семейную жизнь в ту пору, если я замечу, что за общий стол мы с Соней садились только по воскресеньям. В будни я чаще всего обедал около часу дня. К этому времени Соня уже давно отобедала.

Она с безучастным видом сидела в старом хайновском кресле-качалке, оставшемся у нас со времени ее выздоровления, и качалась, поглядывая то на меня, то в окно. Кач-кач, вперед-назад — и так как это происходило почти ежедневно, то становилось уже не очень-то приятным. Это кач-кач выражало нервозность, между тем как обед сам по себе должен скорее действовать успокоительно. Мне даже стало казаться, что Сонины взгляды, украдкой бросаемые на меня, полны насмешки. Тому, кто ест, очень не по себе, когда за ним наблюдают критическим оком. Когда вы едите, а ваш сосед коварно молчит, вы вскоре начинаете слышать довольно противное собственное чавканье, хруст челюстей и звук глотания…

Ужины проходили куда более шумно. Тогда к нам обычно являлся посидеть Хайн, и Соня не

упускала случая угостить меня своими отборными шалостями. Без преувеличения могу сказать, что с Хайном день ото дня обращались все более дерзко. Соня словно задалась целью во что бы то ни стало одержать верх именно таким способом. Быть может, ей казалось, что она еще недостаточно весела. И она разжигала свою веселость и дерзость — к весьма малому удовольствию отца.

Когда Хайн собирался сесть — из-под него убирали стул, в черный кофе ему сыпали соль, щелчком снизу подшибали газету, которую он только что развернул. Хайн стал осторожным — и от этого невероятно комичным. Если Соня задумала лишить своего отца всякого достоинства, то это ей удавалось блестяще. Он теперь не садился, не осмотрев предварительно стул, зная по опыту, что на сиденье может оказаться иголка, жесткая щетка, бритвенный тазик с водой… Старик был просто терроризован. Стоило Соне дотронуться до его затылка, как он моментально съеживался, беспомощно оглядываясь, не уверенный, что ему не нальют воды за ворот или не пришпилят что-нибудь сзади к пиджаку. Соня беспрестанно теребила его, хихикала, и было это бесконечно противно — зато стоило послушать, как папаша выговаривает ей беспомощным тоном, окрашен-

ным стариковской снисходительной нежностью. Впрочем, его проповеди всегда приводили к обратному. Не успевал он договорить, как на шею ему, наподобие лассо, набрасывали моток пряжи или опрокидывали пепельницу на его почтенную голову…

— Соня, Соня! — взывал к дочери пан фабрикант, подвергавшийся все новому и новому поруганию, — ты ведь никогда не бывала такой!..

Кунц, если он при этом присутствовал, сердито хмурил брови, когда Соня в своих проказах переступала ту грань, какую он благоволил допускать в отношениях дочери к отцу.

— «Соня, Соня»! — передразнивала Соня отца в бесчисленных вариациях — то плаксивых, то ворчливых, то сопрано, то басом.

Когда мне надоедало смотреть, как она изводит отца, я вставал и удалялся к себе под тем или иным предлогом — то обдумать важную проблему по делам завода, то писать неотложное письмо… И вот что интересно: после моего ухода из столовой еще совсем недолго доносился вызывающий Сонин хохот и укоризненное бормотание Хайна, и очень скоро все успокаивалось. Слышался уже только голос Хайна, старавшегося

завязать благопристойную семейную беседу. Удалился тот, для которого разыгрывалось представление, комедия лишалась смысла.

Живо помню один такой взбалмошный вечер. В поседевшей шевелюре Хайна уже были закручены два хохолка наподобие рожек, и Соня, наперекор протестующим возгласам отца, пыталась сделать то же самое и с его бородой. Я ушел в свою комнату. Уселся, в самом дурном расположении духа, за письменный стол и бездумно уставился в окно. Густой осенний туман лепился к стеклу, как прозрачная бумага. Вдруг в дверь тихонько постучали. Я не успел еще отозваться, как в комнату осторожно скользнула Кати.

Она явно не хотела, чтоб кто-нибудь узнал о ее посещении.

— Кати! — воскликнул я, приятно пораженный. — Вы здесь?

Я добавил несколько лестных слов — как мило с ее стороны заглянуть наконец ко мне… Улыбаясь, она ждала, пока я договорю.

Вот что лежало у нее на сердце: Соня выкинула утром странную шутку. В коридоре, у двери в столовую, она поставила стул, а на него — чашку кофе и два рогалика. Кати удивилась, обнаружив завтрак в таком странном месте, и собралась

унести его. Она подумала, что по каким-то неведомым причинам Соня решила позавтракать в коридоре, а потом забыла. Но едва Кати прикоснулась к стулу, Соня была уже тут как тут.

— Оставь это здесь, Кати, зачем трогаешь, я нарочно сюда поставила!

— Но зачем? — не могла та понять.

— Ну… это ведь завтрак для дяди. Может, он, бедненький, давно уже не ел!

— Опомнись, Соня, что ты говоришь?!

— Господи, Кати! — жалобно вскричала Соня. — Неужели и ты хочешь притворяться, будто не понимаешь? Или ты тоже еще не знаешь, что он дома и что ему надо питаться? Ты не заметила, что он ходит подкармливаться в нашу кладовку? Не обратила внимания, что кто-то съедает хлеб и отпивает молоко? Ты действительно не заметила? Или ты тоже такой же Фома неверящий?

Это было уж чересчур даже для Кати. Много странных Сониных проказ она видела, но до сих пор ни одна не была такой необычной и не осуществлялась с таким серьезным видом. Лицо Кати, наверное, отразило испуг и тревогу, потому что Соня словно внезапно очнулась от какого-то сна. Лицо ее вспыхнуло беспокойством, и она тотчас истерически захохотала. Она смеялась и

терлась щекой о щеку Кати, уверяя:

— Глупая, да это я просто так! Не думаешь же ты, что это правда! Я просто пошутила. Ну-ка скажи, разве не удачная шутка? А ты-то перепугалась! Неужели это и впрямь так страшно? Что же ты подумала?

Но Кати не видела в этом никакой шутки. И только поэтому решила зайти ко мне — она ведь знает, я сейчас не работаю, я убежал из столовой, потому что уже не в силах смотреть на Сонины выходки. Кати не считает эти спектакли с Невидимым такими уж невинными и на моем месте она бы сделала все, что можно, только бы положить конец этим чудачествам. Впрочем, Кати говорила все это бодрым тоном, с видом отнюдь не трагическим, губы ее улыбались, голос ласково журчал, — но такой она была всегда, даже когда речь заходила о самом серьезном.

Я стоял перед ней, не находя, что ответить. Была у меня своя теория, которая все объясняла, но в последнее время эта теория несколько пошатнулась. И потом, здесь стояла Кати, и я очень-очень далеко отвлекся от Сониных причуд.

Я решил отплатить Кати за ее добрые намерения доверием. И рассказал ей, как мы с Соней поссорились, как я запретил ей встречаться с

теткой и как она на меня за это разозлилась. Я дал Кати понять, чем я себе объясняю возникновение этой мании Невидимого, говорил об упрямстве Сони, о ее строптивости и о том способе, каким я надеюсь искоренить ее капризы.

— Вопрос только в том, Кати, кто дольше выдержит. Я твердо убежден, что это буду я.

Я указал ей на то обстоятельство, что Соня уже на всех перепробовала свою глупую выдумку — только на мне еще не решалась.

— Знаете, Кати, пока Соня не делает меня непосредственным участником ее игры, я совершенно спокоен. В ее поведении я улавливаю преднамеренность, а ведь преднамеренность предполагает здравый рассудок. Конечно, если случится так, что Соня, вопреки ожиданиям, втянет в свои забавы и меня… если мой план, построенный *на выжидании*, в ближайшее время не увенчается успехом, тогда…

Что я предприму тогда, я не сумел достаточно хорошо объяснить. Кати ушла, и я остался один с ее образом перед глазами, — остался один, изголодавшийся из-за вынужденного воздержания. Я отошел к окну и с тоской стал смотреть в густой ноябрьский туман, облепивший темный, преследуемый бесами дом Хайна.

Сегодня, когда я оглядываюсь на те давние дни, я не в силах постичь — как я мог, как все мы могли быть так долго слепыми. Не понимаю, как мог я тогда все еще ждать какого-то улучшения в будущем, какой-то победы… Можно, пожалуй, утешаться тем, что и другие на моем месте только качали бы головой да ожидали развязки. Того, что возникает постепенно, не замечаешь. Нарушение, с первого взгляда явное для всякого случайного очевидца, ускользает от того, на чьих глазах оно совершается день за днем. Требуется множество мелких изменений, много медленной подрывной работы, много времени, чтобы человек, сдавив свой лоб, покрытый холодным потом, сказал себе: *«Здесь начинается ужас»*.

13
БЕЗДНА РАЗВЕРЗАЕТСЯ

Суббота, двадцать восьмого ноября. Льет дождь, свищет ветер — собачья погода. Я ехал вечером с завода. Колеса автомобиля расплескивали лужи, конусы света от фар рассеивались в пелене дождя. Я был утомлен. Более недели я ездил на завод один. Хайн схватил грипп и лечился в постели горячими настоями.

Вытирая о коврик ноги под кладбищенским светильником и стряхивая дождинки со своего лохматого пальто, я услышал дикие, бурные звуки рояля. Удивился. Кто это так темпераментно играет? Соня обычно играет негромко, чинно, как примерная ученица. В последнее время она вообще не прикасалась к клавишам. Боже, испугался я, неужели гости?

Поспешно взбежал я по лестнице, прошел через столовую и гостиную на звук этой громкой музыки. На пороге Сониной комнаты остановился пораженный: все-таки это Соня играет так сумасшедше!

Она скользнула по мне отсутствующим взгля-

дом и снова устремила его на ноты. Я стоял в дверях, глядя на нее. Этим я хотел дать ей понять, что вернулся после хлопотливого дня и мне не до таких грохочущих концертов.

Она не обращала на меня внимания. Я заметил, что на табуретке рядом с ней лежит целая груда нот. Закончив ту тетрадь, что стояла перед ней, Соня швырнула ее на табуретку, одновременно раскрыв новую. Похоже, что она, в припадке музыкальной одержимости, собирается переиграть все, что было у нее под рукой. Лоб ее был влажен от пота, щеки горели. Вид играющей Сони по какой-то неясной причине подействовал на меня очень неприятно.

Недовольный, я ушел в столовую. Кати принесла ужин. Мне бросилось в глаза, что она не улыбается. Она едва со мной поздоровалась. И, только уже выходя, остановилась в дверях, как бы вспомнив что-то, и коротко сказала, что Хайн просит меня спуститься к нему, когда я поужинаю. Больше она ничего не сказала. Я стал есть, а в Сониной комнате по-прежнему гремела эта непонятно-неистовая музыка.

И вдруг словно оборвалась. Хлопнула крышка рояля, опущенная энергичной рукой. Какая странная настала тишина! Я невольно уставил-

ся на дверь. Дверь открылась. Вошла Соня. Она улыбалась с мечтательным видом. Торопливо, большими мужскими шагами начала ходить вдоль окон — туда и обратно, туда и обратно, заложив руки за спину.

— Смело ты как-то играла! — бросил я с ледяной усмешкой.

Она не ответила. Только глянула на меня как-то тревожно и продолжала свой странный моцион. Будто спешила куда-то, куда ей еще сегодня надо было дойти. Мне стало не по себе от этой новой странности. Доедая ужин, я то и дело с беспокойством поглядывал на нее. Этот широкий пружинящий шаг что-то напоминал мне. Но что? — И я вспомнил. Маленьким мальчиком я впервые видел в нашем городишке процессию в праздник тела господня. Следом за балдахином, выпятив животы, благоговейно вышагивали в такт музыке хоругвеносцы. Их торжественный шаг поразил мое воображение. Я смастерил себе дома какое-то подобие хоругви и, распевая, стал ходить с ней вокруг верстака. Теперь Соня носила по комнате незримую хоругвь.

Что все это значит? — размышлял я. Скорее всего готовится взорваться. Бешеная музыка — это, вероятно, была только увертюра. А сейчас нач-

нется комедия. Хоть бы это было так! Наконец-то произойдет объяснение в нашем затянувшемся споре. Я был уже по горло сыт этой нелепой, какой-то заклятой семейной жизнью. Однако мне почему-то не нравилось то, как она готовится к атаке…

— Ну, отвечай же! — резко проговорил я, желая ускорить то, чего было не миновать. — Почему ты играла так дико?

Она оглянулась на меня, но не прекратила своего хождения, которое заставляло меня нервничать. Вдобавок начала еще строптиво мотать головой — с одной стороны на другую. Это было страшно и смешно. Я уж думал, что так и не дождусь ответа, как вдруг она заговорила насмешливым, певучим голосом:

— Играла я для кого-то, да не для тебя! Не для тебя! Я играла тому, кто меня слушает. А ты никогда не слушал.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать, — задетый, бросил я, берясь за газеты.

Но я лгал. Малодушно лгал! Я сразу понял, что она имеет в виду. Я угадал, кто этот счастливый слушатель. Мнимое спокойствие было всего лишь обломком моего хладнокровия. Буквы в газете прыгали у меня перед глазами. Я видел

себя в своей комнате с окнами, залепленными туманом, слышал свой легковесный разговор с Кати. Что я сделаю, если Соня и мне преподнесет Невидимого? Какие я выведу заключения?

А Соня постреливала в меня злобными взглядами — видно, ей было интересно, что я думаю.

— Ты никогда не слушал, как я играю, а он слушает с удовольствием. Я играю, а он молчит. Я не вижу его, но чувствую — вот его рука, он опирается на рояль. Я проиграла ему все, что у меня есть. Купи мне новые ноты!

В голове у меня поднялся вихрь. Мысли завертелись кругами, кругами… Ужасное прозрение приближалось, ширилось, пока не заслонило весь мой внутренний горизонт. Прежние, полные веры, заблуждения бледнели. И осталась под конец одна зловещая истина, распростершая нетопырьи крыла…

— Да ты хоть сядь! — в бешенстве крикнул я.

Соня остановилась, посмотрела на меня с вызывающим кокетством, почти сострадательно.

— Вот ты на меня орешь и воображаешь, что ты бог весть какой замечательный человек, а между тем ты смешон. Неужели не понимаешь, что тот, для кого я играла, — мой любовник?

— Соня, — хрипло выговорил я, заставляя се-

бя быть спокойным, — я ведь не из тех, на кого действуют твои зловещие шуточки. Я не стану просить, чтоб ты перестала, не пугала меня. Я отлично знаю, только это и доставило бы тебе удовольствие. Но у тебя ничего не выйдет, болтай что хочешь, не верю я в твои фантазии.

— Вот как — не веришь, значит? — Тон ее стал хвастливо-загадочным. — Ну да, ты, наверное, не знаешь, что у легкомысленных женщин бывают любовники. О, любовников-то они любят гораздо больше, чем мужей! Легкомысленные женщины никогда не обманывают своих любовников! — Она злорадно осклабилась. — Ищи, глупый муж! Только некоторых любовников трудно поймать. Мой — такой, что его никто никогда не поймает!

Я сидел молча, совершенно сломленный, а она угощала меня повествованием о недостижимом любовнике. Он могуществен, ее возлюбленный, могущественнее всех людей. И я должен по-остеречься. Я ведь никогда не могу быть уверен, что он меня не слышит. Если я его как-нибудь оскорблю, он может мне отомстить. Потому что он вездесущ, он всемогущ, ее любовник! Как же Соне не веселиться? Она ведь поняла интересную вещь: с ней уже никогда не может случиться ничего плохого. Она под его защитой.

Я тупо смотрел перед собой шепча: «Хлеб, хлеб, хлеб...» Мои глупые предположения лежали передо мной бесформенной грудой — они рухнули, как карточный домик. Нет, Соня выдумала Невидимого не для того, чтобы дразнить меня, она сделала это не из женской мести. Он постепенно вызревал в ее душе. И вовсе не для того она так необузданно веселилась, чтобы помучить меня, — она потому была так возбуждена, что мысли ее путались, и она боролась с этим, и стыдилась этого, и отчаивалась... А теперь — уже не борется, не отчаивается больше...

— Как же мне не веселиться теперь, — радостно продолжала Соня, — если я знаю, что я не одна в доме! Меня теперь уже не трогает, что мой муж пренебрегает мной... Как не смеяться мне, когда я знаю теперь, что есть некто, готовый верно и честно поддерживать меня! Мой любовник ласков со мной, хотя он всегда молчит. Он не покинет меня до смерти! Да и как он может покинуть меня теперь, когда ждет от меня ребенка? Как может он не любить меня и быть жестоким со мной, когда он знает, что я жду рождения его ребенка!

Она говорила нараспев, с таким жаром, с такой страстностью, что в голосе ее дрожали слезы.

Я мог еще обманывать себя — если б захотел, —

что такой поэтической символикой она хочет поведать мне о своей участи. Но я махнул рукой, отгоняя эту последнюю надежду. Соня, вероятно, подумала, что жест этот адресован ей, что я поднял руку ударить ее…

— Так я и подумала! — Она съежилась в испуге. — Ты разозлишься, когда я сознаюсь, что у меня любовник…

И она безутешно заплакала.

Подожду, сказал я себе, подожду, пусть выплачется. Я встал, заходил мимо нее, забившейся в уголок за занавеской. Я шагал и шагал, покачивая над собой свою черную хоругвь. С ужасом, со стесненной душой думал я о ребенке, которого носит под сердцем *безумная.* Как оградить его от опасности переменчивых настроений матери? Какой свет может зажечь в его мозгу ее помутившаяся душа?

Внезапно Соня выскочила из угла, захохотала, высунула мне язык. Отбросив стул, стоявший у нее на дороге, она убежала в свою комнату.

Я ждал. Снова забушевал рояль.

Я пошел к ней. Окликнул в испуге:

— Соня, Соня!

Поздно. Я говорил — то просительно, то угрожающе, — она не слышала. Она была поглощена

своей неистовой игрой. Ноты валялись по полу, она играла что-то свое, ликующее, необузданное, что, пожалуй, и впрямь могло бы нравиться только ее невидимому гостю.

— Соня! — надрывался я, стараясь перекричать рояль.

Она не обращала на меня внимания, глаза ее пылали, лицо горело — судорожная поспешность в пальцах, во всем теле…

Я осторожно прикрыл дверь. В темноте перешел через коридор в свою комнату, взял из коробки сигару и медленно, нарочно медленно, чтоб преодолеть предательскую дрожь в руках, зажег ее.

Потом отправился к тестю.

— Что вы об этом думаете? Говорите же, Петр, как вы на это смотрите?

Хайн со своими всклокоченными волосами и бородой показался мне вдруг ужасно опустившимся, жалким, беззащитным, непохожим на себя. Впечатление это усугублялось еще тем, что он лежал в постели. Ворот расстегнут, рукава рубашки болтаются, открывая белые волосатые руки, дряблая старческая шея… Тетка стояла у его изголовья, как злой дух, подстерегающий душу умирающего.

— Она сильно раздражена, — как можно спокойнее начал я. — Вот теперь на музыку набросилась — но, видно, музыка не идет ей на пользу. Надо будет прекратить это.

— Это началось, Петр, примерно через полчаса после того, как вы, пообедав, уехали на завод, — сказал Хайн. — Никто не понимает, что в нее вселилось… Кати говорит, до обеда она все время была тихой, даже молчаливой. Потом начала вдруг усмехаться про себя и проявлять непонятное волнение. Хоть бы перестала играть! Меня эта музыка словно молотом по голове бьет… Хоть бы ее кто-нибудь успокоил… Да и я тоже нуждаюсь в том, чтоб меня кто-нибудь успокоил… Я болен… У меня был жар. И в голову все такие мысли лезут, от которых перехватывает горло…

— И она все время так играет? С самого обеда? — осторожно осведомился я.

— Как вы уехали после обеда, она спустилась ко мне, присела на мою кровать. На меня не смотрела, отвернулась, уставилась в пол. Я подумал, она плачет и не хочет, чтоб я видел ее заплаканные глаза. Я ласково взял ее за руку, но она вырвала ее и при этом повернулась ко мне лицом. Только тут я увидел, что она смеется — беззвучно, безобразно…

— А потом, — вмешалась тетка, — она ему и говорит: ты, мол, уже старый, папочка, пора бы тебе умереть. Да, да, так и сказала!

— В последнее время у нее были очень странные шутки — может быть, и эта из их числа. Но все-таки это показалось мне слишком уж… обидным, — признался Хайн. — Я рассердился, сказал, что так с отцом не разговаривают, что надо и ей знать меру…

— И что же она? — полюбопытствовал я.

— Громко засмеялась и говорит — было бы куда лучше, если б я умер, потому что мне ужасно неприятно будет узнать, кого она выбрала своим возлюбленным. Для меня же, говорит, лучше было бы не дожить до того дня, когда я стану дедушкой.

— А после того, как она это сказала, вы все еще сердились?

— Нет, после этого уже нет; я подумал — она несчастна и хочет выразить что-то очень грустное, например, что лучше мне быть мертвым, чем видеть, как она мучится. Я надеялся, что она еще посидит со мной, поверит мне свои печали, но она вдруг вскочила, дернула меня за волосы и убежала. Вот с тех пор и барабанит там наверху…

— Это не шутка, — мрачно произнесла тетка. —

Это нечто совсем другое.

— Надо было вызвать Мильде, — вставил я поскорей, чтоб заглушить теткины слова.

— Мы так и сделали, Петр, — устало проговорил Хайн. — Сначала не застали дома. Осень, пора болезней, он объезжает больных... Позвонили второй раз — обещал приехать тотчас после ужина. Правда, он не знает, что дело крайне серьезно.

— Я был бы очень рад увидеть его как можно скорее, — тихо сказал я. — Хотя бы потому, что очень важно узнать, как будет Соня разговаривать с ним. Если она и с ним будет вести себя... неподобающим образом — значит, болезнь действительно серьезна. Я имею в виду тяжелое нервное расстройство или что-нибудь в этом роде.

— Нервное расстройство! — простонал Хайн. — Если у нее расстроены нервы, то только по вашей милости!

Внимание, начинается атака! — сказал я себе. Ямочки на моих щеках углубились, я стиснул зубы.

— Да как же ей из-за него не заболеть? — встряла тетка. — Из-за него кто угодно рассудок потеряет! Нельзя так обращаться с человеком, как он обра-

щался с ней!

Во что бы то ни стало владеть собой! — твердил я себе. А вслух сказал, что понимаю состояние их обоих и не намерен делать никаких выводов из их упреков. Однако пани Каролина должна бы понять, что если кто и страдает больше всех, то именно я. Речь-то ведь идет не только о моей жене, но и о моем ребенке.

Тетка ткнула в меня пальцем, словно клюнула хищным клювом:

— Вас одного я буду обвинять, если в доме случится несчастье! Я — терпеливая, но строгая свидетельница! Кто знал Соню лучше меня? Или вы хотите внушить нам, что Соня потому заболела, что и всегда была нездоровой? Нет, голубчик, это вам не удастся! Да вы месяцами обращались с ней как со служанкой, укравшей ложку! Не изволили, видите ли, уделять ей свое высокое внимание… Добивались, чтоб она отвернулась от родных… А что вы дали ей взамен? Только свой эгоизм! Она обнаружила в вас жестокость, и вы за это мстили ей! Вот не звала же она вас к себе, когда болела — почему? Да потому, что доверия к вам у нее не было! А вы, вместо того чтоб понять отталкивающие свойства вашего характера, злились все больше и больше. Соня разочаровалась в

вас как в супруге и человеке. У нее нежная душа, она чувствовала себя несчастной… Но вы и теперь еще ничего не понимаете! Бесчувственный чурбан, голодный выскочка, подручный палача — вот вы кто!

— Тетя Каролина! — всплеснул руками Хайн. — Ради бога, перестаньте! Не надо ссор! Ведь это ужасно, эти взаимные обвинения теперь, когда важно только одно — здоровье Сони! Наверное, все мы виноваты, каждый по-своему… Петр, я взываю к вашему самообладанию, к вашему разуму!

Да ведь ты сам же и начал! — в бешенстве подумал я, но вслух пробормотал, что знаю свой долг. Тетя несправедлива ко мне только из сострадания к Соне…

Я не мог усидеть на месте. Встал, заходил по комнате, мысленно пережевывая нанесенные мне оскорбления. Вот как, стало быть, я виноват, что они держали в доме сумасшедшего, которому приспичило подсматривать за молодоженами… Моя вина в том, что случилось с Соней, после чего она надолго заболела, я нашептал ей, что сумасшедший — отец ее ребенка! Я поощрял ее в идиотских, вздорных выходках до тех пор, пока она не запуталась в сетях собственной больной

фантазии…

А наверху гремели аккорды — отчаянные, душераздирающие, и этому не видно было конца. Я шагал по комнате, и рядом металась моя тень — как дьявол, искушающий душу. Я сумел смолчать на оскорбления тетки, но не в состоянии был изобразить фальшивую улыбку. Я бросал вокруг себя убийственные взгляды.

— Петр, Петр, — вздохнул Хайн, — вы не из тех, кто поддается чувству сострадания… Я читаю злобу на вашем лице. Вы никогда не склоните головы ни перед каким величием! Вас не сокрушит даже собственное несчастье. Знаю, вы не веруете в бога. Но с вас стало бы уверовать в него, если б вы только знали, что вам дозволено спорить с ним!

Доктор поставил условие: ничем не нарушать его беседу с Соней. Но он разрешил нам, мне и Хайну, наблюдать за этой беседой из соседней комнаты. Через приоткрытую дверь мы слышали каждое слово. Хайн был в халате и шлепанцах, он зябко ежился в кресле и доблестно превозмогал кашель.

Как только Мильде вошел к Соне, рояль разом смолк.

Соня вскрикнула, ноты упали на пол. Но доктор был готов к ее испугу и заговорил с ней совершен-

но непринужденно. Сегодня у него был трудный день, много тяжелых больных, повальный грипп. Вот и захотелось ему взглянуть на здоровых, веселых людей. О, милостивая пани прямо — роза, а играет, как настоящий виртуоз. Видно, у нее отличное настроение.

Тут он сделал паузу, чтоб подчеркнуть значение последующих слов:

— Кто бы мог подумать? Оказывается, дядя Кирилл вернулся! И говорят, будто он теперь в самом деле невидим.

Минутка недоверчивого молчания — она показалась нам вечностью. Доктор спросил еще раз, более настойчиво:

— Неужели это правда? Я, признаться, сперва не поверил. Я, знаете ли, понятия не имел… Не можете ли вы, милостивая пани, объяснить мне, как же это произошло? Ведь совсем недавно его увезли отсюда!

Вероятно, он хотел заставить Соню мыслить логически. И полагал, что ее смутит явное неправдоподобие ее вымысла. Однако у Сони ответ был готов:

— Господи, это так просто! Он оттуда убежал!

Мильде, естественно, очень удивился. Как мог дядя бежать из клиники? Ведь он уже бывал

раньше в таком заведении и знает, что не так-то просто пациенту выйти из него.

Соня презрительно фыркнула. А что тут такого? Он ведь невидим, а таким вовсе не трудно убежать. Ушел — и все тут.

— Я вам больше скажу: он приехал поездом. И даже билета не покупал!

— Вот как, — удивился доктор. — Ну и новости! Что ж, это, конечно, все объясняет. Да, надо признаться, глупая была затея — запереть в лечебнице невидимого человека. Теперь дядя, конечно, гордится своим подвигом. Он вам рассказывал подробности? Вижу, вижу — и спрашивать нечего. Вы, конечно, уже о многом рассказали друг другу.

— Нет, этого не было, — созналась Соня. — Мы об этом еще не говорили.

— Да не может быть! — Доктор пришел в недоумение. — Как же вы тогда обо всем узнали?

— Ну, раз он здесь — значит, сбежал оттуда, — ответила Соня с трогательной простотой.

Перед таким аргументом пришлось спасовать даже Мильде. Все же он позволил себе выразить мнение, что молодая пани может ведь и ошибаться. Как знать, может быть, он все-таки не совсем невидим и сидит себе в своей палате и о

доме забыл…

— Впрочем, — поспешил он добавить, чтоб не дать разлиться потоку Сониного красноречия, — это легко выяснить. Достаточно послать запрос.

Не желает ли милостивая пани, для пущей уверенности, написать в клинику? Пусть она сама напишет и сама получит ответ. Он, Мильде, допускает, что какие-то признаки присутствия в доме невидимого есть, и очень жаль, что тот до сих пор не проявил себя как-нибудь более ощутительно. Что же касается его, Мильде, мнения, то он склонен думать, что дядя Кирилл не ушел из клиники. Ведь если б он ушел, то уж об этом наверняка известили бы родных.

— Обычно, — тонко добавил Мильде, — обычно родным об этом сообщают.

— Очень может быть, — живо отозвалась Соня. — Может быть, им и сообщили. А они скрывают от меня.

— Да кто же от вас скрывает?

— Ну, кто — конечно, тетя, папа и Петр.

— Но зачем им от вас скрывать? — ласково расспрашивал Мильде.

— Господи, зачем! Потому что они не хотят, чтоб я с ним встречалась. Знают, что уж никогда не схватят его, раз он невидим. Знают, что мы с ним

объединимся против них, когда договоримся. Я уверена! — Она захлопала в ладоши. — Я уверена, так оно и есть!

Доктор некоторое время молчал. Думал. Дело оказалось трудным, Сонина логика — несокрушимой. Бедняжка будет зубами и ногтями бороться за свой безумный бред — как подлинный автор, как мать за дитя.

— Ведь мы с ним, — робко проговорила Соня, — мы любовники, знаете?

— Да что вы! — оживился врач. — Не может быть, вы ведь замужняя дама!

— О, это я прекрасно знаю. Но я не люблю мужа. Я его ненавижу! — Это она произнесла со страстной злобой. — Он злой. И потом, у меня будет ребенок от возлюбленного. Я сказала об этом мужу, а он, дурак, не верит.

— Я не знал… — стуча зубами, тихо промолвил Хайн. — Не знал, что с ней уже так… Ох, все потеряно! И нечего на что-то еще надеяться…

У него вырвался жалобный стон, и тотчас лицо его исказила ненависть:

— Но как она вас раскусила! Как осудила!..

Я пробормотал, что просто неразумно принимать всерьез слова больной, и мы стали слушать дальше.

— Недавно — помните? — медленно начал Мильде. — Я доказал вам, что ребенок ваш — от законного супруга.

— Что вы мне толкуете! — рассердилась Соня. — Неужели вы такой отсталый! Никакой врач в мире не может по чистой совести с уверенностью утверждать… Что вы обо мне знаете? В лучшем случае только то, что я сама вам сказала.

— Это так, — быстро согласился Мильде. — Простите, если я утверждал нечто такое, чего не могу доказать. Просто я предполагал, что вы были мужу верной женой. Не сердитесь, если я ошибся. Я не собираюсь вас недооценивать.

— Вот именно! — ликующе воскликнула Соня. — Я часто встречалась с моим возлюбленным. Возможностей-то было много! Мужа целыми днями нет дома…

— Это верно, я понимаю, — перебил ее Мильде, видя, что она намерена рассказать ему подробности своих мнимых измен. — Пока оставим это. Видите ли, я хочу предложить вам одно интересное дело. Вот вы говорите, что невидимый дядя дома, я же утверждаю обратное. Когда мнения расходятся, люди спорят или заключают пари. Так вот, я хочу побиться с вами об заклад. Хотите? Заключим шуточное пари по всем правилам! Я

говорю — его здесь нет, а вы — что он тут.

— Нет, — жестко ответила Соня. — Не надо пари. Вы всегда были добры ко мне. Не хочу, чтоб вы проиграли.

— Ну, пожалуйста! — ласково уговаривал ее доктор. — Посмотрим!

Она опять отказалась. Тогда Мильде стал добиваться, чтоб она открыла, по крайней мере, какие признаки убеждают ее в присутствии Невидимого.

— Я вас не выдам, честное слово! — пообещал он. — Вы не представляете, до чего это мне интересно!

Она рассказала ему то, что мы уже давно знали: она слышит, как дядя Кирилл ходит по дому, а из кладовки исчезает съестное. И хотя по утрам кровать его всегда застлана, все равно он наверняка спит там. А кровать застилает сам — Соня узнала его руку! Один раз она даже ощутила его дыхание на своей щеке…

— Так, так, — кивал доктор, — верю вам, милостивая пани, но мы, доктора, такой противный, упрямый народ… Верим — и все-таки требуем все новых и новых доказательств. На вашем месте я бы, например, все-таки написал в клинику.

— А они не скажут правды! — хихикнула Со-

ня. — Им стыдно, что он от них убежал!

— Тогда, — осмотрительно заметил врач, — если б я захотел узнать всю правду, как оно в обычае у врачей, мне оставалось бы только убедиться собственными глазами. Будь я на вашем месте, я бы сам съездил в клинику!

Логический вывод, столь тщательно подготовленный Мильде, пропал впустую. Ох, что тут началось! Соня впала в истерику, как в тот раз, когда ей сказали, что у нее будет ребенок. Как она неистовствовала, господи на небеси! Хайн метнулся к двери, как и в тот раз, — как же, его овечку обидели! — и мне пришлось изо всех сил удерживать его за полу халата. Но из-за чего же эти вопли и рыдания?

— Знаю я, чего вы хотите! — кричала Соня. — Знаю, что вы задумали! Думаете, я сумасшедшая и хотите отправить меня в сумасшедший дом, как дядю Кирилла! Знаю! Вот так же папа увез бабушку! Наврал ей что-то… Потому-то и вы уговариваете меня ехать! Хотите, чтоб меня там заперли, чтоб я уже никогда не вернулась домой! Конечно, в этом замешан Петр… Он страшный человек! Он на все способен. Хочет избавиться от меня! А я знаю, что сделаю: позову на помощь дядю, он меня в обиду не даст… Дядя Кирилл!

Дя-дя Кирилл!!

— Ни с места! — резко бросил я Хайну. — Вам там нечего делать.

— Я знаю, — лепетал он, — но я хочу быть с ней… Мое место с ней.

И внезапно, словно в каком-то озарении, он воскликнул:

— Когда я буду с ней — никто меня от нее не выманит!

Я задумался над его словами и нашел эту мысль выгодной для себя.

— Как знать, может, вы даже гордитесь тем, что вам удалось довести ее до такого состояния, — с горечью сказал Хайн. — Вы, возможно, воображаете, что она так вас любила…

— Этого я не думаю! — возмутился я. — И она не была бы в таком состоянии, если б больше доверяла мне!

— Вам, конечно, не понять, каково отцу слышать все это. Вы спокойны и рассудительны. А я сходил с ума от горя, когда умерла моя жена…

— Соня не умирает, она только больна!

— Не завидую я вам, человек без сердца! Вы бесконечно нищи по сравнению со мной, несмотря на мнимое преимущество вашего хладнокровия!

— Я не теряю надежды, — заносчиво возразил

я. — Этого вы не можете отрицать. А здесь скорее поможет тот, кто надеется!

Доктор вышел к нам, когда мы меньше всего ожидали.

— Пойдемте, — торопливо сказал он. — Она теперь плачет. Дадим ей выплакаться. Пошлем к ней эту вашу Кати, а сами сойдем вниз. Там и поговорим.

Сказать Хайну, что я не теряю надежды, было с моей стороны поистине шуткой висельника. Разговор Сони с доктором начисто развеял последние летучие остатки моей надежды. Я уже не обманывал себя, я знал — моя семейная жизнь разбита самым гнусным образом. Не так-то легко было примириться с этим, но что мне оставалось другого? Можно сказать, я уже справился с этой болью. Да мне и помогли справиться! Едва увидели, что я повержен, — на меня набросились, как разоренные кредиторы… Не удивительно, что я ожесточился. Если что и рухнуло безвозвратно, то прежде всего мое собственное счастье. Может быть, мне следовало отчитаться перед кем-то в моих поступках? Защищаться? — Они бы все равно не поняли. Такие люди, как я, одиноки и в радости и в горе. Я никогда не строил себе иллюзий насчет этого дома. Я был здесь одинок

с той самой минуты, как вошел в него. Но только теперь одиночество мое стало полным. Из подозрений, с какими на меня смотрели с самого начала, родилась явная враждебность. А у меня не было оснований платить хлебом за камень. Лучше самому быть несправедливым, чем страдать от несправедливости других.

Я равнодушно слушал объяснения Мильде насчет Сониной болезни — и даже не пытался скрыть своего равнодушия. Что нового мог я узнать? Я все знал наперед. Мне было не до притворства. Мысли мои полны были собственной важной проблемой, о которой я не решался заговорить с врачом в атмосфере, зараженной горем тестя и мстительностью тетки. С какими перспективами вступит в жизнь мое дитя? Я сонно смотрел на старуху, восседавшую в своем кресле, на тестя, скорчившегося на оттоманке. Доктор то и дело рассеянно протирал платком свое пенсне, озирая слушателей подслеповатыми глазами. Я терпеливо выжидал момент, когда получу возможность задать свой вопрос.

Мильде, разумеется, говорил с профессиональным оптимизмом, хотя сам не мог верить своим словам. Он утверждал, что непосредственной причиной заболевания явилось недавнее нерв-

ное потрясение, осложненное беременностью. Он допускал, что какое-то влияние оказали давние страхи больной, уходящие корнями в пору ее детства и нашедшие благоприятную почву в слишком ранимой совести и богатом воображении. Он произнес слова *душевная болезнь*, но для того лишь, чтоб тотчас его перечеркнуть. Заявил, что не может определить, носит ли она временный или постоянный характер. Возможно и то и другое — и выздоровление и ухудшение. Его единственным советом было: ждать.

— Время будет работать на нас — или против нас. По мере приближения родов болезнь или будет находить все больше почвы для себя — или ее изгонит интерес к ребенку. Если победит мать, мрак рассеется, а с ним — и Невидимый.

Доктор просил всех нас дружно помогать победе ребенка. Надо напоминать о нем Соне всеми возможными средствами. Заставить ее думать о нем. Готовить ему приданое, колыбельку, может, даже игрушки. Опровергать Сонин бред, будто ребенок — от дяди. Сам он обещал еще раз попытаться разубедить ее в этом, как только представится случай. Он собирается действовать в этом направлении осмотрительно и систематически. Сегодня мы сами видели — он приложил

все усилия, чтобы пробудить в пациентке способность рассуждать здраво. К сожалению, он встретил слишком упорное сопротивление и попытка его не имела успеха. Возможно, уже завтра ее убежденность в невероятном поколеблется. Жаль, очень жаль, что мы не обратили должного внимания на ее безумную идею прежде, чем она пустила глубокие корни, то есть в то время, когда ее рассудок еще боролся с ней.

— Конечно, я говорю это вовсе не для того, чтобы в чем-то вас упрекать. Я должен упрекать в первую очередь себя, ведь вы мне об этом говорили!

Хайн с жаром несколько раз кивнул. Я заметил, что он крепко стиснул зубы — видно, всячески старался сдержать дрожь лицевых мышц. Он предпочитал молчать.

Мильде сказал еще, что пациентка нуждается в полном покое. Следует исполнять все ее желания, обходиться с ней, как с хорошим, только немножко упрямым ребенком. Не сердиться за ее капризы, делать вид, будто верим всему, что она говорит, однако не быть в выдумках изобретательнее, чем она сама.

— И не забывайте, — заключил он, — что Соня обладает высокоразвитым интеллектом и на нее

может оказать роковое воздействие, если она в один прекрасный день отрезвится и поймет все убожество своего состояния. Тщательно следите за переменами ее настроений. Всякий раз, как она будет чрезвычайно возбуждена или непривычно тиха, — не оставляйте ее одну.

— Как? Как? — испугался Хайн; он потер виски, он стал заикаться, он никак не мог найти слова, чтобы сформулировать свой страшный вопрос. — Значит, пан доктор, вы опасаетесь, что Соня может… могла бы… поступить… безрассудно? Значит, надо даже ее… стеречь?

— Да, — ответил Мильде, с состраданием заглянув ему в глаза. — Необходимо найти человека, которому можно абсолютно доверять и который взял бы на себя ответственную задачу — бдить над больной.

— Кати! — предложила тетка, пристукнув своей жуткой клюкой.

Но еще не отзвучало это имя, как Хайн с жаром, со слезами в голосе вскричал:

— Я!

Врач посмотрел на него одобрительно, кивнул головой.

— Да, я живо помню, как отцовский уход дал уже один раз прекрасный результат. — Вероятно,

он льстил Хайну только затем, чтобы доставить ему хоть эту жалкую радость. — Однако для столь утомительного служения вы, пожалуй, слишком заняты? — добавил он с притворно озабоченным видом.

— Я не буду ездить на завод! — выкрикнул Хайн.

И, может быть, потому, что сейчас он отказался от завода (дела которого все равно его давно перестали интересовать), отрекся от последней опоры, еще делавшей его мужчиной, он рухнул на стул и прерывисто зарыдал, судорожно сжав руками седые виски.

— Этого еще не хватало, пан фабрикант! — ободряюще заговорил доктор. — Выше голову! Не надо отчаиваться, пока не все потеряно!

Вид слез, стекавших по щекам Хайна, был, вероятно, очень неприятен Мильде. Подобно всем врачам, он боялся выражений чувств как заклятого врага своей профессии. Утешая старика, он придумывал, как бы ему поскорей и незаметней выбраться отсюда вон.

— Для вас, людей старшего поколения, осталось еще кое-что, чего не хватает нам, молодым, — проговорил он с фальшивым вздохом. — Для вас еще жив бог! Вы можете ему довериться и

уповать на него.

— Мы верим и уповаем, — жестко произнесла тетка. — Но за спиной у нас — многие годы, когда мы верили и уповали напрасно.

Зря Мильде так спешил — я все равно догнал его еще на лестнице. Придержал за рукав пальто, чтоб он не сбежал.

Он посмотрел на меня, прищурив глаза, вдруг очень чужие и настороженные.

— Пан доктор, — начал я, противопоставляя его ироническому взгляду максимальную вежливость, — я хотел бы спросить вас — угрожает ли что-либо ребенку, который должен родиться?

— Безусловно, — насмешливо отвечал он. — Ему угрожает опасность материнской травмы. Женщина с помутившимся рассудком способна на любые экстравагантности. Следует бдительно стеречь ее. Но об этом я уже говорил сегодня. Жаль, что вы меня плохо слушали.

Я сообразил, в чем дело: Мильде обиделся, что я не внимал его объяснениям с жадностью смиренного ученика.

— Вы меня, кажется, не так поняли, — резко возразил я. — Меня ужасает то обстоятельство, что стать матерью предстоит помешанной. В семье уже было несколько случаев сумасшествия. Тут

явная наследственность… Есть ли какая-нибудь надежда, что ребенок родится нормальным?

— Дорогой пан инженер, — подумав немного, ответил Мильде, — во-первых, вам, профану в медицине, не следует столь легкомысленно употреблять такие слова, как наследственность. Это звучит не очень-то красиво именно в ваших устах. Во-вторых, спрашиваете вы напрасно. Я не могу вам ничего сказать с уверенностью.

Я был далек от того, чтоб возражать на его намеки. Мне было безразлично, что он обо мне думает. Я только настаивал, чтоб он сказал мне, обязательно ли проявляется эта зловещая наследственность.

Мильде нахмурился. Сказал, что сумасшествие по наследству не передается. Разве что предрасположенность.

— Это одно и то же, — с горечью заметил я; меня уже начало раздражать высокомерие, с каким он цедил свои ответы, лишь бы отвязаться.

Мильде возразил, что это не одно и то же. Предрасположенность вовсе не обязательно ведет к заболеванию. Многое зависит от того, в каких условиях живет и развивается человек. Случай с Соней типичен: дело дошло до катастрофы исключительно под влиянием известных событий.

Нельзя также не учитывать, что ребенок был зачат до потрясения.

— Впрочем, — поспешно добавил он, — здесь вообще нет ничего позитивного, на чем можно было бы строить предположения…

Да, ничего не скажешь, утешение не из удачных! Я коротко засмеялся.

— А Кирилл Хайн? Он-то как сошел с ума? Его мать тоже была здорова в период зачатия!

Мое возражение глубоко задело доктора. Он заявил, что, кажется, он не студент, а я не экзаменатор. Что я, собственно, хочу доказать? Что мой ребенок *будет* больным?

— И знаете что? — сердито закончил он. — Я очень хочу сегодня попасть домой. Мне вовсе не нравится, что вы меня задерживаете.

Я — почти смиренно — прошептал, что хочу не утешений, а правды.

— Правды?

Теперь он даже как-то глупо усмехнулся. Потом вдруг вырвался и побежал к своей машине. Я бросился за ним. Мильде сел в автомобиль и хотел уже захлопнуть дверцу, но я, с трудом сдерживаясь, успел еще спросить — неужели ему и впрямь больше нечего сказать мне?

— Нет, — ледяным тоном ответил он, обозлен-

ный моей неотвязчивостью. — Я сказал вам все, что вы хотели знать.

И тронул машину. Я, красный от гнева, кричал ему вслед, что он не должен разговаривать со мной так скупо и враждебно, не удивительно же, что отца интересует судьба ребенка, — но Мильде уже не мог меня слышать. Или просто сделал вид, будто не слышит.

Я утешал себя, что только ради ребенка обязан сносить такие унижения. Я стоял у ворот, растерянно осклабясь, и ливень хлестал меня… Холодные струйки воды текли мне за ворот. Над входом горела лампа, и длинная тень от меня ложилась на землю. Какая-то заблудившаяся ночная бабочка коснулась на лету моего лба. Я в бешенстве отмахнулся…

Потом я вернулся в дом. Постепенно успокаивался. Стал обдумывать то, что услышал от доктора. Добрая то была весть или злая? Трудно сказать. По меньшей мере тут была мучительная неизвестность и была угроза, что эта неизвестность будет грызть меня долгие месяцы, а потом еще — годы… Я очутился снова в положении, сходном с тем, в каком я находился, когда только приехал в Есенице и мы с Соней бродили ночью в саду. Тогда мне тоже только и оставалось, что

выбросить из головы все, что мне рассказал в первый вечер Хайн. Жить с постоянным страхом в душе? Или попытаться еще раз поверить в будущее? В тот раз она бессовестно обманула меня, эта благословенная вера! Или на сей раз судьба окажется милостивее?

Вопрос натыкался на вопрос, ответы визжали, как фальшивые тоны в оркестре. В таких случаях — какой прок от всех мудрых намерений? Разум способен мужественно и решительно идти навстречу неизвестности, а чувство — оно как малое дитя, упирается, боится темноты…

О докторе Мильде я не мог думать без возмущения. Вот ведь как — там, наверху, он только что едва не обнимал Хайна. Стало быть, вздохи и безысходное отчаяние еще ценятся в этом мире! Или Мильде отмеряет утешения погорячее тому, кто платит? Я решил, что когда-нибудь еще расплачусь с Мильде по этому счетцу…

Я взглянул на часы. Несколько минут одиннадцатого. Еще не поздно зайти к Хайну, потолковать с ним обо всем, что случилось и что говорил Мильде. Но — утирать малодушные слезы старика? Потчевать его конфетками утешений? Этого мне никак не хотелось. Или засесть в своей комнате с сигарой в зубах и в одиночестве пре-

даться мыслям? Нет, и это ни к чему. Я не из тех, кто склонен к романтическим собеседованиям с вороном. И я отправился спать.

Соня уже лежала в кровати, закутавшись в одеяло до подбородка. Я подумал, что она спит, и вел себя как можно тише. Но она не спала. Когда я погасил ночничок, то услышал, как она приглушенно хихикает под одеялом. Лежала она спиной ко мне. Смеялась и шептала что-то невразумительное.

Смейся, смейся, думал я. В мозгу моем гвоздем застряла забота о ребенке. Сегодня я впервые засыпал рядом с помешанной. Вот и еще один сумасшедший в доме Хайна, — сказал я себе. Нельзя не подумать, что дом этот и впрямь проклят. Видно, какой-то дьявол начертал на его фундаменте ужасный приговор — что здесь всегда будет жить человек, лишенный рассудка.

Я не подозревал, что мысль эта была пророческой.

14
КАТИ

Недолго спали мы с Соней в общей спальне. Она вдруг стала проявлять прямо-таки девическую стыдливость при раздевании.

— Не смотри на меня! Выйди за дверь! И не стыдно тебе так смотреть на меня!

Я всегда уступал ее желанию. Отворачивался, молчал. Впрочем, она зря меня подозревала. Если и устремлял я на нее изредка взор, то смотрел на ее живот. Только там и оставалось еще то от Сони, что вообще могло меня теперь интересовать.

Моя деликатность, то, что я послушно отворачивался, выходил из спальни, — ничего не помогало. Начались слезы — Соня вообразила, будто я трогаю ее, когда она спит.

— Я знаю! — бранчливо кричала она. — Я чувствовала! Зачем ты лжешь? Я не твоя. И не хочу иметь с тобой ничего общего!

А то начинала грозить мне:

— Погоди, вот я ему скажу! Он тебе покажет! Ты уже давно ему надоел. Еще пожалеешь, увидишь!

Я снисходительно улыбался, уговаривал ее, как ребенка. Когда она спрашивала, боюсь ли я его, я уверял — да, боюсь. И она бывала в высшей степени довольна. Но ненадолго. Вскоре следовал новый каприз.

В конце концов она высказалась прямо:

— Я хочу уйти от тебя. Да, да, хочу от тебя уйти!

И, обрадовавшись, что ей пришла такая отличная идея, захлопала в ладоши. Она не преминула еще и подсластить мне эту пилюлю, высказав надежду, что любовник, увидев, что меня уже нет рядом с ней, обязательно к ней придет. Что ж, я не возражал, и все прошло как по маслу. Хайн получил обратно свою овечку. Теперь она уже в самом деле стала только его. Зачем мне было за нее цепляться? Мне вовсе не улыбалось соперничать с такой талантливой сиделкой, как Хайн. Он и так целые дни с Соней, почему ж ему не быть с ней и ночью? Так я снова стал почти что холостяком.

Вещи Сони перенесли вниз, определилась форма моей свободы. Моей экономкой стала Кати. Я не согласился на малопривлекательное предложение — питаться вместе со всей семьей от кухни Анны.

Отсутствие Сони меня не трогало. Мне нужен был только тот таинственный, скрытый плод, который она унесла с собой. Как жаль, что невозможно было сорвать его с ядовитого материнского дерева! Поистине, ребенок похож на яблоко поздних сортов. Его еще нельзя снимать, хотя собака садовника целыми ночами до изнеможения лает на шайки воров, рыскающих вокруг сада. Каждое утро я просыпался с тревогой — не приключилось ли зла моему яблоку? Но ведь солдат, способный засыпать под артиллерийскую пальбу, привыкает в конце концов даже к грохоту рушащихся небес, а человек, ежедневно ожидающий несчастья, которое все не наступает, приучается в конце концов засыпать в надежде, что если оно не разразилось до сих пор, то уж не разразится никогда.

Я привык к физической, так сказать, стороне надежды, но в душе втайне меня не переставал глодать страх. Как-то все будет потом, когда созреет мое яблоко? Не окажется ли оно червивым? Я просто жаждал этого дня, который все приближался, — и вместе с тем боялся его. Спастись от этой внутренней тревоги я мог только с помощью одного, но сильного средства: я до потери сознания одурманивал себя работой. Трудился

как каторжный и тогда забывал и о бедах моих, и о моем нетерпении.

Давно уж не верил я болтовне доктора, из которой порой выбивался тоненький ручеек надежды — утешение для малокровных детишек… Я знал наверняка: Соня сошла с ума и никогда не вылечится. На этой части моих планов, касающейся мирной семейной жизни, я поставил крест. А как мне устроиться после рождения ребенка, я пока не знал. В такой переходный период самое лучшее — просто ждать. В одном я был твердо уверен: тогда, после, я не буду больше милосердным и не отступлю перед необходимостью из каких бы то ни было ложных сантиментов.

А пока положение можно было определить словами старых, уже со всем примирившихся людей: оно нехорошо, но могло быть и хуже. Хоть бы и оставалось таким, как есть! Соня была тихой помешанной, если только можно назвать тихим этот жуткий грохот на рояле или ее пронзительное, во весь голос, пение — Соня проигрывала и перепевала весь репертуар опер и оперетт. Ей нравилось воображать, будто она играет для своего невидимого друга. И она играла, пела до хрипоты, напрягая голосовые связки, — но сближения ее с фантомом так и не происходило.

Тогда следовали часы, даже целые дни рыданий и жалоб, одиноких прогулок и патетических монологов, когда мысль лихорадочно набегала на мысль и в больном мозгу складывались фантастические истории. Соня не записывала их, как достославный сэр Хэкерли, — она их проживала.

Вообще-то мы даже не могли решить, какое из ее настроений предпочтительнее. Она одинаково неприятно возбуждалась и в грусти, и в радости. Достаточно было ее мысли задержаться на какой-нибудь очень уж приятной для нее истории, как Соня на всех в доме начинала смотреть с дерзким высокомерием. Вызывающе смеялась, вызывающе разговаривала со своим возлюбленным, который в такие минуты был с нею.

Такие беспокойные дни были настоящей мукой для Хайна. Порой я искренне жалел его. От постоянной озабоченности лоб его изрыли морщины — как у старой, больной собаки. Глаза его лихорадочно блестели. А помощи ниоткуда не было. Не меньше страдал Хайн и от тихих причуд дочери — от всего этого припрятывания завтраков для гостя, который никогда не придет, от беспрестанной необходимости считаться с его воображаемым существованием. Постепенно все в доме стало таким же, как и при Кирилле. Все

— от сладких рожков, которые Соня засовывала под подушки и в ящики в комнате Невидимого, до лишних порций еды, якобы забытой на столе. Не было бы ничего удивительного, если б в доме лишился рассудка кто-нибудь еще — под гнетущей тяжестью игры, в которую играли только ради того, чтоб один сумасшедший не перестал верить в другого.

Я заметил, что хайновское сумасшествие имеет одну фамильную черту: упрямство. Потому что не чем иным, как упрямством, было то, как упорно и последовательно держались здешние помешанные за свой бред — вопреки явным несоответствиям. Соня в этом смысле была точной копией Кирилла. Точно так же, как он когда-то вообразил себя невидимым, она теперь верила в невидимость и в присутствие отсутствующего. Она до болезненности тщательно следила за тем, чтоб его призрачной особе не причинили обиды. Есть ли у дядюшки все, в чем он нуждается? Достаточно ли у него бумаги для письма? Переменили ли ему постельное белье? Не забыли ли оставить завтрак? В этих практических заботах Соня была почти разумна. Она заботилась о тени Кирилла больше, чем в самые лучшие времена — обо мне. И ее совершенно не смущало, что постельное

белье не загрязнялось, еда не съедалась, бумага не исписывалась и рожков не убывало!

Столь же часто, как периоды полного упадка сил и отчаяния, Хайн переживал моменты, когда для него проглядывала надежда — подобно украденной драгоценности сквозь прореху в суме нищего. Он упивался этой надеждой, как наркоман кокаином. Это случалось, когда Соня произносила подряд несколько разумных фраз, когда она теребила и утомляла отца меньше обычного. Распираемый радостью, он тогда говорил:

— Я вижу, Петр, все у нас опять будет хорошо, более того — теперь я просто уверен в этом!

Я вежливо осведомлялся о причинах его оптимизма, и он принимал таинственный вид:

— Нет, нет, об этом нельзя вслух! Еще сглазишь…

Он становился ребячливым чем далее, тем более. Дела его были все хуже и хуже со дня на день…

Осью, вокруг которой вертелось теперь все в доме, стал, в сущности, посторонний человек — доктор Мильде.

Он уже являлся на виллу как к себе домой. Впрочем, его всегда ждали с нетерпением. Что-то

он скажет? Что сделает? Чаще он не делал и не говорил ничего. Он взял привычку стучать тростью в дверь, если ему медлили открыть. Возможно, таким образом дают знать о своем прибытии в лечебницу врачи, которые спешат к больному. Пожалуй, Мильде считал наш дом своего рода частной психиатрической клиникой.

Этим я вовсе не хочу сказать, что он был груб или посещал нас неохотно. Нет, он только стал чуть-чуть фамильярнее. И обращался к нам более свысока, чем это подобало его молодости и положению. Виной тому был в первую очередь Хайн, который просто выклянчивал у Мильде крохи надежды. И получал их — изредка, как милость, как умирающий от рака получает уколы морфия. Я презирал старика больше прежнего. Теперь я убедился, сколько жалкого и малодушного скрывается под броней приличного воспитания.

Мильде научился заранее настраивать свое лицо на снисходительно-насмешливый лад, стоило кому-нибудь из нас — Хайну, тетке или даже мне — открыть рот для вопроса. Я терпеть не мог этой его отвратительной манеры и в отместку платил ему тем же. Вдобавок, как известно, у меня был к нему еще некий старый счетец… Как только Мильде благосклонно наклонялся к Хайну, соби-

раясь выпустить очередной мыльный пузырь, я начинал язвительно ухмыляться, сострадательно покачивать головой и щурить глаза. Мильде тотчас умолкал и вскоре покидал нас, глубоко разобиженный. Мы с ним преотлично понимали друг друга. Таким образом, Хайну перепадали лишь очень скудные дозы морфия — доктор остерегался меня чем далее, тем более.

Меры, какие принимал Мильде, все равно нельзя было назвать лечением. Скорее это были попытки как-то утешить нас — да и то лишь время от времени, в зависимости от его собственного настроения. Раз он как-то принес с собой официальный ответ дирекции клиники, где содержался Невидимый. Этот документ, составленный в весьма канцелярском стиле, подтверждал присутствие Кирилла в заведении. К письму была приложена фотография, заверенная врачами и датированная. Дядюшка Кирилл был снят сидящим на железной кровати, с руками на коленях, с глазами, вытаращенными в объектив.

— Да это вовсе не он! — усмехнулась Соня в лицо доктору.

Она вела себя просто дерзко. Положила себе на колени котелок Мильде и сделала глупое лицо, заявив, что изображает доктора.

— Это скорей вы сами! Это вы там сфотографировались! Точно так вы и сейчас на меня смотрите. Это вы на фотографии!

Она еще никогда не позволяла себе так обращаться с доктором. Он был глубоко огорчен.

— Я-то хотел сделать как лучше, право, — печально твердил он.

Хотел, верно, чтоб мы его пожалели. О, врачи так ранимы в своем богоравном высокомерии!

Порой меня удивляло, что Хайн не писал, не звонил по телефону во все концы земли, не сзывал к Соне каких только возможно психиатров. Впрочем, это можно было объяснить весьма просто. Во-первых, он питал к Мильде так называемое доверие. Этот врач, по крайней мере, утешал его. А станут ли утешать другие? По-видимому, он в этом сомневался. Он желал пребывать в приятном заблуждении. Во-вторых, тут играла роль какая-то стыдливость. Хайну не хотелось трубить на весь мир о семейном несчастье. А может быть, он опасался, как бы его дочь не забрали в клинику…

Дождался я и дня, когда тетка предложила интересное средство для лечения Сони. Я-то догадывался — она давно выжидала случай. Когда, по ее мнению, время приспело, она и выступила.

— Не лучше ли, — со всем своим достоинством обратилась она к Мильде, — вернуть Кирилла домой? Соня его уже не боится, питает к нему дружеские чувства, скучает по нему — быть может, это будет бальзам на ее раны? Кто знает, может, она образумится, убедившись, что он так же видим, как и прежде?

Мильде даже не раздумывал.

— Нет, нет, это исключено, это невозможно, — сказал он, на сей раз без иронии. — Нельзя подвергать ее опасности новых осложнений.

И тетка зашаркала прочь, по видимости смирившаяся, а в глубине души, видно, оскорбленная неудачей. Не удалось ей воспользоваться такой редкой возможностью — когда-то подвернется еще такая?

Ох, эта тетка! Нет, она отнюдь не переживала болезнь Сони как несчастье. Я даже подозревал, что она довольна. В комплоте со своим богом старуха, видно, рассуждала, что таково проявление высшей Справедливости. Разлука ее с любимчиком жестоко отомщена.

А этот ее славный приятель Кунц! Он уже не приходил к нам так часто, этот прекраснодушный друг! Еще бы — чего удивляться, дом наш уже не был подходящим местом для проповедей

и патриотического пустословия…

Кунц принимал безумие Сони совершенно неоригинально. Он присвоил все суждения врача, всю теткину фальшивую покорность судьбе, все надежды Хайна. Представляя себе, как Кунц, этот друг дома, помог в свое время разрешить ребус с Кириллом, я всякий раз не мог удержаться от смеха. Этак и дерево можно было бы назвать хитроумным! Этот человек в лучшем случае способен был дружно переживать горе своего приятеля Хуго. На меня он смотрел даже с презрением. По-видимому, подозрение против моей особы и было главным, что он перенял из чувственного инвентаря дома. Он считал меня основным виновником и безоговорочно осудил меня в глубине своей мелкой души.

Кунц являлся теперь, только чтоб побеседовать с теткой. Она оставалась единственной особой, способной на возвышенные чувства, ибо измученному заботами, впавшему в детство Хайну далеко было до какой бы то ни было возвышенности. Хуго был для Кунца потерян. С ним пока ничего нельзя было поделать. А тетка не изменилась. Паразит Кунц всегда искал в этом доме какую-то славу. Славу власти, славу богатства. Эта слава воплощалась теперь в одной тетке. Кунцу

импонировал ее невероятный апломб — обо всем судить, все понимать. Она была для него чем-то высшим, чем просто деньги. К ней-то он ходил не за подачками на благотворительность — старуха была скупа беспредельно!

Я по возможности избегал этого домашнего рая. К сожалению, совсем не встречаться с ними было нельзя. По крайней мере час в день я должен был отсидеть в этой довольно-таки странной компании. Их разговоры, их жесты, их надежды и опасения доходили до меня, как до смертельно уставшего человека. Все сливалось передо мной в какой-то мутный омут разлившейся реки. Теперь, спустя годы, я всматриваюсь в глубины этого омута… Слышу глухой шум вод… Сквозь пенные гребни волн в меня вперяются тоскующие, стеклянные… мертвые глаза утопленника Хайна…

Близилось рождество.

Мне не хотелось бы внушить мысль, будто я заранее оплакивал этот праздник, — грозивший быть изрядно мрачным, — как некое утраченное счастье. А между тем ведь это было время, о котором мы давно и много говорили с Соней: «наше *первое рождество*», — в этом духе, с сентиментальными замечаниями, исполненными глубокого значения. Наверное, сочельники про-

ходили у Хайнов в атмосфере семейного тепла и довольства. Я был вовсе не прочь раз в жизни тоже испытать нечто подобное. Хорошо зарабатывая, я мог позволить себе роскошь быть щедрым. Бывает, что ни одному самому трезвому человеку не устоять перед приятной потребностью доставить кому-нибудь радость.

Теперь, конечно, рухнули все чувствительные намерения, и незачем стало обдумывать, какие подарки произведут наибольший эффект. Какое там рождество, какие преподношения?! Соня забавлялась всякой чепухой, ее совершенно не интересовало то, что некогда приносило ей радость. Когда она бывала в сносном настроении, то довольствовалась тем, что вырезала из бумаги фигурки и наряжала их в примитивные платьица. Я не романтик, я не способен проникнуть в тайны больного мозга. Что дарят помешанным женщинам? Мне страшно хотелось спросить совета у Хайна, но его испепеленный взор отвращал меня от этого намерения. В конце концов я купил платиновое ожерелье с бриллиантом и бонбоньерку. Правда, я знал, — это все равно что выкинуть деньги в реку.

Я не ошибся. Когда наконец наступил этот внушающий опасения день, не заметно было и

намека на радость. Хайн был угнетен и молчалив более обычного. Ужин смахивал на поминки. Рыбу не подавали из какого-то — впрочем, вполне понятного, — семейного пиетета. Вместо рыбы был пирог с грибами — местное блюдо — и яблочный рулет. На всякий случай я ограничился рулетом, но выбрал плохо: весь вечер от сладости у меня першило в горле. За столом сидели все домочадцы: Кати, Филип, Паржик и Анна. Так издавна повелось у Хайнов. Паржик с трудом пережевывал пищу беззубыми деснами, Филип сник, как после взбучки. Он был робкий парень, и присутствие сумасшедшей повергало его в уныние.

После ужина тетка внесла в столовую маленькую искусственную елочку с крошечными свечечками. Они горели не более минуты, причем погасили все лампы, и только мерцающие огоньки этих свечечек тускло озаряли стол. Я видел океан слез под веками Хайна… Сеанс с елочкой закончился, и публика помаленьку разбрелась. Мы остались одни — Хайн, тетка, Соня и я.

Кто получил подарки? Филип, Паржик, Анна, Кати — и тетка. Что касается тетки, то это был давний обычай, воздаяние чести, инерция. Нет, я-то не купил ей вышитые шлепанцы и не подсунул

Хайну ненужный ему галстук. Ведь и мне, слава богу, ничего не подарили. Соне отец преподнес какой-то большой сверток — вероятно, набор разных материй на приданое новорожденному. Не знаю, что там было, Соня даже не дотронулась до свертка. Еще и за ужином смотреть на нее было тягостно. Возбужденная таким многолюдьем, она озорничала, звякала ложкой о тарелку, ела рассеянно и беспрестанно злоумышленно напоминала, что за столом стоит еще один, девятый, стул — для Невидимого. Когда домочадцы ушли, Соня начала делать какую-то особую сложную гимнастику, которая стоила ей большого труда. Она все время ошибалась и злилась.

Конфеты, что я ей преподнес, она ела, набив в рот по две, по три штуки сразу. Для ожерелья нашла следующее остроумное применение: воткнула в стену над диваном, под картиной, две булавки и повесила на них драгоценное украшение. Все это было безмерно жалким. Я мечтал лишь о том, чтоб кончился наконец не только этот вечер, но и все последующие вечера нежеланного для меня рождественского безделья. Как хотелось мне снова очутиться в моем заводском кабинете! На дворе шел густой снег. Снежные хлопья бесшумно лепились на окна. Никто это-

го и не замечал. Я установил этот факт просто из душевной лени — поэзии я ведь никогда не чувствовал.

Единственным человеком, праздновавшим рождество, была тетка. Она ела, словно совершала обряд, набожно выворотив свои глаза к потолку, над которым для нее, видимо, открылись небеса с вифлеемской звездой. Звезда эта, конечно, светила одной тетке! В ее молчании чувствовалось благоговение. При всем том на нас она смотрела критически и хмуро. Она не признавала нашей удрученности. Видела в ней оскорбление своему маленькому богу, который собирался родиться на утеху всем старухам мира, рассчитывающим на вечное блаженство по завершении добродетельного и сурового земного странствия.

Нет, я не страдал, сердце мое не болело по тому, что могло быть, но чего не было. Праздничная трапеза, всеобщая расчувствованность, парафиновая иллюминация — все это игрушки для малых деток. Вот позднее, скажем, через год, когда понадобится оделить всеми видами рождественского счастья маленького сынишку, — о, тогда другое дело! Самым мучительным за этим ужином было то, что я чувствовал его так близко от себя — и не смел подать ему знак

хотя бы поглаживанием… и что убежище его так ненадежно! Каково-то ему там, в этом животе, который мнут и гнут в дурацкой гимнастике? Увы, я не мог запретить Соне выворачиваться наизнанку. Я вынужден был — по предписанию врача — делать милое лицо.

Тетка велела Анне испечь к чаю какие-то бисквиты — не очень-то они получились вкусными. К бисквитам подали горячий пунш. И мы помаленьку отхлебывали его — мы, потерпевшие крушение, сошедшиеся в этот безрадостный вечер благодати… Мне казалось — я пью не благоуханный алкогольный напиток, а вонючую кислоту разложения семьи.

В ту самую минуту, когда я уже думал, что можно наконец встать, откланяться да убраться в свою берлогу, за дверью умильным голосом старого шарманщика затянул колядки… Кунц. Его тотчас пригласили войти, он стал отнекиваться, мол, пришел он только пропеть рождественскую песню, но тетка все-таки уговорила его. Впрочем, он не очень-то заставил себя просить. Ему налили пуншу, и он, поматывая своей парадной бородой, как хвостом, заблеял что-то благочестивое. Хайн сидел, бросив руки на стол, как мертвые сучья. Время от времени он шлепал по столу

ладонью — такое же движение, как конвульсивный взмах хвостом засыпающей рыбы. И упорно разглядывал потолок. Он боялся заговорить, чтоб рыдания, сотрясавшие его изнутри, не прорвались наружу.

Но вот замолчал и Кунц. Усталость звенела у меня в ушах, как стрекотание сверчка. Тетка недовольным тоном заметила, что кто-то из нас сидит, скрестив ноги[12]. Я вздрогнул: это я так сидел. Соня сосала мизинец, вперившись в пустоту лихорадочным взглядом. Я знал по опыту, что сейчас, в следующую минуту, она разразится или громким хохотом, или безутешным плачем. Этим всегда кончалось, когда она притаится ненадолго.

Наконец-то я оттуда убрался. Не очень, правда, ловко, но все же — под предлогом, что у меня заболела голова. По лестнице я взлетел, как вспугнутый заяц. Словно мне грозит опасность, словно меня могли еще позвать обратно. Запыхавшись, сел я за свой письменный стол. Однако и здесь меня вовсе не ждал желанный отдых: надо было исполнить еще одну неотложную и весьма неприятную обязанность.

---

[12] notes: 12
По народной примете, это предвещает несчастье.

Дело в том, что к нам напросился мой милый дружочек Донт. Хитрец вознамерился вкусить немного от нашего благоденствия. Конечно, ни Донт, ни сплетница Тина, Сонина приятельница по монастырскому пансиону, не знали, что у нас происходит. Тина только беспокоилась, отчего Соня ей так долго не пишет. «Или, быть может, у вас назревает некое событие?» — игриво спрашивала она в письме. Что ж, милая моя любопытная Тина, кое-что у нас действительно назревает — вернее, уже назрело. Только угощенье это, пожалуй, слишком острое для твоего нежного желудочка!

Донты решили приехать к нам с лыжами. «Там у вас, в горах, — мечтательно писал художник, — есть снег, которого здесь очень мало. А я, братец, теперь тоже стал на лыжи. Не спрашиваю даже, каковы твои успехи в этом спорте, — Соня, несомненно, взялась за тебя как следует…» Я невольно вспомнил, как много говорили мы когда-то об этом виде спорта. Но прошлая зима была скверной, а начинать, глядя на весну, было поздновато. Я бы не прочь поучиться ходить на лыжах — человеку, так занятому, как я, необходимо движение. Но теперь… что уж теперь об этом думать!

Дорогой Донт, мысленно обратился я к нему,

вынимая из кармана вечное перо, из твоей поездки к нам ничего не выйдет… Слишком сильно удивился бы ты, а еще сильнее — Тина, увидев, как обстоят у нас дела. Понимаю, скрыть это навсегда не удастся, но пока я еще погожу изливаться друзьям. Напишем-ка так: мы были бы очень рады видеть вас у себя, но… папочка захворал гриппом.

Я мог сочинить болезнь Сони или тетки. Дать заболеть тестю было делом тонкого расчета. Тина способна была примчаться только для того, чтоб повидать больную подругу. Теткин же недуг был бы слабым поводом для отказа. Я потер лоб. Письмо надо было составить так, чтоб Донты не обиделись, и в то же время выбрать достаточно решительный тон, чтобы они не вздумали явиться вопреки моему предупреждению. Не умнее ли сослаться на отъезд Сони? Ладно, отправим ее к родственникам; но куда? К кому? Я не знал даже, существуют ли у Хайнов родственники, подходящие для моей цели. И мне пришло в голову спросить об этом у Кати.

Когда я вошел к ней, она как раз собиралась нырнуть в постель. И теперь осталась сидеть на краю кровати, только поспешно прикрылась периной до подбородка. Я остановился на пороге,

извинился с дружеской улыбкой: мол, совсем забыл, что уже так поздно. А у меня на сердце важное дело… Я ненадолго.

Я смотрел ей в глаза очень простым взглядом, словно меня не трогает, что ее плечи и руки обнажены, что белая, гладкая кожа ее вызывающе блестит в свете ночника. Я стал пространно объяснять ей свое дело, стараясь, чтоб на лице моем читались только озабоченность и раздумье.

— Тетушек у нас больше нет, — весело ответила Кати. — Право, и не знаю, как тут поступить… Только думаю, Донты и так не приедут, если вы их не пригласите. Может, вы успеете как-нибудь уладить дело, даже если они паче чаяния явятся в Есенице…

— Нет, Кати, так нельзя, тогда уж ничего не придумаешь. Люди здесь все обо всех знают, они злорадны, все сейчас же выплывет наружу. Надо это как-то предотвратить.

— Я предложила бы вам присесть, да, кажется, сесть-то у меня не на что. Знаете — вы идите к себе, а я сейчас оденусь и приду к вам.

Но мне как раз не хотелось уходить. Я уселся на низенький табурет около двери. Теперь, правда, высокая спинка кровати заслоняла от меня девушку, зато ее босая ножка потирала другую со-

всем близко от моих глаз. Можно было подумать, что поместился я за таким барьером из чистого целомудрия. Выгодно было внушать доверие.

— Как же это нам устроить? — в раздумье покачивалась золотоволосая головка над деревянной спинкой кровати, точно как голова марионетки в кукольном театре. — Я все-таки за то, чтоб положиться на удачу. А когда Донты собирались приехать? Под Новый год? Ну, к тому времени может наступить оттепель…

«А что, если, — думал я, — мне сейчас встать и поцеловать ее, впиться жадными пальцами в эти золотые кудри? Станет отбиваться? Или нет? Как давно не целовал я пылающих девичьих губ — как давно!.. Спокойно, спокойно, — урезонивал я себя. Только без опрометчивости!»

— Они все равно обидятся, — продолжала размышлять Кати. — Не найти вам такую форму, чтоб они не почувствовали себя задетыми!

А я уже не способен был думать о Донтах. Ну его к черту, этого настырного мазилку, вместе с его бабой! Уж как-нибудь я от них отделаюсь. Теперь у меня дело поважнее — совсем другого рода дело — и я грустно смотрел на босые ножки, покачивающиеся у меня перед глазами.

— Веселенькие у меня заботы, правда, Кати? —

Что-то шептало мне, что сейчас надо говорить горячо и печально. — Вот уж никогда не думал, что будут у меня такие…

— Посоветовала бы я вам не терять надежды: может, когда-нибудь все наладится… — Она говорила, не переставая улыбаться. — Да только вы ведь скажете, что это смешно!

— Не так смешно, Кати, как довольно невероятно.

— Слишком вы засиживаетесь на заводе, — продолжала Кати наступательным тоном. — Еще в меланхолию впадете!

Мне теперь нужно было одно: сделать так, чтобы между мной и Кати установилась духовная близость. Я решил перевести разговор на более подходящую тему. Хорошо бы, например, высказать презрение к буржуа. Приподнять уголок покрова над моим швайцаровским прошлым, явить ей образ сурового плебея. Она ведь тоже плебейка, сирота, запутавшаяся в сетях барской милости. Мы одного поля ягода! Да, надо будет сказать что-нибудь в этом роде. А там увидим.

— Нельзя жить так нелюдимо, — твердила меж тем Кати. — Это вредно…

А я думал: нет, милая девушка, ты вовсе не так наивна, как представляешься. И, верно, отлич-

но знаешь, в каком духе вести разговор… Так, может, моя игра и не нужна? Может, мы уже сговорились?

Когда я полчаса спустя заклеивал конверт с письмом другу Донту, меня уже вовсе не заботило, не появится ли эта парочка со своими чемоданами у ворот нашей виллы, несмотря на мой отказ. Я думал о другом: о том, что и впрямь слишком долго и ненужно оставлял в небрежении свои физические потребности, что напрасно хранил никому не нужную супружескую верность. С сильно бьющимся сердцем думал я о том, какую очаровательную и надежную любовницу найду я в Кати.

Забыл я и о погребальной сцене с елочкой, и о безумии Сони, и о слезоточивом Хайне. Я ворочался в постели, страдая от мучительного желания. Мне грезилось: четыре стены хайновского дома — это стенки гроба, потолок — крышка. Меня заживо похоронили. Но вот к моим мускулам вернулась прежняя сила, и кровь весело забурлила в сердце. Я напряг руки — затрещали прогнившие доски… Я радовался тому, как буду торжествовать над моими могильщиками, у которых нашлись для меня только малокровные сантименты да покорность судьбе, для разнообразия украшен-

ная ужасами.

Мне было как полярному путешественнику, который только что вернулся из царства вечных льдов и впервые после долгих лет увидел цветник с розами, сладко благоухающими на вечерней заре.

Исстрадавшийся Хайн, тетка, Кунц — целый ансамбль жутких призраков самого разнообразного вида. Я жил среди них один как перст. Это подметила даже Кати. Одиночество прекрасно. Но когда оно слишком затягивается, то разрежает кровь и отравляет мозг. Во имя чего себя мучить? Для какой славы? Ради кого?

Впрочем, это даже смешно, что я стараюсь оправдываться. Зачем мне это? Вне всякого сомнения, меня обманули. Нельзя отрицать: я честно исполнял все, к чему обязался, даже после того, как установил, что был обманут. В приданое за женой мне подсунули фамильное сумасшествие. Нет, такого пункта я не вносил в брачный контракт! Кто был отвергнут первым? — Я. А сколько раз меня оскорбляли! Тем более у Сони есть любовник. Относительный, правда. Но быть убежденным, что совершаешь грех, и жаждать греха — то же самое, что грешить на деле. Так говорит и католическая церковь. Я даже могу

утверждать, что помешательство, как и сновидения, выдает скрытые склонности человека. Да и к чему столько философии? Достаточно просто рассудить здраво: я потерял жену, следовательно, приобрел право завести любовницу.

Донты не приехали ни к Новому году, ни на Крещение. И ответа на мое письмо не последовало. Тина что-то сразу перестала интересоваться «бедняжкой Соней». Ну, обиделись — и ладно. Пан учитель рисования, как видно, махнул рукой на дружбу ко мне. Я так и слышу его слова: «Пока Швайцар пребывал в ничтожестве, я был ему нужен, был для него хорош. А как только он разбогател, повернулся спиной к прошлому…» Ладно, ладно, кивай себе своей пустой головой, теребя свои дурацкие усишки, думай, что хочешь! Главное, ты не доставил мне серьезной неприятности. Честь и хвала тебе за это!

Донты не приехали, но возможность их приезда сблизила меня с Кати. Это стало нашим общим делом. Каждый день, возвратившись с завода, я первым долгом заглядывал в кухню — что нового? Гостей нет? И никакого письма от дружочка? При остальных мы с Кати обменивались по этому поводу намеками, заговорщическими улыбками… Общая забота, общая радость пробуждают

доверие. Я же не настолько безрассуден, чтобы броситься в игру подобно мальчишке, готовому совершить глупость. Я не желал ставить на карту ни свое положение, ни самолюбие. Улыбки, доверительность — на первых порах мне этого хватало.

Человек, занимающий известное положение, имеет определенные претензии. Он хочет сохранить стиль. Как ни взгляни, а все же мы с Кати были — хозяин и служанка. В этой схватке я должен был одержать верх с полным превосходством.

Мне хотелось внушить Кати иллюзию, будто мы с ней живем на втором этаже хайновского дома в состоянии абстрактной дружбы, гармонического супружества при безмерной чистоте, какая царит лишь на горных вершинах. Обоюдная внимательность, ласковая прямота, взаимное уважение, стремление быть полезным друг другу… Я хотел сделать так, чтобы ежедневное наше общение стало для Кати очень дорогим. Привить ей яд, который сделал бы ее иммунной к предрассудку добропорядочности, к преданности Соне, яд, который распространился бы по всей ее крови, проник в душу, произвел переворот в образе ее мыслей: теперь уже я буду королевой! Мне

нужно было предстать перед ней в самом лучшем свете, сыграть роль, приближающуюся к идеалу мужчины, который она лелеяла в глубине души.

Интересно, каким представляла себе Кати будущего своего возлюбленного? Наверное, мужчиной в расцвете сил. Ласковым завоевателем, питающим здоровое презрение ко всякой сентиментальности. Тут все козыри были у меня в руках. Возлюбленный Кати должен перебросить мостик через пропасть, зияющую между романтизмом в ее душе с тягой к возвышенному, — и скепсисом, порожденным малоутешительной реальностью. Никто не мог иметь больше успеха у Кати, чем бедняк, сделавшийся барином. Кати — создание свободолюбивое и готовое заплатить любую цену за призрак любви. Ее будущий возлюбленный должен производить впечатление человека, полного решимости плечом к плечу с ней единоборствовать хотя бы со всем миром.

Я обращался к Кати с изысканной вежливостью, в утонченной светской манере, я интересовался всеми ее делами, даже самыми мелкими, я давал ей ласковые советы по мелочам, я старался занимать ее работой неподалеку от себя. Но при таком сближении я не забывал о сдержанности. Не той, что отделяет высшего от низшего, но сдержан-

ности воспитанного мужчины по отношению к даме. Ей это льстило. Последние остатки ее смущения рассеялись.

Словно вокруг нас все больше очищался воздух. Кати держалась со мной непринужденно. Оттирая рукав, который я запачкал о беленую стену, полу пиджака, нечаянно попавшую в чан с мыльной массой, Кати придерживала меня за руку или за плечо. Напевая, снимала с ворота приставший волосок. По утрам игриво надевала на меня шляпу. Предлагая кофе, собирала губы трубочкой, словно предлагала поцелуй. Пришивая пуговицу, обстреливала меня снизу быстрыми плутоватыми взглядами, которые мне очень нравились.

Мне было хорошо от ее заботливости. В этом галантном и совершенно безопасном состязании я испытывал чувство абсолютной уравновешенности. То, что я обрел в Кати, сильно напоминало мне мои давние представления о будущей жизни с Соней. Совершенная гармония между домом и службой… Вот только ребенок, готовящийся выступить на сцену, помещен не в том месте…

— Кати, — спросил я ее однажды, — помните, как мы еще до свадьбы играли в прятки и как рассердилась Соня, увидев нас на дереве?

Вопрос застиг ее врасплох. Я с удовольствием

отметил, что реакция ее была именно такой, как мне хотелось: лицо ее вспыхнуло багровым огнем. Она растерялась и не знала, что сказать. Я смотрел на нее с улыбкой. Я читал в ее мыслях. И видел, что в эту минуту ей представилось то же самое, что и мне, — наше объятие украдкой, ее щека у моей груди…

— Верите ли, — продолжал я медленно, трезвым тоном, — мне уже тогда не понравилось, как раздражила Соню такая чепуха… Понимаете, эта склонность к необоснованным обидам… Головные боли, истерики… То было началом.

Я проговорил все это с невинным видом. Она подозрительно заглянула мне в глаза: ей не хотелось верить, что я вспомнил тот случай только в связи с Сониной болезнью.

Я усмехнулся. Потер лоб и попросил черный кофе — дело было после обеда. Кати удалилась как в полусне. А когда она принесла кофе, то руки у нее дрожали и она держала их у меня перед глазами дольше, чем это было необходимо.

Кофе был горячий. Размешав сахар, я поднялся из-за стола и молча обнял Кати, нерешительно стоявшую у стола; так, положив ей руку на плечо, словно доброму товарищу, я начал в задумчивости прохаживаться вместе с ней по комнате.

Кати послушно шагала рядом, опустив голову. Кто знает, может быть, она уже тогда жаждала моих поцелуев.

— Да… — произнес я, как бы не в силах оторваться от своих дум. — Бывают дни, когда мы будто прозреваем будущее… Мелькнет перед глазами что-то, не имеющее еще ни твердых очертаний, ни имени. И мы называем это предчувствием.

Тут я внезапно оставил Кати — как вещь, как стул. Она растерянно остановилась, ничего не понимающая и опечаленная.

Если я в тот раз еще затормозил простой ход событий, то потому лишь, что расчетливо желал усилить наслаждение, которое уже не могло от меня уйти. Кати наверняка уже решилась. Не разумом — там еще стояла на страже прежняя нерассуждающая верность. Но сердцем она уже несомненно была готова на все.

Тридцатое января пришлось на субботу. Для одних суббота радостный день предвкушения воскресенья. Для меня этот день давно уже был всего лишь кануном неотвратимой скуки. Провести целый день в обществе Хайнов! Гром рояля, дикие выходки, вздохи, вращенье огромных глаз!

Кроме того, суббота была днем лихорадочной

уборки во всем доме. Даже под тяжестью злого недуга, чернильной тучей навалившегося на семью, от этого обычая не отступили ни на волос. По субботам выбивали ковры, по субботам мыли лестницу. Возвращаясь вечером с завода, я всякий раз обязательно видел вокруг себя что-нибудь мутное. Мутно блестели плиты пола в холле, покачивалась в забытом ведре мутная вода. Мутная усталость после суетни, этой суеты сует…

Я вернулся домой в разгар сеанса. Мильде, желая проявить хоть видимость деятельности, занимался помешанной. Он только еще начал. Хайн молча дал мне знак сесть. Таким жестом председатель какого-нибудь собрания встречает опоздавших, когда главный докладчик уже говорит.

На сей раз Мильде начал издалека — жалкими, сентиментальными словами. По его мнению, то была попытка воззвать к памяти больной. По моему мнению, то была глупость. Доктор вел разговор преимущественно с теткой, наблюдая за больной быстрыми, испытующими взглядами, и лишь изредка втягивал Соню в беседу. Он задавал старухе продуманные вопросы, требующие ответов, из которых должно было явствовать, что в детстве Соня была очень веселой, живой, умнень-

кой девчушкой. Доктору нужно было сделать этот утраченный мирок невыразимо дорогим для Сони, пробудить в ней желание вернуться в мыслях к этой радостной беспечности.

Почтенная Каролина была в своей стихии. Как же — тут-то и повспоминать! Она вспоминала для себя, не для Сони. В этом ритуальном действе Хайн был плохим помощником. Он слишком глубоко задумывался, забывал порой отвечать, когда его вызывали. Неуспевающий ученик, плохой игрок в трактирную игру «чей сейчас придет черед, тот и песню пропоет». Волей-неволей пришлось мне принять участие. Мне выпала роль человека, не знавшего Соню тех блаженных времен, а потому живо интересующегося ими.

— В ту пору, — рассказывала тетка под дирижерством доктора, — Соня носила волосы на прямой пробор, укладывая косички такими котлетками на уши. Господи, как же тогда называли такую прическу?.. В мое-то время девицы носили косы. Все тогда было строже и серьезнее…

— А скажите, — перебил Мильде отклонившуюся от темы старуху, — какие платья любила тогда милостивая пани — красного или темного цвета?

Тетка ответила, что Сонины платья всегда были

скорее веселенькими, чем строгими.

— И папочка ваш тогда, конечно, тоже был не такой, какой сейчас, — вам не кажется? — обратился Мильде к Соне. — Волосы у него не были седыми!

Соня, складывавшая из газеты кораблик, глянула на доктора отсутствующим взглядом и не ответила. Она была поглощена своим занятием и вела себя очень спокойно. Разговор, ведущийся вполголоса, ее убаюкивал. Но ни намека на внимание, на то, что она прислушивается к беседе.

— А были ли у нее подружки? — лениво спросил я, подчиняясь взгляду доктора.

— Соня была такая… — устало промолвил Хайн. — Вечно доставляла нам немало хлопот. В задней стене сада она выдолбила ступеньки и лазила по ним на самый верх ограды. Мы боялись, как бы она не свалилась… А ей нравилось взбираться как можно выше. Подружки?.. Нет, мы не запрещали ей приводить их, но она не очень-то стремилась к их обществу. Была переменчива и вспыльчива. Чуть не доглядишь — так и вцепится в волосы какой-нибудь девчушке…

— Так вы и драться умели? — настойчиво спросил Соню доктор.

— Не знаю, — неохотно ответила та, продвигая

по столу готовый кораблик. — Смотрите, плывет! А это волны. — Она стала покачивать кораблик. — А сейчас будет кораблекрушение. Видите? Он уже совсем накренился… Пассажиры поют «Спаси, господи, люди твоя» — как на «Титанике». Но капитан не ушел с мостика!

— Плох тот капитан, который прежде времени покидает судно, — печально проговорил Хайн.

Быть может, он думал о том капитане, чей мостик — гордое чело человека и который столь жалостным образом предал пассажиров на Сонином корабле…

— А я умею и пароход, с четырьмя трубами! — похвасталась Соня. — Хотите? Сейчас покажу!

Но у нее ничего не получалось, и она начала злиться.

— Кто умеет? Пусть кто-нибудь научит меня, я забыла! Ах, никто из вас не умеет!

Я послушно взял у нее смятый газетный лист и сложил хлопушку, которую можно было открывать и закрывать двумя пальцами.

— Ой, не надо, не надо! — вдруг замахала на меня обеими руками Соня. — Это голова чудища! Не могу я, когда он открывает пасть на меня! Я боюсь!

Я со смехом смял хлопушку, тогда она запла-

кала: я ее обидел, бумага — ее, она хотела еще что-нибудь сделать...

— На, бумаги здесь сколько хочешь, — с нежной внимательностью протянул ей Хайн другую газету.

— Это не та! Я хочу только ту, не надо мне другой!

Тут и был конец сеанса. Соня с несчастным видом разглаживала скомканный газетный лист. Воцарилось элегическое настроение. Тетка злобно поблескивала своими шарами и раздувала зоб. Я искоса поглядывал на врача, рассчитывая, что, когда он уйдет, можно будет удалиться и мне. А тот говорил вполголоса:

— Пока что не удается, но это не значит, что мы должны опустить руки. Не может быть, чтобы систематическое напоминание о прошлом не возымело действия. Прошу вас — продолжайте терпеливо то, что я сегодня начал. Работа человеческой мысли совершается скрытно. Быть может, когда милостивая пани проснется завтра, ей вспомнится все, о чем мы сегодня говорили. И если она будет плакать — это ничего. Плач, вызванный тоской по прошлому, был бы даже весьма обнадеживающим симптомом. Это был бы признак того, что в сознании больной проис-

ходит борьба — примерно так же, как повышение температуры означает борьбу организма…

Он был надоедлив со своими теориями. Еще и в коридоре, когда я провожал его, он все донимал меня ими.

— Помните! Капля за каплей, понимаете? Ведь и выветривание камня происходит незаметно для глаза. В один прекрасный день смотришь — а в камне-то углубление. Капля за каплей, и мы в конце концов добьемся революции в больном сознании. Тогда угнетенные подданные услышат трубный глас. И там, в темном своем подземелье, увидят луч света, пробившийся сверху… Только б отвалить нам первую глыбу!

— Только б этот трубный глас не сделался для них обыденностью, — и я дьявольски усмехнулся.

Я и не предвидел, какое это произведет впечатление! Мне ведь было вовсе не до жестоких шуток.

— Странный вы человек, — произнес Мильде, побледнев от негодования. — То изволь угощать вас оптимизмом, то вы твердите, что гибель неизбежна, и прямо-таки смакуете чувство безнадежности. Вы всеми силами стараетесь выставить мои действия в смешном виде… Я это

давно заметил!

Я пожал плечами.

И вот я опять один поднимаюсь к себе. Опять в голову лезут мысли о субботе. Каким мутным глазом глянет она на меня сегодня? У моих дверей мне встретился Филип. Почтительно пожелал мне доброй ночи.

В спальне я зажег ночник. Постоял в раздумье: лечь в постель и дочитать газету или выйти в столовую, выкурить сигару? Я выбрал второе.

Я стоял у окна, глядя, как сверкает снег под луной, — и вдруг услышал тихий плеск воды. Этот плеск опять навел меня на мысли о субботе. И еще — о веселой, милой девушке в кухне. Наверное, моется! Я прислушался. Звук плещущей воды дразнил меня. Воображение заработало с удивительной конкретностью. Я будто видел наяву, как Кати трет себе белую спину, как проводит намыленной мочалкой под грудью. Поди, совсем голая. Ага, теперь, видно, нагнулась, моет свои стройные ножки…

Пепел моей сигары остыл. Сердце стучало прерывисто. Войти? Или нет? Я вдруг как-то разом сбился со спокойной колеи. Мной овладела нерешительность. Войти или нет? Впервые за эту недолгую осаду Кати меня охватили сомнения.

Моется… Голая… — скандировало сердце. Во рту собиралась дурманно-сладкая слюна и соскальзывала в распаленное нутро.

Вдруг плеск прекратился. Я отошел от окна — и заметил, что пошатываюсь. Какое это все-таки сильное… — удивился еще. И сразу стал твердым. Сейчас — или уже не сегодня. Лицо мое окаменело. Как Каменный гость, как Голем[13], медленно и громко зашагал я к двери. Тонкая золотистая рамочка света очерчивала ее. Я больше не колебался. Не заглушил шагов. Там, за дверью, было тихо, как в могиле.

А вдруг заперто? Нет. Не заперто. Я распахнул дверь. Губы мои сложились в радостную улыбку. Кати стояла у окна, борясь со своим испугом. В руке она держала полотенце. Она была обнажена по пояс. Не сделала ни малейшего движения, чтоб прикрыть грудь. Оба мы не произнесли ни слова.

Я подошел к ней. Поднял ее на руки, как пушинку. Полотенце волочилось за ней до двери в ее каморку. Там она его выпустила. Оно легло на пол, как убитая белая птица.

Я молча унес Кати к себе в спальню.

---

[13] notes: 13

Голем — в известных пражских народных преданиях — человек-колосс, слепленный из глины в XVII веке ученым раввином Леви.

15
ЗАВОД

Вот уже добрых два месяца, как тесть совершенно перестал бывать на заводе. Но завод, несмотря на значительные перемены и множество реформ, был еще не моим — он был собственностью Хайна.

Хайн ушел со своего поста не так, как уходят на покой — с букетами цветов, с прощальными стишками. Он не обратился к своему маленькому народцу, не сказал: «Вот вам сын мой милый, любезный моему сердцу — ему теперь повинуйтесь!» Он не оставил никакого завета в этом роде. В один прекрасный день он просто перестал появляться. И вполне можно было полагать, что его уход от дел — явление временное.

Должен сознаться, люди не любили меня. Они бы и всякого невзлюбили, кто принес бы с собой то, что принес на завод я. Я не терпел халатности. Запретил растабарывать во время работы. Позаботился о том, чтобы полностью загрузить тех, кто был загружен наполовину. Я старался извлечь из рабочих часов все, что можно. Я не

желал платить за безделье или за малый труд. Я умел застигать людей врасплох, появляясь, когда меня меньше всего ожидали. Если ты бережлив, то и сбережешь кое-что. За первые два месяца моего самостоятельного руководства прибыль подскочила на десять процентов. На десять процентов за столь короткий срок! Естественно, что такой деятельностью любви подчиненных не снискать.

Я обращался с рабочими отнюдь не отечески. С одной стороны работодатель, с другой работополучатель — таковы наши отношения. Меня не интересовали личные обстоятельства людей. Я не филантроп. Следствием всеобщей нелюбви ко мне было то, что все с надеждой ждали возвращения Хайна. Верили — тогда все вернется в старую, разъезженную колею. С именем Хайна на устах они терпеливо страдали, как первые христиане. Это было отвратительно. Я читал ненависть в горящих глазах, на хмурых лицах. Если б не надежда на Хайна, существовавшего где-то там, они бы себе такого не позволяли.

Утверждаю: больше всего люди любят свою лень. Если б они любили ее меньше, то склонились бы перед доводами разума. Выгодным было мое направление, не хайновское. Хайн

— это загнивание, неспособность выдерживать конкуренцию — следовательно, начало упадка. Я трудился во имя будущего завода, а тем самым и во имя будущего людей. Неужели не ясно? И все же они не находили в себе сил встряхнуться, принять мой более строгий режим. Они стояли на стороне Хайна. В своем безрассудстве они не желали расстаться с надеждой, хотя могли бы уже понять, что она напрасна.

Я был сыт по горло такой неопределенностью положения. Я понимал, что пора показать, насколько необоснованны расчеты на Хайна. Только когда будет устранена его тень, маячившая на заднем плане, когда подтвердится абсолютная бесповоротность моих решений, можно будет говорить о настоящей дисциплине на заводе и о подлинной моей власти.

Третьего февраля 1926 года исполнился год с того дня, как я вступил в дом и в предприятие Хайна. Никто не отмечал мой юбилей. О нем забыли в прибое горя — но я-то не забыл. В мыслях моих ожили все мои планы, рассчитанные на доверие, — и с ними все мои разочарования.

Быть может, именно эта годовщина и побудила меня наконец к бескомпромиссным действиям. Сказалась ли в этом душевная боль, протест, а

может быть — и новая *любовь*? С появлением новой женщины начинаешь и мыслить по-новому, обретаешь способность зачеркивать старое и начинать сызнова…

Мыловаренный завод — не балаган и не богадельня. Мне давно уже портил кровь горбатый рабочий Дворжак, отвлекавший других от дела вечным балагурством и нахальством, рассчитанными на восхищение публики. Давно досаждал мне одноглазый опустившийся пьяница Крумф. Шестого февраля была суббота, выплатной день. Я рассчитал обоих.

Над уволенным рабочим вода поплещет да и сомкнется — так уж повелось в мире. Не стоило ломать себе голову, что скажут остальные. Правда, ко мне зашел Хольцкнехт; с хитрым и хмурым лицом он сообщил, что депутация рабочих хочет просить меня за уволенных, — я только рукой махнул. Все попытки напрасны. Как я сказал однажды, так и будет. Я знал — из-за такого пустяка рабочие бастовать не станут. Тем более что все слишком хорошо знали, какими рабочими были Дворжак с Крумфом. Этот раскат грома должен был послужить всего лишь хорошим предостережением. Меня занимало другое — как на это отзовется Хайн.

Я осведомил его о своем решении мимоходом, как о деле, которое никак не могло привлечь его внимание. Он вытаращил глаза:

— Вы их уволили?..

И покачал головой. Может быть, принял это за шутку. Ай-ай, — подумал я, — то-то для тебя новость! Но я тщательно следил, чтобы губы мои не сложились в ироническую усмешку. И сделал вид, будто не заметил его удивления.

— Двух человек, говорите? Но за что, скажите на милость?

У него срывался голос. Он был в высшей степени расстроен. Даже не знал, как спрашивать. Новость совершенно вывела его из равновесия.

Я — через плечо — коротко и скупо изложил ему свои доводы. Одним словом, это были плохие, а следовательно, дорогие рабочие. Делать вычеты из зарплаты незаконно да и смысла нет. И надо еще учитывать, что они дурно влияют на остальных. Короче, их надо убрать.

— А они что говорили? Как себя держали?

— Не знаю, не смотрел, — равнодушно ответил я. — Полагаю, они даже и не очень удивились. Давайте не будем об этом, ни к чему. Событие не бог весть какой важности.

— Но что скажет Кунц? — затосковал Хайн. —

Он так огорчится! Дворжак пользовался его особым покровительством…

— Ах, я и не знал, что при производстве мыла следует еще учитывать патриотические чувства пана директора, — холодно возразил я.

— Но, Петр! — Старика прямо душило сострадание к уволенным. — Вы же знаете, я столько лет никого не увольнял!

С меня было достаточно. И я взорвался.

— Если это вам неприятно, прошу вас высказаться яснее! (Я уже понял, что в этом доме выгоднее нападать, чем защищаться.) Насколько я помню, вы сказали, что я могу делать на заводе, что хочу. Я счел нужным убрать двух негодных рабочих. Если я превысил свои полномочия, то в этом виноваты вы — надо было дать мне более точные инструкции. Надо было обусловить, что в решении персональных дел я должен предварительно советоваться с вами. Но скажу прямо, — я, пожалуй, не согласился бы на такое ограничение. Если вы хотите, чтоб я действовал на пользу заводу, то я должен иметь полную свободу. Я уволил людей не из личного каприза. Полномочия с оговорками? Нет, со связанными руками чуда не совершишь! Что за полководец без доверия своего короля?

— Разве я сказал, что не доверяю вам? — сбавил тон Хайн. — Вы ведь не барышня, чтоб все время делать вам комплименты. Или я должен каждый день повторять: «Петр, я восхищаюсь вами?»

— Нет, — жестко ответил я, — вы знаете, этого мне не нужно. Доверять — не значит говорить пышные слова да похлопывать по плечу. Доверять — значит молчать и не вмешиваться.

— Вот так — молчать и не вмешиваться… — печально проговорил старик. — А самому на свалку… Забыть, что все построено вот этими руками! Петр, неужели вы в самом деле так слепы, каким притворяетесь? Можете улыбаться, если угодно, но все-таки — все-таки я много потрудился! И что же — теперь мне только молчать и не вмешиваться?

Я пропустил его укоры мимо ушей. Болтай, болтай, думал я, я тебя знаю, ты — Хайн. Маленькую ранку в сердце залепишь кучей красивых и печальных слов. Убаюкаешь себя жалостью к самому себе. За чувствами забудешь и причину… Тем лучше для меня. Сегодня выговоришься, завтра не решишься снова напоминать об этом. Я слушал его с равнодушным видом, однако внимательно следил за его словами. Отважится или не отважится он потребовать под конец, чтоб впредь

я спрашивал его одобрения в подобных делах? Я следил за его монологом чуть ли не с опасением. Но нет — рискованное слово не было сказано.

Когда лев проглотит мышь — джунгли разве что усмехнутся, ничуть не встревоженные. Если лев хочет как-то блеснуть, то он должен сожрать по меньшей мере льва же.

Увольнение двух рабочих было принято с угрюмым молчанием. Порой — взгляд, полный ненависти, вызывающая ухмылка, словно говорившая: «А мы тебя не боимся! Скоро конец твоей власти!» В остальном — спокойствие. Я мог быть вполне доволен. Однако планы мои вовсе не ограничивались тем, чтобы избавиться от двух бедняг. Их увольнение было всего лишь генеральной пробой перед маневром покрупнее. Хайн опять погрузился в дремоту. Я смеялся про себя. Если б он знал! Если б мог угадать!

Моей следующей добычей в львиной схватке предстояло стать Хольцкнехту. Я всегда терпеть не мог этого грубого, заносчивого дубину с бугристой физиономией и тяжелыми кулаками драчуна, с наглыми манерами. Я был сыт по горло этим самодовольным малым, который не упускал ни единой возможности дать мне понять, что моя власть — временная и что с возвращением

тестя все изменится. Хольцкнехт был вдохновителем скрытого мятежного духа, царившего среди служащих. Его присутствие означало для меня постоянную угрозу. Хольцкнехт был прирожденный фрондер. Я никогда не мог добиться единомыслия на совещаниях, если он принимал в них участие. Он всегда вылезал со своим особым мнением. Со своей собственной позицией. И всегда начинал свои возражения словами: «При старом хозяине, на основании долголетнего опыта…» Он был консервативен — не по убеждению, а из ненависти. Он так и не смог примириться с моим появлением на заводе и с тем, что я сразу занял начальствующее положение.

Служащие и инженеры слушались меня только в отсутствие Хольцкнехта. При нем им было просто стыдно подчиняться мне. Хольцкнехт был как раковая опухоль. Он разъедал все там, где я закладывал новый организм, у меня вечно происходили с ним стычки. Он единственный откровенно отказывал мне в повиновении. Он осмеливался говорить мне в глаза такое, на что не решился бы никто другой из служащих. Разумеется, он воображал, что может это себе позволить. Он работал у Хайна более двадцати лет. Был его лучшим советчиком, его правой рукой — пока не

появился я. Меня смех разбирал всякий раз при воспоминании о том, как Хайн предостерегал меня против Чермака. Чермак? О, этот был умен! Гладкий, как змея. Он приспособился. В сущности, Чермак стал самым верным моим сторонником. Видно, отлично понимал, почему. Понимал, где его выгода.

Каждый на моем месте, после увольнения двух рабочих, которое так задело старого хозяина, сказал бы себе: а теперь угомонись. Этого пока достаточно. Подождем. Дадим небольшую передышку хайновской чувствительности. Но жестокий месяц февраль, месяц моего веселенького юбилея, так и подзуживал во мне бесов смелости.

Впрочем, я не стал бы спешить с этим новым увольнением, если б не случай. Как поступает решительный и смелый человек, когда ему подворачивается удачный случай? Упускает его, терпеливо ждет нового? Ничуть не бывало! И случай набежал мне прямо в руки. Я и ухватил его за уши. Эх, как вспомню сегодня — все-таки славное было время, когда я боролся за полную власть на заводе!

Двадцать пятого февраля мы начали большую варку рекламного простого мыла. Работа была се-

зонная. Такое крупное мероприятие требует как можно больше людей. В подобных случаях и на других заводах приостанавливают работу остальных цехов, чтобы перебросить рабочую силу на выполнение главной задачи. Завалить дешевым мылом весенний рынок, отчасти по заказам, — дело совсем не простое. Нужно тщательно следить за тем, чтоб не повысилась стоимость работ, чтоб расходы не превысили расчетов по калькуляции. Поэтому такой сезонной работой всегда руководит инженер, а не простой мастер.

Варку доверили Хольцкнехту. В сущности, то была почти исключительно его прерогатива. Я явился с инспекцией в тот самый момент, когда массу предстояло разлить по формам. Посмотрел я — и даже побледнел от удивления. Масса, сваренная Хольцкнехтом, не доварилась. Я пригляделся внимательнее — ошибиться тут было рискованно. Зачерпнул массу ложкой, дал ей остыть, взял щепотку, помял в пальцах, испытывая вязкость. Да, так оно и есть — Хольцкнехт оплошал. Хольцкнехт споткнулся.

— Пан Хольцкнехт! — напустился я на верзилу. — Масса нехороша. Смотрите, она слишком жидкая. Вы испортили большую варку! Эта масса никогда не затвердеет. Что скажете? Чем оправ-

даетесь?

Я говорил резко. Я отчитывал его при рабочих, не выбирая выражений. Не в моих интересах было щадить его. И я видел, как медленно багровеет его лицо.

— Это уж скорей вам не следовало бы забываться, пан *Швайцар*, — возразил он грубым, пропитым голосом. — Я-то проделываю эту работу по меньшей мере сороковой раз, считая только по две большие варки в год! Когда делаешь что-нибудь сорок раз подряд, то уж имеешь право сказать, что научился делу и промахов не допускаешь!

— Возможно, тридцать девять раз вы справлялись хорошо, — жестко парировал я, — а вот на сороковом ошиблись. Кстати, напоминаю — для вас я не просто «пан Швайцар». Мне понятно ваше стремление уравнять меня с собой, но моя должность на заводе не совсем та, какую вы желали бы мне навязать. В вопросах производства я имею право судить — и буду судить. Вы это мыло испортили. Придется вам возместить ущерб.

— Очень сожалею, — иронически ответил Хольцкнехт, — право, мне очень жаль, что я не могу согласиться с многоуважаемым паном директором. Мыло хорошего качества, и я это

докажу. Только, конечно, не вам, а моему настоящему начальнику. Впрочем, вы можете прийти посмотреть, когда товар подготовят к упаковке. Вы, знаете ли, молоды еще, чтоб учить меня.

Он кончил, и кто-то из рабочих засмеялся. Кто именно — меня уже не интересовало. Главное — Хольцкнехт вспылил и выстрелил. Выстрелил и попал — незадачливый стрелок — в самого себя. Я посмотрел на него с некоторым любопытством и вышел без слова.

Полчаса спустя Хольцкнехт стоял в моем кабинете.

— Пан Хольцкнехт, — сказал я спокойно и трезво, — вы позволили себе выходку, которая будет иметь для вас серьезные последствия. Вы оскорбили меня и высмеяли при всем персонале. Ладно. Как человек, я вам прощаю, но как директор простить не могу. Мой авторитет очень скоро пошел бы кошке под хвост, если б я терпел рядом с собой таких, как вы. Я давно убедился, что мы с вами не выносим друг друга. Когда два руководителя не терпят друг друга, страдает предприятие. Я не желаю, чтобы на заводе Хайна дело страдало по вине личной неприязни. Несомненно, один из нас должен уйти. Вы или я. А так как мне уйти немыслимо, то уйдете вы.

Он выпучил глаза, как испуганный бык.

— Не обижайтесь на меня и оцените мое доброе к вам отношение. Заметьте, сейчас только конец февраля. Ваше увольнение вступит в силу в конце квартала. Я даю вам этот срок, чтоб вы могли подыскать себе место, отвечающее вашему опыту. С завтрашнего дня можете не являться на работу. Жалованье без всяких вычетов вам будет выплачиваться вплоть до истечения законного срока. Это — в благодарность за ваши прежние заслуги, которых я не отрицаю. Пожалуйста, вы свободны. Желаю удачи.

— Мыло хорошее! — прохрипел Хольцкнехт, залившись кровавым румянцем. — Мыло хорошее! Какое вы имеете право выгонять меня за хорошее мыло? Я этого так не оставлю! Я найду свидетелей, я докажу. И вы будете разоблачены как интриган!

— Мыло плохое, — спокойно возразил я, — но не в нем дело. Причина вашего увольнения — не мыло, а моя личность. Вы нарушили долг естественного уважения к вышестоящему.

— Вышестоящему! — Хольцкнехт захохотал. — Видали! Где вы были, когда я уже работал инженером? В капусте! Пешком под стол ходили! Что вы о себе воображаете? И с каких это пор вам

дано право увольнять людей?

— С тех пор, как я здесь директор, — серьезным тоном ответил я.

— Пока что персональные вопросы разрешал сам владелец, — пошел Хольцкнехт с последнего козыря.

— Никто не запрещает вам сходить спросить его мнение, — самоуверенно бросил я.

— А как же! А как же! — с каннибальским злорадством выпалил Хольцкнехт. — И пойду! Пойду сейчас же, к вашему сведению! Увидите, чем дело кончится, вы… наглый молокосос!

Он вышел, хлопнув дверью, и вскоре я увидел в окно, как он, в шляпе на затылке, мчится через заводской двор.

Я взглянул на часы. Без четверти одиннадцать. На сей раз я несколько поторопился: сам-то я смогу уйти отсюда только после двенадцати. Я предоставил противнику преимущество — он успеет договориться с Хайном прежде, чем я все тому объясню. Ну и пусть! — сказал я себе, горя жаждой борьбы. Сделанного не воротишь. Я не отступлю. Эх, и весело же будет сегодня у старика! Меня снедало нетерпение.

Хайн уже поджидал меня. Он все обдумал и приготовился. Хуже того — в его гостиной при-

таился Хольцкнехт. Мой враг победно взирал на меня с кушетки. Я брал в расчет что угодно, только не встречу с Хольцкнехтом под хайновским кровом. Тесть, конечно, удержал его, чтобы на месте уладить неприятность.

— Что я слышу? — с добродушной улыбкой пошел мне Хайн навстречу. — Вы поссорились? Не желаю терпеть подобных глупостей! Вы работаете рядом — зачем же ссориться? Все можно уладить. Слава богу, я еще тут, чтоб охладить слишком горячие головы. Знаете что? Подайте-ка друг другу руки!

Я посмотрел на Хайна тем удивленным и холодным взором, какой до сих пор всегда сбивал его с толку.

— Кажется, вас неточно осведомили, — сказал я. — Тут не ссора, а увольнение.

— Увольнение, увольнение! — Хайн скривился, произнося противное слово. — Да что, в сущности, между вами произошло? Что такое сделал Хольцкнехт (Как фамильярно!), что вы грозите его уволить?

— Я не грожу его уволить, — ласково возразил я, — я его уволил.

— Какие права вы присваиваете! — взорвался Хольцкнехт, до сих пор выжидавший, — видимо,

он уверился, что стоит на твердой почве под защитой своего капитана. — Что это за новости, хотел бы я знать! Откуда у вас берется смелость так обращаться со старым сотрудником?

— Хольцкнехт, Хольцкнехт! — умолял его взглядом более проницательный Хайн, подметивший в моих глазах искорку удовлетворения.

— Еще чего! Обнаглел молодой пан! — фыркнул мой рыжий противник. — Всех подминает под себя! В том числе и вас, пан фабрикант! Не советую вам впредь позволять ему…

Он себя не помнил от ярости. Как удачно, что он потерял самообладание! Победа всегда на стороне тех, кто умеет его сохранить.

— Мне кажется, — мягко обратился я к Хайну, — вам уже ясно, в чем вопрос. Вопрос очень серьезный: полагаете ли вы возможным, чтоб люди, столь несогласные меж собой, могли работать вместе? Впрочем, я еще недостаточно четко сформулировал. Лучше спросить: можно ли впредь столь безнадежно тратить время на эти несогласия?

Хайн возмутился:

— Как это — могут ли работать вместе? Что вы говорите, Петр? Или вы думаете, у меня никогда не бывало подобных затруднений? Были,

конечно, только я всегда стремился разрешить их мирным путем. При доброй воле люди всегда найдут способ объясниться. Хольцкнехт был неправ. Нет, не надо мне ничего говорить, я его знаю, он вспыльчив. Он уже немолод, Петр. Трудно ему подчиняться — а нужно. Не правда ли, Хольцкнехт, вы ведь согласны с этим?

— Не согласен! — ярился тот. — Не согласен, чтобы после стольких лет, когда я работал как вол, трудился во имя процветания дела, со мной так обращался какой-то без году неделя пришелец! Как с мальчишкой! Ей-богу, как с мальчишкой!

— Может быть, самым разумным с моей стороны было бы извиниться перед паном Хольцкнехтом? — сказал я, усмехаясь.

— Да уж, попрошу! Это разумеется само собой! — крикнул Хольцкнехт.

Я кинул Хайну взгляд, говоривший яснее всех слов. Видишь? — говорил этот взгляд. — Видишь теперь? Твои возражения бессмысленны. Он увязает все глубже и глубже. Не стоит больше стараться. Он слеп, он конченый человек.

Хайн повесил голову.

— Не будьте же таким неумолимым, Петр! Ведь я… я тоже умею прощать!

Только теперь Хольцкнехт сообразил, что за-

шел далековато, что слишком понадеялся на поддержку и авторитет Хайна. И испугался, увидев, как тот удрученно покачивает головой. Неуверенно заулыбался. Решил без всякого перехода придать делу характер сомнительной болтовни в духе затрепанного «кто старое помянет, тому глаз вон».

— Дело не в личностях, а в принципе, — резко проговорил я. — Я объяснил пану Хольцкнехту, что существует только два выхода: с завода должен уйти или он, или я. И от этого я не отступлю ни на шаг.

— Как можете вы предъявлять такой страшный ультиматум? — печально сказал Хайн. — Вы же знаете — вам уходить нельзя.

— В таком случае все дальнейшие дебаты излишни, — холодно заключил я, собираясь выйти.

— Пан директор!.. — покаянно воззвал ко мне Хольцкнехт.

— Пан Хольцкнехт, — серьезным тоном перебил я его, — когда человек проигрывает, у него остается еще одна важная обязанность: сохранить достоинство. Сегодня утром вы не называли меня директором. Да я для вас уже и не директор. Будьте же хотя бы последовательны, не обращайтесь ко мне так теперь, когда уже поздно.

Ведь это выглядит, как если бы вы выпрашивали милость. Впоследствии вы стали бы меня тем более ненавидеть, если б вам сейчас удалось меня разжалобить. Только меня не разжалобишь.

— Мерзавец! — взревел Хольцкнехт, не помня себя от бешенства. — Я тебя знаю! Думаешь, никто не догадывается о твоей частной жизни? У тебя жена рехнулась из-за твоей жестокости! Об этом даже воробьи на крышах чирикают! Кстати, где она, ваша сумасшедшая? Прячете!.. Напрасно! Я-то все знаю! И как только может отец быть так слеп, брать сторону убийцы своего ребенка! Все вы одна гнилая шайка! Я-то уйду. Слава богу, я еще мужчина что надо, силенка-то есть, я не боюсь! Найду себе место, где меня больше будут ценить... А тебя я никогда не забуду, жалкий зазнайка, спесивый голодранец! Подлец! Негодяй!

Тут уж ничего нельзя было поделать. Плевки его слов стекали по моему лицу. Втайне я радовался, что и Хайна задело. Он смотрел на Хольцкнехта сожалеющим взглядом человека, которому причиняют злую обиду.

В конце концов Хольцкнехт сообразил, что ему тут нечего больше делать. Он подхватил свое пальто, сунул одну руку в рукав. Второй рукав он напяливал уже в дверях, меряя нас убийствен-

ными взглядами; он сопел, но ничего больше не говорил.

— Ах, Петр, — с тяжелым вздохом произнес Хайн, когда шаги Хольцкнехта затихли в холле. — Какие оскорбления! Вы слышали? Вот какие бывают люди… А испортили этого человека — вы!

Он чуть не плакал.

— Подлинная причина этой сцены, — сказал я хмуро, будто и не слышал его слов, — вовсе не в том, что я уволил этого дурака, а в том обстоятельстве, что владелец не участвует в руководстве предприятием…

— Но вы отлично знаете, я не могу участвовать!

— И что тот, кто замещает главу фирмы, — беспощадно продолжал я, — несет, правда, всю ответственность, но не получил надлежащих прав. Когда же он, по соображениям необходимости, к этим правам прибегает, предпринимаются всяческие попытки подорвать его авторитет.

— У вас есть мое разрешение… мое доверие… — залепетал Хайн. — У вас все права!

— Жаль только, что вы не объяснили четко мое положение заводскому персоналу. Такая неясность и привела к тому, что служащие чинят мне

неслыханные затруднения. Именно из-за нее и был, образно выражаясь, убит Хольцкнехт.

— Это легко исправить! — обрадовался Хайн: он почуял ветерок надежды, что рыжая дубина Хольцкнехт будет взят на милость, как только исполнится мое желание.

— Это *необходимо* исправить, — поправил я Хайна, — если вы не хотите, чтоб участь Хольцкнехта разделил кто-нибудь еще. Пора уже раз и навсегда положить конец ропоту, пассивному сопротивлению, непослушанию. Мне заранее жалко тех, кого это коснется, но я знаю свой долг. Когда вы точно определите мое положение на заводе, все успокоится. Разумеется, — злорадно добавил я, — для Хольцкнехта ваше заявление уже не будет иметь никакого значения.

Хайн молчал. Насупив брови, он ходил по комнате, заложив руки за спину. Потом вдруг остановился передо мной, окинул меня строгим взглядом:

— Ах, какой вы политик, Петр! Я только сейчас понял вас до конца. Ко всему, что вы наделали, вы еще внушаете мне мысль, будто я виновник увольнения Хольцкнехта. Вас не смущает, что вы совершили несправедливость, вас не трогает, что меня только что оскорбляли по вашей милости.

Теперь вы еще хотите, чтоб я из-за вас мучился угрызениями совести!

— Боже сохрани! — дерзко засмеялся я. — Хольцкнехт и не стоит того!

Он посмотрел на меня испытующе и вышел, ни слова не сказав более.

Я по праву любопытствовал, что будет дальше, когда увидел на следующее утро, что Хайн собирается на завод. Я держался так, словно не было ничего особенного в том, что он рано позавтракал и сел в машину рядом со мной, — но в глубине души я встревожился. Что он замышляет? Не собирается ли разрешить проблему таким образом, что будет отныне время от времени появляться на заводе? Хочет сразить меня моим же оружием?

Хайн хранил в высшей степени таинственный вид. Он ни словечком не выдал своих намерений. Приехав на завод, он долго что-то делал в своем кабинете, тихий, как мышь. Около десяти он звонком вызвал к себе служащих. Я услышал за стеной торопливый разговор вполголоса, затем — топот рассыльного, сбегающего с лестницы. Через полчаса мне принесли официальное приглашение на собрание служащих завода, которое состоится в кабинете владельца. Приглашение это я получил последним из всех. В этом, несо-

мненно, был какой-то умысел.

Когда все инженеры и служащие собрались и настала напряженная тишина, предвестница великих событий, Хайн перевел на меня печальный взор. То был укоризненный взор, такой, каким соблазненная девица говорит своему любовнику: видишь, сколько я для тебя сделала, а ты все еще меня мало любишь…

Сдавленным голосом, но спокойно и связно Хайн объяснил собравшимся, что он уже стар, чувствует недомогание и не способен на такую напряженную работу, как прежде. Тут он сделал паузу — голос его дрогнул от невидимых слез. Далее он сказал, что уже не может исполнять свои ответственные обязанности с той же энергией, с какой некогда поднимал предприятие. Так уж повелось в этом мире, что на смену старикам приходят молодые. Этот молодой — я. Он ставит меня во главе дела без всяких оговорок. Моя задача — работать на его месте и замещать его во всех отношениях. («Какой урожай соберешь, тот будет и моим урожаем, паси овечки моя!») В его отсутствие на заводе произошли кое-какие неприятности, что и побудило его сделать настоящее заявление. Он категорически предупреждает всех, что какие-либо апелляции к нему,

какие бы то ни было попытки опротестовать мои распоряжения будут совершенно напрасны. Он напоминает господам, что я — выдающийся специалист и организатор, и советует им признать во мне своего начальника не только по его решению, но и по здравому, деловому расчету. Все, бесспорно, имели возможность убедиться, что нет работника более неутомимого, более добросовестного и предусмотрительного администратора, более знающего инженера, чем я. (Стихийное одобрение, выраженное гулом согласия.) Пусть же все доверятся моей твердой руке, которая, правда, не гладит, зато смело и справедливо ведет предприятие и — что лучше всего — которая ни при какой буре не выпустит кормило того дела, которое… которое… (Тут Хайн начал задыхаться.) Которое являет собой на земле вспоенный его кровью завет…

Кто-то захлопал, кто-то растроганно закашлялся; потом вперед вышел Чермак, привыкший извлекать выгоду из любого положения и сообразительный, как бес. Говорил он гладко и ясно, словно давно подготовил свою речь. Пан фабрикант явно преувеличивает и старость свою, и усталость, однако можно только поздравить его с решением насладиться — после плодотворной

трудовой жизни — заслуженным отдыхом. Что же касается его выбора нового руководителя, то все считают, что я лучше всего подхожу для такой должности. Все они с абсолютным доверием и с чувством безопасности смотрят навстречу будущему. Пусть же пан фабрикант еще долгие, долгие годы, в полном здравии, следит со стороны за расцветом его дела. От имени собравшихся Чермак желает ему всего самого лучшего, что только можно пожелать хорошему, пользующемуся всеобщей любовью человеку, и провозглашает — ему и заводу, который кормит нас и является нашей общей гордостью, — многократное *ура!*

Тут все закричали с видом воодушевления, а Чермак бросил мне многозначительный взгляд. Я машинально вышел на середину полукруга, образованного собравшимися, и заключил эту подобострастную комедию речью, в которой туманно обещал, что буду уважать установленные издавна порядки, и у тех, кто будет стараться во имя процветания завода, и волос с головы не упадет. Я же готов положить здоровье во имя развития предприятия, я буду служить ему до последнего дыхания. Затем, первым, я подошел к Хайну, протягивая ему руку для пожатия, и пожелал ему в счастье и довольстве пользоваться

заслуженным *отдыхом*.

После меня все по очереди подходили к нему, затем, столь же подобострастно и почтительно, — ко мне, а я снисходительно кланялся и улыбался, а глаза у Хайна глядели потерянно, и профессорская его борода растрепалась — он все время нервно теребил ее вспотевшей рукой.

Потом Хайн, этот свергнутый король, со всем штабом проследовал неверным шагом к двери, в коридор, прошел по цехам, заглянул во все служебные помещения, трогал в лаборатории мензурки, поглаживал цинковые формы, прессы… Весть об его отречении летела впереди, люди смотрели на него с непритворной растроганностью, провожая мой горделивый и самоуверенный шаг взглядами, полными ужаса, леденящие прикосновения которого я ощущал спиной. Ладно, ненавидьте меня, судите меня, думал я, я не из тех, кого это может смутить. Питайте на здоровье вашу тихую ненависть! Ничего, ужо сообразите бараньими своими башками, что власть навсегда в моих руках, и будет чистым безумием восставать против этого. Со временем научитесь подавлять свои мятежные чувства ради собственного благополучия и благополучия ваших семей!

Хайн, шатаясь, как пьяный, пошел к машине. Я поддерживал его с одной стороны, с другой — находчивый Чермак. Хайн сел в машину, мотор зарокотал. Чермак деликатно отошел. Но старый хозяин словно никак не мог расстаться с заводом; сокрушенный и растроганный, он все высовывался из машины и, словно ему предстояло никогда больше не видеть их, не отрывал горячечного взора от кучки служащих, теснившихся с обнаженными головами у входа в контору. Хайн все не решался отдать приказ трогаться. Он колебался, колебался, губы его шевелились под напором каких-то слов, которые, однако, не воплощались в звуки.

Кому-то пришла в голову идиотская идея — пустить заводскую сирену. Хайн уронил голову в ладони. Сирена утвердила свой плачущий вой на невозможно высокой ноте, стеная без передышки. У Хайна брызнули слезы, и он нашел наконец силы произнести — хотя зубы у него стучали:

— Как будто я уже умер…

Я ответил трезвым тоном, что эта душещипательная мысль насчет сирены достойна осуждения и я приму меры, чтоб виновный не ушел от наказания. Я предпочитаю смотреть на мир оптимистически, я сторонник светлых чувств и

трезвого рассудка. Мне не по нраву всякий искусственный надрыв и усложнение сцен, и без того печальных. Тут я обвел рукой широкий круг: не верю никому из тех там, сзади. Все они лжецы. Комедианты!

Хайн огорченно поднял на меня глаза — будто я хотел не смягчить его горе, а отнять последнюю радость. Брови его сдвинулись. На лице появилось выражение крайней безнадежности.

— У меня такое чувство, Петр, — уныло сказал он, — словно я только что выдал их палачу.

Как было реагировать на это? Я сделал вид, будто принимаю его слова за удачную шутку, и рассмеялся. Смеялся я так сердечно, что те, сзади, могли подумать — мы с Хайном очень мило беседуем, старик уже отошел и теперь сам смеется тому, как он расчувствовался. Но мой смех почему-то испугал Хайна. Он схватился за плечо шофера, как за спасительный тормоз. Машина тронулась. Я едва успел снять ногу с подножки и отскочить, тихо выругавшись. Это было грубо — но что мне в том? Хайн уехал. И я, как победитель, отправился в свой кабинет.

Итак, с этим делом покончено. Минул год, и я стал тем, кем давно заслуживал быть. Я сидел в своем кресле как на иголках. Нет, далеко не

сразу смогу я переварить этот сладкий кусок! Блаженство разливалось по моему телу, щекоча, как тысячи мурашек.

И, как уж оно бывает, одна победа внушила мне уверенность в следующей. Время родов стремительно приближалось. Еще немножко, и конец самым мучительным тревогам. Я был как бегун, приближающийся к финишу. И будто держал в объятиях крошечное, хрупкое создание, спасая его от гибельного потопа. Долгие, долгие месяцы смерть в самых разных обличиях протягивала к нему костлявые руки. Но скоро конец изнурительному состязанию! Будто тучи рвались, прояснялось небо!

И снова я, обманутый лживой песней коварной судьбы, песенкой ярмарочного шарманщика о счастье, напрягал слух, убаюкивал себя надеждами, безрассудно тянулся за призраком… И кто-то *невидимый* стоял в темном углу и смеялся сатанинским смехом.

16
У ФИНИША

Понедельник, восьмого марта. Удивительный, почти весенний день, какие редко выпадают в эту пору. На небе ни облачка. На моем письменном столе — солнечный прямоугольник. Я чувствовал, как солнце согревает мне руку сквозь рукав пиджака. С другой стороны лежала прохладная тень. Всякий, кто входил ко мне в кабинет, зажмуривался, ослепленный солнцем, и невольно улыбался. Сверкали пылинки, пляшущие в столбе солнечного света. Тихие, сладостные шорохи наполняли воздух, и работалось так легко... Вероятно, по вине этой всеобщей просветленности в здание завода, несмотря на запрет, проник ребенок, продающий букетики подснежников. Он робко постучался ко мне худенькой рукой. Я с любопытством рассматривал маленького оборванца, от корзинки его поднималось дыхание снега и аромат лесной тишины. Я подумал о Кати и купил цветы.

Домой к обеду я возвращался с таким чувством, будто еду на свадьбу. Встречные раскланивались

со мной. Меня уже хорошо знали в городе. Еще бы! Зять фабриканта Хайна! Директор его завода! В сущности, почти уже фабрикант. Я приветливо отвечал на поклоны, ямочки на моих щеках так и играли. Приятное чувство некоторой известности пьянило меня. За поворотом у ратуши открылись очертания конического Постранецкого холма. На флагштоке перед тамошним рестораном развевался по ветру небольшой праздничный вымпел. Это отлично гармонировало с моим настроением, словно вымпел подняли в мою честь.

В холле я встретил Хайна с целым тюрбаном холодных компрессов на голове. Старик пожаловался на страшную головную боль. Я внутренне усмехнулся при виде его скорбных глаз и теплых домашних туфель, облепивших его ступни, как ком глины. Хайн с укором глянул на мои цветы. Так, вероятно, человек в трауре смотрит на того, кто поет о любви. От избытка веселого настроения я дал ему понюхать букет. Хайн чихнул, словно нюхнул перцу.

Я бодро взбежал по лестнице, снял шляпу, повесил пальто. Потирая руки, вошел в столовую. На столе, накрытом к обеду, рядом с тарелкой, тоже отражавшей солнце, лежал нарезанный хлеб. А на самой тарелке засыхала свежая капля крови.

Я приостановился, удивленный, — уж не с неба ли упала эта алая капля? — но тут вбежала Кати с завязанной рукой и, смеясь, схватила столь странно помеченную тарелку.

— Не смотрите! Это я такая неловкая… Сейчас подам другую.

Я удержал ее за локоть, ласково спросил, что с ней случилось.

— Да ничего! Резала для вас хлеб, ну и порезалась.

Я медленно опустился на стул и с серьезным выражением поднес к глазам раненую руку девушки.

— Покажите-ка — глубок ли порез?

Я развязал тряпочку, но поспешно приложил ее снова к ране — кровь так и хлынула из рассевшегося пореза на большом пальце. Я осмотрелся вокруг, ища, чем бы укрепить повязку. На глаза мне попался букет подснежников, который я положил рядом с тарелкой. Я сорвал с него нитку и, как умел, обмотал бедный пальчик, завязал. Кати улыбалась. Видно было, что ей приятна моя заботливость. Покончив с перевязкой, я привлек Кати к себе на колени.

— Что вы делаете! — притворно рассердилась она. — Пора подавать вам обед!

Однако вставать с моих колен она не собиралась.

— Хотите, подую? — шутливо предложил я.

Она похвасталась, что не обращает внимания на боль.

— А за то, что я так хорошо перевязал вам пальчик, вы должны меня поцеловать!

— И не подумаю! — засмеялась она. — Ведь я и порезалась-то оттого, что для вас старалась!

Стиснув ее круглую коленку, я другой рукой погладил ее по щечке.

— Ах так, вы упрекаете меня за капельку крови, — поддразнил я ее, — а ведь, когда любят, говорят: всю кровь за тебя отдам!

— Как знать? — Она близко заглянула мне в глаза. — Может, и отдам…

Я стал собирать рассыпавшиеся по столу цветы и втыкать их по одному девушке в волосы, за лямку фартучка, под узенький браслет на ее руке. Кати смеялась. Цветов оставалось еще много… Для одних я нашел местечко там, где кончались ее чулочки, остальные полной пригоршней высыпал ей в вырез платья.

— Ну и жалко! — отбивалась она. — Они там завянут!

— А это все из любви! — заверял я.

Потом попросил показать, как она меня любит.

— Вот так! — И она жадно прильнула губами к моим губам.

Я теснее прижал ее к себе. Засучил ей рукав и впился губами в теплую, благовонную подмышку. По телу Кати пробежала волна наслаждения. Я потерся лицом о ее грудь. Несколько цветочков выпало ей на фартучек. Я медленно опустил руку, поддерживавшую ее, и Кати, вместе с моей рукой, отклонилась назад — с улыбкой на губах, полузакрыв глаза. Она уже не сидела у меня на коленях, а почти лежала, как большое, счастливое засыпающее дитя. Я склонился к ней…

Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Я оцепенел. В открытой двери, прислонясь к притолоке, с задумчивым выражением на лице, стояла, как потустороннее явление, *помешанная*.

Кати вырвалась. Ее первым побуждением было убежать в кухню, но верх одержала гордость. Покраснев до корней волос, она укрылась в оконной нише. Я был настолько же бледен, насколько Кати была красна. Улыбка моя застыла, превратившись в злобный оскал. Я с неприятным чувством стряхнул с себя помятые цветы.

— Что тебе надо? Зачем пришла? — резко спросил я Соню.

— Я пришла… просто так, — бездумно ответила она; глаза ее смотрели мимо нас, на некий образ, ускользавший от нее. — Пришла… и увидела… вас обоих… — Лицо ее немного просветлело. — Тебя — и Кати…

В ней зарождалось какое-то непонятное веселье. Губы ее все больше растягивались в улыбке.

— Ох, Кати! Какая же ты глупая!

Она закудахтала, как курица, перегнулась в поясе, насколько ей позволял огромный, вздутый живот.

Я оглянулся на Кати. Лицо ее выражало безмерную печаль. Она возилась со своей окровавленной повязкой.

— Не смейся! — с угрозой брякнул я.

Меня охватило омерзение. Я вдруг с отвращением осознал, что в этом доме уже было нечто подобное. Давно ли мы с Соней целовались перед зеркалом, а сумасшедший пялил на нас глаза? Время нарисовало трагическую карикатуру: место Невидимого заняла Соня.

Она показала на нас пальцем:

— Любовники!..

Она все никак не могла вспомнить нужное, все бродила впотьмах… Судорожное, противное хихиканье вдруг сменилось меланхолией.

— Я никогда не видела любовников. Вы первые!

Теперь она уже только смутно и горько улыбалась.

— Кати, твоего любовника зовут Петр. У меня тоже есть любовник, это Кирилл. Иногда будем с тобой про них разговаривать, Кати!

Это было в высшей степени неуместно, бесконечно глупо, но я не знал, как поступить в эту минуту. И обратился к помешанной как к разумному человеку.

— Соня, ты не вправе упрекать меня. Ты сама отказалась от того, что еще оставалось от нашей любви. Оттолкнула меня — и до сих пор отвергаешь. Моя совесть перед тобой чиста.

— Ты смешной, — удивилась она. — Я ни в чем тебя не упрекаю, наоборот — я рада. Ох, я так рада! Впрочем, я давно это знала. Кирилл вас видел. Видел вас и сказал мне! — с таинственным видом похвасталась она.

Теперь меланхолия сменилась у нее детской болтливостью. Грозила опасность, что она сейчас сядет и начнет угощать нас своим Невидимым. Между тем каждую минуту мог появиться хворая сиделка Хайн.

— Только, Кати! — вдруг испуганно вскинулась

помешанная. — Как тебе пришло в голову выбрать именно его! Такого низкого!

Это оскорбление меня ничуть не задело. Я посмотрел на Кати, как бы прося помощи. Тронутая этим взглядом, она, как заведенный механизм, отошла от окна, решительно приблизилась к больной и обняла ее за шею.

— Соня, — проговорила она дрожащим голосом, — хочешь, я уйду из дому? Ответь, пожалуйста, честно. Хочешь, чтоб я ушла от вас?

— Нет, нет, — Соня покачала головой. — Зачем тебе уходить? Ты ведь нужна нам. И ему ты нужна. — Она коротко засмеялась. — Но я удерживаю тебя не ради него. Оставайся! Я не сержусь. Он ведь не мой!

Кати нежно погладила ее по лицу.

— Соня, — прошептала она ей на ухо, — поверь мне, это — не против тебя, понимаешь? Я не хочу, чтоб ты так думала. Ни теперь, ни когда бы то ни было. Помни — все это только ради него самого и ни по какой иной причине!

Соня некоторое время непонимающе смотрела ей в глаза, потом покачала головой:

— Не понимаю!

Она долго качала головой и все повторяла эти два слова. Потом высвободилась из рук Кати и

повернулась к ней спиной. Задумалась.

— Куда ты теперь? — виноватым тоном спросила Кати.

Соня, словно подхлестнутая страхом, вдруг двинулась с места, бормоча:

— Не знаю…

Опять остановилась и голосом, глухим от жалости к себе и от неуверенности, проговорила:

— Может быть — к нему…

Впервые за долгое время я снова ощутил нечто вроде сострадания. Соня медленно, нерешительно закрыла за собой дверь.

— Бедная Соня! — пробормотала Кати, заливаясь слезами.

По-моему, это были первые слезы, что я видел у Кати.

— Не надо плакать, — с горечью сказал я, — здесь и так было пролито много напрасных слез. Всякий раз, как начинались слезы, что-нибудь портилось…

Кати поспешно заставила себя улыбнуться обычной своей решительной улыбкой. И все же это был не прежний ее дерзкий смех сатира, озаренный золотом мальчишеского чубчика. Над этой несокрушимой молодостью пронесся шквал с градом…

— Ну, пора обедать, — нетерпеливо спохватился я. — Время не ждет. После обеда надо будет договориться, как нам держаться впредь. Потому что, — с досадой добавил я, — этот эпизод не пройдет без неприятных последствий. Нет, Кати, не отводите глаза, вы ведь смелая и сильная девушка. Нам предстоят испытания. Приготовьтесь к отвратительным сценам, которые устроят старик с Каролиной. Зачем обманывать себя? Лучше подготовиться к худшему. Еще до наступления вечера в доме всем станет известно, что вы сидели у меня на коленях и мы целовались. У вас ведь нет желания отпереться?

— Нет, — твердо сказала она.

— В таком случае, — тут я попытался улыбнуться, — придется нам, очевидно, вместе отстаивать наше право на это неофициальное нарушение права.

Увидев, как она по глазам старается прочитать мои подлинные мысли, я поспешно прибавил:

— Нет, не бойтесь, я тоже не намереваюсь что-либо отрицать.

А про себя я подумал, что это было бы самым простым и разумным. Увы — рядом с решимостью Кати я не посмел выставлять себя трусом.

Вечером я возвращался с завода примерно в та-

ком же настроении, как бывало в мальчишеские годы, когда совесть мою отягощала какая-нибудь проказа и я знал, что наказания не миновать. Напрасно внушал я себе, что совершенно прав перед всеми ними, что твердостью своей я без труда парирую все их обвинения, — я слишком хорошо знал, что их доводы будут столь же весомы, как и мои, и бороться мне придется против превосходящих сил. Я сомневался также, удастся ли мне отстоять Кати. Это опасение, в сущности, угнетало меня больше всего.

Навстречу мне по лестнице спускался Хайн. Я внимательно посмотрел на него — нет, непохоже, чтоб громы негодования и презрения ударили с этой стороны. Я приободрился. Поздоровался с ним приветливо, с улыбкой. Оказалось, на сердце у Хайна лежит нечто совсем иное, чем наш с Кати проступок. Он ничего о нем не знал, да и не мог знать.

— Петр, — нетерпеливо заговорил он, — случилось что-то очень неладное. Соня заперлась в своей комнате…

— Когда? — перебил я его, насторожившись.

— После обеда я прилег ненадолго — вы ведь знаете, у меня страшно болела голова… Тут это и произошло. Она ушла от меня, спряталась в

своей комнате и заперлась. С тех пор мы никак не можем ее оттуда достать. Просили, грозили — все напрасно. Даже на рояле не играет! Я думал, Петр, она поднялась поиграть, а она не играет… Уж лучше бы шумела!

— Что же она там делает? — спокойно спросил я, снимая пальто.

Я едва мог скрыть радость. Как здорово получилось! Теперь уже не я в роли виноватого, а Хайн… Суд надо мной отложен.

— Вот этого-то мы и не знаем, мы спрашивали — она не отвечает. Временами разговаривает сама с собой. Главным образом о Кирилле. И все о таких серьезных вещах — почти разумно…

— О чем же она говорит? — Я снова встревожился.

— Заклинает его хранить верность. Очень уж что-то припала ей к сердцу верность… Не знаю, что она теперь выдумала, но ее глубоко печалит мысль, что Невидимый может изменить ей. Не понимаю, откуда у нее такая тема…

Я-то понимал это слишком хорошо. Мы с Хайном подошли к ее двери, около которой Хайн уже поставил себе стул, как добросовестный тюремщик. Дверь в нашу спальню стояла открытой, и там, у второй двери в Сонину комнату, терпе-

ливо сторожила тетка. Вероятно, они решили подстеречь Соню, чтобы, как только она выйдет из своего убежища, помешать ей вернуться туда и снова запереться.

— Прошло уже слишком много времени, — жалобно говорил Хайн. — Никогда еще она не оставалась так долго одна. Причин для опасений, наверное, нет, но все-таки это меня как-то тревожит… Хотел бы я видеть ее уже у себя!

Я приложился ухом к двери и махнул тестю, чтоб он помолчал. Сначала не слышно было даже шороха, потом вдруг больная заговорила.

— Это очень некрасиво с его стороны, Кирилл, — монотонно, словно читая по бумажке, говорила Соня. — Это называется прелюбодеяние. Гнусное слово, такое же гнусное, как и само дело. Мне это гадко. Я бы не хотела, Кирилл, чтоб ты так согрешил против меня. Я была бы ужасно несчастна. Я знаю, ты не таков, чтобы поступать дурно. Я верю тебе. Помнишь, как мы поднялись на башню святого Вита? Как ты держал меня на руках? У меня было такое чувство, будто в твоих руках — моя жизнь и смерть. Ты был как бог. Вот закрою глаза — и так живо вижу это… Вижу твое лицо, твои глаза. А мои глаза ты помнишь? Должен помнить! Я тогда взглядом вся отдалась

тебе… Ничего не говорила, но этим взглядом я тогда поклялась тебе в верности. Я всегда была верна тебе, Кирилл!

— Заговаривается! — в отчаянии прошептал Хайн.

Я не ответил — но я был очень далек от каких-либо усмешек. Я знал теперь химический состав яда, обращавшегося в Сониной крови. Это я стал Кириллом… В больном мозгу любовь раздвоилась, и помешанной нетрудно было производить занятные смещения по граням своего бреда…

— Кирилл, — продолжала Соня, — какая это тщета — искать все время что-то новое! Люди так беспокойны, они вечно тянутся к чему-то новому и всегда находят разочарование. Они словно бредут во тьме на ощупь, и чем дальше, тем это бессмысленнее… Мужчины прикасаются ко все новым и новым женщинам, но в конце концов им, наверное, становится противно до тошноты! Никогда не делай этого, ради меня, Кирилл! Ты завоевал меня. Завоевал не для шутки. Все на свете ужасно серьезно, и я тоже страшно серьезна. Пусть тебя не вводит в заблуждение мой смех, это не настоящее мое лицо. Мое настоящее лицо ты видишь сейчас. Как жалко, что я не могу видеть твое, мой Невидимый! Знаешь ли ты, как твое

имя, Невидимый? Твое имя — *любовь*.

— Петр, что вы так долго слушаете? — потянул меня за рукав нетерпеливый Хайн. — У нее ведь все одно и то же… Лучше скажите что-нибудь сами. Не очень-то весело — сидеть вот так, затаившись!

Я со злостью отмахнулся от него. Мне вспомнилось — как это тогда сказал доктор Мильде? «Если увидите, что она слишком возбуждена, оберегайте ее как зеницу ока… Если она внезапно осознает все убожество своего состояния — это может кончиться трагически…» Соня сейчас возбуждена. Она занята опасными мыслями. Заперлась, чтоб уйти от нас. Положение казалось мне уже не просто серьезным — угрожающим.

— Если я узнаю когда-нибудь, что ты меня обидел, что ты стал таким же, как все, что ты изменил мне, — знаешь, что я сделаю? Смотри туда, куда я смотрю, смотри туда, *вниз*. Там темно, и там холодно. Я брошусь *прямо вниз*, если ты меня разлюбишь. Правда брошусь, — лихорадочно шептала Соня, — как птица на крыльях, только без крыльев. Как человек, который давно мучится от жажды и нетерпеливо подносит стакан к губам — так я брошусь. Как стрела полечу, от горчайшего горя, бездыханно…

— Она в какой части комнаты? — срывающимся голосом спросил я.

— Не знаю, Петр, наверное, около окна, ее не видно — ключ торчит в скважине. Да и стемнело уже. Она даже свет не зажгла.

Около окна? О нет, я-то знал — она не около окна. Для проверки я приложил ладонь к замочной скважине — оттуда несло резким холодом. Эти два старые дурака сидят тут, как куры на насесте, а Соня меж тем балансирует на подоконнике *открытого окна*! Что, если ей взбредет в голову выполнить свою сумасшедшую угрозу? А судьба моего ребенка связана с ее судьбой!

Тут в ее комнате раздался ужасный, нечеловеческий крик. Что-то стеклянное разбилось со звоном. Хайн вскочил. Меня облило жаром — я всем телом навалился на дверь. Она чуть дрогнула, но не поддалась.

— Господи, что вы делаете? — в крайнем испуге бормотал Хайн. — Неужели вы думаете… думаете, там… что-то страшное?

Из темноты вынырнула теткина фигура. Мне было не до объяснения. Я лихорадочно соображал: взять приставную лестницу и подняться к окну навстречу Соне… Но есть ли у нас такая высокая лестница? Сбегать вниз, к Паржику…

Сказать Кати, чтоб навалила под окно все, какие есть, перины…

Соня за дверью захныкала, потом послышались всхлипывания. Вот совершенно явственно стукнула рама, наверное, Соня распахнула окно… Может, она сейчас склоняется над пустотой! Нет, некогда что-то готовить, надо сейчас же, во что бы то ни стало проникнуть внутрь… Я с разбегу уперся в дверь… Хайн что-то лепетал умоляюще, я его не слушал. На висках и на шее у меня вздулись вены… Вдруг — трах! Створки двери разлетелись, и я по инерции ввалился в комнату, упав на четвереньки.

Соня с криком закрыла лицо руками. Она сидела на подоконнике, окно было открыто, а Соня вся сжалась от боли. Губы у нее посинели от холода и в ужасе кривились. Поднявшись, я первым долгом кинулся к ней и схватил в объятия.

К моему удивлению, она не сопротивлялась. Как только я уложил ее на кровать, она прижала руки к своему вздувшемуся животу. Мне показалось, по животу ее ходят волны, словно в нем что-то движется… И тут я *понял*.

— Скорей! Скорей! — хрипло закричал я Хайну. — Звоните доктору!

Он не двигался, только смотрел на меня, ничего

не соображая, — тогда я довольно непочтительно вытолкал его за дверь.

После этого я сел у Сониной постели. Сердце мое колотилось так, словно в груди взрывается петарда за петардой. Мышцы лица расслабились в довольной улыбке. Теперь я буду около нее, теперь я никуда от нее не двинусь! Все-таки я их спас! Теперь-то уж не дам им погибнуть!

Все, что произошло тем вечером, стало мне вполне понятно. Подходил Сонин час, а возбуждение ускорило роды. Но по мере того как я вдумывался, довольная улыбка исчезала с моего лица. Одно за другим вставали передо мной мои прежние сомнения. Что ждет впереди? Пройдет немного времени, и я увижу свое дитя. Каким-то оно окажется?

Как только приехал Мильде, я бросился к нему с сотней вопросов. Он меня высмеял. Сказал, что от внешних причин ничего не зависит. Неважно, если роды произойдут на день-два раньше. Нет, с этой стороны ни роженице, ни ребенку не грозит никакая опасность.

Я напомнил ему, что у Сони, при ее состоянии, течение родов может отклониться от нормы. Спросил, может ли он ручаться за хороший исход даже при таких обстоятельствах. Он ответил,

что, насколько он знает по опыту, помешанные женщины рожают так же, как нормальные.

Он бегло осмотрел Соню и заявил, что мы вызвали его прежде времени. Роды только начались, это всего лишь, как говорится, первая заявка, и может тянуться еще очень долго. Он поедет домой.

Хайн со слезами в голосе просил его не покидать нас, чем заслужил давно знакомую нам ироническую усмешку доктора. Но в конце концов тот смягчился. Ну, если мы так уж настаиваем, он пойдет нам навстречу, хотя это совершенно не нужно. Сам он, правда, не останется, но пришлет пока надежного человека, женщину, которой можно абсолютно доверять. Он обещал приехать снова часам к десяти, никак не раньше, — в этом нет никакой нужды. У него есть и другие больные, не может он терять тут целый вечер, а то и большую часть ночи!

Схватки у Сони были еще редкими. Покричит, поплачет — и снова лежит спокойно, чуть ли не в отупении, уставившись в потолок. Она, несомненно, прекрасно понимала, что с ней происходит. Руки у нее тряслись, пальцами она вцепилась в одеяло и не произносила ни слова. Никто не решался заговорить с ней. Меня позвали

ужинать — я не пошел. Предложили, чтоб меня сменила Кати, — я не согласился. Боялся, как бы лицо Кати не напомнило сумасшедшей о недавнем эпизоде. А Хайн воображал, что я охвачен прежней любовью к его дочери. Благодарно мне улыбался.

Около девяти явилась женщина, присланная Мильде. Представилась: пани Стинилова. Она принесла с собой большую сумку с необходимым реквизитом. Ее головной убор, какую-то допотопную шляпу, украшали сзади два уродливых уха. Пока пани Стинилова не сняла шляпу, она, со своими очками в костяной оправе, сильно смахивала на толстую, сопящую сову.

Эта ассистентка Мильде смотрела на меня с нескрываемым отвращением, как бы карая за те страдания, которые терпела по моей милости Соня. Сурово заявила, что теперь я могу удалиться. С холодной уверенностью уселась на мое место у кровати. Я не стал возражать, поняв, что теперь Соня в надежных руках. Хайн увел меня под руку, как человека, которому можно даже в известной мере посочувствовать.

Оказалось, что он, добрый малый, ждал меня с ужином.

— Да мне одному-то и невкусно было бы, — уве-

рял он. — Впрочем, кажется, мне и теперь кусок в горло не полезет. Ну, Петр, что вы думаете? Можно надеяться?

Голос у него дрожал. Бедняга, он имел в виду не только ту совершенно естественную надежду, которую вычитываешь по лицу врача, но и ту, которую ему когда-то столь безрассудно подал Мильде. Надежду, что, когда Соня впервые поцелует свое дитя, рассеется туманная пелена, застлавшая ей мозг…

Не успели мы сесть за стол, как постучался Кунц. Хайн, потеряв голову от страха и ожидания, подал ему весточку еще до прихода врача. Пан директор был до крайности взволнован и готов щедро оделять нас утешениями. Ради Кунца — и ради скрытого торжественного смысла сегодняшнего ужина — Филип подал до противности сладкое вино. Тетка заняла место во главе стола. Невозможно выразить словами скуку и бесконечность этого вечера. Хайн кусал усы, нетерпеливо ерзал на стуле, всем своим существом прислушивался к всхлипам и шорохам, доносившимся сверху, тетка разглагольствовала обо всех родах, какие только помнила. Видно, случаев рождения было не так уж много на ее памяти, потому что от них она прямиком перешла к смертям. Она

кормила нас сплошными несчастьями. Словно призывала беду! Каркала, как ворон…

Я вышел под предлогом узнать, как там Соня. Но отправился я в кухню, к Кати, с которой мы еще не виделись после сцены, когда помешанная застигла нас врасплох.

Кати сидела в углу у печки, в глубокой задумчивости опустив голову в ладони. Увидев меня, она вскочила, лицо ее прояснилось. Но я-то заметил, что улыбка у нее вымученная, а радость наигранная. После тех слов, что я сказал ей, когда она заплакала за обедом, девушка, видно, зареклась когда-либо показывать мне свое огорчение.

Я сел и ласково взял ее за руку. Спросил, что она думает о том, как развернулись события. Не кажется ли ей, что нам, в сущности, удивительно повезло? Мы-то уже считали, что наша любовь откроется — а тут такое неожиданное событие! Можно смело сказать, что наш ангел-хранитель — то самое дитя, которое как раз в это время решило появиться на свет…

— Скажем, Кати, — это сам Амур. Маленький, беленький, лукавый… Вам не кажется, что это так? — Кати смотрела на меня недоумевающе. — Кати, вам не нравится то, что я говорю?

Она покачала головой.

Я подумал, что она просто не поняла, и начал объяснять подробнее. Неужели она не видит — случилось то, на что мы и надеяться не смели? Помешанная застала нас — и это прошло без последствий! В ближайшее время Соня будет занята новорожденным и, конечно, забудет о том, что видела. А если она заговорит об этом когда-нибудь позднее, то уж никто не примет этого всерьез. Все сочтут это просто бредом.

— И вы этому не рады, Кати?

Я взял ее за подбородок и с улыбкой заглянул ей в глаза.

Она ответила, что рада, но только за меня.

Я ощутил уже некоторую досаду. Подумал, что развею ее бессмысленную грусть поцелуями, и прижал ее голову к своей груди.

Она вырвалась.

— Не сердитесь, прошу вас, только мне не до любви сейчас — когда Соня мучается…

И чтоб эти слова не слишком меня огорчили, она нежно погладила мою руку.

Возражать было нечего. Но меня задело, что Кати осмелилась напомнить мне о том, что, строго говоря, должно было бы быть причиной моей собственной сдержанности. Желая справиться со смущением, я заходил по кухне, как человек,

который не находит себе места. И незаметно выбрался из двери и спустился снова к Хайну.

Кунц уже ушел. Тетка молча, пристально смотрела на меня — как рок. Хайн, совершенно измученный, полулежал в кресле. И тут я пожалел, что многоречивый Кунц ушел. При нем было все-таки куда легче. Или хоть бы доктор явился! Я глянул на часы. Они будто совсем остановились.

Мильде уже дважды поднимался к Соне и дважды возвращался к нам с сообщением, что время для его вмешательства еще не наступило. От нечего делать он листал альбом с фотографиями, подсунутый теткой. С интересом разглядывал старые снимки, смешно моргая близорукими глазами. Хайн безостановочно расхаживал по комнате и молчал.

Вдруг — было, вероятно, начало двенадцатого — наверху раздался такой жалобный вопль, что мы перестали дышать. Хайн задрожал, как от удара. Остановился и просто рухнул на стул. Он был бледен как стена. Доктор криво усмехнулся ему, медленно, неохотно встал, отодвинул стул и без слов пошел к двери.

— Боже, боже… — лепетал Хайн, сжимая руки.

А тетка — словно вставила новый валик в оркестрион — начала молиться дрожащим и

угрожающим голосом.

Она произносила слова молитвы упорно, монотонно, с такой ужасающей терпеливостью, что я покрылся гусиной кожей. Я сидел у стола, обводя ногтем узоры скатерти. И чем тише я сидел, тем жарче мне становилось. Рубашка прилипла к телу. Паржик, обалдев от волнения, топил, как черти в аду. В коридорах тоже было как в бане. От перегрева потрескивала мебель, в калориферах шипело и гудело.

Раздался новый крик, уже не такой громкий, но протяжный. Доктор не возвращался.

— Боже, боже, — твердил Хайн.

Вот и все, на что он был еще способен. Это становилось невыносимо. Я предложил ему выйти в соседнюю комнату покурить.

Он охотно согласился. Наверное, ему уже тоже хотелось затянуться, как измученному жаждой — выпить глоток воды. Мы вышли на цыпочках, чтоб не мешать теткиной молитве.

Мы уселись в креслах друг против друга, с каждой минутой все тише и тише; прислушивались, не долетит ли сверху новый раздирающий стон, крик, плач… Но слышали мы только какое-то бесконечное, безнадежное причитание.

— Неужели не могут хоть как-то облегчить

муки роженицы? — возмущался Хайн. — Где же вся их наука, когда в этом они не продвинулись ни на пядь?

Он часто смаргивал слезы — он бы и совсем расплакался, если б стыдно не было.

И опять мы сидели, молчали, курили как дьяволы. Дым окутал нас. Мы обрезали и зажигали сигару за сигарой, словно состязались, кто выкурит больше. Нас пожирало внутреннее беспокойство. То Хайн начинал барабанить пальцами по столу, то я. Вот он поднял голову, выпустил густое облако дыма. Я, словно зачарованный, немедленно сделал то же самое…

Разбуженная муха билась об стекло. В ушах моих что-то тоненько пело, словно на столе горела с тихим ворчанием керосиновая лампа. Мы попеременно вытаскивали часы и смотрели на них.

— Сколько?

— Без четверти двенадцать.

— Ох, только!

— Да, только…

И снова — прислушиваемся, курим, барабаним пальцами по столу.

Без четверти час Хайн сказал:

— Пожалуй, этой ночью уже ничего не будет.

Я ответил:

— Да, пожалуй, не будет.

Тут Хайну пришла в голову свежая мысль:

— Давайте откроем окно!

Не понимаю, как он на это решился — он, так оберегавший свое здоровье и так подверженный простудам! Видно, здорово допек его адский зной, устроенный Паржиком. Или он вздумал воззвать к небесам о помощи дочери…

Когда мы с трудом открыли окно — рама несколько разбухла за зиму — и высунулись наружу, дым повалил над нами на волю, словно освобожденные злые духи. Я смотрел и поражался: сад лежал перед нами, как сцена в магическом освещении. Быстро неслись по небу белые и черные облака, то закрывая, то открывая серп ущербного месяца. Стояла абсолютная тишина. Голова Хайна рядом со мной смахивала в этом ночном полумраке на голову тысячелетнего гнома. Я подумал: а как-то выглядит моя голова в этом мертвенном лунном свете?

Внезапно, когда я поднял к месяцу любопытный взор, среди этой тишины и покоя поднялся сильный порыв ветра. От него у меня перехватило дыхание, на крыше заскрипел ржавый флюгер, забились голые ветки, закружились на дорожках прошлогодние листья…

Еще и сегодня, когда я думаю об этом странном ветре, причины которого были необъяснимы, я чувствую, как по спине у меня пробегает мороз. Давно уже это загадочное явление превратилось в моем воображении в нечто мистическое. Я даже помню, когда это впервые пришло мне на ум. Я тогда долго, молча, в одиночестве пил и грезил, размышлял о жизни своей, и голова моя пылала от ярости и отчаяния — вся жизнь моя вывернулась наизнанку, чтоб извергнуть надежду, которую я когда-то так доверчиво проглотил; и тут передо мной встала та сцена — в фантастическом, трагическом виде, какой она вовсе не была в действительности: поднялся ветер, мы с Хайном испуганы, руки у нас дрожат, и мы думаем (я) о великом Наблюдателе, о чем-то сверхъестественном. Что это было? Кто возмутил покой ночи? (Слова из душещипательных романов.) И в тот же миг на дорожках парка появился некто — толстый, низенький, смешной, — кто же, как не призрак Невидимого, пляшущего на цыпочках по кружащимся листьям в диком, жутком канкане? Ибо наверху, хотя мы еще не знали об этом, только что родилось дитя его больной души… Ах, глупости! Я болтаю чепуху. Я пишу ведь не о позднейших моих пьяных видениях, а о трезвой,

только немного печальной действительности.

Итак, мы смотрели в ночь. Ничего не видели, не слышали, оба мы находились в состоянии какой-то очарованности, или скорее изнеможения, — и тут за нашей спиной раздался ясный, мелодичный голос. Мы разом повернулись лицом к прокуренной комнате.

Дверь была открыта, сквозило. А перед нами стояла Кати, и глаза ее пылали радостью, желанием первой сообщить нам важную весть.

— Понимаете? Или не слышите? Да! Да! Все кончено. Соня здорова — и у нее мальчик!

Голос ее прерывался от счастья.

Помню, Хайн вскочил и, подняв глаза к потолку, всплеснул руками. Это должно было изображать благодарственный жест. А я, в этот самый решающий миг, когда мне уже нечего было больше ждать, когда путь был окончен и вздох облегчения рвался у меня из груди, — я превозмог естественный порыв и собрал силы для дешевого жеста — перед самим собой, перед Хайном и перед Кати. Я спокойно уселся в кресло и продолжал курить.

— Вы… вы не пойдете наверх? — хрипло спросил Хайн.

У него был вид вдребезги пьяного.

— Не идти же туда с сигарой, — улыбнулся я. — Я так долго ждал, подожду и еще несколько минут.

— Что за ерунда! — вскричал Хайн и хлопнул за собой дверью.

Кати стояла у притолоки, притихшая, неуверенная. Она не знала, что и подумать о моем поведении. Я встал, подошел к ней, обнял за шею. Она не воспротивилась. Я поцеловал ее.

— Целую в вас мать моего ребенка, — театрально произнес я с улыбкой. — Ведь теперь вы должны взять на себя заботу о нем.

Я даже не могу сказать, отчего вдруг эта мысль пришла мне тогда.

Потом, отбросив окурок, я медленно поднялся наверх.

Лица Сони я не увидел: пани Стинилова как раз умывала ее теплой водой. Врач, потный и усталый, сделал мне рукой знак, чтоб я взглянул на ребенка и оставил мать в покое.

На руки мне положили сына, уже чистого и запеленатого.

У него был мой разрез глаз и мой подбородок. Он был красен и некрасив. Без волос. Похож на старенького гнома с высоким лбом.

А у меня было такое чувство, будто я расту. Ноги

мои сделались сильными и тяжелыми. Так или иначе, а сейчас положено начало моему роду. Наследством ему будут плоды моих трудов и богатство Хайна. Я гордо усмехнулся. Головой я доставал до неба.

17
ПЛАМЯ ПОД КОЛЫБЕЛЬЮ

Прошли недолгие минуты радостного опьянения — и Хайн услышал из уст утомленной Сони фразу, которая разом отняла у него всякую неразумную надежду:

— Кирилл! Где ты, Кирилл? Приди же, посмотри на своего ребенка!

Мы все слышали это, Кати, доктор и пани Стинилова, но никого это не поразило — один Хайн был совершенно уничтожен. Без единого слова, тяжело опустился он на стул, бросив красноречивый взгляд на Мильде, словно упрекая его за то, что так обманулся в своих надеждах. Мешочки под глазами у него вспухли, морщины врезались глубже. Некие силы, маленькие и верные, которые стоят на страже человеческого лица, исчезли — и на стуле сидел теперь дряхлый, сломленный горем старик, у которого не оставалось уже ничего, ради чего стоило бы жить.

Напрасно врач убеждал его:

— Не придавайте этому значения, не могли же вы думать, что все изменится разом! Нам

по-прежнему необходимо терпение. Скажите спасибо, что роды-то окончились счастливо!

— Терпение… — горько вымолвил Хайн. — Ну конечно, как же иначе — опять терпение! А где его взять, скажите на милость? Нет у меня уже терпения. Ах, право, нет его у меня больше…

В хайновской слабости, как и в горячечном взгляде больной, точно отразилось истинное положение дел: все напрасно. Соня никогда не излечится. А по тому, с каким состраданием склонился доктор над Хайном и какие он выбирал слова (те самые, какими утешают тяжелобольных или умирающих), видно было, что и на тестя уже нельзя рассчитывать как на мужчину. Придется его щадить. Не принимать всерьез его жалоб, не обращать внимания на его волнение…

Сонино дитя вызывало в Хайне только чувство жалости. Сердце его стало как сломанная игрушка, оно издавало один-единственный звук — плач. Быть может, он и испытывал радость, когда ему на руки клали внука, чтоб потешить старика, но из глаз его текли слезы.

— Заберите-ка вы его лучше! Что-то у меня… руки трясутся. Слабость какая-то…

И он уходил неверным, старческим шагом.

Так, так, стало быть, жив Невидимый, — сказал

я себе, опьяненный гордостью и радостью, — ну и пускай себе живет, пускай бродит тут, а мы не станем его замечать. Я соглашался отдать ему в аренду Сонину душу. Что мне до этой чужой души? Только бы оставил он в покое ребенка! Но — я еще не знал Невидимого!

Я-то думал, с ним покончено, когда я наконец сорвал яблоко, к которому он тянулся нечистыми руками. Ах, сколько раз я уже ошибался, полагая, что отделался от него! В первый раз, пожалуй, тогда еще, когда мы гуляли по саду с Соней и она склонила головку мне на плечо, а я нежно успокаивал ее. Потом — после свадьбы, когда мы удрали от него, чтобы броситься в волны торжествующей чувственности. И наконец — когда за ним захлопнулась дверца санитарной машины. А он опять прокрался сюда! Зато теперь-то уже кончилось это длительное единоборство с ним. Мой сын спал под белой пышной перинкой, в чепчике с голубыми бантиками. Хрупок и безопасен был его покой под занавесками колыбельки…

Очень скоро мне предстояло убедиться, что нет — с Невидимым еще далеко не покончено!

Около Сониной кровати постоянно стоял его стул. Никто не смел садиться на него или ставить на него Сонин завтрак: на нем ведь сидел Неви-

димый. С этим стулом надлежало обходиться с величайшей предупредительностью, не толкнуть его, не отставить в сторону…

Невидимый упорно торчал у ложа родильницы. Он был очень благодарен своей славной женушке за ребеночка, которого она ему родила, он был в восторге, он гордился им. Соня читала по его невидимым глазам всю его безмерную радость. Хвасталась:

— А он смотрел, как я кормлю! Он смотрел, как ребеночек открывает глазки. Кирилл знает — сынок похож на него! Он рад этому. Он такой хороший! Заботится обо мне, глаз с меня не спускает. И знаете что? Он желает, чтоб мальчика назвали в его честь — Кириллом.

— Нет, — решительно сказал я Хайну. — Этого я не допущу!

— Нет, конечно, — соглашался тот. — Мы назовем его Петром, как вас. Но это надо скрыть от Сони. Как бы не было осложнений…

— Если б вы знали, как Кириллик тянется ручонками к отцу! — блаженно улыбалась Соня. — Он, правда, не видит его, но угадывает. Маленькие дети чувствуют присутствие отца, а вы не знали? Боже, как я горжусь, что у него такой отец! Такой умный! Знаменитый изобретатель!

Тише! Тише! Я открою вам тайну: когда малыш вырастет, он тоже будет невидим!

— Конечно, конечно, — гладил ее Хайн по голове. — Мы уже все этому радуемся…

Я говорил себе: зачем сердиться? Ведь это только слова. С тихой ненавистью смотрел я, как ребенок сосет грудь. Ее молоко! Что впитывает он в себя с ее молоком? Но помешанная была спокойна. Спокойным был и ребенок.

— Баю-бай, баю-бай! — тонким голоском напевала Соня мальчику, как все молодые мамаши, и в ее расширенных зрачках, обращенных на ребенка, читалась трогательная нежность. — Баю-бай, баю-бай, спи, малышка, засыпай! Твой папа почти ангел. Он умеет быть незримым. Он тебя целует, а ты и не знаешь. Оберегает тебя, когда я сплю. Ах, какая мы интересная семья! Я так счастлива!

— Все в порядке, — твердил Мильде. — Ну, не прав ли я был, говоря, что душевнобольные матери так же надежны, как и здоровые? Нет, друзья, — хвастливо завершал он, — природа — вот творец, который бодрствует над своими творениями!

— А что молоко?.. — озабоченно спросил я.

Мильде ответил насмешливо:

— Не воображаете ли вы, что в материнском молоке содержатся бациллы сумасшествия?

При Соне я не мог брать на руки своего сына — она тотчас поднимала крик:

— Отберите у него ребенка! Он ему повредит! Это Петр, он изменник! Не верю я, что он может быть добрым к кому бы то ни было. Он никого не любит, даже детей!

Я смущенно отдавал ребенка. Не в моих интересах было волновать мать: за расстройство матери расплачивается дитя. И я уходил, враждебный, с высокомерной усмешкой.

Я опять стал одинок. Лишился и любовницы. Кати поставила себе койку в комнате Сони, как во время ее болезни. Она проводила у Сони все ночи. По утрам ее сменяла пани Бетынька (так мы, по примеру доктора, стали называть его ассистентку Стинилову). Пани Бетынька приходила рано утром, обхаживала мать и ребенка. Нельзя же было требовать от душевнобольной настоящего ухода за новорожденным. На время пани Бетынька стала неотъемлемой принадлежностью нашего дома. В первые дни, когда Соне нельзя было вставать, ассистентка уходила только вечером.

Да, а я снова жил без Кати. Она слишком была

занята ребенком. Если я встречал ее в столовой или гостиной, она только, бывало, улыбнется, подставит мне губы, я обниму ее, растреплю ей чубчик, но при первой же возможности она высвобождалась и убегала. Я, благосклонно улыбаясь, ревновал ее к своему сыну.

Упорно, мстительно, неумолимо ревновал я к сумасшедшему. Мне уже не было безразлично, что в бредовых речах помешанной отцовство присуждается Невидимому. Меня это оскорбляло. Но пока что ты должен терпеть, говорил я себе. Другого выхода нет, пока ребенок не отнят от груди. А потом — потом увидим!

Когда мальчику исполнилась неделя, его взяли у Сони, сказав, что повезут крестить. Она спокойно отдала его, притихшая от счастья. Смотрела, как ребенка наряжают в красивое бельецо. И после терпеливо ждала, когда его вернут ей. Но вот его снова уложили в белую колыбельку с сеткой, стоявшую возле Сониной кровати, и солгали, что он наречен по ее желанию. Соня бросилась целовать его, радостно восклицая:

— Кириллик! Мой маленький Кириллочка!

Это было во вторник, шестнадцатого марта. В следующий четверг, когда я, вернувшись домой, просматривал после ужина газеты, в столовую,

задыхаясь, вбежала пани Бетынька, судорожно прижимая к груди моего сына.

— Знаете, что было?! — Она едва переводила дыхание. — Представьте только! Я как раз собиралась уходить, отвязывала фартук… А пани все что-то говорит, говорит, я никогда ее не слушаю… и вдруг — случайно! — оборачиваюсь, и что же я вижу?! Она берет ребенка из колыбельки и, наклонившись над пустым стулом, медленно выпускает его из рук! Я едва успела подбежать, подхватить его! Он бы упал, расшибся… Подумайте, такая крошка! На этот жесткий стул! А то еще, чего доброго, скатился бы на пол! Понимаете? Она, бедняжка, хотела положить его на *невидимые* руки этого бедного воображаемого пана!

С этого и началось.

Я понял, конечно, что Соню нельзя ни на минуту оставлять одну с ребенком. Спустился к Хайну:

— К сожалению, вам сейчас никак нельзя позволить себе отдых. Выход один — вы должны отдать все свое время внучку. И я очень вас об этом прошу!

— Пожалуй, это многовато для меня, — печально усмехнулся он. — Вы хотите, чтоб я взял на себя ответственность… Но я уже не тот, на кого

можно взваливать обязанности!

— Я с удовольствием останусь дома сам, — гневно произнес я, — но кто будет руководить заводом?

— Вы, Петр, вы. Я сделаю все, что в моих силах.

Я остановил Кати, спешившую в кухню. Привлек ее к себе крепко, просительно:

— Кати! Невидимый покушается на ребенка… Хочет мне отомстить. Вы должны вступить с ним в бой за меня!

Я смотрел на нее с неумолимой требовательностью, неотступно, угрожающе, как никогда еще на нее не смотрел.

— Хорошо, — послушно сказала она, ласково высвобождаясь из моих рук. — Можете на меня положиться!

Вечером, лежа без сна в кровати, я видел свою жизнь в таких картинах: вечно спешу куда-то, преследуемый по пятам упорным соперником. На фронте было у меня немало тяжелых дней. Только, бывало, разобьем палатки — тревога, и снова куда-то бежишь… Только понадеешься, что вот можно отдохнуть — и опять ничего не выходит… Так и теперь. Я уже думал, что теперь-то поживу хоть немного спокойно — нет, на́ тебе, новые хлопоты, да какие! Хуже всего, что было прежде!

Пролежав десять дней после родов, Соня начала вставать — и тут ей пришла в голову поистине сумасшедшая идея: она постелила мальчику под своей кроватью, как щенку!

— Ах, как ему будет хорошо! — объяснила она Кати. — Он ужасно обрадуется, вот увидишь! Когда я была маленькая, то очень любила лазить под кровать. Мне нравилось дышать пылью, смотреть из темноты на свет, разглядывать снизу, как сделана кровать… Я прятала кукол под матрас… Понимаешь, изнанка, обратная сторона того, что мы всегда видим… А у него это всегда будет перед глазами! Зато ему покажется таким редкостным то, что для нас скоро стало обыденным. И там ему безопасно: падать некуда. Ты никому не говори, а я тоже с удовольствием залезу туда к нему!

— Не делай этого, — отговаривала ее рассудительная Кати. — Там для него слишком мало света. Еще вырастет слепым.

— А я тебе не верю! — хихикала Соня. — И вообще я должна это сделать. Я привыкла слушаться, а так хочет Кирилл!

Мы были бессильны против этой причуды. Она в самом деле положила ребенка под кровать и, улегшись животом на пол, стала петь ему песенки. Но там было темно, и ребенок расплакался.

Он так кричал, что Соня разозлилась и хотела побить его. Пришлось его спасать…

Тогда Соня назло отказалась дать ему грудь.

— Корми его сама, Кати! — насмешничала она. — Это ты его учишь не слушаться меня. Я его больше не хочу. Не хочу капризного ребенка! И что это вы все то и дело командуете мной? Мне неприятно, что кто-нибудь постоянно торчит здесь. Я хочу быть одна — с ним и с Кириллом.

— Нельзя, Соня, — вступился Хайн. — Ты еще слаба, за тобой нужен уход, за ребенком тоже. Скажи спасибо, что кто-то его нянчит, когда он плачет!

— А зачем он вообще плачет? Разве все дети плачут? Мой ребенок злой, он плачет нарочно, чтоб изводить меня!

— Неправда, — спорил с ней Хайн. — Наш малыш очень хороший. А плачут все дети, потому что у них еще нет рассудка!

— Нет рассудка… — задумалась Соня. — Вот как, значит, у маленьких детей нет рассудка…

По необъяснимой причине это ее опечалило. Она стала петь мальчику грустные песни, и на глазах у нее стояли слезы.

Это не помешало ей немного погодя напялить на голову Пети свою шляпу с широкими полями и

истерически хохотать над ним — а обе женщины, пани Бетынька и Кати, да и Хайн тоже, стояли поодаль, готовые вмешаться, если б эта странная забава стала опасной для малыша.

Заметно было, что с тех пор, как Соня поднялась с постели, ею опять овладевали порой такие же шаловливые, безответственные настроения, как и в первые дни ее помешательства. Я снова находил в ней склонность к нелепым шуткам, беспричинному хихиканью, ко всяким глупостям, которые страшно раздражали, но положить конец им было невозможно.

Опять началось дерганье Хайна за волосы, неприличные выходки, заканчивающиеся хохотом, который переходил в мрачность — как бы для того, чтоб уравновесить эти взрывы. Но теперь тут было третье, невинное создание, которое не умело смеяться и еще не способно было примениться к ситуации.

Соня желала подбрасывать его и ловить, качать, привязав за свивальник к крюку на потолке… Она дралась с Кати, когда та забирала у нее ребенка. Даже пани Бетынька испытала на себе остроту ее ногтей. Потом Соня с плачем просила прощения, предлагая, в вознаграждение за боль, поцеловать ребенка, усаживала обеих женщин

рядом с собой, возбужденно пожимала им руки и говорила, говорила… О Кирилле, о том, как он ее любит, какой он преданный…

Раз как-то она долго билась, пытаясь расчесать пушок на голове младенца на пробор, и хныкала от злости и недовольства, когда это не получалось. Когда она, после таких злобных сцен, кормила сына, тот извивался и плакал от колик в животике. Соня никогда сама не меняла ему пеленки. Она брезгливо скалилась. Отворачивалась, когда Кати или пани Бетынька делали это вместо нее. И долго потом зажимала нос:

— Фу, какая вонь! Дети воняют, фу!

При всем том она безгранично любила его. Страшно было смотреть на эту яростную любовь, похожую на исступление. Она бегала с ребенком по комнате, как дикая, в глазах — безумный блеск, на губах — голодный оскал, и кричала от буйного счастья. Требовалось очень немногое, чтоб привести ее в величайший восторг: стоило ребенку загулькать, поглядеть на нее светлыми глазками, шевельнуть слабенькой ручкой — и Соня уже не в силах была совладать с собой. Она пускалась в пляс. С растрепанными волосами, в расстегнутой одежде, она высоко поднимала подол юбки кончиками пальцев, сбрасывала туфли

с ног: «Тра-ля-ля!» — до головокружения.

При всем том она безгранично любила его.

Безответственная, ненадежная, неисповедимая… Каждый день я возвращался с работы со страхом: что-то опять услышу? Как пережил сын этот день? Заботы о нем так заполонили меня, что я уже ни о чем другом не мог думать. До сих пор я всегда находил какой-то выход — а вот теперь не видел никакого.

Я старался по возможности ничего не предпринимать против матери — это всегда вызывало в ней раздражение, оборачивающееся недомоганием ребенка. Но однажды в воскресенье мне все-таки пришлось выступить на сцену. Она задумала накормить ребенка кусочками рогалика. Увидела, как малыш протянул ручку к ее завтраку, и в неразумной своей любви сочла это просьбой. Ей уже удалось запихнуть ему в ротик несколько крошек. Пани Бетынька попыталась вытереть ему язычок салфеткой, но Соня схватила ее за руку.

— Не отнимайте у него! Вы злая! Жалко вам, что он поест! Да, да, вы слишком много себе позволяете! Ребенок-то — мой!

Малыш начал давиться. Весь покраснел, зашелся в кашле…

За мной прибежала Кати. Я бросился в комнату Сони. Одним махом отшвырнул ее от ребенка. Быть может, я вложил в это движение больше силы, чем требовалось. Соня упала. Заплакала. Потом встала, замахнулась на меня кулаками. Оскалила зубы, издав нечленораздельный крик ярости. Повернулась к ребенку:

— Он тебя защищал! Знать тебя больше не хочу! Понял? А за то, что он тебе помогал, я еще накажу тебя, когда он уйдет, вот увидишь! — И прошипела уже мне: — Так и знай, я его больше не хочу!

— Не хочешь? — холодно сказал я. — Хорошо!

И я протянул руки взять сына. Не тут-то было. Помешанная схватила со стола миску из-под компота и швырнула ее мне в голову. Я едва успел уклониться.

— Ради бога, уйдите! — прошептала пани Бетынька.

Я ушел, провожаемый торжествующим хохотом Сони. Спустился к Хайну.

— Ничего мне не говорите! — взмолился старик. — Что вы можете сказать? Что она буйствует? Это старо… Что она хотела катать ребенка по полу, как скалку! Пыталась засунуть ему в рот его же ножку? Зажимала ему ноздри, так что он задыхался? Все это я знаю. Она очень изобрета-

тельна. Кусала его в порыве любви? Нарисовала ему чернилами усы, чтоб он стал похож на меня? Вы не можете сказать мне ничего нового. Даже ее фантазия имеет предел.

— Пока мальчик подрастет настолько, что его можно будет отнять у нее, мы все сойдем с ума, — жестко проговорил я.

— И это, Петр, было бы лучше всего! — скорбно прошептал Хайн. — Как это славно — болтать себе что-то и быть счастливым! Помешательство — это второе детство, вы не заметили? Наверное, столь же блаженно… Писать дневник сэра Хэкерли! Любить волнение вод, шорох ветра в траве, опаданье умерших листьев… Знаете, Петр, когда я встаю по утрам, у меня всегда теперь как-то неприятно кружится голова. И не только по утрам — достаточно мне ненадолго прилечь после обеда. Уже не раз случалось, что, встав со стула, я пошатывался. Думаю, недолго мне осталось жить…

— Вы бы поговорили с Мильде.

— Зачем? — с жаром вскричал он. — Разве я говорю, что хотел бы выздороветь?

— Простите меня, — устало сказал я, — не могу я говорить с вами с тем участием, какого вы заслуживаете. Голова моя полна ребенком…

— Моя тоже, — прошептал он. — Я тоже полон мыслей о своем ребенке!

И он хрипло, безнадежно засмеялся.

Я ушел от него в задумчивости. Придется самому посоветоваться с врачом, это было мне ясно.

Не имело смысла спрашивать этого совета при Хайне. Я хотел иметь полную свободу выражений. Я созвонился с Мильде и поехал к нему в амбулаторию, пораньше уйдя с работы.

Мильде восседал среди реквизита своей профессии, как некий божок. Однако встретил он меня довольно приветливо и выслушал с непривычным вниманием. Я же выложил ему все мои беды. Он кивал, задумчиво смотрел в пространство, молчал.

— Мы, разумеется, тщательно следим за ней, — подчеркнул я.

— Естественно, иначе и нельзя, — буркнул он.

— Не так давно, — с упреком продолжал я, — вы говорили, что природа выступает в роли творца. И что сумасшедшая мать столь же осмотрительна с ребенком, как и нормальная. Видимо, Соня — исключение из правила. Порой приходится контролировать и природу. Из любви, из материнского инстинкта Соня может когда-нибудь укусить или задушить ребенка.

— Я тогда имел в виду не мать, а роженицу, — вяло возразил Мильде.

— Да, в общем-то неважно, что вы говорили тогда. Важно то, что вы скажете сегодня. Я пришел за советом. Нет, можете не отвечать сразу. Я подожду, я терпелив. Что-то надо делать. Так дальше оставаться не может.

— О чем же тут думать? Существуют лишь два решения: оставить ребенка при ней или отобрать у нее. Если отберете, приготовьтесь к тому, что ее придется увезти в клинику.

Я сидел на стуле напротив него и, потирая подбородок, обдумывал его слова.

— Я могу выдержать многое, — проговорил я немного погодя, — но тут я себе уже не доверяю. Тогда уж спервa надо надеть смирительную рубашку на старого Хайна…

— Я не сказал, что вы обязательно должны удалить из дому вашу жену! — раздраженно возразил доктор.

— Конечно, нет, — тем же тоном отозвался я. — Вы только предупредили, к чему может привести, если отнять у нее ребенка. А если оставить?

Он как-то странно ухмыльнулся, но ничего не ответил.

— Вы же знаете, как он мне дорог! — с нажимом

произнес я.

Тут Мильде и разговорился. Он даже встал, начал читать целую лекцию. Он рекомендовал осторожность.

— Я знаю, вы осторожны, но в данном случае кашу маслом не испортишь. Следите за каждым ее движением, когда ребенок у нее на руках. С ней будьте добры, уговаривайте ласково. Если ее вывести из себя, раздражить, разозлить — она может излить свою ярость на ребенка. Лучше всего постепенно начать искусственное питание. Говорите, рано? — Ничего. Ребенок привыкнет. Вы должны подготовиться ко всяким неожиданностям. Нынче уже известна полноценная замена материнского молока. Нужно только сделать так, чтобы переход к искусственному питанию не был слишком резким. Понимаете? Я могу проинструктировать вашу Кати. Впрочем, у вас есть пани Бетынька. На нее вполне можно положиться. А старый пан… уже сильно сдал!

Я рассказал ему о недомоганиях, которые теперь испытывает старик.

— Неприятно только, что с ним, вероятно, будет чем дальше, тем хуже. Я понимаю, вас сейчас это не очень интересует. И я вам в конце концов не удивляюсь. Не знали мы с вами, какие нас ждут

заботы, правда? — Он улыбнулся мне чуть ли не с симпатией. — Что поделаешь — надо через это пройти!

— Через что? — многозначительно спросил я.

Он покраснел.

— Кажется, вы сами когда-то твердили мне, что все внимание надо обратить на ребенка — а уж потом на мать.

— Да, я так говорил.

— В таком случае не ловите меня на слове, когда я отвечаю в духе ваших же вопросов. Я лично чую теперь опасность в каждой мелочи. Ну что ж, боритесь — это ваш долг. Боритесь за то, что вам всего дороже. Не забывайте, однако, что и она — несчастный человек! Посочувствуйте ей. Я уже сказал: отнять у нее ребенка означает окончательно ее погубить. К этой мере надо обратиться как к последнему средству, когда все остальные не оправдают себя. Но мы с вами мужчины. И не можем упускать из виду и эту последнюю возможность.

— Кажется, я вас понял, — серьезно проговорил я. — Когда наступит решающий момент — пожертвовать матерью ради ребенка.

— Этого я не говорил, — вскинулся Мильде. — Вы как-то странно выражаетесь… Я начинаю

думать, что пришли вы для того только, чтоб свалить ответственность на меня…

Я не ответил. Продолжать разговор было бессмысленно. Я взял шляпу и поспешил поблагодарить его. Он неохотно пожал мне руку, бормоча себе под нос, что бывают люди, которым не стоит давать никаких советов. Я не слушал его. Со всех ног помчался вниз по лестнице.

Так, хорошо, — твердил я про себя по дороге. Искусственное питание можно начать прямо сейчас. Я, конечно, и дня не промешкаю. Но еще я должен бороться, должен использовать все средства, чтоб спасти то, чего все равно спасти нельзя. Но это сейчас не так важно. Все равно сейчас нельзя принимать никаких решительных мер. Ребенок должен сперва привыкнуть. Ах, все тот же отчаянный, мучительный бег, а кругом — вздымающиеся волны потопа! Но я его вынесу на берег, чего бы это ни стоило! Грудь моя поднималась в волнении и избытке решимости.

Крестным отцом Пети был Хайн, крестной матерью — тетка Каролина. Это обстоятельство приходило мне на ум всякий раз, как я видел эту парочку вместе. Меня передергивало от отвращения к этим двум свидетелям его рождения. Мне казалось — его вступление в жизнь было

осквернено, когда старики засвидетельствовали это событие своими дрожащими подписями. Насколько приятнее было бы мне видеть имя Кати под именем хрупкой крошки! Такая мужественная и радостная Парка осветила бы его судьбу незаходящим солнцем!

Хайн неважно исполнял роль крестного и деда. Да я и не слишком винил его в том. Тесть мой был уже недостаточно гибок в своих чувствах, чтобы перенести центр тяжести любви с дочери на внука. Тетка свою роль играла еще хуже, но ей я не мог этого простить. Она не интересовалась моим ребенком. Она едва, да и то мимоходом, упоминала о нем. Не принимала участия в борьбе за его жизнь. Очень редко всползала наверх, в Сонину комнату. Не помню, чтоб она хоть раз склонилась над колыбелью и с любовью взглянула бы на личико спящего младенца. Наши тревоги она выслушивала с равнодушным видом. Кивала головой, но никогда не давала понять, на чьей она стороне в этом споре.

В один из редких своих визитов у Сони тетка была очевидцем того, как помешанная во что бы то ни стало старалась посадить младенца.

— Ты должен научиться! — злилась она. — Должен! Это же пустяки — сидеть! Это все умеют!

Кирилл обрадуется, когда увидит! Ах, ты не слушаешься меня? Я тебя побью!

А старуха медленно разинула рот, лицо ее скривила гримаса смеха. Зоб ее вздулся, глаза еще больше выкатились. Она беззвучно смеялась, пристукивая клюкой об пол. Это ее забавляло. Пани Бетынька пыталась образумить Соню, отвлечь ее внимание от мальчика — тетка ей в этом не помогла. Ей, может, даже не нравилось, что тут хотят прекратить интересное представление!

Я мог положиться только на Кати и на пани Стинилову. Но ассистентка уходила, когда истекали часы ее работы. А выйдя за порог нашего дома, она выбрасывала из головы все, что оставляла за спиной. Ей за это уже не платили.

— Кати, — сказал я однажды девушке, — если вам удастся сделать так, чтоб ребенок вышел цел и невредим из самого худшего — вы никогда об этом не пожалеете. Я вознагражу вас.

Кати рассердилась:

— Я что, для награды стараюсь? Никогда больше так со мной не разговаривайте, ладно? — И, помолчав, добавила: — Жаль, что вы так плохо меня знаете…

Я обратил все в шутку:

— Ну, Кати, вы не должны понимать это так.

Я очутился примерно в том же положении, как король в сказке, который за спасение принцессы готов был отдать полкоролевства.

— А у вас нет королевства, — отрезала она, еще не примиренная.

И я должен был признать, что Кати права, у меня действительно нет королевства. Оно еще принадлежало Хайну — правда, только номинально. А я был при нем вроде министра. Этого тоже никак нельзя упускать из виду!

Кунц теперь снова зачастил к нам. Его привлекал малыш. Привлекал в душе — внешне пан директор по-прежнему сохранял полное достоинство. Но в том пристальном взгляде, какой он устремлял на Петю, я подмечал умиление. Чтоб скрыть его, Кунц поглаживал свою рекламную бороду и угощал нас своими излюбленными благоглупостями. Ему явно не хватало собственного внучка. В такие минуты я испытывал к нему чуть ли не привязанность.

Безрассудное обращение Сони с ребенком расстраивало Кунца. Как только она начинала дурить, затевала какую-нибудь опасную игру с малышом, Кунц отворачивался, ерзал на месте, терял нить беседы. А в самые напряженные минуты, когда Соню невозможно было образумить

никакими силами и маленький страдалец заходился в крике, Кунц не выдерживал и поспешно прощался. Он не мог вынести такого душераздирающего зрелища.

Случилось как-то при нем, что Соня, сопровождаемая Кати и пани Бетынькой, напрасно уговаривавших ее, притащила ребенка в теткину гостиную, привязав его к спине каким-то платком. Она горбилась и хромала, приговаривая:

— Я старая цыганка, таскаю на спине цыганенка… Посмотрите, как ему там хорошо! Теперь я всегда буду так носить. Это удобно и весело!

А ножки младенца вывалились из платка, головки и вовсе не было видно — ребенок постепенно выскальзывал… Кати поддерживала его снизу, а Соня нарочно прыгала как бешеная, чтоб мешать ей.

— Не трогай его! Ему там хорошо! Он даже не плачет, сама видишь!

Ребенок не плакал только потому, что уже задыхался.

— Соня, Соня! — жалобно выкрикивал Хайн. — Ты его искалечишь!

Я вскочил, чтоб вмешаться, но меня опередил Кунц. С неожиданной стремительностью он подхватил узел на спине Сони и двумя точными

движениями высвободил ребенка. Соня и оглянуться не успела, как мальчик был уже у Кати на руках.

А Кунц, красный, как индюк, принялся отчитывать Соню. Никогда не видел я его в таком гневе! Он кричал. Смешно было с такой страстью обращаться к помешанной, но в этом, более чем когда-либо раньше, проявилось скрываемое чувство педагога.

— Неразумная мать! — кричал Кунц, размахивая рукой с зажатой в пальцах сигарой. — Неужели вы не можете воздержаться от своих причуд? Неужели уж ни один разумный человек не в силах повлиять на вас? Если сами вы не уверены в своей способности решать, что можно, а что нет, почему не доверитесь людям, которые вам подскажут?!

Я с радостью отметил, что в этом вопросе Кунц на моей стороне и что я могу положиться на него при каждом моем шаге в интересах малыша.

Удивительнее всего, что Соня стерпела упреки Кунца без возражений. Она не заспорила, не раскричалась, не стала угрожать. Опустив голову, чертила пальцем по столу, как школьница, которую отчитывают. Так вот что может укротить безумную, сказал я себе: неожиданная строгость!

Соня опомнилась нескоро. Высунула нам язык и убежала.

— Мало вы ее наказывали, — позволил себе замечание педагог, весь еще во власти своего отважного выступления. Но теперь к этому примешалось еще и оскорбленное самолюбие.

— Она и так уже слишком наказана, — печально возразил Хайн.

Теперь, конечно, Кунц уже не знал, чем загладить свою резкость. Он бормотал что-то, улыбками просил у Хуго прощения, спрашивал взглядами тетку… Та с достоинством восседала во главе стола, не проявляя своего отношения ни единым движением бровей.

Соня становилась чем далее, тем более неуправляемой. Настроения ее менялись с непостижимой быстротой. В мозгу ее возникали все новые и новые выдумки. Речь ее стала торопливой и спотыкающейся, и говорила она немного нараспев. Она перескакивала через слова и целые предложения, не имея терпения логически изложить свою мысль. Так же выражала она и свои желания, непонятные и незавершенные. Ее не понимали — она бесилась.

Словно во внутреннем механизме отказали все регуляторы. Пружина раскручивалась все быст-

рей, быстрей… Только начнет кормить сына — и уже ей это надоедает. Тогда она кривила губы, топала, злобно шипела, отрывала дитя от груди и бросала его в колыбельку:

— Хватит! Не могу больше. Мне щекотно! Пусть подождет. Сейчас у меня нет охоты.

И бежала дубасить по клавишам. Петя плакал, голодный.

Кати ее уговаривала — чаще всего напрасно. Совет Мильде оправдал себя: ребенка начали прикармливать. Но это бесило Соню.

— Что вы ему даете? Я не желаю, чтоб ему давали что-нибудь без моего разрешения!

И она старалась вырвать ребенка. Когда мальчика невозможно бывало уберечь от нее, его уносили. Тогда Соня колотила в дверь кулаками и ногами, ругалась, плакала, билась головой об пол…

Я никогда не подумал бы, что рояль может стать таким страшным инструментом в руках безумной. Она ни с кем не считалась, отдаваясь игре, ее не останавливала даже мысль о ребенке. Она способна была начать сумасшедший концерт, хотя бы ребенок мирно спал, и барабанила с такой яростью, что не слышала ни криков сына, ни урезониваний пани Бетыньки.

Она вдруг стала удивительно любопытной. До сих пор она не вмешивалась, когда ребенка купали, но теперь решила это делать сама. Напрасно ее оттесняли от ванночки. Она лезла вперед, всем мешала, а когда ее уговаривали, отвечала шалостями, которые могли иметь печальные последствия. Пыталась добраться до ребенка и опустить ему головку под воду. Если ей удавалось хотя бы брызнуть мыльной пеной ему в глазки и он начинал кричать, она злорадствовала:

— Вот вам за это! Так вам и надо!

— Нет, так дальше дело не пойдет, у меня уже каждый нерв натянут как струна! — жаловалась пани Бетынька, это воплощенное спокойствие и терпение. — Я от такой службы заболею! Не привыкла я к таким комедиям…

Соня поймала в саду жужелицу и пустила ее в коляску сына. В отчаянной жучиной панике жужелица поползла по ребенку, пытаясь спастись. Кати с трудом удалось одолеть Соню, защищавшую подходы к коляске, и избавить зашедшегося в крике ребенка от маленьких, быстрых царапающих лапок.

Сад — это была новая опасность. Наступила чудесная весенняя погода, и ребенка держали на воздухе как можно больше. Соня приставала, чтоб

ей самой дали возить коляску. Едва добившись этого хитростью или обещаниями, она разом сбрасывала с себя смиренный вид, и начиналась дикая беготня. Соня носилась, толкая коляску, подскакивавшую на камнях и корнях, по канавкам и упавшим сучьям, и дико, ликующе кричала — а за ней бежала испуганная преследовательница… Легче всего Соне удавалось обвести вокруг пальца Бетыньку. Кати никогда не поддавалась ни ее притворному спокойствию, ни ее лживым слезам.

Когда ребенка выносили в сад или уносили домой, требовалась особая осмотрительность. Пока обе женщины — Кати и Бетынька — с трудом спускали коляску с лестницы, Соне представлялась прекрасная возможность озорничать. Она хватала мальчика и убегала с ним, как дикая, в сад. Или щекотала Кати под мышками, когда та обеими руками поднимала коляску и не могла защищаться.

По этой причине к службе у Пети был нарядже еще и Филип. Стоило посмотреть, как он, стесняясь, шагает рядом с коляской наподобие почетного караула. С улицы его, конечно, никто не видел, но парнишка-то воображал, что над ним смеется весь свет. Когда от него зависело

защитить ребенка, он действовал стыдливо и по-мальчишески. Паржик лучше бы подошел к этой роли, он был поворотливей и самоотверженней, зато слишком мягок — вмешиваться решительно ему помешало бы преувеличенное почтение, которое он питал ко всей семье хозяина. Он подобострастным тоном урезонивал помешанную, а когда доходило до физической борьбы, не осмеливался ее тронуть.

Я держал совет с Кати — как бы сделать так, чтоб Соня не участвовала в прогулках сына.

— А если ее на это время занимать чем-нибудь в ее комнате?

— Но чем?

— Безразлично — хотя бы тем, чем занимают больных детей. Например, купить ей переводные картинки, увлечь шитьем одежки для ребенка или заставить рисовать, разгадывать ребусы…

— Что вы, из этого ничего не получится, — качала головой Кати. — Она вбила себе в голову, что будет портить нам прогулки. Ее это ужасно забавляет!

Я все-таки купил переводные картинки — Соня на них и не взглянула. Она составляла пестрые узоры из разных тряпочек, но едва ребенка несли к двери — она уже тут как тут. Не собиралась упус-

кать заманчивой возможности повеселиться.

Запирать ее на время прогулки Пети? Я подумывал об этом, но в конце концов не решился. Если ее запереть, то всю свою злость она выльет на ребенка, когда тот вернется. Пока мы не собираемся отобрать у нее сына совсем, лучше не раздражать ее.

Мать — или дитя? Нет, в эту наивную игру я не играл. В моем кармане был только один черный камушек — для Сони. Но все же колеблешься нажать на спусковой крючок, когда знаешь, что оружие направлено точно и наверняка поразит цель. Я мучился нерешительностью, время шло, а над ребенком висела постоянная угроза. Дурацкие выходки следовали одна за другой, злые забавы сменяли друг друга — но молния ударяет не в малую кучку камней, а в дерево. Я пересчитывал Сонины грехи, и все их было еще недостаточно, чтоб нанести ей смертельный удар. Я сам поражался своей нерешительности.

Двадцать пятого апреля было воскресенье. Мне нетрудно проверить эту дату. Копаясь в документах, я нашел старый календарь Хайна от того года, и там этот день был отмечен. Просто дрожащая черная черта перечеркнула ярко-красные цифры — и больше ничего.

Солнце закрывали тучи, но было тепло. Могло быть часа три пополудни. Я угрюмо смотрел в окно, как Бетынька старается не подпустить Соню к коляске. Филип выпросил себе выходной, а Кати еще не спустилась в сад — она поспешно прибирала Сонину комнату. Хайн лежал у себя. Уже несколько дней у него держался легкий жар, и он потерял аппетит. Я стоял у окна, чтоб успеть на помощь Бетыньке, как только будет нужно.

Я пристально следил за двумя фигурами — широкой, смешной Бетыньки и стройной, девичьей Сони, которая то приставала к ассистентке, то прикидывалась безразличной, разглядывала букашку в траве, углубление в песке, то бегала вокруг, как охотничий пес, то присаживалась на корточки, как маленькая.

Тут Петя выбросил из коляски соску. Бетынька заметила это только тогда, когда малыш начал плакать и размахивать ручонками. Я видел, как достойная матрона озирается — а соску-то уже подняла Соня и спрятала за спину с самым невинным видом. Будто и знать ничего не знает. И ничего особенного не происходит.

Я не мог слышать, но я видел, как Бетынька спросила Соню; та подняла глаза, улыбнулась, показала — мол, соска вон там, сзади, за пово-

ротом дорожки! Небольшое колебание — Соня безучастно смотрит на небо, затянутое облаками, Бетынька решилась. Оставив коляску, побежала назад. Ребенок машет ручками, широко открывает рот…

Хищным зверем кинулась Соня к коляске. Вот выхватила ребенка, вот помчалась с ним… Я с проклятием ринулся вниз.

Меня встретил крик — Бетынька звала на помощь. Почему она кричит с таким ужасом? — испугался я, хотя еще ничего не мог увидеть. Пробежал мимо пустой коляски. За поворотом увидел страшную картину: Соня, одной рукой прижимая к себе ребенка, а другой упираясь в наклонный ствол березы, с обезьяньей ловкостью лезет по выщербленной штукатурке на высокую ограду сада… Тяжеловесная Бетынька стоит внизу, отчаянно сжав руки, — она не может лезть за Соней… Как-то Хайн рассказывал, что Соня в детстве устроила в ограде ступеньки, — наверное, тут и было то самое место.

Пока я добежал, Соня вскарабкалась почти на самый верх. Придерживаясь за качающуюся ветку и помогая себе локтем руки, в которой держала ребенка, она делала последние усилия. От ужаса у меня застыла кровь. Малыш уже наполовину

выскользнул из одеяльца, сейчас упадет… А высота ограды в этом месте не меньше трех метров…

Ей все-таки удалось забраться со своим грузом на самый верх. Она села верхом на ограду.

— Ты только посмотри! — торжествующе обратилась она к ребенку. — Там — мир! Ты еще никогда его не видел. Просторный мир!

Я подошел к самой стене. Подняв руку, я дотянулся бы до ее ботинка, но до ребенка достать не мог.

— Соня, — преодолевая волнение, произнес я серьезным и решительным тоном, — дай мне мальчика!

— Он не твой, — отрезала она, даже не посмотрев на меня.

И — опять безумные слова:

— Мы высоко. Видишь, там — глубина. Как прекрасно!

Я попробовал незаметно для нее поставить ногу на первый выступ в штукатурке, но Соня искоса следила за мной — и только того и ждала. Теперь она уже *стояла* на стене с ребенком в руках! Как только не свалилась в ту или другую сторону…

— Только посмей! Сейчас же прыгну! Посмей только!

Я отступил в бессилии.

— Может, лучше вам отойти, чтоб она вас не видела, — дрожащим шепотом посоветовала Бетынька.

— Это вы виноваты! — процедил я сквозь зубы. — Где это слыхано, из-за соски бросить ребенка без охраны! Я все видел из окна, вы не отопретесь. За это я еще спрошу с вас…

Я просто шипел от бешенства.

— Да, конечно, — покорно ответила Бетынька. — Ругайте меня, как хотите, я не стану оправдываться. Все равно я тут последний день. Никогда больше к вам не приду. Пусть только ребенок окажется в безопасности — я тут же сложу свои вещи, и больше вы меня не увидите. Ходите за ними сами… Не могу я больше видеть ничего подобного! Это выше человеческих сил…

Я ощутил на шее теплое дыхание. Кати!

— Что будем делать, Кати? — в отчаянии спросил я через плечо.

Соня уже опять уселась на ограду.

— Ничего, — ответила Кати со всем спокойствием, на какое только была способна. — Подождем, пока слезет. Не останется же она там вечно.

И она улыбнулась, чтоб подбодрить меня.

Соня запела. Ох, пусть бы пела подольше! — мысленно молил я. Меня ужасали смены ее

настроений. Что она сделает, когда ей надоест смотреть на поля, леса, далекие дали? Ужас! Она вот что придумала: положить ребенка на ограду. Верх ограды сужался наподобие крыши. Гребень был выложен полукруглой черепицей. Соня укладывала ребенка осторожно, очень осторожно, но он скатывался то на ту, то на другую сторону этой маленькой крыши. Если она не прекратит своих сумасшедших попыток, ребенок свалится!

— Вни-ма-ние! — беззвучно, одним движением губ предупредил я Бетыньку: крикнуть я боялся.

Кати до боли сжимала мне локоть — она тоже вся была начеку. И тут Петя перевесился на нашу сторону — полетел вниз, Бетынька бросилась вперед, повалив при этом подбежавшую Кати, и поймала только конец свивальника, свивальник размотался, и ребенок упал в траву.

— Иииииииии! — завизжала на стене Соня, обхватив голову руками.

Никто не обращал на нее внимания — Кати уже прижимала ребенка к груди. Он заходился от крика.

— Что с ним? — еле выдавил я; у меня невыносимо заболело в желудке.

— Ничего… Я уверена — ничего! — Кати ободряюще тряхнула кудрями. — Он упал не на головку.

Кричит просто от испуга. Сейчас, сейчас успокоится… Шшшш, шшшш. От боли он не так кричит! Но доктора все-таки вызовите, ладно?

Соня кошкой спрыгнула со стены и кинулась к Пете. Я схватил ее руку и завел ей за спину.

— Пожалуйста, не обижайте ее, она ведь не виновата, — поспешно, задыхаясь, попросила Кати.

Через час Мильде, посвистывая, склонялся над ребенком. Соню заперли в ее комнате. С ней была Кати. Помешанная подозрительно притихла. Наверное, сообразила, что сделала нечто, заслуживающее наказания. Мильде мял ребенка, выгибал его, сводил локотки с противолежащими коленочками, внимательно вглядывался в глазки. Хайн, в халате, робко, затаив дыхание, следил за ним. Ребенок плакал, но перестал, как только доктор кончил осмотр, и с любопытством потянулся к его пенсне.

Мильде отрицательно качнул головой:

— Нет, он не пострадал. Все обошлось.

— Обошлось!.. — слабым голосом выговорил я, испытывая обморочное головокружение. — Спасибо… Но можете ли вы на этот раз… поручиться?

Мильде иронически посмотрел на меня:

— Да, могу.

— Ну — и?

— Что «и»? — переспросил он, но, не дожидаясь объяснения, торопливо стал собираться.

Как только он ушел, я посмотрел в глаза Хайну, потом тетке и сказал медленно, четко, как перед судом:

— Так. А теперь хватит. Она его больше не получит.

Никто из них не возразил, тогда я повторил:

— Никогда больше она не увидит своего ребенка.

— Конечно, — согласился Хайн, зябко кутаясь в халат.

А тетка запротестовала:

— Кто его будет кормить?

— Не беспокойтесь, — грубо ответил я, готовый к спору. — Выкормим сами, без нее. Я достаточно предусмотрителен. И давно говорил об этом с доктором.

Ту ночь Соня проспала довольно спокойно, только изредка с тоской звала во сне Невидимого и хныкала, не просыпаясь. Утром мы ее отперли, чтоб дать ей погулять, но Петю заперли с Кати в ее каморке. Соня бегала по коридорам, по саду, допрашивала отца, тетку, Филипа — и движения ее становились все лихорадочнее, круги все более

сужались, отчаяние нарастало…

Я не поехал на завод, предупредив по телефону Чермака.

Соня уловила тихое гульканье сына за Катиной дверью. Начала звать, просить. Я стоял за ее спиной и злорадно усмехался.

— Кати! Кати! — звала помешанная сначала просительно, потом яростно. — Кати!!

— Не трудись, — добродушно сказал я ей в одну из пауз, когда она прислушивалась к шорохам за дверью. — Мы тебе его больше не отдадим.

Она круто обернулась и бросилась на меня. Я не шелохнулся. Она остановилась в разбеге, стала грызть свои кулаки. Ни кричать, ни ругаться она не могла — горло у нее перехватило.

— Теперь отправляйся в свою комнату, — зловещим тоном приказал я.

Она не послушалась. Тогда я взял ее за локоть, потащил, несмотря на ее сопротивление. Запер. Моему мальчику пора было спать, ему нужна была тишина.

За Сониной дверью поднялся адский шум. Это был вой, это было бешенство. Соня вопила на одной непрекращающейся ноте, отчаянно, до хрипоты.

Хайн метался в своей постели, бледный как

стена. Но молчал.

— Это пройдет, — твердил я, криво усмехаясь.

Не прошло. Она умолкла только к вечеру, побежденная смертельной усталостью. Проспала остаток дня. В полночь начала буйствовать снова. Я услышал грохот, звон осколков. Вбежал к ней в одном белье — она как раз замахнулась окровавленным кулаком, чтоб разбить еще что-нибудь.

Я схватил ее. Трудно было ее удержать. Она яростно дралась. На губах ее выступила пена. Кати позвонила доктору.

Соня уснула только под утро тяжелым сном, одурманенная инъекцией.

18
ЗАНАВЕС ПАДАЕТ

Мильде со шприцем в руке был уже совсем не тот Мильде, который недавно, в своей приемной, излагал мне возможное развитие душевной болезни моей жены. Сейчас он знать ничего не знал о тогдашних своих намеках — они ведь могли иметь самый разный смысл. Сейчас он был только врачом и свидетелем рискованного эксперимента над больной женщиной, подвергшейся смелому испытанию, в результате которого могло ухудшиться ее состояние. Мильде хранил чрезвычайно официальный вид. Что бы ни проистекло из сложившегося положения, ему было важно одно — иметь право умыть руки и сказать: моей вины тут нет.

Отчужденно спрашивал он, почему я не хочу попробовать еще раз доверить ребенка помешанной. Быть может, теперь она будет осторожнее, когда была так сурово наказана.

— Ваши меры повлекли за собой последствия, не надейтесь, что больная забудет о ребенке и вернется к прежнему терпимому состоянию.

Впрочем, — добавил он более мягко, проницательно заглянув мне в глаза, — вы отец ребенка. Я не собираюсь вас уговаривать.

— Пан доктор, — твердо ответил я, — я уже решил. Я добросовестно обдумал все. И уверен, что действую, как должно.

Он явно был рад, что эти слова сказаны, и тотчас с облегчением продиктовал мне необходимые меры. Он предполагает, что нам желательно ухаживать за больной в домашних условиях. В таком случае он обязан нас предупредить, что в том состоянии, в каком он сейчас нашел больную, она не совсем безопасна для тех, кто с ней соприкасается. Следовательно, спать она должна одна, никому нельзя ночевать с ней вместе.

— Почему? — детски наивно спросил Хайн.

— Но это же так ясно. — Мильде старался объяснить как можно деликатнее. — Спящий беззащитен, а причуды помешанных на этой стадии болезни бывают весьма странными. Такой же осторожностью нужно окружить ее самое. Из помещения, где она будет находиться, необходимо убрать все предметы, которыми она могла бы причинить себе вред.

В интересах здоровья Сони Мильде рекомендовал каждый день выводить ее в сад на прогулку,

но при этом обязательно должен присутствовать хотя бы один мужчина. На то время, что ее будут оставлять одну, ее следует тщательно запирать. Дверь ее комнаты надо снабдить глазком, чтоб наблюдать за ней, а окна забрать решетками.

— Значит, вы думаете, приступы будут повторяться? — ужаснулся Хайн.

— Увы, это более чем вероятно.

На следующее же утро пригласили каменщиков и плотников.

Решетку поставили изнутри, так как окна в вилле открываются наружу. Внутреннюю раму вынули. Сама решетка была достаточно частой, чтоб Соня не могла снова пораниться о стекло. Это несколько затрудняло проветривание; к счастью, в окне была форточка, как во всех старых домах, ее можно было открывать и закрывать специально к тому приспособленным шестом.

После ухода рабочих в комнате остался сильный запах свежей известки. Пятна штукатурки, которой заделали отверстия, закрасили кое-как. Солнце отбрасывало на пол тень решетки, и эта тень медленно проползала с западной к восточной стороне, беззвучно ощупывая все предметы поочередно. Когда мы вечером ввели туда Соню, солнце уже садилось. Соня была еще одурманена

после искусственного сна и отупела после вчерашнего буйства. Она робко и холодно смотрела в окно, словно не замечала новшества.

Только утром она стала кричать: испугалась. Хайн стоял у глазка (его проделали в двери из коридора, не из спальни) и всхлипывал. Он видел, с каким испугом смотрит дочь на окно, как она беспрестанно, все быстрей и быстрей, проводит ладонью по голове, от лба к затылку. Наконец она с криком бросилась к двери, забарабанила в нее кулаками:

— Где я! Это не моя комната! Что вы со мной сделали?..

Не получив ответа, она села на пол в углу около двери, недоверчиво рассматривая окно с решеткой. Потом в ней проснулось любопытство. Она подползла по полу к окну. Потрясла железные прутья. Приложилась к ним лбом. Попробовала просунуть руку. Обернулась. Стала смотреть на тень своей головы на полу, пронзенную тенью решетки.

Вдруг вспомнила о ребенке и принялась упорно требовать его. Стала браниться, выдумывая слова все злее и злее. Оглушая себя ими, выплевывала их беспорядочно. Затихала ненадолго — и начинала снова. Довела себя до хрипоты. Невозможно

было поверить, что там, за дверью, — та самая Соня-плясунья, Соня-читательница, Соня-хохотушка!

До обеда она вела себя еще сносно. Обедать отказалась, ни с кем не разговаривала — разыгрывала из себя обиженную. Щеки ее пылали. Вероятно, у нее был жар. То была реакция после вчерашнего приступа и результат внезапного прекращения кормления грудью. Видели, как она осматривает свои груди, как она беспокойна. Весь день она не одевалась. Невозможно было уговорить ее выйти из комнаты. Наверное, она прониклась ко всем необоснованным недоверием. Вообразила бог весть какие козни против себя. А вечером завопила, заплакала с визгами — еще хуже вчерашнего.

Она хорошо рассчитала время — я как раз садился ужинать. Съел два-три куска и отложил прибор. Аппетит пропал. Дверь из ее комнаты в спальню сотрясалась под ее кулаками, как кожа барабана. И все время, все время один непрекращающийся вопль, словно легкие ее вмещали неограниченное количество воздуха.

— Кириииииилл! Кириииииилл! Они отняли у меня ребенка! Помогиии!

Сцепив за спиной руки, я заходил по столовой. Из угла в угол, из угла в угол. Крики Сони

служили жутким аккомпанементом. Вернуть ей ребенка завтра, послезавтра, когда бы то ни было — значило подвергнуть его смертельной опасности, — подкреплял я свою убежденность. Нет, я не могу этого сделать!

Приплелся Хайн.

— Слышите? — выдавил он из пересохшего горла. — Вот оно, это улучшение, которого я ждал полгода… Доктора глупцы!

Я не ответил. Его убитый вид выводил меня из себя. Я испытывал к нему прямо-таки гадливость. Вот он, отец-гнилушка, в нем такая же порченая кровь! Почему, собственно, не разложился его мозг? Видимо, одному из семьи суждено стоять над пепелищем отчаявшимся очевидцем!

Помешанная буйствовала добрых три часа. Около одиннадцати она стихла так внезапно, что мы встревожились. Прислушались — за дверью шлепали по полу босиком. Что-то зашуршало — видно, она куда-то полезла, потом звук падения небольшого деревянного предмета, например, зонтика или чего-нибудь в этом роде. Мы не решались отпереть дверь и войти. Комедия могла начаться сызнова. А в глазок ничего не было видно — Соня не зажигала огня. Мы затаили дыхание. Наконец услышали шорох постельного белья.

Утром мы поняли, почему она вчера сидела впотьмах, — она разбила оба светильника, плафон на потолке и бра над роялем. Удивительно, как мы не слышали звона стекла. Заменили лампочку на потолке, снабдив ее защитной проволочной сеткой. Осколки вымели, но за обедом она разбила тарелку. Облилась супом. Есть ничего не стала — только плакала навзрыд и молила отдать ей ребенка. Волосы ее растрепались, черты лица исказились.

Почти все следующие сутки она была спокойна. К вечеру даже поддалась на уговоры и вышла погулять. С интересом ходила по саду в сопровождении запуганного Хайна; останавливалась при каждом шорохе ветвей, при каждом чириканье птички, не могла оторвать глаз от пурпурного заката. Поужинала с хорошим аппетитом — впервые после первого приступа. Заснула без всяких сцен.

Спала она очень долго, но сон только придал ей сил для нового буйства. Концерт затянулся далеко за полдень. Она требовала Петю, требовала отпереть дверь и убрать решетки. Ничего не добившись, растянулась на полу во весь рост и притворилась мертвой. Затихла. Но передышка была недолгой. В девять вечера снова разразилась

буря. Помешанная отлично выспалась и могла себе это позволить. В доме никто не сомкнул глаз до трех часов утра. Расплакался даже Петя, Кати никак не могла его успокоить. В паузах, когда безумная переводила дыхание, снизу доносился монотонный дрожащий теткин голос. Она молитвой отгоняла ужасный дух безумия.

Я лежал в кровати, закинув руки под голову, с открытыми глазами. Думал.

Прошло только четыре дня с того вечера, как она впала в буйное состояние, а мои силы уже были исчерпаны, я уже был как отравленный. Голова болела, под веками жгло, я чувствовал, как врезаются в мою кожу морщинки усталости, как вваливаются глаза. Несколько недель такой жизни — и я старик. Я не мог даже представить себе, что будет, если все это продолжится. Но как положить конец?

Дело не во мне, дело прежде всего в маленьком Пете. Может ли психоз опасений, тревог, отвращения, удрученности, охвативший весь дом, остаться без влияния на его душевное здоровье? Мне казалось почти невозможным, чтобы тоненькие волоски детских нервов, воспринимающие все эти жуткие звуки, этот отпечаток горя на лицах всех окружающих, не были бы разру-

шены постоянным ужасом. Таково-то счастливое детство, которое я хотел ему уготовить?

А что будет позднее, когда он начнет уже все понимать! Сейчас еще можно устроить так, чтоб он ее не видел. Но навсегда скрыть ее от него невозможно. В один прекрасный день он обнаружит ее комнату — Тринадцатую комнату, как в сказке, — и придется открыть ему, что существо, которое бегает со странными жестами по саду, и есть его мать. Даже если она вполне утихомирится, станет смирной подругой своего Невидимого, — как примириться моему сыну с тем, что мать у него сумасшедшая? Тогда его — как некогда Соню — начнет грызть за сердце *недобрый пример*. Сызнова возникнут *неблагоприятные обстоятельства* и примутся за свое пагубное дело! Меня уже теперь охватывал ужас при одной мысли, что когда-нибудь Петя будет копаться в прошлом, чтоб мучить себя, будет разузнавать о симптомах болезни матери — и сравнивать…

Сколько, в сущности, должно пройти лет, чтоб в мозгу ребенка неизгладимо запечатлелся образ помешанной? От силы — пять! За пять коротких лет судьба моего сына может быть решена. Мной овладело нетерпение. Ждать нечего. Соня должна

покинуть дом. Ради спокойного развития моего ребенка, ради всех нас!

Я знал, что Хайн не согласится на что-либо подобное, но плох тот генерал, который без боя отступает с важной стратегической позиции. Я еще не настолько пал, чтоб бояться переговорить с тестем. И я пошел к нему с самого утра.

Пока разговор кружился вокруг наших общих хлопот, Хайн слушал вполне спокойно. Согласился даже, что все это может пагубно отразиться на малыше.

— Вы правы, Петр, ребенок должен расти, окруженный счастьем. Надо, чтоб он видел вокруг себя только радостные лица. Бедняжечка, с самого нежного возраста ему суждено соприкоснуться со страшной болезнью!

— Для этого-то я и пришел, — с жаром подхватил я. — Это нужно предотвратить. Долг всех нас предпринять что-нибудь.

— А что мы можем предпринять? — уныло вздохнул он. — Лучшее, что можно сделать, — ждать. Со временем она, даст бог, успокоится.

— Я прошу лишь об одном, — мягко проговорил я. — Обещайте, что не будете возражать против самой кардинальной меры, если улучшения не будет.

— Что? Что? — испугался старик, еще не поняв как следует. Потом он сообразил. Шея у него покраснела. — Вы хотите… отправить Соню в сумасшедший дом?!

О, это было великолепное зрелище. Не знаю, видал ли я когда Хайна в таком раже. А я-то думал, он уже все равно что труп! Он кричал. Руки у него тряслись. Без конца повторялось словечко «никогда».

— Никогда я не соглашусь на что-либо подобное! Пока я жив — никогда!

Я изменил тон на просительный.

— Боже мой, ведь дело идет о жизни моего ребенка!

Он дико махал руками. Теперь-то он понял, зачем я отобрал у нее Петю! Это хорошо продуманная подлость!

Вдобавок ко всему встряла тетка. Явилась незваная, но как раз вовремя. То-то удовольствие для нее! Когда-то она пригрозила Хуго гневом божьим, и вот — оказывается, не зря!

— Он выжил из дому Кирилла, а ты ему помогал. Бог и наказал тебя. А он — все та же низкая тварь! Он и Соню выживет, сделается хозяином в доме. Мы старики, нам не защититься от его хищных лап!

— Да не будьте же слепы! — разгорячился я. — Если одно погублено, пусть хоть другое живет! Ведь решается судьба вашего собственного рода! Своим упрямством вы готовы затоптать жизнеспособный росток, который может еще избежать этой всеобщей погибели…

Хайн твердил одно и то же:

— Не воображайте, это вам не удастся!

— Правильно, Хуго, — похвалила его тетка. — Жаль только, что ты не был таким энергичным раньше. Многое мог бы предотвратить!

Я ушел. Дело не выгорело. Ладно! Я еще не знал, как поступлю. Одно было ясно: отвергнув мое требование, они навсегда освободили меня от обязанности действовать в белых перчатках. Впредь руки мои развязаны — во всех отношениях.

Заботам не было конца. Хотел бы я, чтоб нашелся добрый человек, который постарался бы представить себе мою жизнь в то страшное время.

Петя жил в каморке Кати, наиболее удаленной от комнаты его матери. Вопли безумной долетали сюда приглушенно. Где-нибудь внизу он был бы изолирован еще лучше, но я не решался доверить его тестю.

Когда ребенка вывозили в сад, Соню запирали.

Когда гулять выводили помешанную, тщательно запирали Петю.

На прогулках Соню чаще всего сопровождал Филип. И все время, пока он шагал рядом с ней или позади нее, она его ругала. Спотыкающиеся, бессмысленные, порой смешные бранные слова лились сплошным потоком. Больше всего ее раздражало, что Филип никак не мог приспособиться к ее торопливому мелкому шагу.

По воскресеньям Филип был выходной, и эту малоприятную службу отправлял я. Как сегодня вижу перед собой Соню: руки скрещены, ноги спотыкаются о камешки, нос кверху, ненавидящий взгляд устремлен на меня. И — неутомимая брань.

— Подлец, негодяй, мерзавец, вор… — Долгая пауза, чтоб набрать воздуху, и снова: — Бродяга, грязная свинья…

Я хмуро вышагивал рядом. Страдал от невозможности прекратить мутный поток, изливающийся из ее уст.

Но что это в сравнении с приступами бешенства, повторяющимися с удручающей регулярностью? Начинались они с крайнего возбуждения. Сонино лицо становилось гримасой, меняющейся ежесекундно. Она ни минуты не могла усидеть

на месте. Это она вспоминала о ребенке. Ноздри ее вздрагивали. Она искала сына. В таких случаях следовало как можно скорей водворить ее в ее комнату. И тогда начиналось… Горе всему тому, что могло разбиться и что мы не убрали вовремя! Ее конечности конвульсивно сжимались. Она выла, как волк, как ураган, она издавала все звуки, существующие в природе, которыми только можно выразить отчаяние или ярость.

Мы с Кати — если были одни — тихо сидели, рука в руке. Кати быстро-быстро моргала глазами. Говорила:

— Я уже лучше переношу это. Привыкаю.

Но вид ее обличал, что она кривит душой.

В конце концов силы помешанной иссякали; она валилась на пол в отупении — и наступала тишина того неприятного рода, когда мы слышим стук собственного сердца и тиканье карманных часов. Через глазок в двери открывалось отвратительное зрелище. Соня походила на опустившуюся женщину. На потаскушку после ночной оргии. Приступы нередко заканчивались рвотой, Соня давилась, задыхалась… После этого ее комнату тщательно убирали, подмывали пол. Она непонимающе, испуганно смотрела на эту работу с кровати.

В ее безумии все явственнее проявлялся эротический элемент. Животная сторона постепенно приобретала перевес в теле, которое покинул дух. Женщине нужен был мужчина. Ее призывы, обращенные к Кириллу, походили на страстное мяуканье кошки в пору любовного томления. Облик Невидимого изменился — он становился менее таинственным, зато бесконечно более гнусным. Соня спала с ним. К сожалению, она была слишком откровенна. Хвасталась ласками любовника. Вскрики и вздохи воображаемого соития становились все чаще с каждой ночью. Если в это время у меня была Кати, она убегала в смятении. При всем своем мужестве она не могла вынести эту оскверняющую пародию.

Соне нравилось показываться голой. Обычно она старалась ошеломить своей наготой того, кто первым входил к ней. Надменная, горделивая и безмолвная, как изваяние, поджидала она, стоя перед дверью. Потом стала раздеваться даже днем. При ком угодно. При Филипе, при Паржике. Не пощадила даже отца. Обнажившись, пускалась в бешеный пляс. Пела… Оказалось, что у нее прекрасная память. Человеческий мозг — граммофонная пластинка, на которой фиксируется все, даже краем уха уловленные звуки. В опреде-

ленных условиях давно воспринятое всплывает на поверхность. Соня распевала скабрезные песенки — я даже и предположить не мог, что она их знает.

Мильде перестал входить в ее логово. Он останавливался на пороге. Наблюдал больную прищуренными глазами. Потом поворачивался и без слова выходил в коридор.

— Ну как? Что? — засыпал его Хайн нетерпеливыми вопросами.

— Ничего, — кратко отвечал врач.

— Никакое лечение… не поможет? — чуть не плакал старик.

Однажды в ответ на это Мильде показал своей тростью на меня и серьезно проговорил:

— Разве что пан директор найдет в себе решимость исполнить супружескую обязанность. Возможно, такая попытка подала бы надежду.

— О, доктор! — возмущенно вскричал я. — Вы с ума сошли! Что вы обо мне думаете?

— Не понимаю, отчего вы сердитесь, — холодно отрезал тот. — Бывает, что состояние таких пациентов улучшается, когда их страсти утолены.

— Не желаю быть подопытным кроликом! — отрезал я.

С течением времени я делался все более жест-

ким, все более угрюмым. Я уже и не старался разгладить гневную морщинку над переносицей. Походка моя, прежде упругая и собранная, стала небрежной, выдавая внутренний разлад. Мне уже и не хотелось ничего скрывать. Все стало мне безразличным. Какой смысл держать в секрете закулисную сторону моей жизни? Она уже была известна всем и каждому. Когда я на заводе щелкал кого-либо по носу, то всегда, по огоньку в его глазах, видел, что этот человек находит удовлетворение в том, что знает мою частную жизнь. Этот зеленый огонек в глазах словно говорил: вот ты меня унизил, согнул — зато на твоем лбу написаны все твои преступления! Зато как жалка твоя судьба!

Какой был мне прок в том, что завод в моих руках, что все, к чему я прикасался, начинало расцветать? Что проку мне от моей веры в свои силы, от швайцаровской гордости человека, пробившегося собственными силами, если избыток пшеницы моей гниет в амбарах, если мои сундуки с золотом источены червями?

Дом стал мне до того несносен, что уже при входе меня душила ненависть. Все, кому выпадало соприкасаться со мной, испытали на себе мой нрав. На Хайна я смотрел не иначе, как с наглой

иронией. Я орал на Паржика, ругал Анну, высокомерно не замечал Филипа. Я страстно желал встречи с теткой, желал раз и навсегда выложить ей страшную правду. Она знала, чего ей от меня ждать. Избегала меня. Стала недосягаемой. Старая крыса, привыкшая к власти и к козням. Никак я не мог наступить ей на хвост. Бывало, встречу в коридоре, прошиплю вызывающее приветствие, оскалю зубы, готовый вцепиться — она обольет меня тусклым блеском своих глазищ и скроется бесконечно далеко, за завесой своего угрюмого молчания.

Я снова стал гулять один по вечерам, ходил, помахивая своей тростью с собачьей головой. В мыслях моих теснились все одни и те же ребусы. Все та же безвыходность давила душу. Что делать? Нет ничего страшнее неразрешимых проблем.

Раз как-то вернулся я домой в сумерки. В ту пору лили частые дожди, я был в непромокаемом плаще и в галошах. В холле было темно. Я оперся рукой о стену, чтоб снять галоши. Они все не снимались, были тесноваты. Сзади послышались шаги. Вошел Филип вместе с Паржиком, тихонько разговаривая.

— Другой раз прямо хоть плачь, — делился

старик с парнишкой. — Как вспомню — ведь на руках ее носил! Такая славненькая была… А теперь-то, бедняжка, всем в тягость…

— Чем так жить, — с хмурой решительностью ответил Филип, — то для нее же лучше помереть. Коли ей кто сочувствует, пожелал бы ей заболеть да на тот свет…

«Ах ты, Филип, Филип! — подумал я. — Какой ты смелый! Когда же это ты успел разглядеть, что у меня в душе, словно я стеклянный? Где научился ты отвечать на мои сокровенные вопросы?»

В саду у Паржика расцвела первая роза. И Паржик был польщен, когда я подошел понюхать ее…

Эта незначительная сценка запомнилась мне только потому, что в тот же день чуть не произошло роковое событие. Вечером, когда я возвращался с завода, Хайн бросился мне навстречу и, задыхаясь, рассказал, что только благодаря присутствию духа Филипу удалось спасти Соню от травмы, возможно, смертельной.

— И никто не виноват, — твердил старик, смаргивая и вытирая слезы. — Знаете, какой она была спокойной весь день, мы и предположить не могли, что в ней зародился такой ужасный замысел! Филип выводил ее гулять и только на

минутку отошел от нее, чтоб открыть форточку в ее комнате, а она и убежала! Кто мог ожидать от нее такой быстроты? Ведь в последнее время она стала такой ленивой… А тут — в несколько прыжков очутилась в мансарде!

— И — прямо в комнату Невидимого? — предположил я.

— В том-то и дело, что нет… Пойдемте, Петр, я лучше покажу…

Он потащился впереди меня вверх по лестнице. В старческой болтливости он хотел описать мне все подробности.

Он подвел меня к чердачному окошку в конце коридорчика, отделявшего каморку Филипа от чулана со старым хламом.

— Видите? — Голос у Хайна дрожал. — Она, верно, хорошо все продумала, иначе не действовала бы так уверенно! Одним движением отодвинула шпингалет, распахнула рамы — и уже уселась верхом на подоконник над пропастью! Подумайте только! Явно хотела забраться повыше… К счастью, Филип оказался проворней — успел стащить ее с подоконника. Потом уж, на его крик, прибежала Кати. Петр, ведь Соня… ведь она хотела *убить себя*!

Вон как, думал я меж тем, в теории-то Филип

смел, а на практике подвержен предрассудкам. И мне вдруг стало смешно, что именно Филип спас ее.

Я пошел взглянуть на спасенную, как ходят смотреть на дикого зверя, пытавшегося бежать из клетки, но, слава богу, снова посаженного на цепь. Соня сидела на краю кровати, отрывала от бумажки маленькие клочки — как срывают лепестки ромашек.

— Любит — не любит… Любит — не любит… Не любит он меня!

И она со вздохом опустила руки на колени, на ворох изорванных бумажек. Нет, то не было искаженное лицо самоубийцы — то была тупая маска жалкого идиота…

— Вот и все, — с отвращением вздохнул я, отходя от двери.

— Петр! — Хайн топтался около меня, как нищий, который все-таки не теряет надежды на милостыню, хотя его все время прогоняют. — Вы заметили, как она смягчилась? Скажите, неужели вам так уже невозможно войти к ней, посмотреть ласково, погладить, а то и поцеловать? Что вам стоит, Петр, попробовать?

— Вы что, вспомнили совет Мильде? — грубо спросил я.

— Ох, что вы! — жалобно вскричал он. — Я прошу вас только проявить хоть какое-то чувство!

— Чтоб она меня исцарапала и покусала? — Я принял насмешливый тон, чтоб сбить его со следа.

Потому что сегодняшний случай не выходил у меня из головы. Так, так, говорил я себе, стало быть, у нее все было продумано… прямиком наверх — и ногу через подоконник… Кто бы подумал? Я не удержался, спустился во двор, постоял под этим столь знаменательным чердачным окошком. Поднял глаза: высота неплохая, ничего не скажешь! А под окном Паржик тщательно замостил двор. Я долго качал головой, удивляясь. С чего это ей взбрело? Поссорилась с Невидимым? Или вдруг осознала безнадежность своего состояния? Я топтался на каменных торцах, полный беспокойства.

После ужина я вызвал Филипа, чтоб он рассказал мне все по порядку.

— Значит, Филип, вы ее таки спасли! — иронизировал я, изобразив, однако, благодарность на лице. — Вы и не представляете, как я вам обязан. Я обязан вам за ее драгоценную жизнь!

— Да ведь… если б *это* случилось, я бы до смерти не простил себе! — запинаясь, проговорил

парень. — Я не должен был оставлять ее одну…

— Конечно, — благосклонно заметил я, — но, к счастью, вы свою оплошность исправили, как настоящий мужчина.

Тут я уловил в глазах Кати лихорадочный вопрос — надо было переменить тон. Продолжать в том же духе было слишком опасно.

— Итак, вы стали открывать форточку, и тут услышали, как она побежала по лестнице — ну же, рассказывайте, как было дальше?

— Я бросился со всех ног… Я увидел…

— Да, да, — нетерпеливо перебил я его, — вы ее догнали. Мне интересно ваше впечатление: по-вашему, она действительно все делала обдуманно?

— Это уж точно, — с готовностью кивнул Филип. — Во-первых, кинулась прямо к окну. И не в комнату Невидимого, не в мою — там-то рамы двойные. Дольше было б открывать. А в коридорчике окно простое да деревянный ставень снаружи, который никогда не закрывают.

— Вы правы, правы… — согласился я, а в голове моей крутился как бы фильм: торопливым рывком Соня отбрасывает шпингалет, распахивает обе половинки окна, в страстном порыве перемахивает через подоконник — и бросается к своему

Невидимому… в его невидимый мир… полетом бескрылой птицы, беззаветным полетом покинутой возлюбленной… Не подоспей Филип… Я представлял себе, как просто было бы покончено со всем, как воцарился бы наконец покой в доме, как новая, лучшая жизнь началась бы для Пети — и для меня.

Но она ведь могла разбиться не насмерть, могла бы только пораниться, покалечиться… А, все равно потом умрет, — с уверенностью сказал я себе, — травма-то будет тяжелой… Что ты сказал?! — услышал я насмешливый голос моего лицемерия. Ты сказал — «умрет»? Наверное, хотел сказать — «умерла бы»? Ведь такой случай не повторится…

А если?.. Что, если повторится?

Тут я спохватился, что Кати и Филип наблюдают за мной, что на все мои вопросы отвечено и остается только поблагодарить.

— Ах, Филип! — измученным тоном проговорил я. — Вы понятия не имеете, как все это меня ошеломило!

И, вопреки обычаю, я долго жал его руку.

Филип ушел, я отпустил Кати. Теперь можно было думать без помех.

Разве это так уж трудно — немножко подсо-

бить… такой возможности? Я не сентиментален. Могу не опасаться, что меня остановит чувство жалости. Я из тех, кто умеет трезво различать. Та, которая была желанна мне, у которой я просил руки, и та, что скулит за запертой дверью, — не одно и то же лицо. Я никогда не утруждал себя размышлениями о добре и зле. Издавна без всякого почтения воспринимал я эти два понятия, поддерживающие одно другое и друг с другом переплетающиеся. В конце-то концов в чем заключалось бы мое преступление? *В умолчании.* Преступление ли — отпереть дверь? В худшем случае, умолчав об этом, я упрекну себя разве что в трусости. Но не такой я человек, чтоб поступиться хоть пядью своего положения в обществе во имя глупой правдивости. На свете много тайных злодеяний, так и оставшихся нераскрытыми. Добавится одно к миллионам — море божьего гнева не вспенится.

Я видел: сад… дом… все охвачено горем. Камни, на них — засыхающая кровь. Отзвуки замирают… замирают… проходят дни, месяцы, годы. Не осталось ничего, что напоминало бы о том, что когда-то здесь жили сумасшедшие. Старики умерли. В доме живут живые люди. Их уста замкнуты строжайшим запретом. Где твоя мама?

Бедненькая, умерла молодой. Можно даже пролить крокодилову слезу. А кто такая Кати? Ну, скажем, бедная родственница. Нет, Кати никогда меня не предаст. И не будет *грозного примера*!

Эк, куда тебя занесло! — шептал я, затягиваясь сигарой. Кто бы поверил, что может таиться в душе порядочного человека!

И я уже не выпускал эту мысль из головы.

Клетка перестала надежно ограждать мою бестию. Она знала, где запор, и умела его открывать. Запор... знала, как открыть? Откроет лапой — миг! — и бескрайняя свобода!

Ради ребенка! — твердил я себе, стараясь удержать свой замысел в границах священного чувства отцовства. Соблазнителен был этакий сентиментальный анекдот: я — отец, жертвующий спокойствием совести для блага сына... Но я не всегда был так неискренен сам с собой. Чаще всего я оставался трезвым как нож и только спрашивал себя: *когда* и *как?*

Примерно через неделю после первой попытки выброситься из чердачного окна Соня повторила ее, только с гораздо меньшим успехом: уже на середине лестницы ее догнала Кати, смеясь, прижала к груди, расцеловала и увела обратно в ее узилище. Еще десять дней спустя Филип вторич-

но совершил подвиг — правда, на сей раз побег Сони был еще неудачнее, ее застигли тотчас за дверью.

Ни в том, ни в другом случае не было и речи о серьезной опасности. И я с ехидной усмешкой выслушивал охи Хайна.

— Вот увидите, Петр, — вздыхал старик, — когда-нибудь она своего добьется! Поверьте же мне наконец! А вы самодовольно улыбаетесь вместо того, чтобы выказать хоть видимость чувства!

А чего мне было не смеяться? Для моего замысла не было ничего благоприятнее того обстоятельства, что помешанная не забыла самоубийственных побуждений.

— Вы, кажется, насмехаетесь над моим горем! — не отставал от меня Хайн.

— Да нет, не насмехаюсь, — досадливо ответил я. — Но я не лицемер и признаюсь, что ваше волнение мне смешно. Да вы сами сплели для себя плетку! Я советовал поместить Соню в клинику. Там уж позаботились бы об ее безопасности. А вы накинулись на меня, старались оскорбить… Устроили в доме самодельную камеру для сумасшедшей — и страдаете оттого, что эта камера несовершенна.

Говоря так, я пытливо заглядывал ему в глаза.

Интересно, что он ответит. Он еще мог, если б захотел, сохранить жизнь своей дочери.

— Я никогда не дам иного ответа на ваши настояния, чем тот, который вы получили тогда, — сухо вымолвил он.

В конце мая Хайн захворал. Он страдал желудочными коликами, которые время от времени укладывали его в постель, и он лежал по нескольку дней, громко, по-детски, охая. Итак, тесть прикован к постели: одна легкая фигура снята с доски. Я подстерегал случай, как черт грешную душу.

Второго июня была среда. Хайн все еще не вставал. Отправляясь на завод после обеда, я заметил, что Кати разбирает в кухне кучу грязного белья. Погода стояла чудесная. Так, сказал я себе, сдается, Кати задумала большую стирку. И как ни старался я заняться делами на заводе, весь день не мог думать ни о чем, кроме одного: будет ли Кати завтра стирать. Я подбирал доводы «за» и «против». Боялся, что вечером мне этого все равно не узнать — спрашивать я не хотел.

Вечером, дома, в окно с лестничной площадки, я увидел: Кати выносит из подвала корыто и ставит на старый стул около парника, там, где всегда стирали. Ага, значит, все-таки! — сказал я

себе. Теперь уж я мог быть уверен. С этой минуты у меня во рту то и дело собиралась слюна, я едва успевал ее проглатывать. Руки стали ледяными. Я все время потирал их. За ужином твердил про себя: хлеб, хлеб, хлеб… С Кати обращался невнимательно.

Прежде чем уйти в спальню, я вызвал Филипа и заявил ему, что на бассейн в саду уже нельзя смотреть без содрогания. В нем полно прошлогодних листьев. Зеленая ряска затянула гнилую воду. Необходимо немедленно привести бассейн хоть немного в порядок.

— Я знаю, — стал выкручиваться ленивый парень, — да ведь сад — Паржикова забота! Как перестал топить, ему, кроме сада, и делать-то нечего!

— Вы правы, — согласился я, — но Паржик стар. И вам не повредит, если вы ему поможете. Берите-ка с утра лопату, метлу, спустите воду да прочистите бассейн. А Паржику я скажу, чтоб он вас поблагодарил как следует.

— Ах ты боже мой, — сказала Кати, когда Филип вышел, — а я-то собралась завтра стирать! Кто же постережет Соню, когда дядя лежит, а Филип пойдет в сад?

— О, я не знал… — Я несколько смешался (это

была, разумеется, игра). — Но ничего, — притворно подумав, продолжал я. — Филип может встать пораньше. Вы стирайте, Кати. Скажите Филипу, пусть встанет до шести, с работой он справится самое большее за два часа. В девять уже сможет повести Соню на прогулку. Не беда, если она просидит взаперти часом дольше обычного.

Не преувеличивая, могу похвалиться: я спокойно спал всю ночь. Только утром поднялся раньше обычного. Это можно объяснить еще и тем, что я настороженно слушал звуки дома. Как там помешанная? Встал ли Филип? Солнце уже поднялось над горизонтом, позолотило раму моего окна. В саду щебетали птицы. Около половины седьмого по лестнице, насвистывая, сбежал Филип. Он всегда казался себе невероятно важной особой, когда свистел. Я простил ему те полчаса, на которые он опоздал. Так. Я с удовлетворением перевел дух: вторая фигура с доски долой!

За завтраком я слышал, как Кати осторожно отпирает Сонину дверь из коридора. Да, все правильно. Я так и предполагал — прежде чем заняться своими делами, она зайдет к Соне немного прибрать. Так она делала каждое утро. Если б сегодня пропустила — мой план рухнул бы.

Я завтракал, а у самого ушки на макушке, как

у рыси. Слышал: Кати заперла комнату, спустилась с лестницы, опять вернулась, снова отперла, вошла на секунду, только поставить под кровать опорожненную ночную вазу. Вышла на цыпочках, теперь уже окончательно. Тихонько напевая, *машинально заперла* дверь на два оборота.

Заглянула ко мне в столовую:

— Ну, я пошла, — сказала весело. — Вам ничего не нужно?

Я уже стоял, готовый выйти, со шляпой и тростью в руке. Рассеянно подумал.

— Нет, Кати, мне больше ничего не нужно.

Она убежала.

А теперь ни секунды промедления! — сказал я себе. Пора! Я тщательно вытер ботинки, чтоб не осталось моих следов перед Сониной дверью, и осторожно вышел в коридор. Тихо и быстро отпер ее дверь и раскрыл настежь.

Соня испугалась. Села на кровати. Уставилась на меня широко открытыми глазами, и взгляд ее был враждебен. Я же смотрел на нее долго, серьезно. Это было прощанье. Последний долг. А как же, нельзя без этого… Потом я медленно закрыл дверь. Медленно, стараясь усилием воли передать ей свою мысль, передать сигнал: «Смотри! Я закрываю, *но не запираю*!» Всей силой своего

взгляда я выражал: «Пойми же, вслушайся! Ты не услышишь поворота ключа!»

Больше уже ничего нельзя было сделать. Неторопливо, с достоинством, как всегда, сошел я вниз. Машина ждала меня. Я сел, даже не оглянувшись.

Мне казалось — машина еле ползет. Мной овладела паника. Только бы не сейчас, не сразу! Мне страшно было оглянуться на дом. Я слышал биение крови в висках.

Тяжелой походкой вошел я к себе в кабинет, усталый, как после изнурительной работы.

Я старался сохранять спокойствие. Косился на часы, словно время было единственным свидетелем моего поступка. Разложил бумаги. Без надобности перелистывал их. В голове был хаос. Значит, все-таки это так на меня подействовало? Почему? — с тоской думал я. Избавься же от заблуждений, глупая душа! Ведь это просто предрассудок... Сердце, потише! Мысли текли в одном направлении, без формы, без выражения. Отупелость. Сухо в горле. Веки дергает тик. Ну и что ж! — говорил я, утешая себя. Пустяки! Я все еще желал, чтоб это отдалилось. Я еще не готов был ехать домой и видеть. В ушах дребезжащий звон. Что там дома?

Четверть девятого. Ничего. Неужели не вышла? Может, не поняла меня, уснула, спит… и опять ее кто-нибудь спасет! Я испытывал страшный упадок сил. Мне казалось — второй раз я уже не решусь. Никогда еще не был я в таком отчаянии, в таком душевном расстройстве. Еще пять минут. И еще пять… Надо бы показаться на люди, а я так и прилип к стулу — и к часам. Как бы не пропустить звонок. Уйду, а телефон-то и зазвонит!

Стул жег меня все больше. Ложе Загоржево[14] — криво усмехнулся я. Пламя геенны! Я написал на бумаге длинный столбец цифр — кое-как, неразборчиво. Начал складывать. Двадцать один, двадцать пять, сорок четыре — я знал, что ошибаюсь. Неважно. Наверное, у меня жар.

В восемь тридцать пять в телефоне щелкнуло. Я вскочил… Звонка не было. Я все-таки поднял трубку.

— Алло! — кричал я в таинственное молчание провода.

Я еще и сам с ума сойду, — пришла безнадежная мысль.

И вдруг — я все еще держал трубку — затарах-

---

[14] notes: 14

Загорж — кающийся разбойник, персонаж стихов чешского поэта К.-Я. Эрбена; в переносном значении Загоржево ложе — невыносимые мучения.

тело у самого уха. Да так отчаянно! Отчаянно… Дрожащей рукой положил я трубку на рычаг, и тотчас раздался ясный, веселый звонок.

Я помедлил секунду-две, а мне казалось, прошла целая вечность. Собрался с духом. Судорожно схватил трубку:

— Кто говорит?! — Кажется, я гаркнул во все горло. Никак не мог найти нужную меру. — Мыловаренный завод Хайна… У аппарата Швайцар…

Чужой, невыразимо тоненький голосок, Катин, затерянный в какой-то безмерной дали (господи, испугался я, у меня уши заложило, я глохну!), говорил ужасно быстро и невразумительно, в голосе плач, рыдания — мурашки пробежали у меня по спине. Наконец я понял. Понял! Свершилось — да, да! И я упал на стул.

Шатаясь, вышел из кабинета. Сознание говорило мне: это ничего. Так может быть. Это — как *настоящее*. Навстречу — Чермак.

— Господи, что с вами?!

Он явно испугался.

— Да, да, — глухо проговорил я. — Пожалуйста, машину, скорей!

Немного погодя я снова стал твердым и жестким, как камень. Зубы стиснуты. Настороженный взгляд. Сжатые кулаки. Шея одеревенела до такой

степени, что я не мог повернуть головы. И всю дорогу до дому — ни слова, ни мысли! В такие минуты даже мысли могут выдать. А предстоит еще последний ход. Никаких мыслей!

Филип не вышел к воротам — открыла Анна. Я с отвращением увидел, что лицо ее вспухло и было мокрым. Нагнувшись отодвинуть запор, она издала какое-то глухое мычание, жуткое «уууу!». Меня опять пробрал мороз. Спокойно. Спокойно! — внушал я себе. Подготовься к сценам пострашнее…

Я казался себе генералом, выигравшим битву с сокрушительными потерями.

— Где она? — спросил я грозно, хрипло.

— Там! Там! — Анна показала трясущейся рукой.

Я уже и сам увидел что-то большое, белое, под самой южной стеной виллы. Страшная нерешительность овладела мной. Так вот *оно*! Но — почему там, почему не дома, на кровати? Это совершенно непредвиденное обстоятельство ужаснуло меня. Не знал я, что жуткая встреча так близка!

— Почему там?! — закричал я. — Почему не дома лежит?..

— Не знаю, не знаю я… — всхлипнула старуха и

с причитаниями побежала в дом.

Я постоял немного. Нигде ни души. И тут заметил, что у подъезда стоит черный автомобиль доктора. Стало быть, сообразил я, ему позвонили раньше, чем мне…

Я заколебался. Куда теперь: в дом — или туда?.. Лучше прямо *туда*, — советовал верный внутренний суфлер. Это будет естественнее всего — преклонить колени у *дорогой усопшей*. И я поспешил по газону прямиком к тому месту.

Белое — это была простыня. Сначала я не мог понять, зачем она. И снова кто-то добрый внутри меня подсказал: она же мертва. Прикрыли ее, и она лежит…

Я подошел к *этому*. Контуры тела почти совсем скрывались под свободными складками простыни. Небольшой холмик, еле заметная впадина… Я поднял глаза — надо мной *зияло* то окно, рамы настежь…

Меня удивило, что все еще никто не появлялся. Где они все? Почему до сих пор не унесли ее? Осторожно, кончиками пальцев, в бесконечной борьбе с самим собой, приподнял простыню за уголок. Соня лежала ничком, сложив руки перед головой. Она была обнажена.

Небольшая лужица крови расплывалась из-под

ее лица, немного крови натекло под пальцы. Струйка, тоненькая, как змейка, терялась в траве между торцами. Ноги как-то странно переплелись. Там, где она лежала, была еще тень, но быстро приближалась светлая солнечная полоса.

Мне подумалось, что, может быть, за мной откуда-нибудь следят внимательные глаза. Разум приказал: скорей входи в роль! Я опустился на одно колено. Сам себе показался невероятно тяжелым. Не знал я до сих пор, что я такой тяжелый. Бережно коснулся затылка мертвой, погладил по волосам. Тело еще не остыло.

Я не знал, что делать дальше. Не сложить же руки и молиться, как церковной сторожихе! Я в самом деле не знал, что делают в подобных случаях. И не гладить же ее без конца по голове! Это уж вышло бы неестественно. Тут до меня донесся шорох травы — кто-то шел по газону. Внимание, сказал я себе, не оглядывайся! Ты совершенно убит горем!

Шаги затихли совсем рядом. Я поднял голову. Надо мной стоял Мильде, закуривая сигарету. Холодно, с явной неприязнью, протянул он мне руку. Таково было первое выражение *соболезнования*, полученное мной.

— Неужели совсем… конец? — сокрушенно

спросил я.

Он глянул на меня с выражением, не поддающимся описанию.

— Да, конец, — ответил неохотно.

— Она… сразу умерла?

— Не знаю, — холодно проговорил Мильде. — Я приехал минут через десять после несчастья. Скорей всего сразу.

— Но почему же ее не унесли? — возмущенно воскликнул я. — Почему оставили лежать тут на камнях?

— Во-первых, я не позволил трогать ее, а во-вторых, и некому было. На Паржика рассчитывать нельзя. Он видел, как она выбросилась, от него невозможно добиться связного слова. Сидит теперь где-то в доме, плачет. А Филип, едва услышал, что случилось, забился куда-то в самый дальний угол сада. Вряд ли мы увидим его раньше вечера. Одной Кати на все не хватает. Дело в том, что старый пан, — эти слова он произнес с многозначительным, явным злорадством, — старый пан слег. Кровоизлияние в мозг. Возле него — тетушка.

— Вот как? — глухо пробормотал я.

Эта новость уже не поразила меня. Человек способен взволноваться лишь до известного

предела. К тому же по секундному колебанию Мильде я уже понял, что он сейчас скажет мне что-то неприятное, и не хотел доставить ему удовольствия.

— Пойти мне к нему? — рассеянно спросил я.

— Лучше не надо. — И Мильде опять загадочно посмотрел на меня.

Так ты меня, дружочек, обвиняешь, — подумал я. Но обвиняешь-то ты меня только в недостаточной предусмотрительности. Полагаешь, что я ужасно сокрушен тяжким бременем ответственности, свалившимся на меня, и считаешь, что мне поделом. А какое бы ты сделал лицо, если б узнал всю правду?

Я рассеянно поинтересовался состоянием тестя и тем, каковы его шансы на выздоровление.

— Они не слишком велики, — ответил Мильде. — Правая половина тела совершенно парализована, сердце работает из рук вон. Зато он, по крайней мере, теперь не страдает.

Он заметил, что мертвая раскрыта и туча мух слетелась на кровь. Медленно, бережно он прикрыл тело — так укрывают ребенка, чтоб ему было теплее.

— Придется оставить ее тут так, — проговорил он с неожиданной мягкостью и растроганно-

стью. — Пока приедет следственная комиссия… — Он взглянул на часы. — Господа не торопятся. Может, явятся даже после обеда… А тут скоро будет солнце!

Не знаю, куда потом девался Мильде. Я покинул его без слова, как оно и подобает человеку в глубокой скорби, и медленно, неверным шагом побрел к дому.

По нижнему коридору я крался, как вор. Никакими усилиями воли не мог я избавиться от неприятного ощущения, что нахожусь в суде по особо опасным уголовным делам. Столь же жуткой показалась мне дверь в Сонину комнату, открытая настежь. И — тишина, будто все вымерло.

Никто мне не встретился. Я повесил шляпу на вешалку, поставил в угол трость и вошел в столовую. По-прежнему все тихо. Мой сын, наверное, спит. Я стал ходить вокруг стола. Опустил голову, чтоб выглядеть страшно удрученным. В сердце же моем было что угодно, только не печаль.

Походил, походил… Но не вечно же мне мерить шагами комнату! Еще подумают, что у меня духу не хватает… Решившись, я прошел через кухню в комнату Кати. Дверь рванул резко, сердито: лучше показаться рассерженным, чем смиренным,

рассудил я.

Кати сидела на низенькой табуретке у колыбели со спящим мальчиком. Руки ее были сложены на коленях, словно отдыхая, глаза закрыты, головой она прислонилась к стене. А губы… Неужели она действительно чуть-чуть улыбается?

— Кати, — позвал я ее.

Она подняла на меня бесконечно печальный, переворачивающий душу взгляд. Глаза ее были огромны, ресницы мокры — а на губах все та же странная улыбка.

— Кати! — вскричал я в некотором испуге.

— Я ее убила, — тихо отозвалась девушка. — Это я убила ее. А сначала — все отняла. Я забыла запереть дверь, знаете? Боже мой, никогда ведь не забывала! Как это могло случиться?

Я смотрел на нее, изо всех сил удерживаясь, чтоб мои губы не растянулись в торжествующей усмешке. Отвернулся. Так было разумнее. Никогда нельзя доверяться своему лицу. Оно всегда как-нибудь, каким-нибудь неуправляемым движением выдаст чувство удовлетворения.

— Просто злополучное стечение обстоятельств, — пробормотал я, — просто несчастная случайность, Кати, вам не в чем упрекать себя!

— Да нет, я не стану себя упрекать, — с горе-

чью ответила она. — Смысла нет. Никогда я не упрекала себя в том, что предала ее. Когда уж что сделаешь — не к чему потом себя терзать. Когда что сделаешь, и это непоправимо, — надо уж стараться как-нибудь с этим жить… К чему плакать? Ведь плачем-то мы всегда — над самими собой…

Несмотря на столь разумные слова, мелкие слезы стекали по ее лицу, оставляя за собой сверкающие следы. Кати даже головой не двинула. И я наконец понял ее улыбку: это было *горе*.

Проснулся Петя. Одеяльце зашевелилось под ударами маленьких ножек. (Там, во дворе, покрывало не шевелилось, там лежит некто и никогда не проснется.) Малыш задергал ручками, захныкал, заплакал: «Уа-уа!»

Я показал на него рукой, просто желая сказать: Кати, ребенок плачет, подойдите к нему. Но в этой ситуации мой жест приобрел более высокий смысл. Он мог означать — так Кати и поняла — еще и это: смотри, вот ребенок! Заботой о нем загладь свои грехи перед его матерью!

— Я понимаю, — сказала она, — все понимаю…

И посмотрела на меня виновато. Это было глупо, но я не мог ничего сделать, чтоб она приняла все это не так трагически.

Петя еще плакал, когда Кати стала баюкать

его, прижав к груди. Отличный случай без особого труда войти в роль осиротевшего мужа, несчастного вдовца. Ребенок, сучивший ручками и требующий соску, был сироткой, а я — супругом, которого отвергло небо и преследует судьба. Я поднял к потолку грозный взор и стиснул челюсти. (Так, кажется, отчаявшиеся интеллигенты проклинают небеса.) От слез я сумел удержаться, как и подобает Швайцару, ибо Швайцары знают лишь безмолвную скорбь и ни от кого не ждут утешений. Они не жалуются, не вздыхают. Все таят в глубине души. Они — сильные люди!

Ребенок утих, и Кати положила его в постельку. Рыдания и сцены были, конечно, неуместны, но невредно было *тяжелым шагом подойти* и склониться над младенцем.

19
ПЕТЯ

Роман окончен. Окончен, говорю, роман!

Хайновская комедия доиграна. Злой дух — Невидимый — заперт в сумасшедшем доме. Принцесса красиво уложена в гробу, разбитый лоб прикрыт густой вуалью. Старый король где-то на полупути между небом и землей, он до сих пор почти не осознает истинного положения вещей. Придворная дама, как последний расшатанный зуб, вот-вот вывалится. Скоро сойдет и эта болезненная опухоль.

История Хайнов подошла к концу. Мой давний путь с вокзала, когда я так доверчиво выглядывал из машины, а шофер показывал мне очертания завода, смутно рисующиеся в темноте, — это был пролог. Извивающаяся змеей похоронная процессия, что двинулась от виллы, — эпилог. Шестнадцать месяцев отделяет эту дату от той. Шестнадцать месяцев отчаянной борьбы и еще более отчаянных атак! Я боролся против безумия сперва за здравый рассудок, потом за ребенка и наконец — за смерть. Пришло время начаться

моей собственной истории!

Но — терпение, терпение, торопиться некуда. Времени достаточно. В нужный момент я расскажу все. Все. Я не настолько труслив, чтоб произнести сейчас: «Конец!» — и умолкнуть. Раз начал — надо договаривать. И писать я начал не для того, чтоб строить шута из себя или из кого бы то ни было.

Тысяча девятьсот двадцать шестой год. Третье июня. Соня мертва. Ее уже внесли в дом, она уже не лежит на камнях в ожидании почтенной следственной комиссии. С той поры прошло немало лет… Нет, не бойтесь, я не намерен подробно описывать, как я все это время варил мыло и выпускал кремы для ухода за кожей! Об этом столько можно написать — много сотен страниц… По-моему, хватит уже и того, что написано. Больше не требуется.

Терпение — конец близок. Ничего лишнего не стану расписывать. Еще два-три эпизода — и точка. Тогда и простимся. Тогда уж не останется ничего, что стоило бы описывать. Читатель захлопнет книгу с меньшим или большим возмущением, а автор… Что сделает автор?

О похоронах, о траурном одеянии патера Хуриха, о его душещипательных словах над гробом

и моргающих глазках, — патер с удовлетворением предвкушал гонорар, — обо всем этом не стану распространяться. Упомяну разве что о некоторых второстепенных персонажах. Например, о Донте, великом художнике, дорогом друге. Трудно поверить, как далеко разносятся грязные сплетни! Просто поразительно, с какой быстротой разлетается сенсационная весть! Зять фабриканта свел в могилу жену, и тестя от этого хватил удар. Не знаю, привез ли Донт этот лакомый кусочек из Праги или ему его еще с пылу, с жару преподнесли по дороге от вокзала. Он со своей мартышкой Тиной явился к нам не для чего иного, как только отказать мне в дружбе.

Мой ты бог! Дружба! Да разве я когда стремился к ней? Дружба, которую он столь решительно швырнул мне под ноги, никогда и не существовала. А сколько достоинства! Какое праведное негодование! «Я тебя не знал. Узнал только теперь. Между нами все кончено. Никогда не показывайся мне на глаза!» И — злобное фырканье, презрительное молчание его козоногой самочки, повисшей у него на руке. Прощайте, прощайте, друзья, идите хоть к черту! Я видел, как в потоке провожающих гроб, колыхаясь, плыл котелок Донта, а с ним рядом черная траурная шляпка.

Слезы, красные носы. Громыхающий оркестр, генеральские плюмажи на головах лошадей. Все по заказу. Право, нелегко было сохранять серьезное выражение лица при виде этой дорогостоящей помпы!

Этот хлыщ Феликс, счастливый обладатель клочка от свадебной фаты, не соблаговолил даже принять мою руку, которую я дружески ему протянул. Нет, я вовсе не собирался выплакать горе на его птичьей груди, просто он оказался рядом со мной, топтался растерянно… Я-то подумал, он хочет выразить мне соболезнование в стишках. А вместо этого — насупленные брови (точно как в кино) и убийственный взгляд. Ну, спасибо! Разодолжил… Потом, уже внутри склепа, Феликс пролез к самому люку. Немного не хватало, чтоб он громко зарыдал. От скорби ему стало дурно. Папенька его, старый шут, давал ему нюхать нашатырь… Бедняга Феликс, он падал в обморок, как слишком туго зашнурованная графиня. Впрочем, может, и это было комедией. Видно, таким образом он выражал свою претензию на почетное место среди скорбящих близких. Ох, я бы с удовольствием уступил ему свое!

Все участники похорон с лицами, вытянутыми от печали, словно сговорились: при встрече со

мной — холод… А что они знали? Ничего! Знали, что Соня сошла с ума. Из-за меня. Что может одиночка против священного общественного мнения? Меня разбирало страстное желание встать лицом к лицу с этим стадом, распираемым возмущением, и кричать в их белые, тупые рожи: «Болваны! Дураки! Да это я, сам, по зрелом размышлении, выждав случай, подстроил ее гибель!»

Весь город вдруг ужасно стал оплакивать Хайна и его дочь. Смешно… Раньше-то никогда ими не интересовались. Представилась отличная возможность творить анонимные гадости. На воротах завода нарисовали фигуру с веревкой на шее и подписали: «Инж. Швайцар». Нет, это сделали не хулиганы, по почерку, по линиям карикатуры видно было, что тут орудовал орлиный коготь какого-нибудь интеллигентного энтузиаста. Вечером перед виллой устроили кошачий концерт. Свист, крики, кулаки, брань — в общем, хор праведников со всеми аксессуарами. Это все-таки немного меня расстроило. Вот как? Значит, я — изверг? Тиран? А что вам известно о сумасшедшем, который появлялся всюду там, где только расцветала радость? Что знаете вы о наследственном недуге, о матери,

хитростью отправленной в сумасшедший дом, о сэре Хэкерли? Слышали ли вы о веселенькой брачной ночи, об осквернённой любви, об оскорбленном отцовском чувстве? У кого из вас хватит добросовестности, чтоб выслушать показания о Сониных мигренях и капризах, прежде чем бросить камень, который вы взвешиваете в руке? В припадке безумия — балансирование на ограде с ребенком на руках, ежедневные вопли и крики, вакханалии с тенью призрака — никто из вас не знает про это, но каждый претендует на право быть судьей!

Наплевать, говорят русские. Вот и я сказал: наплевать. Я думал: ничего, вы утихомиритесь, вы успокоитесь. В конце-то концов ненавидьте меня сколько влезет, избегайте меня, как шелудивого пса, — ничего мне от вас не надо, только бы по-прежнему покупали мое мыло! Вообще-то у меня были тысячи причин смеяться. Вон барышня мечет на меня молнии голубеньких глазок — а сама-то надушена моей резедой!

Я верно рассудил. Через две недели после похорон Сони умолкли все эти орущие глотки, пытавшиеся растревожить меня, успокоилось все это почтенное общество, старавшееся сделать мою жизнь как можно невыносимее. Через две

недели после всех этих бурных событий начал выходить в сад и сидеть в тени на лавочке, ближайшей к дому, Хуго Хайн, тряпичная кукла, набитая опилками; тараща в пространство свой неподвижный глаз, он кутал в клетчатый плед парализованную руку.

Но горе мне, если я из вежливости спрашивал беднягу о его самочувствии! Горе мне, если я предлагал ему опереться на мою руку, когда его с трудом доставляли в его жилище! При всяком удобном случае он прилагал невероятные усилия, чтоб выказать мне презрение. Блеющей речью давал понять, что никогда больше не желает иметь со мной ничего общего, ни хорошего, ни плохого. Глупец! Словно меня могло мучить его нежелание видеть меня! Я очень охотно предоставил его тем, кого он выбрал статистами при своем медленном умирании, — тетке и Кунцу. У меня были совсем другие интересы, другие заботы, другие мечты. Наверху, в квартире, полной мира и солнца, жил рядом с Кати мой маленький Петя. Колесо моего счастья тронулось с места…

Колесо моего счастья. Наконец-то! Не говорил ли я уже бессчетные разы, что вся моя отвага, вся жестокость моя имели единственную цель — урвать и для себя кусочек счастья? Ох, мне ведь

нужно было так немного! Я желал завоевать то положение в обществе, какого заслуживаю, некоторую власть, отвечающую моему характеру, и обывательскую, мирную частную жизнь среди здоровой семьи. Сколько мне пришлось бороться, сколько раз я отчаивался! С каждой захваченной пядью я столько же терял позади, с каждой новой надеждой мне отмерялось столько же безнадежности. В конце концов мне ничего не оставалось, кроме как избавиться от жены, чтоб спасти ребенка. Как командир воздушного шара, который никак не мог взлететь, я в критический момент выбросил последний балласт. Это помогло. Мой шар двинулся вверх. Как говорится, в голубые выси. Мы летели вверх: я, Петя и Кати.

Я сказал недавно: еще немного терпения, мы близки к концу. Я не лгал. Недолго уже задержу я ваше внимание своей историей. Очарованный шар поднимается. Глубоко внизу, становясь все меньше и меньше, остались те, кого мы не могли взять с собой: сентиментальная лавочка с убогим манекеном и его свита. Вокруг нашей корзины, убранной цветочными гирляндами, носится рой золотых мушек с алмазными глазами. Ветер нежными пальцами перебирает канаты, звенит пианиссимо. На пальце моем, как якорь спасения,

висит на голубой ленточке соска.

Вот провожу еще в последний путь двух покойников — и потом честно поведаю, каким оно в действительности было, мое счастье.

Хуго Хинек Хайн умер одиннадцатого ноября 1926 года, всего пять месяцев спустя после похорон Сони: его хватил второй удар. Тетка Каролина пережила его на полтора года.

Ноябрь, день поминовения усопших, ранний снег, огоньки свечек на могилах, туман, сам воздух, казалось, горестно вздыхает — ну, как же! Как же было старому Хуго Хайну не выбрать для своей смерти именно эту меланхолическую пору! Чтоб вынесли его под жалобное завывание ветра, чтоб завеяло его редко падающими, легкими хлопьями снега, чтоб моросящий дождик оплакал его, забытого и освистанного — да это его подлинный стиль!

Однако, как бы ни изображал я скорбь по поводу этой болотной смерти, не прошло и недели, как я просто разинул рот. Меня как громом пришибло. Хайн, этот профессор с виду, эта сломанная марионетка, сыграл со мной такую шутку, какой позавидовал бы самый закоренелый интриган!

Папаша Хайн оставил завещание. Завещаньице что надо, ничего не скажешь! А я-то и понятия

не имел, что вообще существует какое-то завещание. Дельце это обстряпали без меня, — и против меня, — разумеется, тетка, Кунц и сам Хайн. И я был лишен возможности даже поблагодарить пана тестя за такую любезность…

Устроили они это хитро. Позднее мне лишь с большим трудом, по частям, удалось выудить у Паржика, как было дело. Паржик, конечно, был ни при чем. Я никогда его не спрашивал, что нового в доме, кто приходил да что делал, — а он не осмеливался сам докладывать мне. Филипа, судя по всему, не было дома. Они выбрали для осуществления своего замысла дождливый день, когда я был на заводе, а Кати занята ребенком наверху. Единственной посвященной особой из домочадцев была Анна. Хитрая лиса Анна, всегда готовая строить против меня козни. Ну, я этого не забыл, когда настало время, вернул ей должок, да с процентами.

Кунц привел второго свидетеля, патера Хуриха, которого, в сущности, нельзя ни в чем упрекнуть: тайна исповеди и прочие секреты — его ремесло. Притащили нотариуса Фриборта и сочинили славный документик, которым, в здравом уме и полной памяти, Хуго Хинек Хайн объявлял наследником всего своего движимого и недвижи-

мого имущества (следовало точное перечисление — предприятия, вклады, текущие счета) — своего внука Петра Швайцара, сына своей единственной дочери Софии. Отец ребенка, Петр Швайцар, назначается опекуном сиротского имущества, а над ним, в качестве инстанции, перед которой он обязан отчитываться во всех коммерческих начинаниях, в купле и продаже, стоит опекунский суд. Этими мерами достигается, что отец, Петр Швайцар, не сможет отчуждить имущество сына и никоим образом сократить его, и в день совершеннолетия наследника обязан передать в его руки все движимое и недвижимое имущество без какого-либо урона. Все это слышали и скрепили своими подписями… — наверное, что-нибудь в этом роде.

Удачная проделка мертвеца, который после этого заблагорассудил скрыться в могилу! Удачная острота человека, никогда не понимавшего юмор! Воображаю, с каким блаженством внимала этой последней воле тетка, вращая парой своих пламенных шаров, как каждое ранящее меня слово она подкрепляла стуком жуткой своей булавы с насаженной на ней мертвой бабочкой!

По видимости, конечно, все до трогательности невинно. Разве были у меня иные желания, кро-

ме как служить своему сыну? Разве хотел я жить для чего-либо еще? Не доказал ли я, и очень ясно, что готов ради сына на любую жертву? Но умирающий дед мне не доверял. Все эти само собой разумеющиеся вещи он желал закрепить законным актом. Он посмел костлявой своей рукой покуситься на свободу такого человека, как я!

Ибо что читается между строк этого завещания? Петр Швайцар, ты никогда не женишься, разве что ценой бесправия второй жены и остальных твоих детей. Все, что тебе вверили, — хайновское и принадлежит только Хайнам! Если же ты когда-либо, по тем или иным причинам, захочешь покинуть этот дом, то ничего с собой не унесешь.

Да разве я захочу покинуть своего сына? Думал ли я искать новые приключения? Мои намерения были самые лучшие. Я был готов отдать и жизнь и кровь, как говорится. Все свои силы. Но быть *принужденным* ко всем этим добродетелям — это мне, пожалуй, не по вкусу!

Покойник влепил мне пощечину из гроба. Я не хозяин своего добра, всякое свое разумное действие я обязан объяснять высшей инстанции. Хайн унизил меня в глазах общества. Тайна завещания стала явной — как все тайное. При встрече со мной многие не могли удержаться от многозна-

чительной ухмылки. Что, мол, выкусил? Получай по заслугам! Ах, ты женился на богатстве Хайна? Повел себя в его семье как взбесившаяся лошадь? Во весь опор ринулся к цели? А вот на тебя и узду накинули! Усмирят!

Ну хорошо, хорошо — все это было весьма неприятно, однако я сумел в конце концов найти нужный тон — тон снисходительности. Ты дал мне в зубы? — Что ж, старик, кто старое помянет… Я-то давал тебе в зубы не раз — что с того, что ты ударил последним? Зато и было это напоследок… Верх-то все равно мой, потому что фамилия ребенка — Швайцар и он целиком, весь, принадлежит только мне. Не внук Хайна, — слышишь?! — а сын Швайцара!

Впоследствии я научился даже просто посмеиваться над этим. Раскланиваясь перед колыбелькой, я шутил: «Мое почтение, маленький пан фабрикант! Разрешите верноподданнейше доложить: дела идут хорошо! Соблаговолите положиться на преданного слугу! Заказы прибывают. Производство духов налажено отлично. Потребитель доволен. Не желаете ли заглянуть в книги? Мы уже с радостью ожидаем инспекции вашей милости!» И я смеялся и высоко подбрасывал это крепенькое, пухленькое, радостное

существо.

Я смеялся… Да, тогда я еще смеялся. А скоро стало не до смеха. Очень скоро — и навсегда — оборвался последний мой смех!

Тетка Каролина не оставила после себя никаких любвеобильных распоряжений в духе папаши Хайна. Смерть ее не много произвела шума. Както даже и непохоже было на нее — угаснуть так незаметно! Почтенная, окруженная поклонением матрона, законодательница давних балов, властительница с Кунцем у ног — и вдруг так! Под конец она довольствовалась обществом глупой толстоногой служанки. А впрочем, что удивительного? Ничего другого ей и не оставалось. Как постелешь, так и ляжешь…

Не то чтобы я был груб с ней. Нет, этого нельзя сказать. Но милая старая дама была вдохновительницей некоего интересного документа — а я не заходил так далеко, чтоб делать вид, будто меня это вовсе не затрагивает. Ее, чего доброго, задело бы, если б я оставил без внимания ее змеиный укус! Нет, я вовсе не какой-нибудь анемичный альтруист. Я обыкновенный, простой человек, который умеет держать себя в руках, но не считает себя обязанным как-то там притворяться.

Да, да, она бы еще, чего доброго, обиделась! Ведь, подсказывая Хайну его последнюю волю, старуха должна же была знать, что вскоре останется одна со мной, одинокой в моем приятном обществе. Не могла она упустить этого из виду. Зачем же мне было смущать ее покой своими излияниями? Материально она была обеспечена — об этом позаботился Хайн. Одного не мог уже сделать старый господин — устроить так, чтоб я не... ну, скажем, не отказал от дома старому комедианту с рекламной бородой. Ледяная рука покойника сюда не дотянулась.

А славный улов — две мухи разом! Что же до благородной дамы, то — пожалуйста, живи себе у меня, только уж навсегда оставь меня в покое. Не желаю с тобой никакого соприкосновения. Никакого! Ты на первом, я на втором этаже. Будем терпеливо ждать. Ты уже очень стара, и есть у тебя твои драгоценные письма. Читай, читай прилежней! Да поторопись. Может, смерть-то нагрянет, когда ее и не ждешь. Побольше рвения, чтоб успела дочитать-то!

Кунц понурил свою лошадиную голову. То есть я думаю, что понурил, меня при этом не было, а у слов, написанных мной, нет глаз. Любовное послание к нему я составил в очень вежливой

и ясной манере. Мол, благодарю за все дружеские услуги, оказанные дому, благодарю и за свою семью, и за покойного тестя, и искренне сожалею, что пути наши разошлись. Он понял. Да и как было не понять? Порой тетушка получала от него письмишки чуть ли не на розовой бумаге, на языке красок означающей любовь. С течением времени переписка стала глохнуть. Кунц все больше высвобождался из-под гипноза ее глазищ.

Старуха бродила по саду неверными ногами, сгорбленная, опираясь на свою странную клюку, губы ее шевелились — она что-то шептала, сама себе рассказывала то, что уже некому было рассказать. Не с кем ей было уже делиться воспоминаниями. Былая властность оборачивалась боком. Слишком резким был переход. Не радовало старуху монастырское уединение. Она хирела. Черная пелерина, чепец, завязанный под подбородком лентами, — последнее фамильное привидение… Очень молчаливое привидение — я, например, ни разу не заговорил с ней за все оставшиеся ей полтора года жизни.

Она подхватила грипп. Кати сказала мне, что, по просьбе Анны, вызвала Мильде. Ладно. Я не бесчеловечен. Больной есть больной, он имеет

полное право на врачебную помощь. В течение некоторого времени Мильде снова зачастил на виллу Хайна. Смешно! Он лечил моего врага — и оттого держался враждебно со мной. При встрече он никогда не останавливался поговорить. Впрочем, потом он перестал приезжать. А тетка уже не встала.

Ничего особенного, это называют старостью. Ей было под восемьдесят. Она не покидала постели. Иногда в сад выходила Анна с глазами, опухшими от слез, вывешивала проветривать перины. Она не лишена была воображения, эта старая толстая Анна! Знала, что может ожидать ее в недалеком будущем.

Однажды ходил я по цехам, вдруг прибегает за мной рабочий — мол, в кабинете ждет меня какой-то господин. Господин? Я помчался вверх по лестнице — деловым знакомым надо выказывать предупредительность. Однако «деловым знакомым» оказался не кто иной, как Кунц, соавтор завещания.

Он поклонился очень учтиво; он шаркал по полу своими плоскими стопами, потирал лоб, потягивал себя за бороду. Он был в замешательстве, он был сам не свой! Видно, ужасно боялся меня, славный пан школьный директор! Он не

мог предугадать, как я с ним обойдусь. Может, вообразил даже, что выварю на гуляш его ослиные кости в большом котле для щелока!

Он забормотал просьбы о прощении и всякое такое… Я, конечно, предложил ему сесть — вежливость прежде всего. Ах, он услышал, что милая старая пани хворает…

Или она ему написала, или ему сказал Мильде. Я уставился на Кунца ироническим взглядом. Он покраснел, как влюбленный, застигнутый врасплох, когда он тайком пробирается к своей горюющей простушке. Не буду ли я столь любезен и не сообщу ли ему что-либо определенное о недуге старой дамы? Он, Кунц, по-прежнему живо интересуется домом усопшего друга, сердце у него разрывается от жалости к глубокоуважаемой старинной благодетельнице…

Я с невинным видом ответил, что мне нечего ему сообщить. Я так занят, что совершенно не имею времени повидать больную.

— Сами знаете, пан директор, старые люди часто недомогают, а в общем, ничего серьезного. Тут еще, видно, и возраст, дорогой пан директор…

Он кивал, покашливал. Все ходил вокруг да около, сплошь междометия, сплошная вежливость — и никакого толку. Я понял, что этак я просто

теряю с ним время. И я заговорил сам. Мне правда искренне жаль, что я не могу пригласить пана директора навестить больную. Пан Кунц, без сомнения, согласится, что это ее не обрадовало бы. Ведь такие старые люди, говорил я, очень щепетильны в отношении своей внешности. Тетушка Каролина привыкла всегда как бы возглавлять общество, всегда она появлялась только при полном параде. Ее, конечно, ужасно смутит то обстоятельство, что она должна будет принять старого друга, лежа в постели…

— Да, да, — согласно залепетал старый дуралей, — вы правы, пан фабрикант, да — старое стойкое поколение… Конечно, ей было бы стыдно… Вы так тонко это поняли, вы так деликатны…

— А вот когда тетя Каролина встанет, — бодро продолжал я, — и сможет снова приветствовать вас со своего трона…

Он улыбался, словно вместе со мной радовался этой перспективе. Что ж, не повезло бедняге. Тетке не суждено было больше воссесть на свое кресло. Кунц увидел ее уже только в гробу, на катафалке, украшенном венками и цветочками, как шапка рекрута.

Конец милой дамы был скор. Сижу это я в своей

комнате, курю — вдруг кто-то отчаянно застучал в дверь. Кати отворила: Анна! Я сразу понял, в чем дело, — кухарка не имела обыкновения подниматься к нам.

Я спустился. Не очень-то это было приятно. От этого посещения у меня до сего дня осталось отвратительное воспоминание: как удалось закрыть эти огромные шары глаз? В гробу она лежала маленькая и тощая. Кто бы подумал? Живой она казалась такой долговязой! Видно, все человеческие впечатления весьма относительны.

После похорон я вызвал к себе Анну и, словом, прогнал ее. Не по-злому — нет, боже сохрани! Назначил ей даже маленькую пенсию. Но люди неблагодарны, даже когда с ними обходишься порыцарски. Клевета… Сплетни… Болтовня о старой собаке, которую отправили на живодерню, когда она отслужила, и всякое такое. Вот увидите, его бессердечие не принесет ему счастья! В общем, зевота берет от подобных толков. Зевота! Тетка Каролина была последней. С нею из Есенице исчезла фамилия «Хайн».

А теперь стисни зубы, старый приятель! Что такое эти две остановки? — Так, шуточки, щекотание мертвых под носом. Ничего ужасного, просто немножко горького смеха. То, что ждет

впереди, — куда горше. Тут-то речь шла всего лишь о двух деревянных куклах. Кукольник ведь тоже усмехается, когда снимает горностаевую мантию с короля и захлопывает пасть черту. Теперь же речь пойдет о большем. Речь пойдет о моем ребенке! Ни к кому на свете я еще так не привязывался душою, как к нему. Ох, как я к нему привязался! Всей кровью прикипел…

Мудро говорят немощные старцы: нет на свете существа, которому не было бы хоть что-то свято. У самого отъявленного циника есть в душе какой-нибудь сокровенный уголок, где он молится, где он повергается ниц, где он близок к слезам. Самая свирепая тигрица мурлычет, довольная, когда ее сосут детеныши.

Сколько лет прошло со смерти старой Каролины? Только два года. Но в эти два года не было на небе ни малейшей тучки. Пожалуй, только вот Кати… Она слишком добросовестно проглотила глоток горького вина, которое ее заставили пить, и теперь давится этим глотком. Кати превратилась в смиренную и покорную служанку — так изменилась Кати-любовница… Но что мне до нее? У меня был мой сын. А Кати? Кати… Я не был женат на ней и не имел никаких юридических обязательств. Я мог в любую минуту избавиться

от ее чересчур навязчивой заботливости, стоило только захотеть.

Я, конечно, не захотел и не сделал этого. У Кати еще все тот же золотистый чубчик и упругие груди — только глаза ее как-то погасли. Но когда ночью просыпается ленивое желание — кому нужно сияние глаз? Я никогда не лишил бы своего ребенка этой женщины. Заменить ее было бы невозможно.

А она вбила себе в голову отслужить мальчику за все, чем она погрешила против его матери. Что ж, хочет — пускай. Я не отнимал у нее этой навязчивой идеи. Кати вся в трудах, вся в хлопотах — даже изучала пособия по воспитанию детей!

Состоя в таких свободных отношениях, мы трое являли собой пример прекрасной семьи. Швайцар на заводе и Швайцар дома были два совершенно разных человека. Этого я и хотел. Так я это и представлял себе. Работа — дело трезвое и серьезное. Любовь же порой имеет право и на некоторое сумасбродство. Она имеет право быть снисходительной, шаловливой, ласковой.

Взять даже то первое лето после смерти Сони, когда дремал еще на своей лавочке беспомощный Хайн! Ребенок в полной безопасности. Никто не мог уже утащить его, умчать диким бегом, лазить

с ним, как обезьяна, на деревья! Я вместе с ним проживал его доверчивое, никаким измерениям не поддающееся блаженство. Я радовался тому, что совершил, я гордился этим! Ведь это я все устроил, я создал рай для Пети! Без меня малыш так и оставался бы невинным узником.

Возвращаясь с завода, я останавливался в саду около сына. Портфель под мышкой, опершись на трость, внимал я его мирному агуканью, впивался в его прозрачный взгляд. Кати приходилось иногда по нескольку раз звать меня обедать. Я разговаривал с сыном — тихо, нежно, отечески. Ничего, что он не мог еще понимать. Мой маленький! Он чмокал губками, взмахивал ручонками, слюнки текли у него по подбородочку…

Бегущее время — и маленький ребенок! Химическая реакция, выплавляющая чистый металл! Детская комната — настоящая лаборатория чудес… Не успел я оглянуться — Петю уже водили, придерживая за рубашечку. Он нагибался, набивал себе в рот песок… Как смеялся я над тщетностью бдительного присмотра, над хитростью малыша! Первые самостоятельные шажки. Первые неуверенные шажки! Мой милый мальчик! Побежал, побежал — бух! Слезы — но разве это горе? Вот он уже снова смеется… Первая цель

достигнута. Первый рубеж преодолен.

Потом — первые штанишки, первая лошадка. Я мог позволить себе заваливать своего принца игрушками. У него был целый игрушечный мир! Он мог в свое удовольствие разбивать, рвать… Завод работал неутомимо. Машины грохотали. Мыло варили, упаковывали, рассылали. Там царил строгий порядок — мой порядок.

Круг постоянно расширялся, и маленькие ручки дотягивались до окружности. Петя уже добегает от дерева к дереву. Вот он отваживается уже и на более далекие экспедиции. Установил, что крапива у ограды жжется. Узнал, что цветы пахнут. Я вместе с ним открывал старый, забытый мир познания. Для меня тоже все было новым и свежим — через сына.

Кажется, всего миг пролетел, и вот ребенок — уже мальчик. Вытянулся из пухлости. Что за чудо, когда у неуклюжего толстячка вдруг оказываются прямые, упругие ножки! Откуда этот умненький, любознательный взгляд? Кати строго следила, чтоб он всегда был чистым и чинным.

Я иногда упрекал ее:

— Кати, вы его избалуете! Вырастет тщеславным, с барскими замашками!

— Ну и пускай, — гордо отвечала она. — Он того

стоит. А вам не нравится?

Я улыбался, пожимал плечами, вроде не соглашался, но это только для виду. Конечно же, мне это нравилось!

Петя был уже в том возрасте, когда дети начинают любить сладости и первые мечты. Мой ребенок может себе позволить некоторую мечтательность! Сладости, сладкая жизнь… Я не усматривал в этом ничего хайновского, ничего опасного. В основе должно быть счастье. Строить надо на нем. Только счастливые дети, выросши, способны на доброту. Лишь те, кому выпало безоблачное детство, умеют впоследствии искренне, весело смеяться.

Я вижу листки календаря, опадающие, как осенние листья. Вижу — они плавно опускаются на землю, уже весь старый бассейн в саду — трагический бассейн — завален листками календаря, опавшими с дерева времени, над которым мог бы, пожалуй, задуматься даже толстый, серый сэр Хэкерли. Куда летите вы, таинственные листочки? — Не знал я, что после празднично-красных пойдут уже одни только пустые листы…

Еще один туманный образ всплывает в моем разбереженном воображении: длинные брючки, синий матросский костюмчик, бескозырка с дву-

мя лентами — маленький капитан, маленький воздухоплаватель… Мой Петя осенью 1929 года. На сжатом поле у опушки леса запускает американского змея. Рот набит шоколадом, взгляд устремлен к небу, ручонка стиснула катушку — какое удивление! Какой неописуемый восторг! Там, в небе, парит двухцветная точка — коробка из папиросной бумаги, размером чуть ли не в два Петиных роста! И к ней можно посылать чудесные записочки, они летят, летят, улетают в пепельно-серое небо! А ветер, а ветер какой!

Еще последняя зима. Игры, надежды, беспечность. Ничего особенного той зимой не происходит. Старый Паржик топит, топит, чтоб не холодно было маленькому хозяину сидеть за его столиком, чтоб хорошо ему было за его какао, за его булочкой с вареньем. Его собачка лает по-настоящему, его автомобиль двигается взаправду, его паровоз гудит, как большой. Гудит маленький стальной паровозик, катится по кругу, все по кругу, мимо сторожек, через туннели — летит через осень, летит сквозь весну, мчится арктической зимой, разрисовавшей стекла морозными цветами. В том поезде едем мы оба, я и мой Петя. Все ближе, ближе… ужасная остановка. Смеркается, густеет туман, паровоз вдруг выпустил пар, жут-

ко заскрежетали поршни, и белый, пугающий дым повалил от них — машина остановилась.

Страшный край! Безрадостный край! Где это мы очутились? Нет здесь цветов, и солнце не светит… Хмурый привратник — он похож на Харона, перевозчика в царство мертвых, — неторопливо ждет у входа на перрон. Что медлишь, глупый безумец! Не минует тебя эта чаша… Нет жалости там, над серыми тучами. Принимаю твой драгоценный дар… Есть такие станции, куда войдешь только ценою всех радостей жизни. Прелестная блестящая игрушка, стальной поезд, испортилась и никогда больше никуда не поедет. Останешься ты торчать на забытом перроне. А может, еще соберешься с силами — но придется тебе идти пешком, и по-прежнему напрасным будет твое странствие, — и *пойдешь ты один*.

Заговори я теперь — не сумел бы издать ничего похожего на звук человеческого голоса. Вздумай я теперь хвастливо задрать нос, похваляясь каменностью своего лица, — как знать? Как знать? Быть может, кто-нибудь и засмеялся бы…

Только те, кто жаждет крови, способны ликованием встретить итог романа, в котором человеку, не сломленному ударами, воздано жестокой божьей справедливостью.

Ранней весной 1930 года Петя схватил насморк.

Насморк — что это для здорового, веселого ребенка? Он кашлял, правда, совсем мало. Не стоило и говорить. Насморк довольно обычное явление в сырую предвесеннюю погоду.

— Пустяки, — твердила Кати. — Кашель у него от насморка. Ночью глотает соплюшки и утром откашливается. Пропарим ему ножки да хорошенько прогреем в постельке.

Петя смирно сидел в кровати, занимаясь переводными картинками, которые я ему принес. Рисовал смешные каракули, раскрашивал цветными карандашами какие-то непонятные изображения. Был послушен и спокоен. Когда я к нему подошел, он поднял на меня свои большие глаза, улыбнулся и продолжал играть.

Несмотря на отговоры Кати, я вызвал Мильде. Тот усмехнулся моей преувеличенной осторожности, одобрил все действия Кати, прописал мазь для носика и погладил ребенка по головке:

— Ну, будь пай-мальчик и болей терпеливо. Ничего страшного у тебя нет.

Петя ответил ему в нос — нос был заложен, и Мильде в шутку передразнил его. Мы засмеялись, радуясь, что избавились от опасений.

На третий день, когда Кати парила ему ножки, мальчик казался апатичным, почти грустным. Он все закрывал глазки и зевал. Когда Кати стала вытирать ему ножки, он тяжело опустил ей голову на плечо.

— Сейчас, сейчас, — сказала она. — Сейчас пойдем баиньки… Сегодня он все время какой-то сонный, — обернулась она ко мне — я с беспокойством смотрел на сына — и постаралась беспечно улыбнуться.

— У тебя что-нибудь болит? — спросил я Петю, но в тоне моем звучала угроза: скажи, что нет, а то мне будет очень грустно! Меня ужасно пугали детские болезни.

— Головка немножко, — жалобно ответил Петя.

— Это все от насморка, дело известное, — сказала Кати. — Когда у меня насморк, я слепну и глохну.

Поздно вечером у Пети началась судорожная рвота. Его выворачивало наизнанку, он стонал, лобик у него прямо жегся. Я позвонил Мильде. Тот не очень охотно, но согласился приехать. Мы ведь были хорошими клиентами…

Он осмотрел ребенка, смерил ему температуру, внимательно заглянул в расширенные зрачки.

Под конец заявил, что так и знал — приезжать было незачем, повышение температуры показывает только, что к насморку прибавились неожиданные осложнения, но даже если б это было что-нибудь серьезное, он, Мильде, при всем желании не может поставить диагноз, потому что все еще в самом зачатке.

— Я приеду завтра утром, — обещал он. — Тогда посмотрим, на что это похоже. Может быть, мальчик просто съел что-нибудь и температура — от желудка.

Кати с возмущением заявила, что не давала ребенку ничего такого, чего бы он не мог переварить. Она строго придерживается режима. Мильде только плечами пожал и усмехнулся.

Утром рвота повторилась, хотя желудок был почти пуст. Теперь это были, в сущности, какие-то судороги, ребенок так и корчился. Я позвонил на завод Чермаку, что сегодня не приеду, и с нетерпением стал ждать доктора.

Тот приехал неожиданно рано и при осмотре был подозрительно серьезен и молчалив. Он поднес обессиленное тельце ближе к свету, вглядывался в тоскливо-неподвижные зрачки. Напрасно прощупывал он брюшную полость, тщетно искал причину болезни в миндалинах.

Нигде ни следа инфекции. Мильде стал насвистывать про себя. И ничего не говорил. Молча сел к столу писать рецепты.

— Чего вы опасаетесь? — осторожно спросил я.

— Врачи не опасаются, врачи лечат.

— Чем болен Петя?

— Честно говоря, еще не знаю. Прошу вас, имейте терпение. Я ничего от вас не скрою, как только буду вправе ответить. И не бойтесь — я ничего не упущу.

— Да, да, я знаю, — пробормотал я. — Однако ваши слова не очень-то утешительны…

— Господи, да что же я скажу? — уклончиво отозвался Мильде. — Сама по себе температура еще не повод для тревоги… У детей бывает жар даже по совершенно незначительным причинам. Этим я, конечно, не хочу сказать, что здесь все в порядке. Я не гадальщик. Впрочем, знаете что? Обещаю вам завтра сказать, что с мальчиком. Завтра — надеюсь — я уже буду знать наверняка.

Был долгий день и еще более долгая ночь. Бесконечная ночь. Завтра узнаю наверняка. Но что я узнаю? Мы с Кати дежурили попеременно. Петю уже не рвало, но он был очень тих, и это нас тревожило. Он лежал, запрокинув головку, шейка словно окаменела. Глаза его были откры-

ты, губы растрескались и вздрагивали. Холодные компрессы на его лбу тотчас становились сухими, как трут. Глаза иногда закатывались. Меня обдавало холодом. Я заговаривал с ним, но он не протягивал ко мне руки. Я гладил его по головке — он словно не замечал.

— Кати, — сказал я, — у него что-то страшное. Я вижу. Доктор меня не обманет. Петя бредит. Он где-то совсем в другом мире, с нами его нет! Он не узнает нас! Может, даже не видит нас, не слышит!

Кати утешала меня.

— По-моему, так и бывает у детей. Они, когда болеют, словно отдыхают от всего. Так устроила природа. Когда он снова улыбнется нам, это будет знак, что все опять хорошо.

Я тупо уставился в пространство. Только гордость мешала мне молиться. Какая-то гордость — и еще стыд. Ведь когда Петя рождался, я тоже не складывал рук в молитве. Не складывал я их и тогда, когда подстраивал ловушку его матери — неужели же молиться мне теперь? Можно ли в моем возрасте так унизиться? И я сопротивлялся богу, который всегда втирается в сознание человека, воспитанного в правилах религии, когда тот оказывается в тупике. Не буду, не буду

— и вздымался во мне гнев. Уже одним тем, что ты позволил заболеть невинному, красивому, чистому ребенку — ты совершил несправедливость! И чтоб я еще взывал к тебе? Да это твоя естественнейшая обязанность — исправить то, что ты натворил!

Под утро Петя заснул; казалось, он дышит спокойнее. Но это просто было действие хинина, содержавшегося в порошках Мильде. Действие хинина — и крайнего физического изнеможения.

Еще несколько часов неизвестности. Я ходил — как уже столько раз в этом доме! — из угла в угол, всякий раз останавливаясь у окна. Сейчас доктор, наверное, уже выехал, утешал я себя — и одновременно цепенел от страха.

Наконец рокот мотора — и доктор вошел, как убийца, пряча руки за спиной, заранее настроив лицо противиться чувствам. Руки за спиной — чтоб скрыть, что они в крови. Он подошел к моему сыну, наклонился над ним. Но ничего не стал делать — только приподнял ему одно веко, потом другое. Мальчик никак не реагировал на прикосновение.

Мильде попросил спиртовку и сосуд с водой. Зажегши огонь и погрузив шприц в воду, он хму-

ро глянул на меня и вышел в соседнюю комнату, к Пете.

Прошло бесконечное время прежде, чем он заговорил. Время разбойной жестокости. Потом он брюзгливо сказал, что исполнит обещание. Будет говорить со мной как мужчина с мужчиной.

Он предвидел диагноз еще сутки тому назад, но не хотел высказываться определенно, не желая преждевременно пугать меня. Врач не имеет права говорить, пока не исключена возможность счастливой ошибки.

У Пети менингит.

Я сидел, опустив руки на колени, и вытаращенными глазами смотрел на врача. Я не способен был выговорить ни слова. Отчаяние встало колом в горле. Мир, комната — все превратилось в лодку на волнах, пол рушился, я падал — падал в пустоту, без конца…

— Я знаю, о чем вы хотите спросить, — бесцветно говорил Мильде, глядя мимо меня, в угол куда-то. — Во-первых, о вероятности излечения. Она невелика. И даже — даже нежелательна. Из сотни случаев излечивается едва ли десятая часть… остальные умирают. А большинство излеченных… лучше б им умереть. Не хочу растравлять вашу боль, которой искренне сочувствую, но

обязан сказать и об этой последней возможности — чтоб уберечь вас от предательских надежд. С этой целью я опишу вам течение болезни. Она полна коварства. Возможно, ребенку станет легче, глаза оживут, зашевелятся губы, словно он хочет заговорить. Знайте — это прощание. Такое улучшение означает конец. Известный, ангельский исход мозговых заболеваний. Но если жар будет уменьшаться медленно, если все время будет грозить опасность, что ребенок уснет навеки, если жизнь его будет как бы висеть на волоске, но вы все же уловите едва заметные признаки улучшения — тогда может наступить и другое. Так называемое выздоровление. Но я уже сказал — надежды тут обманчивы. Летаргия, от которой очнется больной, исчезнет лишь частично. Он может потерять зрение, или слух, или то и другое. Органы чувств могут остаться и незатронутыми, но тогда возникнет опасность, что он будет меньше чем человеком — беднягой без рассудка, без разума…

— А третий исход? — сдавленным голосом спросил я.

— Рад был бы описать вам его, — тихо ответил врач, — но я еще никогда не встречался с ним в своей практике. Это своего рода чудо. Совершает-

ся чудо, неподконтрольное медицине.

— Значит… нельзя рекомендовать… никакого лечения? — жестко произнес я.

— Нет, этого я не говорил — долг врача да и всякого человека до последнего дыхания бороться за свою или чужую жизнь. Пока есть хоть тень надежды, надо защищаться.

— Да, — глухо сказал я, подавая ему холодную, тяжелую руку.

Он ушел, а я все сидел на своем стуле. Просигналил его автомобиль — потом тишина. Бескрайняя…

Открылась дверь — Кати смотрела на меня глазами, расширенными от ужаса.

— Слышали? — вяло проговорил я. — Слышали? Он умрет. А не умрет — будет что-то ужасное. В том и в другом случае он обречен. Кати! Понимаете? Все напрасно!

Она вскрикнула. Вся ее страстность поднялась в ней на дыбы.

— Нет! Нет! — погрозила она кому-то. — Не умрет! Я не отойду от его кроватки! Своими губами удержу его душу на его губах! Не дам ей улететь! Клянусь тебе, Соня! Я выплачу тебе свой долг! Губы на губах, лоб ко лбу! Если он потеряет разум — пусть в него перельется мой!

— Он считает, можно попробовать, — с мукой сказал я. — Но это безнадежно. Может, лучше и не пытаться? Мне страшно, Кати! У меня такое чувство, будто мы не одни… Будто бродит здесь… Невидимый!

Одна Кати еще способна была сохранить силы, она одна способна была еще бунтовать. Я уже ничего не мог. Я не верил. Я понял, понял до конца! Я понял — все это было предопределено, и лишь для того дано мне было достичь своей цели, лишь для того дали мне здорового ребенка, мир и счастье, чтоб тем тяжелее был удар, чтоб тем сильнее кровоточила рана!

Гордость моя вскочила на патетически-черного коня, впилась в бока ему шпорами. Встань на дыбы, старый скакун, собери силы для кощунственного протеста! Смирение неуместно… Раскаяние? Нет места здесь и ему. Остается — негодование! Быть может, смотрит на тебя тот, кто когда-то смеялся. Быть может, бог из катехизиса, до ужаса человеческий, наслаждается теперь делом рук своих. Не показывай ему своих слез! Он не должен видеть твоего отчаяния!

Я взял шляпу, трость и вышел в сад. Из-под мерзлой корки земли пробивались к свету, тянулись к жизни реденькие травинки. Ранняя

весна… Не такая же ли, что и четыре года назад? Не я ли так же угрюмо бродил по дорожкам, пока в доме устраивали камеру для Сони? Иное узилище сколачивают теперь во мне. В этом узилище будет метаться мое сердце. Как оно будет метаться, я еще не знал.

Вот, говорил я себе, вот для чего все жертвы, вот для чего Соне пришлось выброситься из окна и умереть Хайну — да я готов был послать на смерть хоть весь мир! — и все это для того, чтоб в конце концов свалили меня самого!

С чудовищной ясностью предстало мне все, что свершилось в этом доме. Я ходил по саду. Мимо липы, на которой когда-то прятался от Сони. Мимо ограды, на которую она влезла с ребенком. Страдальческая улыбка кривила мои губы. Сколько борьбы! Сколько мечтаний! И после всего этого — такой конец? Значит, для того были все отчаянные мои усилия, чтоб беда застигла меня с другой стороны, не с той, к какой я стоял лицом, готовый к отпору? Я боялся душевной болезни, боялся Невидимого, следившего за моей радостью, как тень, высланная адом, — и я одержал верх надо всем только для того, чтоб все отняла у меня коварная смерть?

Тогда я, конечно, еще не знал, еще не предвидел.

Я думал, что явится смерть, о которой говорил Мильде. Вдруг: кончай мрачную прогулку! Меня обуял внезапный ужас! Вернись! Вернись! Уловить последний взгляд сына, ради которого я сделал все, что только в силах сделать человек, ради которого я отважился даже… на убийство!

Кати была с ребенком. Усердно меняла ледяные компрессы — один за другим! — на пылающем лобике. На меня она не обратила внимания. Я стоял рядом — она не замечала.

Еще одна бесконечная ночь, мы не спим и молчим, и еще один ужасный день, и новая страшная ночь. Мильде появлялся, как тень. Как тень, уходил, бросая какие-то обрывки фраз.

На шестой день он долго стоял над кроваткой. Трогал головку Пети, взглядывал на Кати, на меня. Уходя, процедил сквозь зубы:

— Кажется, вы его спасли…

Губы его кривило сострадание.

Спасли? Я ухватился за соломинку — и ужаснулся другой стороне этого спасения. Спасли? Но я еще надеялся. Мильде не знал чудес. А на чудо — последняя моя надежда.

Чуда не произошло. Никогда.

Кати выиграла бой. Губами на губах удержала душу маленького человека. Но разум его она

удержать не смогла. В этом она не сдержала своей клятвы мертвой.

Пришло время, когда я постиг весь чудовищный смысл хайновского завещания. Постиг, что не только тетка, Кунц, свидетели — что *некто* еще стоял над дрожащей рукой старика и диктовал ему… Его завещание было приговором мне. Я стал слугой слабоумного ребенка. Все, что я захватил, и то, что я приобрел, — принадлежало ему. Он никогда не получит по закону права распоряжаться своим имуществом. Посмертная воля Хайна стала страшным отмщением. Я — каторжник на собственной галере. Сын мой — засохшая ветвь. Я понял, что такое *ад*. Вот наследник моего имени, моих трудов, моего предприятия. Ярмо мое — рабское иго. Влачить мне его до гроба — и напрасно влачить.

Папаша Хайн, как удачно твое завещание! Никогда уже я ничего не смогу изменить в своей жизни. Все заслонила тень обожаемого калеки. Никогда в этом доме не засмеется счастливая жена, не закричат радостно здоровые дети. Завод, работающий как заведенная машина, будет работать только на животный голод слабоумного. Зачем шумит машина, зачем живет дело моих рук? Пусть бы провалилось оно от какого-ни-

будь землетрясения, пусть бы залило его лавой, засыпало вулканическим пеплом! Пропади оно вместе с недобрым моим посевом!

Что посеял, то пожнешь. Что посеял, то пожнешь. Без конца, без конца гремит в уме эта грозная фраза. Единственным выходом была бы… его смерть! Какое страшное обручальное кольцо! Я все стараюсь сдернуть его, — не с пальца, с шеи! — но оно крепко сковано, не разорвешь.

Мильде говорил: «Надо бороться до конца». Кати приняла к сердцу эти слова. Не только их — тут сыграл свою роль еще и тот мой случайный жест рукой, когда под чердачным окном лежал окровавленный груз. Кати, Кати, что ты наделала, зачем удержала его душу на пороге рая! Папаша Хайн! Выползи из своего склепа, пустыми глазницами взгляни на свою кровь и плоть, покачай внука бесплотными руками: баю-баю… Нет, ты-то хорошо знаешь, я ведь никогда не говорил над тобой: «Покойся с миром». А если б и сказал когда в приливе добродушия — то теперь отрекся бы от этих слов!

20
КТО ВИНОВАТ?

Без малого два года назад начал я писать свою историю. Значит, сыну моему скоро одиннадцать.

Одиннадцать лет — дети в этом возрасте ходят в пятый класс. Что они умеют? Читать, писать, считать. Знают исключения из правил грамматики, знают таблицу умножения — считают до скольких? Пожалуй, до миллиона. Знают кое-что из истории, из географии, проходили уже млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. Весной приносят в школу первоцвет и вербу, дивятся — какая пыльца на тычинках, какой липкий пестик. Осенью срисовывают багряные листья клена и дикого винограда, стараясь передать своими кисточками их яркую красоту.

Учитель, товарищи в классе, уроки... Сколько суеты, сколько маленьких тайн — прямо мир взрослых под микроскопом. Чермак, директор моего завода, давно женат, у него тоже ребенок — девочка, осенью она пойдет в школу. Отец качает ее на коленях, мать поспешила преподать

ей первые школьные премудрости. Как гордится этим девчушка! Как хвастается! Она умеет склонять: павлин, павлина, павлину… Это слово ей особенно нравится, она громко выкрикивает: «Павлин!» Потому что фамилия их домохозяина — Павлин.

Я знаю, все это ужасно глупо и отцовские радости Чермака — сплошная чепуха, но все же… я отдал бы за них всю свою надменную гордыню и значительную часть своей власти и своего состояния. Я ведь тоже когда-то думал, что мой мальчик будет выделяться среди прочих детей. Тоже мечтал о том, как буду гордиться его умножающимися знаниями!

А он… Он выглядит старше сверстников. Можно сказать, он огромен, чуть ли не гигант. Растет, как сорняк… Еще бы! Аппетит-то здоровый. Абсолютно здоровы внутренние органы. А голова — о, у него великолепная голова, швайцаровское лицо с энергичным подбородком, которому я когда-то так нелепо радовался… Большая голова, с тыкву, слишком тяжелая для него, — и, увы, такая же пустая, как выскобленная тыква!

Просто чудо, что он ходить-то выучился. Походка, правда, не очень изящна. Он не ходит, скорее бродит, руки висят, как у обезьяны. Выпуклый

лоб словно хочет бодаться. Члены его обложены мясом и жиром, но нет в них ни искорки жизни. Он ужасающе ленив. Есть у него низенькая табуретка, он так ее полюбил, что мы не решаемся убрать ее; он способен часами сидеть на ней, отвратительно чавкая. Он понятия не имеет о приличиях. Он невоспитан и неприятен во всех отношениях. До сих пор для него проблема — как отправлять большую нужду в сосуд, для того предназначенный.

Он страшно нечистоплотен. Мыться, купаться — пытка для него. Он поднимает крик на весь дом, когда Кати сажает его в ванну. А сколько визгу, когда над ним производят эту операцию! Будто его режут… Иной раз меня охватывает неудержимое желание взять палку, пойти туда и лупить его, лупить, пока не переломится палка об его жирные бока… Тогда я встаю и ухожу в сад. Я сказал — «невоспитан»… Какое тут может быть воспитание? Пусть остается таким, как есть. Лучше он стать не может. И хуже не станет. Приличие, чистота — все это хорошо для уюта в доме. Я уже отвык от уюта.

С ним трудно объясняться. Он знает мало человеческих слов. Желания свои он высказывает теми же способами, что и дети до двухлетнего

возраста. Настроения его выражаются в междометиях, в глупом смехе или злобном реве. Он бледен — конечно, оттого, что мало бывает на воздухе. Зачем ему выходить в сад? Ни цветы, ни птицы, ни солнце не доставляют ему ни малейшей радости. Едва выйдя в сад, он тотчас плетется к воротам. Он любит развлекать публику. Ухмыляется, машет руками, ползает на четвереньках, катается по траве… Стоит одному ребенку увидеть его — и вот уже за воротами целая стайка детей. Они подбивают его на неприличные выходки. Издеваются над ним. А это равнозначно тому, как если бы они издевались над паном фабрикантом Швайцаром…

Впрочем, для полного счастья ему достаточно старой газеты. Он рвет ее на мелкие кусочки — как когда-то его мать. Рвать, драть — в этом он настоящий мастер! Забавляют его только такие предметы, которые можно катать. Все круглое он считает созданным для того, чтобы катать его по полу. Но эта игра требует многого, тут нужен второй человек, чтоб возвращать ему игрушку. Сам он за ней не встанет. А если никто не хочет послужить ему, он начинает беситься.

Кати занимается им с таким терпением, что у меня дергаются уголки губ. Ясно — таким образом

она отбывает свое покаяние. Я же не каюсь — я гнушаюсь им. Гнушаюсь столь же сильно, сколь сильно прежде любил его. И пусть это никого не возмущает. Его нельзя считать человеком. Он много хуже любого животного.

Кирилл Хайн, его двоюродный дед, был в сравнении с ним интересным и приятным господином. Он питал известное честолюбие, верил, что невидим. Были у него свои вкусы, свои любимые занятия. Он любил опавшие листья, журчание воды… Петя — как не подходит к нему это ласковое имя! — Петя не любит ничего. Никогда он ничем не заинтересуется.

Я избегаю его. Я бываю рад, когда не вижу его целый день. Мне безразлично, здоров он или нет. Спрашивать незачем. Он уже несколько лет ничем не болел.

Недавно приезжал в Есенице один мой деловой знакомый. Он спешил, хотел уехать ночным поездом. Я вынужден был принять его дома.

Петра удалось скрыть от него на целый вечер. Но когда гость уходил — пожалуй, несколько неожиданно, Кати не успела подготовиться к его уходу, — случай сделал так, что он встретился с идиотом: тот вылез из двери, разумеется, на четвереньках, пуская слюну и довольно ворча.

Не знаю, счесть ли это деликатностью со стороны гостя, — а может, он был посвящен в мои семейные беды и оттого злораден, — или он плохо разглядел в спешке, в полумраке, но только он с искренним — а может, притворным — добродушием обернулся ко мне:

— А вот и наследник фирмы, правда?

А вот и *наследник*! Юный Швайцар, будущий фабрикант! Ну да, вот мы и подошли…

Я уже довольно пространно писал о хайновском завещании, незачем снова мусолить эту неблагодарную тему. Я достаточно ясно объяснил, как случилось, что я стал всего лишь служащим при ребенке, лишенном капли рассудка. Но я еще не говорил, в каком положении находилось само *наследство*, которое ждет столь туманное будущее.

Ох, это наследство! Собственность! Возьмем, к примеру, завод. Прежде всего завод, в который я вложил столько напрасных трудов. Есть ли еще какой-то смысл напрягать силы, о чем-то еще хлопотать? В один прекрасный день завод станет собственностью идиота. Очень может быть, что тот переживет меня. Назначат ему опекуна, который постарается извлечь из своего положения возможно больше выгоды для себя. Но и это еще будут прекрасные времена для завода, как бы же-

стоко его ни эксплуатировали. Но когда-нибудь умрет и слабоумный — что тогда? Со всех концов света сбежится отдаленная родня, каждый урвет себе по кирпичику из здания, по грошику из наличности, по пяди честной хайновской земли… Не останется ничего. Все пойдет прахом. Все пустят по ветру.

И ради такого результата мне мучить свой мозг, выдумывать что-то, состязаться с конкурентами, завоевывать рынки, увеличивать производство? Ну нет, благодарю покорно. У меня есть все, что необходимо для жизни, и этого мне хватит. А жалкий кусок мяса, мой сын? Он тоже еще очень хорошо проживет при своих потребностях, когда меня не станет. А потом? А там хоть потоп. Тот, кто когда-то произнес эти слова, имел для них куда меньше оснований, чем я.

Естественно, каков поп, таков и приход. Служащие и рабочие швайцаровского завода давно уже не те, что раньше. Точно так же и я давно не тот, каким был. Все ржавеет. Все распадается. Где тот темп, за которым я бдительно следил ревнивым, грозным оком? Где та дисциплина, с помощью которой я заставлял использовать каждую секунду рабочего времени и плоды которой я преображал в десятки крон, а десятки — в тысячи? Все это в

прошлом. Мы не выдерживаем конкуренции. Нас обгоняют. Нас оттесняют. Заводской двор зарастает крапивой. Сторож часто бывает пьян, зевает в своей будке, не смотрит, кто входит, кто выходит и что выносит. Последняя варка оказалась чертовски плотной, мыло этой варки мылится не лучше речного голыша. Наши духи теряют свой естественный рынок сбыта в нашем крае. Ну и что? Мне все безразлично.

В сущности, то же самое творится и с самой виллой. И с садом, и с огородом. У Кати, прикованной к идиоту, действительно нет времени, чтоб попытаться хоть что-то спасти. Она и экономка, и сестра милосердия. Криштоф ничего не делает. Берта с натяжкой исполняет обязанности горничной. Шляться по дому с метелкой для пыли да хохотать — вот ее дело. Паржик слишком стар, от него уже никакого проку. В его полуподвале давно нет вонючего сапожницкого ведерка — старик бросил ремесло, он теперь и шила-то не разглядит. Топить котел — котел теперь топит по большей части Криштоф, но что происходит, когда Криштоф уезжает с машиной? Огонь гаснет, а тот, кому положено поддерживать его, клюет носом. Я не возмущаюсь, не устраиваю разносов. И не думаю. Все разваливается? Вот и хорошо.

Этого я и хочу.

Розы на клумбе у Паржика померзли, землю не удобряют, редко перекапывают, корням растений не хватает питания. Дорожки, некогда посыпанные песком, зарастают травой, сорняки расплодились на куртинах, померзшие ветки деревьев не обрезаны и торчат, как призрачные руки. Скамейки валятся одна за другой. Памятный бассейн, в котором когда-то купалась Соня, треснул от мороза: осенью Паржик забыл спустить из него воду. Старика, конечно, нельзя винить. Да к черту бассейн, к черту все! Пусть все лопается, ломается. Вот припев моей песни. Так и надо. Так и надо.

Всякая песня нуждается в соответственном аккомпанементе. Всякое действие предполагает определенные условия. Как видно, мне не чужды кое-какие поэтические склонности. Хочу, чтоб вокруг меня было кладбище. Мне доставляет странную радость видеть, как погибель побеждает жалкие попытки выжить, как низменное одерживает верх над благородным. Кати бессчетные разы пыталась остановить напор этой медленной, вялой смерти. То принималась драить полы и стены, то хватала лопату, мотыгу — рыхлить и вскапывать грядки… Напрасно, ко-

нечно. Довести дело до конца она не могла — и не успевала оглянуться, как все приходило в пущий упадок, чем до ее отчаянной попытки.

Она моя, эта нечисть, что каркает всюду, выглядывает из нор подслеповатыми, злобными глазами, что ткет по углам свои сети, кружит вокруг карнизов в лунные ночи. Я кажусь себе старым, угрюмым алхимиком, которому так и не удалось найти золото, хотя поискам его он посвятил всю жизнь. И вот он один со своими тенями, со своими апокалипсическими чудищами — и горит жаждой мести. Но я так бессилен, в лучшем случае я могу лишь приветствовать всеобщую гибель.

Я тот, кто стоит во мраке. Всякий раз, как где-нибудь растопчут цветок, заболит скорбящее сердце, как чей-нибудь страстный зов задушат ледяными руками — из груди моей вырывается беззвучный смех.

Пусть не возмущается тот, кто не понимает. Пусть молчат те, кто хочет осудить меня! Судьбы других людей шли другими путями. У меня был свой. Туда, куда я дошел, — я дошел не по своей вине!

Куда я дошел… Хватит меланхолии. Хватит беспросветной мрачности. Куда это я зашел? Надо

снова оседлать старую кусачую кобылу, вскочить в седло, — такое знакомое! — приладить новый наконечник к старому копью, столько раз тупившемуся о камни, о крылья ветряных мельниц, о собственную темную тень!

Я хочу упрекать свою судьбу. Упрекать ее снова и снова, упорно. Вот мой старый конь. Вот знакомое копье. Вставай! Снова! До отвращения…

Это похоже на гаданье старухи по тридцати двум картам — в конце концов она все знает наизусть, все комбинации уже выходили. Ступай по той либо по этой дороге — а в итоге-то это все одна и та же песня, снова и снова звучащая в несложном механизме шарманки.

Кто виноват? Я уже так наловчился вести подобные разговоры с собственной тенью, что мог бы говорить во сне, мог бы защищаться, разбуди вы меня среди ночи.

Сумасшедший Кирилл виноват! Виновато наследственное безумие! И — еще некто третий.

Недаром явился мне Невидимый на пороге, когда я впервые вступил в дом Хайна. В этом было нечто мистическое. Почему именно он? Судьба явила мне символ. Но тогдашний Швайцар, гнавшийся за своей честолюбивой мечтой, ничего не видя и не слыша, не понял зашифро-

ванного предостережения. В прежние времена там, где начинали ломать камень, взрывая его динамитом, рабочие ставили на дорогах флажки с изображением черепа. Осторожно! — трепетало на ветру мрачное знамение. — Осторожно, здесь царство смерти! Не ходи дальше, если жизнь тебе дорога! Таким знамением смерти на моей дороге и был Невидимый. Едва увидев его, я должен был повернуться и сломя голову бежать подальше от этого дома. Прочь! Прочь от дороги, отмеченной роком!

Не я один был так легкомыслен — многих других не остановило бы это неясное предостережение. И я двинулся дальше, не подозревая о грозящем взрыве. А знамя беды развевалось на всех моих путях! Все время, всегда. Смешное, назойливое, грозное. Оно появлялось всюду, где только жизнь сулила мне радость. У каждого камня сидела эта мерзкая жаба. Как в сказке о живой воде. Вода перестала течь. Оживить родник можно было, только убив жабу.

Но у меня все было несколько сложнее. Жабу-то убрали, да родник был отравлен. Как это получилось? Я улыбаюсь. Торжествую. Ответ у меня готов. Я знаю, как это вышло. Дело было не в жабе — в яде. Не в знамени — в знаменосце. Яд

был в роднике, из которого я пил. Нет, не полоумный дядюшка — тот был всего лишь земным символом того, другого *невидимого*. Не бедняга, страдающий бессмысленной манией, — но *призрак*, сидевший на козлах повозки, в которой ехали по дорогам своих судеб поколения Хайнов. Невидимым возницей черной повозки было *безумие*. Где вознице хотелось, там он и опрокидывал повозку. Он сбросил в прах мать Хайна, вывоpотил дядюшку Кирилла и столкнул в придорожную пропасть маленькую, белую Соню, с ее гривой черных волос и кровавою раной губ.

Недаром там, наверху, на чердаке, среди старого хлама, смеялся прадед, когда я накануне свадьбы загорелся желанием заглянуть в будущее. Он-то знал, он хорошо знал угрюмого возницу! А от меня его скрыли. Как старался старый Хайн затемнить смысл семейной тайны, поданной мне на тарелочке во время первого торжественного ужина! Бия себя в грудь, я твержу: меня плохо предупредили!

Я мог, правда, сообразить, что Сонины истерики, головные боли, ее мигрени, ее предчувствия — не просто признаки пустой изнеженности. Но разве сильный и здоровый может вжиться в состояние человека, пораженного недугом?

Здоровый не придает значения стонам больного, сильный смеется над страхом слабого.

Но мы подходим к третьему и последнему ответу. Теперь последуют бесконечные «почему» и «кто». Почему меня плохо предостерегли? Кто, устами Донта, прельстил меня золотом Хайна? Откуда столько благоприятных стечений обстоятельств, столько подозрительных побед? Кто привел в движение незначительную куклу, Кирилла, в ночь нашей свадьбы? Кто подтолкнул его напасть на Соню, кто злоумышленно сплел сеть недобрых эпизодов, в которой неизбежно должна была запутаться раненая душа? Кто нашептал тестю идею чудовищного завещания? И кто, после всего этого, четыре года поил меня обманным напитком надежды, чтоб тем ужаснее обрушиться на меня затем?

Петя не был опрокинут семейным возницей. Его несчастье явилось с другой стороны, сзади, вероломно. Тут уж не совладал с собой, не спрятался как следует тот, коварный, который до сих пор укрывался за символами.

Не сомневаюсь — единственной целью его было навсегда поставить меня на колени. Сколько хитроумия затрачено ради этого замысла! А за что? За то, что он мне завидовал. Я взобрался

слишком высоко, слишком близко к солнцу. Так кто же это был?

Как ни жалко мое бессилие, я не могу не смеяться. Как-то Соня, еще в самом начале той схематической кривой, что вела в пропасть, показала мне (пальцем) его имя. Это мог быть только он — Ходящий во время прохлады дня, любопытный Наблюдатель!

Невидимый был нужен только как орудие для достижения результата, ожидаемого таинственным возницей; но этот жалкий призрак сумел сделать лишь одно — отнять разум у моей жены. О моем ребенке, о счастье моем позаботился уже тот, третий, вдохновитель всего распада, завистливый Ходящий.

Сомнения нет — жизнь моя стала адом. Неужели же нет из этого ада никакого выхода?

Меня часто преследует некое видение, можно сказать, поэтический образ, указующий мне полное освобождение: горит старый хайновский дом, горит завод, все объято пламенем, дорога озарена пожаром, а я ухожу куда-то далеко, ухожу спокойно и торжествующе, не оглядываясь, — к новой жизни.

Конечно, это — не выражение моих желаний или тем более замыслов, это аллегорический

образ. Просто аллегория, не больше. Нет ведь никакой нужды палить крышу над головой — достаточно взять посох и уйти. Не в человеческой власти удержать меня в плену, если я сам не захочу остаться.

А я — хочу?

Нет, этого нельзя сказать, но я… не верю. Как бы это выразиться поточнее, чтоб меня поняли? Так вот: более чем несомненно, Судьба была ко мне весьма враждебна. Она играла мной, как собака играет камешком, — то подкинет, то погрызет, то покатит лапой и бросится догонять, — пока не затолкала меня в самый низ, на дно ущелья, в глубокую бездну. Стоит мне очнуться от оцепенения, выкарабкаться назад, к солнцу, хотя бы пришлось ногтями выцарапывать ступеньки в камне… Оставить там, внизу, глубоко под собой, ветшающее предприятие, разваливающийся дом, любовницу, замученную хлопотами, идиота, который был моим сыном, — со швайцаровским мужеством, посвистывая на ходу, двинуться по новому следу…

Но я — боюсь. Я уже не верю. Не верю, что можно убежать от злой собаки. Наверняка подстерегает меня у края пропасти. Жмурит сонные глаза, ждет — когда я решусь. Думает, я не выдержу,

вырастет во мне новая надежда, я высуну голову над краем кручи, вылезу во всем своем наивном ликовании, а она, предательница, — тут как тут! Хвать — и снова, одним ударом лапы, столкнет меня обратно, может, еще глубже…

Не знаю, как бы я это сделал, но уверен — сумел бы. Мало ли уроков преподала мне жизнь? Разве я один раз вылезал из ямы? Не очутился ли я достаточно глубоко, когда жена отказала мне в супружеском ложе? Когда она впервые сыграла мне марш безумия? Не в яму ли был я сброшен, когда дитя мое было в опасности? И всегда я выкарабкивался. Надеялся снова, услышав, что у меня родился сын, надеялся, когда нянчил его на руках, был полон надежд после подстроенного мною Сониного сальто-мортале. В тот раз коварный зверь даже пустил меня погулять подольше, а сам ходил за мной по пятам, садистски похлопывая себя хвостом. И настиг меня с истинно собачьей проницательностью, когда я уже думал, что каприз бросил его к другой жертве…

Что же — снова лелеять надежду? Снова вступать в бой за счастье? Снова испытать унижение? Ну нет, благодарю покорно, охоты нет. Мне уже противна всякая надежда. Я привык голодать, выдержу и неотступный теперь голод — не пойду

за подачкой к глубокоуважаемой Судьбе.

Если животное всякий раз бить по морде, поднося ему пищу, — оно в конце концов выкажет звериную свою гордость и забьется под кровать, не отзываясь ни на какие, самые ласковые зовы — так я забился в угол, сложил лапы, свернулся в тепле собственного тела — и лежу *оскорбленный*, во мраке моего несчастья.

Я должен еще похвастаться. Сегодня даже мой отрывной календарь нагло упрекнул меня. Смешно, правда? О нет, это вовсе не смешно. Календарь действительно заговорил. Взял сторону моих врагов и тоже дал мне пощечину…

Странно — очень странно, что это случилось именно сегодня, когда я кончаю свой роман. И я не могу не думать об этом. Не могу иначе — что-то заставляет меня отнестись к этому серьезно, увидеть в этом новое оскорбление.

Он висит надо мной — наивный, ребяческий, уместный разве что на лотке деревенских разносчиков. На картинке три котенка, вылезающих из корзины, черный, белый и пестрый. Корзина лежит на боку, из нее высыпаются фиалки. Целые груды фиалок! И котята кувыркаются в них, запутавшись в голубых лентах. Комичная картинка, правда? Комичная, как глас народа, как мораль.

Сверху жирными буквами: «Хуго Хинек Хайн, мыло, парфюмерия, Есенице, Северная Чехия». Ниже красная цифра «15» — воскресенье — декабрь. Святой этого дня — Ириней. Под святым черта, под чертой поговорка. Смешная поговорка на этот день. Что же она гласит, эта добродетельная поговорка?

Каждый — кузнец своего счастья.

Что, что? Да она отрицает моих трех невидимых! Отрицает ответственность бога! Прямо и бескомпромиссно обвиняет меня! Будто я сам виноват в своем падении!

Ого! Вот оно как! Что за наглость? Вот сижу я, Петр Швайцар, человек, пробившийся наверх собственными трудами, человек, по мановению руки которого выбрасывают на улицу рабочего и покупают чью-то совесть, мужчина, силой воли своей поднявшийся над добром и злом, совершивший то, перед чем обыкновенная человеческая душонка зарылась бы в недра земли, мрачное существо, которое — пусть побежденное — показалось, однако, богу достойным того, чтобы ввергнуть его в ад. А этот дурацкий календарь позволяет себе такую бесстыдную шутку в тот самый день, когда этот Швайцар кровью сердца дописывает свою историю?!

Не стану я спорить с ним. Я-то знаю, что он хочет сказать. Это мне совершенно ясно. Он хотел сказать, этот плебейский календарь, что судьба моя могла пойти иным путем, если б я отнесся к Соне так, как отнеслись бы к ней на моем месте другие, если б я смягчился, умалился, если б постарался приблизиться к ее слабости!

Календарь полагает, что мне все-таки удалось бы как-нибудь успокоить ее, отогнать ее страхи, будь я доступнее и ласковее. Он утверждает, что было легко доказать ей, что Петя — *наше* дитя, а я вовсе и не попытался доказать ей это. Если б я в самом деле хотел, то мог стать во время ее болезни желанным гостем в ее комнате — и, как знать, быть может, этот злополучный эпизод с сумасшедшим сделал бы нас дружнее и тверже, чем до того! Если б я не был так жесток, Соня могла бы не поддаться помешательству и не кончила бы, запертая в своей комнате, и не погибла бы, если б я так страстно не желал ее гибели. И могли быть у нас еще дети, кроме Петра. И если б даже трагедия не миновала его, остались бы другие наследники хайновского добра, и было бы мне ради кого жить и трудиться!

Чепуха, говорю я. Чепуха! Бредовые, бессмысленные слова кричат со стены; слова, написанные

только для того, чтоб выбить из-под моих ног пьедестал, сколоченный мною с таким трудом; слова, родственные грязным сплетням после похорон Сони. Видно, мой календарь — из тех умников, которые всегда так мудро судят, когда уже ничего нельзя исправить, адвокат оскорбителей, малевавших виселицу на воротах завода.

Не отрицаю — я изрядно устал. Нелегко снова пережить, от начала до конца, все давние беды. Снова вжиться во времена ужасов. Я добросовестно, ничего не опустив, повторил тот давний страшный год — и другие годы — и уже сыт по горло воспоминаниями. Нет, не стану я спорить с моим дерзким календарем!

Да и зачем? Завтра утром протяну равнодушную руку, схвачу неведомого Иринея за кончик его монашеского капюшона, сорву листок, скомкаю, сожгу или порву — и не станет глупого обличения. Зачем спорить, когда одно небольшое, спокойное движение — и умолкнет сварливый писклявый голос?

Даже и не надо ждать до утра. Всего несколько минут осталось до полуночи — эка важность! Я сам себе господин, у меня свободная воля, я могу, если захочу, оборвать хоть весь календарь со всеми его дурацкими поговорками и наставлениями

для смирных овечек.

Оборвать календарь, изнасиловать время, сделать так, чтобы головы дней скатывались быстрее — это ли не прекрасно? Не ободрительно?

Я сказал уже — я сильно устал. Я так измотан, что хотел бы спать дольше и лучше, чем смогу, закончив свою историю. Я жажду сна, более долгого и спокойного, чем тот, в который я погружусь, когда… когда мое перо стихнет.

Когда остановится мое перо — не очень-то приятное представление. Перо остановится — и остановится что-то в голове. Нельзя же возвращаться, пережевывать свою жизнь вновь и вновь, сначала! Два года меня полностью поглощала эта работа. Когда я писал, то забывал о пустых днях настоящего. Я снова жил, снова метался. Теперь же приближается *молчание*. Но — что значит молчание для такого, как Швайцар?

Опять слушать вопли идиота, которого купают, опять спускаться с лестницы, садиться в машину заученным, небрежным движением, не взглянув на шофера; входить в кабинет, принимать сводки за день; подписывать заказы, разбираться в накладных, заходить в лаборатории, в цеха и снова царапать бумагу, считать, считать — и потом возвращаться в безрадостный семейный

круг без семьи.

Как это я сказал — более долгий и спокойный сон? О, стоит мне только захотеть… В ящике моего стола, только руку протянуть, спрятан маленький металлический предмет; с его помощью, да с небольшой долей мужества (а его у меня хватает) я мог бы уйти далеко от подстерегающей собаки. Она бы уже никогда меня не настигла!

Но что скажет мой отрывной календарь? Еще подумает, глупец из глупцов, будто я испугался его дурацкой болтовни. Нет, Швайцары не бегут с поля боя, они — как тот чешский король… Но вижу, я заговариваюсь. Конечно, я ведь вдребезги пьян… Да и не совсем еще, слава богу, потерял интерес к жизни. Есть еще несколько забавных запутанностей, разрешение их может оказаться превосходным зрелищем.

Мне, например, страшно любопытно, что скажет и что сделает Кати, когда прочтет написанное мной. Как-то она отнесется к своей участи, которая внезапно предстанет перед ней в совершенно новом свете? Одного этого уже достаточно, чтоб подождать результата.

А в остальном… В остальном все мерзко.

Паржик, эта старая замирающая гусеница с беззубым ртом и извивающимся телом, Берта,

Криштоф, завистливый и раболепный, Кати, превратившаяся в любовницу без жара и смелости, Петя, идиот, рвущий в клочки газету, — клочки бумаги, жизнь, разорванная в клочья…

А в календаре еще много других шуточек для простонародья. Например, эта: «Утро вечера мудренее». Что ж, до него недалеко, до этого утра, зимнего безрадостного утра, которое ждет меня… Представляю, как все эти серые фигуры в доме проснутся новым утром, как сам я проснусь в новое утро без надежд, представляю, что опять начнется для меня еще один хмурый, ненужный день, *который не будет мудренее этого вечера!*

Вижу себя — сонный призрак, он протирает глаза, затуманенные сигарным дымом, он весь окутан этим едким синим облаком, вонючим и мутным облаком… Какая пустота! Какое отчаяние!

Все еще скрипит мое перо, все царапает, мечется в судорогах бесплодной печали. Я ужасаюсь того мгновения, когда оно перестанет скрипеть. А это будет скоро, уже вот сейчас — роман мой окончательно исчерпан — настанет тишина, и я не услышу ничего более, кроме гула усталости да звона нервов во взбудораженном мозгу!

Конец

